

**Абдулла Каххар**

# **СКАЗКИ О БЫЛОМ**

*ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ*

*Перевод с узбекского*

**МОСКВА**

**«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

**1987**

*Составитель К. Каххарова*

*Вступительная статья Адыла Якубова*

*Художник Г. Саленков*

## **СТРОГАЯ ДОБРОТА**

Случилось так, что выдающийся узбекский писатель Абдулла Каххар стал известен всесоюзному читателю как яркий самобытный прозаик благодаря своей повести «Птичка-невеличка» в переводе Константина Симонова.

Я говорю «прозаик» потому, что имя Абдуллы Каххара было уже известно всесоюзному зрителю, когда его комедия «Шелковое сюзане» в 1951 году была удостоена Государственной премии поставлена многими театрами страны, в том числе театрами Москвы и Ленинграда.

А между тем Абдулла Каххар вошел в узбекскую литературу как превосходный рассказчик. В этом жанре он и поныне считается непревзойденным мастером.

Его короткие, в две-три странички новеллы «Гранат», «Воры», «Прозрение слепых», давно уже ставшие хрестоматийными, поражают не только аскетичной краткостью слога, максимальной нагрузкой на каждое слово, но и огромным социальным содержанием. Автор в них

настолько скуп на слово, что пересказ каждого из этих маленьких шедевров занял бы больше места, чем сам рассказ. А поразительная образность языка, глубочайшее проникновение в душу своих героев, человечнейшее отношение к их горестям и страданиям?!

Вот рассказ «Воры». У старика Кабылбобо украли вола — единственную надежду и опору бедняка-дехканина. Старик идет с поклоном к элликбаши — старосте пятидесяти дворов. А на поклон к старосте с пустыми руками не пойдешь. Получив подарок, староста обещает помочь и доложить мингбаши, старосте тысячи дворов, тоже, разумеется, за определенную мзду. Подношение делает свое дело: мингбаши обещает доложить амину. И старику ничего не остается, как собрать последнее, сбереженное на «черный день», хотя чернее его положения, кажется, и быть не может. И так постепенно, поднимаясь по страшным ступенькам бюрократической лестницы, старик лишается последней своей несучки. А там, на самом вершине, Кабылбобо получает единственный, но вполне соответствующий тому времени ответ: «А вообще был ли у него вол?»

Это рассказ огромной разоблачительной силы, полный любви и сострадания к маленькому, подавленному жизнью несчастному человеку, занимает всего три странички!..

Абдулле Каххару было двадцать пять лет, когда он написал свой первый роман «Мираж» — о судьбе писателя, запутавшегося в хитро расставленных сетях националистически настроенной интеллигенции начала 30-х годов и тем самым сгубившего свой яркий талант. Роман смелый, я бы сказал, даже дерзкий для того времени. Уже в нем читатели и критики отметили черты, присущие зрелому мастеру, качества, которые потом столь выразительно раскрылись в романе «Кошчинар», сатирических пьесах «Больные зубы» и «Голос из гроба». Это — умение заметить в жизни и вынести на общественный суд самые острые, волнующие проблемы, выписать живые человеческие характеры; смелость и острота писательского мышления. Еще одно качество, которое стало отчетливо проявляться в творчестве Абдуллы Каххара по мере того, как росло его мастерство — талант безжалостного сатирика. Недаром на протяжении всей жизни писатель по-юношески восторженно относился к творчеству Гоголя и Чехова и оставил нам непревзойденные по мастерству переводы на узбекский язык «Ревизора», «Смерти чиновника», «Хамелеона» и многих других произведений этих гениев русской литературы. Никто из узбекских

писателей так глубоко не презирал, не высмеивал зло, как Абдулла Каххар. Язык писателя становился едким и разительным, когда он обличал карьеристов, взяточников всех мастей.

Сегодня, когда наш народ решительно пресекает негативные явления в жизни, нельзя, читая сатирические комедии А. Каххара, не отдать должное прозорливости писателя. Еще два Десятилетия назад писатель и гражданин Абдулла Каххар, как никто другой из узбекских литераторов, всем сердцем почувствовал тот неизмеримый вред, который несут в себе подхалимство, стяжательство, погоня за материальными благами. Однако такая гражданская непримиримость воспринималась далеко не всеми. Каждое новое произведение писателя, остро высмеивавшее все наносное и чуждое, неизменно становилось предметом жестких споров и дискуссий, зачастую вызывало бурю негодования у тех, кому из всего многообразия художественных красок по душе была лишь одна, розовая; кто в гротескных образах узнавал себя, мягко говоря, не в очень привлекательном виде. Почти два десятилетия, прошедшие после смерти Абдуллы Каххара, показали, насколько был прав и мужественен писатель. И тут мы вправе спросить: почему же такой яркий своеобразный прозаик, как Абдулла Каххар, долгое время оставался малоизвестным всесоюзному читателю? Я не оговорился в начале статьи, что широкую известность Абдулла Каххар приобрел лишь после выхода в свет повести «Птичка-невеличка» на русском языке. В чем первопричина такой «несправедливости» судьбы ярких произведений большого мастера, каковым является А. Каххар? Прежде всего я убежден в том, что всю оригинальность стиля — чарующую красоту языка, метафоричность и чеховскую простоту, тонкость юмора, под которым скрывается глубокий подтекст,— передать на другом языке удавалось не каждому переводчику. И необходим был счастливый случай, когда на пути писателя встретился другой, столь же талантливый художник, к тому же обладавший бесценным даром распознавать таланты и горячим желанием сделать их достоянием всех. Константин Михайлович Симонов, как известно, обладал этим редкостным даром и душевной щедростью.

В конце 1958 года К. М. Симонов приехал в Ташкент, чтобы некоторое время пожить, как он однажды сказал в гостеприимном доме Абдуллы Каххара, «вдали от суеты и спокойно поработать». Впоследствии выяснилось, что он работал тогда над первой книгой

своей трилогии «Живые и мертвые».

Помню Абдуллу Каххара в те осенние дни пятьдесят восьмого года. Он пребывал в том приподнято-радостном настроении, в котором обычно бывает лишь мастер, творец, внутренне ощущающий, что то, чему он посвятил многие годы, чему отдал силы и вдохновение,— свершилось! Но вскоре я узнал, что причиной такого настроения неизменно требовательного к себе писателя было еще и другое: «Птичка-невеличка» очень понравилась К. Симонову, и он взялся за ее перевод. К. Симонов необычайно бережно относился к каждому слову повести, вникая не только в смысл, но и стараясь уловить подтекст, пытаясь передать тонкий, своеобразный юмор писателя.

К переводу Константин Симонов отнесся так же самозабвенно, как относился к своим произведениям, как относился ко всему, что он делал в своей жизни. А переводить Абдуллу Каххара, как я уже говорил, было трудновато. Особенно «Птичку-невеличку». Дело в том, что эта повесть стоит особняком в творчестве писателя. Она непохожа ни на одно из его произведений. Ну, взять хотя бы главных героев повести — председателя колхоза Каландарова и парторга Саиду. Сколько в нашей литературе до Каландарова было создано образов председателей, скромных, деловых, поначалу даже неплохих, но затем оказавшихся не в силах выдержать тяжкое бремя славы. На первый взгляд Каландаров тоже относится к числу таких. Но это лишь на первый взгляд. В отличие от тех однообразных, нарисованных одной, преимущественно черной краской председателей, Каландаров выписан целой гаммой удивительно тонких, а порой даже нежных красок.

Человек большого ума и организаторских способностей, посвятивший всю свою жизнь и способности делу, сумевший вывести отсталый колхоз в передовые, Каландаров остается сыном своего времени. Он так и не сумел уловить новые веяния жизни и потому болезненно остро реагирует на те изменения, которые приносит с собой маленькая невзрачная «девушка с характером» — Саида, остроумно прозванная им же «птичкой-невеличкой». Поистине она становится для Каландарова «крепким орешком», который так и не удается ему «разгрызть». Нелегко бывалому, знаменитому председателю выносить критические замечания строптивой девчонки, наделенной правами партийного руководителя, к тому же обладающей тонким юмором, остроумием. Тут и впрямь, как говорится, нашла коса на камень». Нельзя без улыбки, а местами и без смеха читать сцены

столкновения всемогущего председателя с этой маленькой, умной девушкой с твердым характером. Не обладай А. Каххар ярким и на редкость своеобразным юмором, сцены эти могли бы превратиться в скучнейшую перепалку отсталого председателя с передовым, резонерствующим парторгом. Но чудесный юмор автора, а главное то, что он сумел выхватить эти противоречивые, живые характеры из самой действительности, сделали свое дело: писателю удалось создать полнокровные, интересные человеческие характеры большой эмоциональной силы.

Реализм, я бы даже сказал, суровый реализм Абдуллы Каххара проявился особенно в его последней повести — «Сказки о былом». В ней повествуется о людях, оставивших глубокий след в детской памяти автора. Состоит она из новелл, объединенных единым замыслом, — раскрыть всю жестокость дореволюционного бытия узбекского народа. Новеллы эти поражают силой разоблачения. Взять хотя бы рассказ о трагической судьбе босяка и голодранца Бабара, задавленного жизнью, а под конец затравленного не только бешеной собакой, но и нечеловеческой жестокостью власть имущих. Или печальную историю юной, прекрасной Савринисо, избитой до смерти собственным отцом за отказ стать женой человека, которого он ей выбрал.

Далекое дореволюционное прошлое предстало перед читателем столь обнаженно и одновременно беспросветно мрачно, что один из критиков невольно воскликнул:

— Как могли люди жить в такой ужасной, нечеловеческой действительности! Трудно в это поверить, устод!

На это Абдулла Каххар ответил:

— Я нарисовал то, очевидцем чему был сам в детстве. Написал правду, одну только правду. И если эта правда кажется вам, современной молодежи, чудовищно невероятной, тогда, что ж, я назову свой горький, но до конца правдивый рассказ — «сказкой»!

Так возникло название повести — «Сказки о былом».

Таким он был в творчестве. А в жизни?

Седой, красивый, осененный заслуженной славой живого классика, Абдулла Каххар в жизни выглядел, на первый взгляд, строгим, неприступным человеком. «Что скажет Каххар?» — это выражение, часто произносимое в литературной среде тех лет, нередко удерживало писателей нашего поколения от поспешности, от несерьезного подхода к своему делу, заставляя не раз переписывать рукопись. А в

действительности это был чуткий, прекрасный человек с отзывчивым сердцем, любивший открывать и поддерживать все яркое и талантливое в литературе.

**Адыл ЯКУБОВ**

## ПОВЕСТИ

### ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА

#### 1

Начинало смеркаться. У райкома остановился запыленный «газик»; из него вылез пожилой человек в очках и не по возрасту быстро взбежал по райкомовской лестнице. Однако на первой площадке он все-таки остановился, отряхнул полы коверкотового макинтоша, сбил пыль с брезентовых сапог, снял соломенную шляпу, вытер платком вспотевший лоб и только после этого быстро, но уже не таким мальчишеским шагом поднялся на второй этаж.

Тахира Насырова избрали секретарем райкома совсем недавно, и он с утра до вечера колесил по району, знакомясь с людьми и свыкаясь со своим новым положением.

Проходя через приемную все тем же не по возрасту быстрым шагом, он поклонился на ходу своему помощнику — привставшей при его появлении высокой и тоненькой девушке, на вид лет двадцати, самое больше? двадцати двух,— и скрылся в кабинете.

Девушка торопливо поднялась и тоже прошла в кабинет вслед за ним, захватив с собой заранее приготовленную пачку газет и журналов и лежавшую поверх них папку в аккуратной-преаккуратной красной обложке. Положив все это на стол секретарю, она открыла окно. В душный, накалившийся за день кабинет рванулась струя уже похолодевшего вечернего воздуха и пряный аромат базилики, похожий на запах дыни. Кабинет сразу перестал быть кабинетом: в нем зачирикали воробьи и зажурчал арык.

Под красной обложкой лежали накопившиеся за день бумаги. Насыров просмотрел несколько верхних, налил в пиалу из холодного потного графина немножко остуженного чая, сдвинул на лоб очки и посмотрел на девушку долгим, как ер! показалось, испытующим взглядом.

Она нерешительно остановилась, не зная — уйти или остаться.

- Вы хотели что-то сказать?..
- Да, пожалуй... а впрочем, после...
- Хорошо. — Она хотела выйти.

Но в последнюю секунду он остановил ее.

— Ладно, Саидахон, так и быть, скажу вам сейчас. Присядьте!

Саида села, осторожно расправив подол платья: платье было простенькое, из дешевого ситца, но хорошо сшитое. Достав из карманчика бархатной в полоску безрукавки чистенький, не начатый блокнотик, Саида положила его перед собой и, по-детски уперев в подбородок кончик остро отточенного карандаша, выжидательно взглянула в лицо Насырову. Она была очень деятельна, очень аккуратна и слишком молода для того, чтобы скрыть свое маленькое невинное самодовольство.

Одним духом осушив пиалу янтарного холодного чая и со стуком поставив ее на настольное стекло — он был враг медлительности и в более серьезных вещах, — Насыров быстро потер ладонью свою гладко выбритую загорелую голову и, улыбнувшись, заговорил так, как он это делал обычно — без предисловий:

— Дорога! По ней несется машина! И вдруг она переезжает человека! Сбивает, переезжает, в общем, как говорит милиция, — нарушает! Спрашивается: что должно последовать за этим?

Саида даже вздрогнула.

— Господи, неужели ваша машина...

— Моя машина ни при чем. Я спрашиваю вообще: что должно за этим последовать?

— Ну, милиция должна остановить...

— А если машина намеренно сшибла как раз того самого милиционера, который должен был остановить ее, тогда что?

Саида недоверчиво улыбнулась. Все это начало казаться ей шуткой.

— А кто же этот отчаянный шофер? — спросила она.

— Арсланбек Каландаров!

Теперь Саида поверила: от такого человека, как Каландаров, можно было ожидать чего угодно.

Случай, о котором шла речь, произошел с председателем колхоза «Бустон» Арсланбеком Каландаровым совсем недавно, всего несколько дней назад.

Началось все с того, что этот, один из знатнейших председателей в районе (сам себя, впрочем, уже давно считавший единственным знатнейшим), купил еще одну новенькую пятитонку. Машина вполне могла попасть и в другой колхоз, но попала она именно к Каландарову, проскочив у других мимо носа, и его по этому поводу просто-таки распирало от радости! Он по-хозяйски прогулялся вокруг машины, по-



хлопал тяжелой рукой по матово-зеленому кузову, на который даже не успела еще осесть первая пыль, велел водителю поднять капот, послушал, как новенький мотор спел ему свою песню, и сам сел за руль. Посадив шофера рядом с собой, он сделал щегольский круг на площади перед правлением, а потом махнул по шоссе к райцентру. Сначала 10 он хотел проехать несколько километров просто так, от избытка сил и хорошего настроения, но гладкое, недавно асфальтированное шоссе так и тянуло прокатиться с ветерком, а Каландаров не любил отказывать себе в исполнении своих желаний.

Он ехал, мурлыча песенку, искоса глядя на летевшие мимо зеленые кусты и деревья и весело вбирая в грудь упругий, свистевший навстречу майский воздух. Тело его радовалось, а дух парил, как вдруг милиционер, торчавший посредине шоссе, нарушил его приподнятое настроение поднятием жезла. Каландаров вздохнул и остановил машину на обочине.

Оказывается, дожди размыли часть дороги впереди, там шел ремонт, и по распоряжению райисполкома всем шедшим в ту сторону порожним машинам предлагалось попутно забирать с собой порцию щебенки. Карьер был рукой подать, милиционер даже показал в ту сторону палкой.

Сдержки Каландаров свои чувства — и все бы обошлось: сидевший с ним рядом шофер, наверно, объяснил бы милиционеру, что машина еще не обкатана и на ней нельзя возить тяжелые грузы. Ну, может быть, еще немножко поспорили бы.

Но милицейская палка, сунутая в колеса его прекрасного настроения, слишком расстроила Каландарова для того, чтобы сдерживаться, он набросился на милиционера, не дав ему и рта раскрыть.

Милиционер обиделся и потребовал предъявить права.

Каландаров пропустил его слова мимо ушей и поехал.

Милиционер вскочил на подножку и ухватился за руль.

Каландаров сорвал с его головы фуражку и колесом пустил ее по дороге.

Милиционер встал перед машиной.

Каландаров вывернул руль и, наподдав милиционеру крылом, умчался на третьей скорости.

Милиционер вскочил на ноги и, раздувая щеки, засвистел так, что, говорят, было слышно даже в районном центре.

А Каландаров в тот же день поехал с повинной в автоинспекцию...

На этом месте своего рассказа Насыров усмехнулся.

— Приехал, разыскал своего приятеля, милиционера, и стал просить у него извинения. А тот, оказывается, уже подал рапорт начальнику. Плохо дело! Но Каландаров не отступил. Уж он упрашивал милиционера и так и этак, подъезжал к нему и с одного бока и с другого: «Умоляю тебя, как мужчина мужчину, не веди меня к своему начальнику, не губи мое мужское достоинство, бери с меня какой хочешь штраф, только не допусти, чтоб я был опозорен!» И ласковый был и нежный и карман свой, говорят, раскрыл широко, как ворота... Словом, не пошел к начальнику! Оказывается, начальником инспекции женщина была... Вот такая история!

Саида злорадно фыркнула.

— Да уж,— сказала она.— Каландаров вот именно из тех председателей, про которых у нас на конференции говорили, что у семи нянек дитя без глазу!

— Ну, без глазу не без глазу, — усмехнувшись, сказал Насыров,— а осадок от встреч с ним у меня остался. Окончательного мнения пока не скажу, предварительное — избалован до крайности! Тут уж я поспорю с кем угодно.

— А что спорить? — сказала Саида.— Ведь раньше товарищ Кадыров — вы только не подумайте, что я хочу о нем плохо отозваться,— так баловал Каландарова, ну просто на руках носил! А почему, скажите, он сбил милиционера? Потому, что ему всегда все с рук сходило! А теперь спросите: почему он извинения поехал просить? Потому, что руководство сменилось. А вдруг не сойдет, как раньше сходило? Только поэтому и поехал! — Саида снова фыркнула,— Неужели правда, в автоинспекции теперь женщина начальник?

Ни Насыров, ни Саида — оба не преувеличивали. Человек, о котором они разговаривали сейчас в кабинете Насырова, действительно был избалован, и избалован давно.

Раз уж мы стали рассказывать о Каландарове, то придется истины ради начать издали, с тридцатых годов, когда жил-был в районе один колхоз, не большой и не маленький, не из самых передовых, но и не из отсталых. Как говорили: крепкий; и его председатель — Арсланбек Каландаров в те времена вовсе не обижался на такое скромное определение. Наоборот, когда в тридцать девятом году кое- кому из председателей дали ордена Ленина, а ему — лишь «Знак Почета», он был доволен и этим и скромно говорил: «Еще поживем, еще заслужим!»

Словом, тогда Арсланбек Каландаров был еще совсем не тем человеком, которого мы впервые в нашей повести встретили на шоссе за рулем новенькой пятитонки...

В сорок втором году в соседнем с Каландаровым большим колхозе «Бустон» были раскрыты крупные хищения. К сожалению, главным проворовавшимся оказался сам председатель. Верили, верили человеку, а он взял да и засунул руку в общий карман.

Тогдашний председатель райисполкома как раз уходил на фронт. Подумал он, подумал — а долго думать было по военному времени некогда — и вызвал к себе Арсланбека Каландарова, скромного председателя скромного, но крепкого колхоза. «Я уезжаю,— сказал он Каландарову,— вас знаю давно, и если бы вы согласились вот тут, не сходя с места, взять на себя колхоз «Бустон», у меня была бы спокойней душа там, на фронте!»

Каландаров очень взволновался и даже немножко испугался перспективы руководить таким большим хозяйством — это был еще не тот Каландаров, каким мы его знаем сейчас,— обнял председателя райисполкома и сказал: «Не знаю, все ли сумею, но все, что сумею, сделаю! Поезжайте, и пусть у вас будет спокойно на душе».

Председатель уехал и через два года был убит, а Каландаров через два года выполнил свое обещание — сделал все, что смог, а смог больше, чем сам думал. Два года он не знал разницы между днем и ночью, но колхоз «Бустон» встал на ноги. И когда председателя райисполкома на фронте посмертно наградили орденом Боевого Красного Знамени, Каландарова наградили орденом Трудового.

Уже незадолго до конца войны уехал на фронт и старый секретарь райкома, а на его место был прислан Рустам Кадыров, очень еще молодой человек, слишком молодой.

Район был большой, секретарь молодой, а колхоз «Бустон» - самый крупный в районе. Всюду побывать трудно, в одном месте бывать легче! Всех людей узнать трудно, одного человека знать легче! И зачастил молодой секретарь в колхоз «Бустон», а в колхозе «Бустон» зачастил к Каландарову: ведь пока всех обо всем расспросишь! А председатель все сразу сам расскажет.

Если при прежнем секретаре чаще слышалось слово «Бустон», чем фамилия Каландарова, то при новом секретаре наоборот: слово «Бустон» слышалось все реже, а имя Каландарова не сходило с уст. Он уже и в первых рядах, как бывало прежде, не сидел на районных

совещаниях, а сразу, привычно шел в президиум. И с разными людьми, приезжавшими из области, даже и из Ташкента, чувствовал себя весьма свободно, перешучивался и переглядывался, сначала просто так, а потом и специально, чтобы все кругом видели!

А потом одна из ташкентских газет напечатала целую статью своего корреспондента о колхозе «Бустон». Эх и статья была! Трудно было удержаться Каландарову, чтоб не вырезать и не повесить ее на самом видном месте, да он и не выдержал — повесил!

Хотя статья и называлась «Бустон», а по-русски — цветник, но цветника в ней никакого не было. Был в ней только один цветок Арсланбек Каландаров. И это, мол, сделано Арсланбеком, и то, мол, им придумано, и се запланировано! Арсланбек, стоя на грядке, скромно улыбнувшись, сказал то-то и то-то! Арсланбек, прищулив свои пронизательные глаза, предложил то-то и то-то!

Секретарь райкома товарищ Кадыров сам привез в «Бустон» газету, обнял Каландарова и в присутствии немножко удивленных колхозников даже назвал его Арсланом — львом колхозных полей! Кто же будет недоволен, если руководящие работники называют тебя львом! Каландарову очень понравилось изречение секретаря. Да и самому Кадырову оно, как видно, казалось удачным. Плохо, что ли, иметь льва в районном масштабе?!

В общем, с той поры Каландаров, а вместе с ним и колхоз «Бустон» окончательно сделались любимцами Кадырова. Да и что греха таить, остальное районное руководство тоже в этом не отставало.

Говорят, что руководящим работникам не положено проявлять к своим подопечным такую вот любовь с первого взгляда, но что поделаешь? Не положено, а бывает! По всякому поводу, а порой и без повода стали районные руководители все чаще направлять свои стопы в «Бустон», а где чаще бываешь, там и дорожка проторена, а по проторенной дорожке и ездить легче. Так одно за другое и цеплялось! Дошло до того, что стало обычаем оказывать «Бустону» и духовную и материальную поддержку за счет других, соседних колхозов; даже и жалобы, говорят, на это были, но ведь, если характер твердый, жалобу недолго и под сукно положить...

Уж гостей бывало в «Бустоне»! Прямо хоть специальную бригаду для их приема выделяй!..

Из области гость приедет — в «Бустон»!

Из республики гость приедет — в «Бустон»!

Приедет в райком фотограф, журналист или писатель, спросит: куда бы поехать? Кадыров повертит пальцем у лба, словно и в самом деле размышляет — куда бы? А сам уже давно решил куда,— куда же еще: в «Бустон»!

И вышло наконец так, что Каландаров оказался под крылышком не только у районных руководителей; и в области и даже в республике достаточно нашлось крыльев, под которыми он мог чувствовать себя в безопасности, или, как в старину говорили, «был огражден от сабли и от пули».

Вот о каком человеке говорили сейчас Насыров и Саида: пересказывать весь их разговор целиком было бы слишком длинно, но конец его все же надо привести полностью, ибо конец этого разговора, в сущности, и есть начало нашей повести!..

— Самое скверное,— сердито сказал Насыров, — что ему удастся делать все, что его левая нога захочет. За три года пять раз в колхозе партийные секретари менялись, и каждый раз та же песня: Каландаров настаивал. Каландаров каждый раз настаивал, а райком каждый раз соглашался. Изберут секретаря из коммунистов колхоза — Каландаров крутит и вертит им как хочет. Изберут секретарем коммуниста, направленного райкомом,— Каландаров его поедом ест, выживает. Да что же это такое, в самом деле? Что ему партийная организация — конь, что ли, на котором можно верхом ездить? Там один бригадир, Зульфакаров,— ты, наверное, о нем слышала,— но рассеянности женился, забыл, бедный, что у него одна жена уже есть, а сам, между прочим, кандидат в члены партии! Когда поставили о нем вопрос на бюро, Каландаров полтора года волынку тянул, всякими правдами и неправдами снимал вопрос с повестки! Ну и правление колхоза он, разумеется, тоже оседлал, одно к одному: едет верхом, да еще и покрикивает!

— Говорят, правда, что сам он неплохой организатор,— наконец вставила словечко Саида, начавшая уж было недоумевать, почему секретарь так подробно делится именно с ней своими мыслями о Каландарове.

— Верно, организатором быть большое дело,—сказал Насыров,— но плохо, когда за организатором организуемых не видно! Ему бы незаметным дождем на посевы падать, а он их, как высокий забор, от белого света загораживает! Бывают у нас еще и такие организаторы.

Насыров замолчал и сердито и быстро пробарабанил пальцами по

столу обрывок какой-то песенки.

Подумав, что разговор окончен, Саида поднялась.

— Сидите,— остановил ее Насыров.— Это все так, предисловие, самого главного я вам еще не сказал. Мы вчера посоветовались на бюро и решили рекомендовать нового секретаря в колхоз «Бустон». И знаете кого? Вас. На годик хотя бы, пока в самом колхозе не подготовите себе добрую смену.

Саида привстала, совсем по-детски, широко раскрыв от изумления глаза и рот, обхватила руками голову и, можно сказать, упала на стул.

— Тахирджан-ака! — только и смогла проговорить она.

Насыров рассмеялся.

— Знал, что удивитесь, но не думал, что испугаетесь.

— Но ведь я... разве я справлюсь? Нет! — воскликнула Саида с горькой убежденностью.

— Это почему же?

— Да ведь Каландаров меня и всерьез не примет!

— А это уж его дело! Скажу вам по секрету, что к нам недавно приезжали несколько коммунистов из колхоза «Бустон» и вполне серьезно просили нас рекомендовать им нового человека на пост секретаря. И мы тоже вполне серьезно хотим рекомендовать вас. А уж всерьез или не всерьез примет вас Каландаров, — это, повторяю, его дело.

Саида молчала, повесив голову.

— Давайте, давайте, возражайте, пока не поздно! — по-прежнему весело поддразнил ее Насыров.

— Да как же это, ведь я женщина...— вдруг чуть слышно сорвалось у Саиды, прежде чем она успела прикусить язык.

— Ой, ой, ой, доченька, вот уж от кого не ожидал этих жалких слов,— сказал Насыров, изобразив в голосе страшное удивление, хотя на самом деле был совсем не так уж удивлен.— «Я женщина, существо слабое и беззащитное...» Не это ли намеревались мне сказать? Или я ослышался? Ах, как хорошо мы вместе с вами научились осуждать старинный взгляд на женщин как на слабые существа, не заслуживающие лучшей участи! Ах, как мы научились гневаться на калым, многоженство и считать все это оскорблением не только женщин, а куда там — всего человечества! Но вот мы от слов переходим к делу, и это дело поручают вам, и вы спешите мне заявить, что вы слабая женщина!.. Конечно, вы не богатырь, так же, впрочем, как и я, но неужели

же вы, девушка, коммунистка, не чувствуете, что, если вам будет трудно, за вашими плечами встанет общество, партия, государство? Неужели у вас нет этого чувства? Если нет, то, конечно, какой из вас секретарь! Вы и в личной жизни без этого чувства не сможете сделать смелого шага! А что уж там говорить о споре с таким львом, как наш Арсланбек Каландаров! Нет, видно, плохо вас воспитал комсомол и в партию передать поторопился... Если, конечно, я не ослышался, если вы действительно слабая, незащитная женщина...

Саида подняла голову и выпрямилась гордо, даже чуточку сердито.

— Простите, Тахирджан-ака, это просто у меня нечаянно с языка сорвалось. Конечно, я растерялась, потому что все-таки это слишком неожиданно! Но я сделаю так, как решит бюро. И я ничего не боюсь. Нет, неправда, боюсь, но это неважно! Подумайте только о положении моей семьи. Не помешает ли оно... Я не отказываюсь, но прошу вас подумать.

Но Насыров, кажется, не собирался думать. Наверно, он подумал уже раньше, а сейчас собирался ответить, и ответить сразу...

Однако ему помешали: дверь кабинета скрипнула, и в ней появилось худощавое лицо Арсланбека Каландарова и его известные на весь район длинные, как сабли, черные усы.

— Можно войти? — сказал Каландаров с видом человека, спрашивающего «можно» только из вежливости,— Вы, говорят, были без меня в колхозе...

Пожалуйста, пожалуйста,— радушно сказал Насыров.— Вы как нельзя более кстати...

Саиде показалось, что он при этих словах чуточку, самую малость, усмехнулся. Впрочем, может быть, она и ошиблась.

— А вы,— обратился он к Саиде,— обдумайте все, что я сказал вам, а закончим наш разговор послезавтра.

Саида, выходя из кабинета, помимо своей воли,— хоть, как говорят, это и не пристало девушке,— остановила на Каландарове такой долгий взгляд, что он даже оглянулся. Грозный председатель не показался ей на этот раз таким уж грозным — только усы у него были действительно, как у льва. Что правда, то правда!

Саида вышла из кабинета секретаря со странным чувством. Хотя она и привела в качестве довода свое семейное положение, но сейчас не только не перила, что бюро признает ее довод уважительным, но в глубине души даже не хотела этого. Представить себя секретарем

партийной организации «Бустона» ей было не только страшно, но и — вообразите себе! — радостно.

Весь конец рабочего дня прошел как в тумане; что бы ни делала Саида — отвечала ли на телефонные звонки, бегала ли в кабинет и из кабинета с разными бумажками, — она толком не видела и не слышала, что происходит вокруг нее.

Дела шли своим чередом, а тем временем в мыслях своих Саида уже шла по колхозным полям в сапогах и ладно сидевшей на ней гимнастерке. И где бы она ни показывалась, всюду ее окружали колхозники, говорили с ней обо всем, что у них накопилось в душе, слушали ее собственные зажигательные речи, стараясь не проронить ни звука.

Словом, к тому времени, когда красный и злой Каландаров выскочил из секретарского кабинета, Саида уже наладила партийную работу в колхозе, завоевала себе прочный авторитет и только еще колебалась, как дальше повести дело с председателем: добиться окончательного исправления, не снимая с должности, или перевести его на общем колхозном собрании из председателей в бригадиры?

Совершенно не подозревавший всего этого Каландаров прошел мимо Саиды как ни в чем не бывало и, искоса глянув на нее, буркнул: «Салам».

Разговор с секретарем был, видно, из тех, что на время отшибают память. Каландаров просто-напросто забыл, что уже видел сегодня Саиду и даже здоровался с ней в кабинете секретаря.

Однако Саида поняла его вторичное приветствие по-своему: «Наверное, Насыров сказал ему обо мне!»

Шел уже одиннадцатый час, когда Саида вернулась домой. Тетка Саиды сидела во дворе на глиняном возвышении, которое называют супой, и дремала, заждавшись племянницы. Отец Саиды

Али-бобо сидел на своей сплетенной из веревок кровати и, отвернувшись лицом к дувалу, как всегда, раскачивался из стороны в сторону, тихо и мерно, словно читал наизусть Коран.

Много лет назад Али-бобо зарезал свою жену, и Саида выросла на руках вот у этой самой, сидевшей сейчас во дворе, тетюшки Тутынисы.

Сколько же лет было тогда Саиде? Этого она не помнит, смутно помнит только, что в тот вечер была большая-пребольшая луна и они со старшей сестрой Каримой и другими девчонками и мальчишками квартала бродили от калитки к калитке и пели. Саида, вырываясь из хора, выводила песенку своим тонким и чистым голоском, и вдруг



сзади, с их двора, раздался чей-то вопль, полный смертельной тоски.

Сестры побежали домой. Там уже никто не кричал. Все было тихо, только висевшая на айване керосиновая лампа раскачивалась, словно ее только что задели, и мутное пятно света то взад, то вперед проползало по земле...

Подойдя ближе, Саида увидела на пороге айвана чье-то лежавшее навзничь тело со странно повернутой в сторону головой.

— Ой, мама, что с вами, встаньте! — вскрикнула Карима и потянула лежавшую за руку. Саида тоже бросилась к матери, но поскользнулась и упала в лужу крови.

Остальное Саида не помнит. Она пришла в себя уже в соседнем кишлаке, в доме тетушки Тутынисы. О том, что случилось, ей уже много позже рассказала старшая сестра: их мать поступила на открывшиеся при сельском совете курсы по ликвидации неграмотности, отец был против; он избил ее и запретил ходить. В тот кровавый вечер мать пошла заниматься тайком.

Суд приговорил отца Саиды к расстрелу, но в Ташкенте приговор заменили десятью годами заключения.

Так рухнула их семья. Продав оставшийся сиротам дом, Тутыниса уехала с ними в свой родной кишлак. Уже там, как раз в год, когда началась война, Карима окончила десятилетку и поехала учиться в Самаркандский медицинский институт.

Все шло своим чередом. Окончив институт, Карима поехала работать врачом в Мирзачуль, в Голодную степь, и через два года вышла там замуж за райкомовского работника.

Жизнь и смерть, как всегда, шли об руку, сменяя друг друга: в годы войны пришло извещение о гибели сына тетушки Тутынисы, а вскоре после войны умер ее муж. Теперь, в свою очередь, Карима решила взять к себе осиротевшую тетку, а вместе с ней и все еще жившую у нее Саиду.

Шли годы... Саида тоже окончила десятилетку, стала комсомольским работником... Как-то летом Карима поехала с мужем на курорт и там встретила с двумя своими односельчанами. Слово за слово — и вдруг Карима услышала от одного из них, что он два года назад своими глазами видел ее отца. Отбыв срок наказания, отец вернулся в родные места и работал чистильщиком сапог на станции Карасу...

Перед глазами Каримы снова возник тот страшный кровавый вечер, но вдруг она, содрогнувшись, представила себе отца,

склонившегося в пыли вокзала над чужими сапогами, седобородого, старого, всеми забытого. Страшное воспоминание и горькое воображение столкнулись в ее бедном, растерявшемся сердце, она залилась слезами, и настоящее в конце концов победило прошлое! Не дожив в санатории неделю, Карима с мужем уехали. Муж сошел в Мирзачуле, а Карима поехала дальше, прямо в Карасу.

Когда поезд прибыл в Карасу, было утро. Она обежала перрон, торопливо вышла на привокзальную площадь, подошла к чайхане, снова вернулась на перрон — отца нигде не было. Она как потерянная бродила по станции — ведь отца видели здесь два года назад! Мало ли что могло случиться за эти два года...

Однако в середине дня, когда она уже почти потеряла надежду, вдруг вдали показался высокий старик. На плече у него висел черный сундучок, в руке он нес стул. Старик медленно шел, приближаясь к Кариме.

Да, это был он. На голове старая, облезлая тюбетейка, на ногах солдатские ботинки, китель с чужого плеча, потертое на коленях галифе; плечи согнулись, борода побелела... и все-таки это был он!

Опустив на грудь голову и надтреснутым голосом бормоча слова какой-то незнакомой Кариме печальной песни, он прошел мимо нее в двух шагах, дошел до середины перрона, поставил свой стул рядом с газетным киоском, сел, раскрыл сундучок, вынул щетки, баночки с ваксой...

Сначала Карима хотела издали понаблюдать за ним, но не выдержала и подошла. Услышав, что кто-то приблизился к нему, старик, не поднимая головы, застучал по ящику щетками в такт песне, которую он бормотал себе под нос. Стук щеток звал прохожего поставить ногу на сундучок.

Карима наклонилась, она хотела прошептать, но вместо этого вскрикнула:

— Отец!

Старик замер. У него был такой вид, словно его ранило пулей и он не знает, жив ли еще или это пришла смерть. Потом он, медленно подняв голову, исподлобья посмотрел на Кариму. У него были красные, воспаленные глаза, и в них стояли слезы.

Карима нагнулась еще ниже, хотела что-то сказать — она еще сама не знала что,— но старик именно в эту секунду ничком повалился перед ней на колени и страшно, навзрыд заплакал.

Карима с неизвестно откуда появившейся у нее неженской силой оторвала отца от земли и подняла на ноги. Теперь он стоял перед ней и продолжал плакать.

На какое-то мгновение слезы подступили к горлу у нее самой, но видение того страшного вечера вдруг остановило их, а поднявшаяся из глубины сердца ледяная волна смыла и унесла слезы, словно они и не подступали к горлу. Карима взяла себя в руки и, оглянувшись на нескольких уже приближавшихся к ним зевак, сурово сказала отцу: «Идем».

Старик молча пошел за ней, даже не сделав попытки нагнуться и забрать свой стульчик, ящик, щетки. До самой посадки в поезд они молча сидели рядом на скамейке в углу набитого людьми вокзала. Отец молчал, Карима тоже молчала. Так же молча вошел он в вагон, так же молча забился там в самый дальний угол.

С этого дня старик жил здесь, в Мирзачуле. Не было случая, чтобы он сам заговорил с кем-нибудь; когда же обращались к нему, он всегда отвечал односложно и коротко, не поднимая головы. На улицу он почти не выходил, а к вечеру, переделав все работы по дому, усаживался на свою плетеную кровать лицом к дувалу и начинал раскачиваться и бормотать что-то себе под нос.

Недавно мужа Каримы перевели на работу в Беговат. Кариме тоже надо было уезжать. Она хотела увезти с собой и отца, но старик был глух и нем ко всем разговорам о переезде. Он больше никуда не хотел двигаться!

Так вот и вышло, что Саида осталась в Мирзачуле со своим отцом и тетушкой Тутынисой вплоть до того самого дня, с которого началась наша повесть...

Как мы уже сказали, тетушку Тутынису одолевал сон, но в то же время ее одолевало любопытство: что-то это такое с Саидой? Чему она так рада, почему ее губы то и дело сами собой растягиваются в улыбку? Тетушка уже несколько раз примерялась, как бы исподволь выяснить это, но Саида уклонялась от ответа.

Почему, спросите вы? Потому, что Саиде пришла в голову простая мысль: вдруг она все расскажет тетушке Тутынисе, а та сразу спросит: «Неужели ты уедешь и оставишь меня одну с твоим полоумным отцом?» — и заплачет во весь голос. Тетушка Тутыниса если и плачет изредка, то уж непременно во весь голос.

Обе женщины улеглись, но сон не шел к Саиде. Она все соображала,

с чего ей начинать, если она поедет в колхоз, и наконец решила: надо записать сейчас все, что ей придется делать, а то ведь потом, когда начнется работа, некогда будет причесаться, не то что записывать!

От этой мысли ее охватило такое нетерпение, что она тут же засветила лампу, достала из комода самую толстую тетрадь и на самой первой ее странице записала: «Провести беседы с бригадирами. Вопрос о лекциях. Вопрос о проверке исполнения. Немедленно расследовать дело Зульфакарова...» Заполнив подобным образом целые три страницы, Саида немножко успокоилась, сунула тетрадь под подушку и задула лампу. Но стоило ей оказаться в темноте, как все новые и новые мысли стали приходить в голову одна за другой, причем каждая последующая была важнее предыдущей. Словом, Саида опять вскочила, вытащила тетрадь, зажгла лампу, и вставшая рано утром тетушка Тутыниса застала ее лежащей в постели и что-то торопливо строчащей карандашом в своей тетради.

Наверное, она писала там что-то очень интересное и смешное, иначе разве человек станет улыбаться самому себе, когда он пишет?

Обнаружив, что тетушка Тутыниса подглядывает за ней, Саида рассмеялась и сладко потянулась: только сейчас наконец ей захотелось спать.

— Что-то это ты все пишешь, дочь моя? — спросила любопытная тетушка Тутыниса.

— Ах, если я вам скажу, вы заплачете.

— Вот как, ты смеешься, а я буду плакать?

Саида закрыла тетрадь, собралась с духом, а уж собравшись с духом, без запинки, быстро-быстро выпалила все тетушке Тутынисе.

Есть у нас в стране и женщины — государственные деятели, и женщины-академики, и женщины-артистки, — словом, есть женщины, которых знает вся страна, и этому уже давно перестали удивляться, не удивлялась и тетушка Тутыниса, но все это одно дело. А совсем другое, когда не кто-нибудь, а именно твоя племянница должна ехать партийным руководителем в самый большой в районе колхоз. Вот это уж событие так событие! Такое не сразу в голове умещается.

Саида немножко боялась разговора с тетушкой Тутынисой, но она ошиблась: старуха, изведавшая на своей судьбе всю горечь прошлого, так щедро наделявшего женщин своей немилостью, не только не была огорчена, а, напротив, горда за свою племянницу. Она крепко обняла Саиду и поцеловала ее в глаза.

— Зачем же мне плакать, доченька! И не подумаю плакать, рада буду, что ты так высоко вознесешься!

Бюро райкома состоялось на следующий день. Насыров перед заседанием еще раз поговорил с Саидой, получил ее согласие и только после этого вызвал к себе Каландарова и сказал ему, что райком подобрал хорошего человека на давно пустующую у него в колхозе должность заведующего клубом. Одновременно этого же человека райком рекомендует в секретари партбюро.

На этот раз Каландаров выскочил от Насырова не красный, а бледный. Подойдя к столу Саиды, он посмотрел на нее в упор и сказал не грубо, а еще хуже — презрительно:

— Такая слабенькая! Не надорветесь ли?

Как раз в эту минуту в приемную вошел закадычный приятель Каландарова Уммат Назаров — председатель соседнего колхоза «Социализм».

Не став дожидаться ответа Саиды, которая, по правде говоря, была даже рада этому, ибо все еще не нашлась что ответить, Каландаров потянул дружка в коридор и там, притиснув к стене, стал изливать свое горе.

— Посылают мне секретарем какую-то девчонку, когда у нас здоровых мужиков в полном соку хоть пруд пруди! Еще так-сяк, если б в кишлаке людей не было,— на нет и суда нет, и козла муллой назовешь! Но нет же у нас такого положения! А тогда зачем нам она? Просто позор и несчастье, да и только!

Назаров огляделся, нет ли кого поблизости, и, слегка выпучив глаза — он всегда так делал, когда что-нибудь казалось ему опасным,— тихо сказал:

— Зачем так говоришь? Думаешь, девушка слабенькая, как листочек,— подул и с ветки сдул? Смотри не ошибись! Она грамотная, комсомольским секретарем была, теперь в райкоме помощником работает. Слышал, даже инструктором хотели сделать. А не выйдет, что мы с тобой сами себе кажемся богатырями, но положи нас на одну чашу весов, а такую вот пигалицу на другую, вдруг, чего доброго, возьмем да и взлетим к небу вверх тормашками!

И осторожный Назаров насмешливо склонил набок голову, так и не дав своему другу до конца понять, серьезно он говорит или шутит.

А еще через день Саида выехала в «Бустон». Алибобо внес ее чемодан в автобус и, бормоча себе под нос свою вечную печальную

песенку, стоял на остановке до тех пор, пока автобус не скрылся из глаз.

## 2

Когда Каландаров, бледный, вышел из кабинета Насырова, когда он сказал «такая слабенькая» и, наконец, когда он ушел шептаться с Назаровым в коридор, Саида поняла, что он не только не доволен рекомендацией райкома, но даже и не желает скрывать этого.

Саида с радостью сразу бы выпалила это товарищу Насырову. но боялась, что он поднимет ее на смех: «А, уже жалуетесь!» Однако она не теряла надежды все же выбрать подходящую минуту и поделиться с Насыровым своими мыслями. Такая удобная минута, по ее мнению, должна была наступить перед самым отъездом: ведь, разумеется, он еще раз побеседует с ней, проинструктирует, как ей быть на первых норах, и, наверно, скажет, чтобы заходила к нему, если будет трудно.

Но все вышло совсем не так. Когда она, как школьница, робко держа в руках толстую тетрадь, вошла в кабинет к Насырову, он даже и сесть ей не дал, наоборот, сам вскочил так быстро, словно у него и минуты для нее нет, протянул ей руку и коротко пожелал доброго пути.

Саида, по правде сказать, обиделась: неужто у секретаря райкома, да еще у такого старого партийного работника, не нашлось чем напутствовать молодого коммуниста, посылаемого не на такую уж легкую работу?

Словом, Саида уехала в колхоз с не больно-то веселыми думами о своей неопытности и о своих будущих отношениях с Калан-даровым. И чем дальше она ехала, тем мысли о неопытности беспокоили ее все меньше, а мысли об отношениях с Каландаровым — все больше. В самом деле: нет опыта — приобрету, ошибусь — исправлю, не знаю — узнаю, не маленькая! Ну, а что, если с самого начала окажусь на ножах с Каландаровым, что тогда? Жаловаться? Но в единоборстве с таким человеком это вряд ли поможет делу...

У автобусной станции, где Саиде предстояло пересесть с одного автобуса на другой, она встретила своего старого знакомого Агзамджана — корреспондента республиканской газеты, часто бывавшего у них в райкоме. Агзамджан и еще двое молодых людей, по виду студентов, как раз усаживались за шашлык в тенистой чайхане, рядом с автобусной станцией. Увидев Саиду, они пригласили ее посидеть вместе с ними, пока не подойдет автобус.

Обычно когда в мужской компании оказывается толковая девушка, которой палец в рог не клади, мужчины или молчат набрав в рот воды, или, напротив, становятся очень уж болтливы.

До самого отъезда Саиды Агзамджан буквально не закрывал рта, правда, его немножко выручало то, что он был от природы не только разговорчив, но и остер на язык. За всеми смешными пустяками, которыми он так и сыпал, словно из мешка, чувствовалось, что он исходил и изъездил всю область вдоль и поперек и знает в ней каждый колхоз и каждого председателя.

Услышав, что Саида едет в «Бустон», Агзамджан сразу же рассмешил всю компанию рассказом о том, как Каландаров встречает гостей: если к нему приезжает гость так себе, не из важных, то Каландаров зовет состоящего при нем на побегушках сторожа, крича ему: «Ишан!» — и это означает побыстрее пару лепешек и чаю! Если же Каландаров кричит не просто «Ишан!», а «Эй, Ишан!» — это уже означает: придется готовить плов! Ну, а уж когда он крикнет: «Ишан, эй!» — тут дело серьезное, это значит: беги ко мне домой, скажи хозяйке, что веду важного гостя!

С улыбкой вспоминая этот рассказ и невольно гадая, что же именно крикнет Каландаров своему человеку на побегушках, когда она явится в колхоз, Саида незаметно добралась до места. Она сошла с автобуса и с небольшим, но тяжелым чемоданом в руках вошла в открытые железные ворота колхозного сада. Еще шагов пятьдесят — и она прямо наткнулась на Каландарова: он сидел на деревянном помосте под развесистым карагачем и болтал ногами. Увидев Саиду, Каландаров довольно любезно улыбнулся, но с места не сдвинулся, а длинные ноги его заболтались еще сильнее.

«Чтоб тебе пусто было,— подумала Саида,— Что не признаешь меня как будущего партийного секретаря — ладно, но ведь я как- никак женщина! Взять у меня чемодан небось руки бы не отсохли!»

Саида подошла к карагачу и, подняв чемодан, нарочно грохнула его на помост под самым носом у Каландарова и только после этого протянула ему руку.

— Как добрались? — и бровью не поведя спросил он.

— Спасибо.

Вот и весь разговор! Саида чувствовала себя не больно-то ловко, а Каландаров, видя это, кажется, испытывал полное удовольствие. Наконец, насладившись ее растерянностью, он проговорил, лениво

поглядывая на небо:

— Ну что ж, будете жить припеваючи! По правде говоря, у нас работы для секретаря партийной организации почти что и нету. Хлопок у нас каждый год — сто! Шелк — тоже сто! Ни на одну ногу не хромаем. Да вы и сами, наверное, знаете, а то небось не согласились бы и ехать?

Дорого бы дала Саида, чтобы ей удалось прямо с первого слова срезать Каландарова. Но как это сделать, как? Его слова означали, что здоровому человеку докторов не нужно!

Снова неторопливо насладившись молчанием Саиды, Калан-даров наконец картинно повернулся к зданию правления, белевшему позади, за пышным цветником, и лениво крикнул:

— Ишан, эй!

На душе у Саиды немножко полегчало. Если корреспондент не перепутал, то, кажется, она все-таки важная гостья!

Из летней чайханы, примыкавшей к зданию правления, выбежал юноша в цветной расшитой тубетейке и шелковой рубахе и как лист перед травой стал перед Каландаровым, смиренно сложив руки на животе.

Впрочем, Саиде только в первую секунду показалось, что это юноша, больно уж прытко бежал к председателю. На самом же деле Ишан был отнюдь не юношей, а пожилым мужчиной, правда, безусым и безбородым. Шея у него была похожа на шею старой черепахи, лицо на ягоду винограда, начавшую высыхать в кишмиш, и только черные волосы блестели совсем как у молодого, прямо под стать лакированным туфлям на его ногах.

— Снеси-ка чемодан в ту комнату (после слова «ту» Каландаров сделал длинную загадочную паузу, которую можно было бы понять и так и эдак). Убрал там?

— Убрал, Бек-ака.

— А прибил какие-нибудь там картинки?

— Прибил...

— Может, сходите с ним, посмотрите? — спросил Каландаров у Саиды.

Ишан повел Саиду через сад к маленькому домику, спрятанному в разросшейся вокруг него старой вишне. Поставив чемодан у порога, Ишан скрылся быстрее лани.

Радоваться было нечему. Переступив порог «той» комнаты, Саида



увидела сырой земляной пол и стены не то что побеленные, а кое-как за пять минут помазанные венником. Вдобавок ко всему в комнате царил стойкий запах гнили. Мебель состояла из погнутой железной койки с измятым несвежим одеялом, колченого стола, судя по его виду, не одну весну и осень простоявшего на улице, и двух табуреток, под стать столу.

Картинки, прибитые к стенам двухвершковыми ржавыми гвоздями, изображали каких-то вредителей хлопчатника, породистую свиноматку и малярийного комара, очевидно, в целях большей назидательности увеличенного до размеров доброго поросенка.

Достав из чемодана свои вещи, Саида на скорую руку прибрала комнату, завесила двумя газетами окно и переделалась с дороги. Едва она успела это сделать, как в дверь заскреблась кошка,— так ей показалось в первую минуту. После этого предварительного кошачьего царапанья в дверях показалась голова Ишана — председатель звал ее.

Саида застала Каландарова в той же самой позе, в которой оставила его. Только теперь он был не один. Какие-то двое парней, стоя рядом с ним, спорили, перебивая друг друга, и Каландаров так старательно слушал их, что ему удалось, по крайней мере, в течение пяти минут не замечать торчавшую перед самым его носом

Саиду. Наконец он все-таки счел нужным увидеть ее, но и теперь обратился не к ней, а к Ишану.

— Вы пока идите, я догоню...

Саиде показалось неудобным слишком долго идти молча, и она спросила Ишана, шагавшего перед ней, как сорвавшийся с места верстовой столб:

— А вы кем работаете в колхозе?

Наступила длинная пауза, потом внутри Ишана что-то забулькало, и, словно со дна пустой бочки, до Саиды донеслось его глухое бормотанье:

— Я старший чайханщик.

Кажется, вопрос пришелся ему не по вкусу.

Задавать ему другие вопросы Саиде уже не захотелось, и они молча дошли до высоких ворот в самом конце улицы.

Двор каландаровского дома был обширен, сам дом велик, но на всем лежала печать какой-то безалаберщины, словно хозяин и любит навести красоту, но в то же время у него не хватает на это ни вкуса, ни терпения.

В центре двора был вырыт большой хауз, но посередине его, в не слишком чистой воде, плавали полуразмокшая коробка из-под торта и кусок фанеры. Виноградник был большой и, кажется, хороших сортов, но проволока пообрывалась, и половина лоз лежала на земле. Грядки заросли сорняками, плодовый сад — осокой; беседка была когда-то выкрашена красивой голубой краской, но сейчас эта краска пошла подтеками; на террасу вела широкая лестница, но перед ней валялась коряга с загнанным в нее ржавым топором, а рядом — такая же ржавая пудовая гиря.

Пока Саида рассматривала все это, Ишан старательно откашливался, давая знать о своем прибытии. Высокая женщина в голубом платке, повязанном под подбородком, разводившая огонь в тандыре, мельком оглянулась через плечо на Саиду и продолжала заниматься своим делом. Наконец в дверях одной из выходящих на террасу комнат появилась толстая женщина с отвислым подбородком и лоснящимся лицом.

Платье из хан-атласа стояло вокруг нее колоколом.

Одним духом равнодушно выложив весь набор приветствий, положенных при встрече гостей, она пригласила Саиду в дом. Переступив порог вслед за хозяйкой, Саида увидела под ногами красный, как кровь, ковер и сняла туфли. В комнате у низенького столика, заставленного блюдами и вазами с фруктами, печеньем и конфетами, стояла еще одна женщина, сравнительно молодая, во всяком случае моложе хозяйки; на ней было желтое нарядное платье, а поверх платья — коричневая жакетка с несколькими орденами. Женщина поздоровалась с Саидой и, не выпуская ее руки, посадила рядом с собой на атласную подстилку, украшавшую почетное место за столом.

«Я где-то видела ее»,— подумала Саида, но хозяйка уже знакомила их, называя женщину с орденами Таджихон и объясняя ей, что Саида приехала сюда в колхоз из района на работу.

— А я вас знаю,— сказала Таджихон, слегка касаясь руки Саиды,— видела вас в райкоме.

— Я тоже...— начала было Саида, но хозяйка перебила ее:

— Ну, конечно, кто же не знает Таджихон Джафарову из колхоза «Социализм»? Сколько орденов у вас, Таджихон? Раз, два, три! — И она стала считать ее ордена, как будто только сейчас их увидела.

Таджихон рассмеялась.

— На ордена места хватило, а медали завязала в узелок,— и

Таджихон в самом деле показала на узелок, лежавший рядом с ней на подушке.— Мы ездили в колхоз Ленина с взаимопроверочной бригадой, так мне специально велели передать просьбу: все награды надеть!

Женщины посмеялись, и хозяйка, которую Таджихон почтительно, как старшую, называла Хурниса-апа, вышла в другую комнату. Гости остались вдвоем, и Саида наконец осмотрелась.

Комната напоминала двор — то же стремление навести красоту и то же отсутствие вкуса и порядка. Белые крепдешиновые занавески на окнах были измяты и висели вкривь и вкось. У окна стоял большой и довольно красивый письменный стол, но он весь был заставлен чайниками с воткнутыми в носики бумажными цветами. Кроме чайников на столе разместился еще медный начищенный самовар и красный патефон с покоробившейся крышкой. Впритык к столу стоял дорогой трельяж с круглым пятном от горячего чайника на полированной поверхности. На трельяже пристроилась керосиновая лампа, рядом с ней лежал кусок стирального мыла, а кругом валялись обгорелые спички.

Саида подумала, что хозяин дома, должно быть, стремится, чтобы все вокруг было красиво, но это стремление, видимо, не находит поддержки у хозяйки.

Хурниса принесла из соседней комнаты еще одну вазу с конфетами. Как раз в эту минуту Саида разглядывала висевшие на стене фотографии: два портрета Каландарова со всеми орденами и медалями на груди и карточку какого-то мальчика с большой головой на тонкой шее» с оттопыренными ушами и удивленно вытаращенными глазами.

Кажется, хозяйка не любила молчания, во всяком случае, она стала давать разъяснения прямо с порога:

— Это Арсланбек-ака, последний его портрет, когда он снимался на съезде хлопкоробов. А это Казимбек — наш сын, еще в школе, а сейчас он уже закончил медицинский институт, уехал в отпуск в Москву и, как только вернется, начнет работать врачом у нас в колхозе.

При слове «врач» в представлении Саиды возник большой взрослый человек, не имеющий ничего общего с этим ушастым мальчиком на карточке.

— Врач? — удивленно переспросила она,— Разве у вас сын уже такой взрослый? Вы же сами еще молодая...— Саида чуть-чуть покривила душой, хотя и на самом деле, когда взгляделась в лицо

хозяйки, подумала, что без этих обезобразивших его складок жира оно еще не так давно было и молодым и красивым.

— Ах, где там,— томно сказала хозяйка и тряхнула головой. Ее толстые щеки колыхнулись.— Совсем постарела, скоро бабушкой буду. Ну да что об этом, попробуйте-ка самсы! — Она сделала

вид, что хочет перевести разговор, хотя на самом деле только и ждала, чтобы Саида сказала ей еще что-нибудь приятное.

К сожалению, Саида не поняла ее и вместо этого похвалила самсу.

— Да, скоро с внуком буду,— сказала хозяйка, пытаясь вернуться к приятной для себе теме.

— Что, разве уже невестку ввели в дом? — спросила Таджихон.

— Скоро введем. Казимбек, правда, упрямится, но ничего, придет осень, и сам не заметит, как я его окучу! Я была бы глупой матерью, если бы выпустила такую девушку из рук!

— А откуда невеста? — спросила Таджихон.

— Невеста своя нашлась,— ответила Хурниса и, чуть понизив голос, кивнула на дверь, выходящую во двор.— Дочь нашей Кифоятхон, сейчас в Ташкенте учится, и какая красавица, что за пара будет! — Она поглядела на Таджихон и таким тоном, словно забыла спросить что-то самое важное и теперь исправляет свою ошибку, сказала: — Как твой муж-то, не сильно обижает?

Таджихон покраснела, покосилась на Саиду и, сделав усилие над собой, рассмеялась:

— Да разве муж, который не обижает жену, достоин звания мужа? — В смехе ее прозвучала горечь, а глаза стали печальными.— Неужели правда, мужчины всасывают в себя это вместе с материнским молоком?.. Второго мая опять устроил мне сцену! Пригласили гостей, а я так за день намаялась с приготовлениями, что к вечеру сама была не рада; и когда закипел самовар, я возьми да и попроси его заварить чай. Что было! Какую беду на себя накликала! Я, мол, не в твоей бригаде, можешь не помыкать мной! Я уж и так и эдак: что ты, да как ты мог подумать!.. Куда там!.. Чайник швырнул на землю, самовар свалил, хватил себя кулаком по лбу, потом, мало этого, начал биться головой о край помоста, да как — в кровь!..

Саиде показалось, что она чего-то не поняла.

— Подождите, а зачем это он, для чего? — спросила она.

— Вот именно — для чего? — вздохнула Таджихон.— Расскажешь — так не поверят: что бы я ни сделала, что бы ни сказала, на все один

ответ: «Хочешь растоптать меня, унижить, показать, что ты бригадир, а я никто, что твоя власть!» За год со мной ни разу никуда не пошел, а если я одна куда-нибудь пойду, такое начинается!.. Раньше меня бил, теперь сам себя бьет или целыми днями отказывается есть. Два раза уходил в Шуркишлак к своей тетке, а я, как дура, бегу за ним! Ведь если не выйдет на работу, то все всем сразу станет известно.

— А кем он работает? — спросила Саида.

— У нас же счетоводом. Двое детей от него, и старшему уже шестнадцать. Иногда оглянешься назад — сколько же лет все это тянется? И сама себе удивишься. Правда, когда-то немножко другим был, но как только назначили меня бригадиром, сразу пошло-поехало...

Таджихон положила на колени свои сильные, большие руки, зажмурила глаза и устало потянулась.

— Иногда думаю: брошу его! А потом опомнишься: нет, нельзя, людям подолом рты не закроешь! Еще скажут, что я из-за своих орденов мужа бросила.

— Как на подбор, все, кто у меня учились, вышли в люди! — вдруг и вовсе некстати сказала хозяйка.— И Таджихон я тоже учила грамоте в вечерней школе!

— Правда? — с невольным удивлением спросила Саида и, хотя внутренне была уверена, что эта рыхлая болтливая женщина вряд ли чем-нибудь сейчас занята, а главное вряд ли способна чем-нибудь заняться, все же спросила: — Вы и сейчас учительница?

Но Хурниса сделала вид, что с головой ушла в воспоминания; это помогло ей не расслышать вопроса.

— Все они выросли у меня,— самозабвенно болтала она.— Все вышли в люди! Одна теперь председатель колхоза, другая заведует районным отделом культуры, третья — депутат, а Ход- жар — ты помнишь ее,— кивнула она Таджихон,— недавно приезжала к нам, говорят, что для звания Героя у нее всего тридцать одной тонны не хватило!

В словах Хурнисы была гордость, но не за тех, кого она «вывела в люди», она гордилась собой, своей ролью в этом деле. Ее гордость была какая-то жалкая: чувствовалось, что она теперь очень завидует всем этим женщинам, о которых говорит, и с горечью сознает, что сама уже давно потеряла то место, которое когда-то занимала.

С разговора о женщинах, которых она вывела в люди, Хурниса, впрочем, довольно быстро перескочила на другие темы. Знаний у нее

было очень немного, но она сама так высоко их ценила, что готова была судить буквально обо всем, о чем когда-нибудь и где-нибудь слышала хотя бы краем уха: о науке и об искусстве, о городе и о деревне, о политике и о медицине. У нее был жалкий апломб человека, который сам давно не замечает того, как он безбожно перевирает и путает все, слышанное им. А в общем все-таки нельзя сказать, что ее болтовня не имела своей логики. В конце концов у нее была цель: доказать собеседницам, что ее муж, Арсланбек Каландаров,— справедливейший из земных царей, а сама она — великий визирь при нем!

Наконец, когда Саида, перестав удивляться, начала злиться, пришел Каландаров.

Должно быть, самолюбиво стремясь показать перед гостями свое влияние даже на такого великого человека, жена стала выговаривать мужу:

— Наконец-то мы вас дождались, все-таки пришли! И когда наконец вы бросите свою привычку опаздывать?

Против ожидания Саиды Каландаров и бровью не повел, обратил все в шутку.

— Когда человеку много лет,— сказал он,— у него появляется столько дурных повадок, что он уже не знает, какую бросать сначала, какую потом. Когда верблюда спросили: «Отчего у тебя шея кривая?» — он, говорят, ответил: «А мою спину вы не заметили?»

— Ну как? — обратился он к Саиде и Таджихон.— Не скучно вам у нас?

Они, разумеется, ответили — нет, не скучно! А он, присев поближе к выходу, наскоро проглотил пару самсы, выпил две пиалы чая и попросил извинения.

— Угощайтесь, а я схожу еще на часок в правление — дела!

— А ведь жара спала,— уже уходя, повернулся он к жене.— Неплохо бы вам, хозяйшка, приготовить место для гостей на ветерке, в беседке!

— Кифоятхон некогда, пришлите мне Ишана,— протянула Хурниса все тем же своим капризным голосом.

Каландаров молча кивнул и ушел.

Саида ощутила в душе какой-то неприятный осадок от тона, каким Хурниса говорила с мужем. Саиде нравилось, когда женщина разговаривает с мужчинами свободно и независимо, она и сама умела так говорить, но тут было что-то другое, фальшивое, натянутое.

Полчаса спустя Таджикион поднялась, несмотря на назойливые уговоры Хурниси: она была в отъезде уже два дня и тревожилась за свою бригаду. Когда Хурниса и Саида вышли проводить ее, она, прощаясь, пригласила Саиду к себе.

— Хочу отвести с вами душу, хорошо?

Потом, привычно поставив ногу в стремя, легко вскочила на коня и вскачь погнала его по улице.

Женщины вернулись во двор и устроились в уголке беседки. Отсюда, сверху, с размахом распланированный, но донельзя запущенный двор казался еще неуютнее.

Отгоняя веером круживших над сладостями мух и то и дело перебивая свою речь приставаниями: «Берите, Саидахон!», «Кушайте, Саидахон!», хозяйка снова пустилась в прерванное было повествование о своих заслугах, вернее, об одной и самой главной: о том, как она сделала из Каландарова «настоящего Каландарова».

Саида была внимательной слушательницей и в конце концов довольно быстро составила из слов Хурниси представление о том, к чему сводились все прочие ее заслуги.

Действительно, Хурниса когда-то посещала курсы по ликвидации неграмотности среди женщин, а потом еще год до замужества и года полтора после него сама обучала грамоте других женщин. Вот и все. Но говорить об этом она была способна так долго и путано, что, если не вникать в смысл, можно было вообразить, что она рассказывает историю долгой трудовой жизни.

Поняв наконец, как все обстояло в действительности, Саида попробовала выяснить более точно: что же именно подразумевалось под воспитанием Каландарова? Но не тут-то было! Хурниса, почуяв опасность, перенеслась в своих воспоминаниях в отдаленные времена, когда Каландаров только еще сватался к ней. По ее рассказам, в ту осень сватов к ней засылали сразу двое: один тот самый Каландаров, которого знает Саида, тогда бедняк и кишлачный активист, а другой — некий Асад-байбача, по словам Хурниси, очень большой богач. Родители Хурниси будто бы предпочли Асада-байбачу, но в самый день обручения Каландаров каким-то образом (каким — Саида так и не поняла из путаного рассказа Хурниси) расстроил все дело и за одну неделю окрутил ее.

Взбешенный Асад-байбача поклялся пролить кровь соперника и будто бы ночью даже пробрался к нему в дом, но в последнюю секунду,

испугавшись встречи с Каландаровым, убежал, в припадке злобы распоров ножом живот спавшему во дворе ишаку. Это последнее происшествие, кажется, имело место в действительности, во всяком случае, о гибели ишака Хурниса рассказала с внушающими доверие подробностями.

Как именно Хурниса воспитывала Каландарова, Саиде, несмотря на все ее старания, выяснить так и не удалось, но зато постепенно, из обрывков фраз, Саида, вопреки желанию рассказчицы, ясно поняла, что не Хурниса поднимала Каландарова вверх по лестнице жизни, а наоборот, Каландаров год за годом тянул ее вниз.

Как мы уже знаем, после свадьбы Хурниса еще года полтора учительствовала, потом, став бригадиром, Каландаров быстро добился, чтобы жена стала звеньевой у него под крылышком. Потом, став председателем колхоза, он назначил Хурнису заведующей детским садом. Это было еще в том небольшом колхозе, где Каландаров председательствовал до «Бустона»; детский сад там был маленький и помещался стена в стену с председательским домом, так что Хурнисе это было очень удобно. Потом, когда Каландаров перешел в «Бустон», она и здесь стала заведовать детским садом, но теперь уже детский сад находился далеко от их дома и в нем появилась заместительница заведующей — Кифоятхон, та самая женщина в голубом платке, которую Саида видела во дворе.

Тут Хурниса заметила, что здесь, в «Бустоне», она с самого начала хотела найти себе другую, более подходящую работу и поэтому свое заведование детским садом считала и считает временным и даже заглядывает туда лишь изредка. А работает там Кифоятхон, и зарплату тоже получает она.

Саида с сомнением поглядела на голубой платок, то метавшийся у очага и на огороде, то исчезающий в глубине дома, и подумала, что, хотя, наверное, так и есть — зарплату Кифоятхон получает в детском саду, но работает она главным образом в доме председателя.

— Вот так у меня и получилось с этим детским садом,— сказала Хурниса и, задумавшись, нораженно всплеснула руками: — Боже мой, неужели уже десять лет прошло?!

Потом она стала болтать о предстоящей свадьбе сына, и о красоте невесты, и о том, как мать невесты, Кифоятхон, счастлива, что ее дочь Манзура будет женой их Казимбека.

— Ах,— самозабвенно захлебывалась в похвалах хозяйка,—



Манзура красавица, если б вы видели! Однажды она пошла на рынок купить винограда, так, верите ли, продавец весы уронил! И, ах, если б вы знали, как прекрасно эту историю рассказывает Кифоятхон; она тогда пошла на базар как раз вместе с дочерью. А наш Казимбек такой умный и такой деликатный, мухи не обидит, никого на «ты» не назовет! С головы до ног будет залита счастьем девушка, которая попадет ему в руки! Не знаю уж, как вы, а я-то предпочитаю, чтобы муж ласкался к жене, как кошка, чем чтобы он колотил ее, как бубен! Мне ли не знать этого?! Разве Арсланбек не поколачивал меня? Поколачивал, да еще как! А теперь, когда вспомнит, стыдится! С того дня, как стал председателем, пальцем меня не тронул. Да что там не тронул — из арыка воды мне самой не дает зачерпнуть! Сам ни разу на курорте не был и что это такое — не знает, а меня каждый год посылает и провожатого мне нанимает туда и обратно.

Тут Хурниса сложила пухлые руки на животе и, скорбно вздохнув, сказала усталым голосом:

— В этом году не поеду, доктора советуют отдохнуть.

Каландаров пришел уже в сумерках вместе с Ишаном. Из первых же реплик Саида поняла, что Ишан — муж Кифоятхон и будущий родственник председателя.

Сейчас Ишан вовсе не походил на тот мрачный верстовой столб, который днем молча вышагивал по улице впереди Саиды. Сейчас он крутился волчком, мгновенно убирал и подавал все, что нужно было убрать и подать. На столе сразу же появились зелень и закуски, приготовленные его женой. Уже и головки бутылок торчали из ведра с холодной водой, уже он и рюмки вытер со знанием дела, каждую поглядев на свет, уже и пробки чуть ли не сами выскочили из бутылок с коньяком и вином; и, приняв из рук Ишана бутылку, Каландаров налил доверху граненый стакан и протянул ему:

— Глотни, пока мамаша не пришла, а потом поровну будем!

— Как тебе не стыдно,— укорила мужа Хурниса и, повернувшись к Саиде, тихо сказала: — Смеется над тем, что Кифоятхон на несколько лет старше мужа,— она кивнула на Ишана.

Проговорив: «Беру что дают, а больше не надо», Ишан одним духом выпил коньяк и, чтобы доставить удовольствие председателю, отказался от закуски.

— К такому коньяку еще не придумано закуски!

Однако все-таки горло у него, наверно, драло, потому что вслед за

коньяком он отправил в рот целую горсть клубники.

— Эх ты,— сказал Каландаров,— кто же клубнику горстями берет.

Но Ишан и тут нашелся, чем рассмешить Каландарова:

— Хотел тарелкой зачерпнуть, да побоялся — в рот не влезет!

Немного погодя Каландаров пригласил к столу и Кифоятхон. Изобразив смущение, которое, может, и пристало бы девушке, а в ней казалось смешным, она с ужимками уселась в конце стола. Сама она сидела смирно, не двигаясь, но ее беспокойные, бегающие глаза в один миг облетели рысью весь стол: и каждую закуску, и каждое блюдо, и каждую рюмку — пустую и полную, и каждую бутылку со всем, что в ней было и чего уже не было. Потом ее глаза пробежали по лицу Каландарова и начали шарить по Саиде, они то останавливались на ручных часах, то на брошке, приколотой на груди, то снова бежали дальше, и у Саиды было такое ощущение, словно по ней ползает что-то быстрое, чужое и противное.

Саида попробовала мысленно представить себе будущую невестку председателя, приглядываясь к ее матери, но из этой затеи ничего не вышло. Ей сказали, что девушка красива, а у Кифоятхон рот был слишком велик, дряблые щеки глубоко запали, и вообще лицо ее больше всего походило на старую кожаную галошу.

Бывает, что женщина некрасива и даже на первый взгляд неприветлива, но ведь какие-то достоинства в ней, наверное, есть! Может быть, она, взамен всего недостающего ей, добра, или умна, или и то и другое вместе?

Подумав об этом, Саида стала расспрашивать свою соседку о детях и детском саде, ей очень хотелось заставить ее разговориться, но Кифоятхон так и не ответила ни на один ее вопрос, а только жеманно улыбалась, опускала голову, со смешными ужимками избалованной девицы вопросительно смотрела на хозяйку дома и, наконец, выдумав первый попавшийся повод, исчезла из беседки.

— Ну что же, Саидахон, давайте выпьем за ваш приезд! — сказал Каландаров.

Он поднял рюмку, выпил, поставил на стол и лишь после этого заметил, что рюмка с вином, стоявшая перед его женой, осталась нетронутой.

Кажется, Каландаров был недоволен таким поведением своей жены, или счел это неуважением к гостю, или, может быть, он вообще считал, что, раз он пьет, должны пить все — во всяком случае, он

дважды брал рюмку и совал ее в руки жене, а Хурниса дважды подносила ее к губам и отставляла.

Увидев это, Саида сказала:

— Ну что вы, раз не хочется, не пейте!

Хурниса вопросительно посмотрела на мужа, но Каландаров предпочел не расслышать слов Саиды. На лице его не выразалось ни малейшего желания потакать упрямству жены, и Хурниса наконец выпила свое вино залпом, раскашлявшись так, что слезы выступили у нее на глазах.

После выпитой рюмки наступило молчание, и Каландаров поспешил нарушить его первым, что подвернулось на язык.

— Наш Ишан — учитель всех шашлычников, профессор плова, академик игры на дутаре, а песни поет, как соловей!

— А лагман, про мой лагман забыли? — поспешно подбрасывая новую пищу в готовый потухнуть огонь разговора, воскликнул Ишан, наполняя рюмки. — А как моим лагманом восхищался, бывало, товарищ Кадыров, вот это уж был секретарь, всем секретарям секретарь! Верно, Бек-ака?

Но Каландаров не поддержал этой вспышки воспоминаний о бывшем секретаре райкома, наоборот, он качнул головой, как бы говоря: не бреди ран. И сказал Ишану, чтобы тот взял дутар.

Ишан снял висевший на столбике беседки отделанный перламутром старый дутар, долго, не глядя ни на кого, натирал его струны, а когда заиграл, то Саида, которая сама немножко играла на дутаре, сразу поняла, что это настоящий старый мастер. Пальцы Ишана почти не касались дерева, а из дутара вытекали звуки то веселые, быстрые, как ручей, то печальные и прозрачные, как слеза.

Сыграв несколько мелодий, Ишан запел. У него был хороший слух и несильный, но приятный голос, ничем не напоминавший то глухое гудение со дна пустой бочки, которое Саида услышала при первом знакомстве.

Каландаров послушал песню и, должно быть, считая, что искусство Ишана уже продемонстрировано, петь больше не просил, а стал поддразнивать старшего чайханщика:

— Как видите, наш Ишан полон совершенств, а пороков у него только два: не дал ему бог хорошего телосложения — жидковат наш Ишан, так что, когда идет с женой под ручку, можно подумать, что его к ней подвесили!

Вряд ли это понравилось Ишану, но он долго и старательно хохотал, покачивая головой.

Хурниса нахмурилась и укоризненно посмотрела на мужа: хоть бы не срамил будущего кума перед новым человеком! Но Каландаров не привык обращать внимание на ее укоризненные взгляды.

— А второй порок Ишана,— сказал он,— в том, что он дня не может прожить без колотушек!

И, предвкушая ответ на свой, наверное, уже в сотый раз задаваемый для удовольствия гостей вопрос, спросил:

— За что тебе больше всего колотушек достается от Кифоятхон?

— Ревнива, как тигр,— ответил Ишан, привычно подыгрывая хозяину дома,— Не ревнует меня только к покойникам и к еще не родившимся младенцам!

Потеряв надежду утихомирить мужа, смущенная Хурниса попыталась смягчить впечатление от его слов и сказала Саиде, что все это шутки — Кифоятхон не бьет мужа, хотя, правда, под горячую руку ей лучше не попадаться.

Но Ишан вовсе не желал принимать этой выручки, он предпочитал доставлять удовольствие хозяину, а не хозяйке.

— Когда мы летом ехали из Шахимардана и заночевали в Фергане в гостинице,— сказал он,— хотите верьте, хотите не верьте, а она спустила меня с лестницы, когда я зазевался. Даже лоб разбил себе — видите, шрам остался? — И он приблизил свое лицо к Саиде, которой вовсе не хотелось рассматривать его шрамы,— А что мне делать? Бить ее? Закон не велит. Жаловаться? Да ведь теперь, если женщина даже убьет тебя, все равно ее оправдают, а тебя вытащат из могилы и накажут. Сбежать от нее? Бегал! Так она отыскала меня в Намангане и за шиворот привела обратно.

— Сам виноват, зачем брал себе такую жену? — сказал Каландаров.

Представление разыгрывалось как по нотам, он был доволен Ишаном.

— А впрочем, ты мне говорил, что во всем виноват твой отец и его завещание. Повтори-ка, что он тебе завещал?

Ишан опрокинул в рот рюмку и вместо закуски по-молодецки понюхал подкладку тюбетейки.

— Отец завещал мне так: не будь тупым концом кола и не будь острием кола, будь его серединой. Будешь острием — загонят в землю,

будешь тупым концом — бить будут.

Вот именно,— воскликнула Хурниса, давая понять, что именно это последнее и случится с Ишаном, если он и дальше будет так непочтительно рассказывать о своей жене.

Каландаров привычно посмеялся над притчей Ишана и, не обращая ни малейшего внимания на предостерегающие знаки жены, стал рассказывать Саиде историю старшего чайханщика.

Последовав завещанию отца, Ишан вырос человеком, которому не нашлось места не только в красном углу жизни, но и на самом дальнем конце ее стола. Он так долго не находил в подлунном мире собственной дороги, что наконец связал все свои надежды с женитьбой. Он не задумывался ни над внешностью будущей жены, ни над ее возрастом, но твердо знал, что она должна обладать, по крайней мере, тремя достоинствами: собственным домом, собственным хозяйством и собственным кошельком. И, представьте себе, Ишану повезло! В тридцать три года он нашел именно такую, отвечавшую его желаниям, женщину! Кифоятхон, похоронив мужа, который всеми правдами и неправдами до конца жизни оставался тем, кем родился,— торговцем, и сохранив до последней иголки все его состояние, а вокруг дома построив забор даже выше, чем при его жизни, спала и видела, как бы найти себе самого тихого и послушного из всех мужей. Решив, что Ишан вполне подойдет для такой роли, она в два счета женила его на себе и взяла в дом, тут же, пока не поздно, родив ему Манзуру.

В то время Ишан числился в районных артистах, кое-как колотил в бубен, «соразмерно зарплате», как он выражался, а свое настоящее искусство игры на дутаре оставлял для свадеб, где можно было сорвать сотню за вечер, да еще вволю выпить.

Встретив его на одной из таких свадеб, Каландаров подумал, что именно такого человека ему не хватает, и позвал его работать к себе в колхоз.

Обсудив это опасное слово «работать», муж и жена решили, что в данном случае оно не так уж опасно — под крылышком столь прославленного председателя они как-нибудь да не пропадут

Через месяц они переехали в «Бустон» и вскоре, продав старый дом и двор, обзавелись новым двором и домом не хуже прежних.

С тех пор Кифоятхон стала наперсницей Хурнисы, а Ишан стал называть себя старшим чайханщиком, ибо как короче и достойнее назвать себя, если ты при председателе одновременно и человек на

побегушках, и личный повар, и певец, и шашлычник, и комик, и собутыльник, и массажист (если председатель парится в бане), и личный секретарь (если председатель потеет над отчетом).

Сначала во время рассказа мужа Хурниса старалась только смягчать слишком грубые, по ее мнению, выражения, но когда речь зашла уже не о родителях будущей невестки, а о ней самой, Хурниса не выдержала и вступила с мужем в прямую перепалку.

Дело в том, что Каландаров со свойственной ему бесцеремонностью не постеснялся вслух выразить свое удивление тем, как у

Ишана и Кифоятхон могла вырасти такая умная и воспитанная дочь.

— И здесь, когда училась в школе, все с книжкой да с книжкой, и каждое лето в пионерский лагерь — попробуй удержи! Один раз попробовали, так прямо-таки сбежала! А теперь, когда учится в Ташкенте, случая не помню, чтобы на каникулах хоть раз больше недели просидела у родителей, да, впрочем, оно и понятно! — вовсе уж бесцеремонно заключил он.

Хурниса обозлилась на мужа, который ради красного словца не постеснялся осрамить перед чужим человеком семью своей будущей невестки, а обозлившись, начала доказывать недоказуемое: девушка не хотела жить возле родителей вовсе не потому, что чуждалась своей семьи, а исключительно из необыкновенного прилежания к наукам. Легкий хмель, ударивший хозяйке в голову от единственной непривычной рюмки, постепенно занес ее так далеко, как она и сама не ожидала. По ее словам, родители их будущей невестки были такие прекрасные люди, каких только искать да искать, а из этого выходило, что ее муж, рассказывая о них нечто совершенно другое, просто-напросто мелет вздор. В желании Хурнисы как-то выйти из положения было, разумеется, и здоровое зерно, но это здоровое зерно было окружено такой шелухой, что Каландаров решил, что при столь активном содействии своей болтливой жены он и сам, чего доброго, потеряет часть авторитета перед приехавшей из района девчонкой. А как мы уже знаем, Каландаров был очень и очень неравнодушен к собственному авторитету!

Сначала он попытался заставить жену замолчать, переменив тему разговора, но не тут-то было! Хурниса, расценив это как его слабость, разболталась еще пуще.

Тогда, прикрывая досаду смехом, Каландаров спросил жену:

— Как, хозяйшка, может быть, и гостье дадим вставить словечко? Или бог с ней, сами поговорим — и ладно?

Но Хурниса, вместо того чтобы сразу смириться, сказала назидательным тоном:

— А почему бы мне и не поговорить? Разве я неверно говорю или желаю вам худого? Мужчинам не следует забывать, что жена и возвышает мужа, но она же и губит его — все в ее руках!

Тут Хурниса собралась было в приличных случаях умеренных выражениях наконец покритиковать недостатки собственного мужа, но у него вдруг вздулись жилы на висках, и он оборвал ее:

— Даже мудрецам советую покупать слова пудами, а продавать золотниками. А что же остается сказать тебе: язык без костей, мельница без муки!

Кажется, Хурниса хорошо знала, каким бывает ее муж в гневе: только что клокотавшая, как самовар, она вдруг потухла, и голос ее полился тонкою, робкою струйкой:

— А что я сказала? Разве я что-нибудь сказала?

Но Каландаров уже влез на коня гнева и, неспособный обуздать его, несся во весь опор.

— Если у ребенка прорезались зубы, нечего ему совать жамку,— говорил он.— Делай со мной что угодно, хоть к собачьей конуре привяжи, но не пробуй мной руководить! Этого только не хватало! Если женщина начнет мною руководить, дело плохо! Или мне, или ей не сносить головы!

Выпалив все это, он с трудом взял себя в руки и стал приставать к Ишану. чтобы тот спел.

— Что у тебя, пружина, что ли, лопнула? Спой, да погромче, а то у меня от женской болтовни уши заложил!

Ишан спел одну песню, потом еще одну. Хозяйка старалась казаться веселой, но Саида чувствовала, что разговор уже не склеишь. Что-то тревожное шевельнулось у нее в душе. «Если женщина начнет мною руководить... или мне, или ей не сносить головы!» Эта фраза Каландарова не выходила у нее из памяти. Как он сказал ее — случайно, рассердись на жену, или заодно сделал на всякий случай предупреждение ей?

«Едва ли,— думала Саида, — была нужда говорить это только для Хурнисы. Смешно воевать с такой женщиной, ведь совершенно ясно, что Каландаров только при людях терпит ее болтовню и даже

воркотню, а стоит ему остаться с ней вдвоем, прикрикнуть на нее, и она послушно, как птичка, усядется на его мизинец...»

Как раз в ту минуту, когда Кифоятхон выкладывала на блюдо плов, Каландарова позвали в правление к телефону, и он ушел, даже не поморщившись, как человек, привычный к тому, что дела обступают его в любое время и отрывают от чего угодно. Вернулся он только в первом часу ночи. Хурниса после плова уже не отпустила Саиду домой, и она заночевала в доме председателя.

### 3

Когда Саида проснулась, то оказалось, что Каландаров, по своему обычаю встав до рассвета, уже ушел в правление. Он вернулся, когда женщины готовы были сесть за стол без него, и сразу после завтрака увел Саиду в правление.

У ворот колхозного сада они встретили миловидную молодую полненькую женщину.

— Умидахон,— обратился к ней Каландаров,— покажите товарищу Алиевой наш секретарский кабинет.

И, оставив с ней Саиду, быстро направился к толпе людей, ожидавших его у помоста под карагачем.

«Кажется, там у него и приемная, и кабинет, и зал заседаний»,— с впервые шевельнувшимся у нее чувством симпатии к Каландарову подумала Саида.

Оставшись вдвоем с Саидой, полненькая женщина вскинула на нее глаза и, обрадованно воскликнув: «Здравствуйте, здравствуйте!», протянула ей теплую ладошку.

— Секретарь правления Умида, Умида Умарова!

Они прошли коридор, потом пустой зал заседаний, потом еще один коридор, вошли в дверь с надписью: «Секретарь», и сразу же затрезвонил телефон.

Пока Умида говорила по телефону, Саида прочла две таблички, прибитые к двум одинаковым, обитым черной клеенкой дверям. На одной табличке было написано белым шрифтом по красному полю: «Председатель правления колхоза «Бустон», а на другой, точно такой же: «Секретарь партийной организации колхоза «Бустон». Саиде понравились эти одинаковые двери и одинаковые таблички. «Это неплохо»,— подумала она про себя.



Поговорив по телефону, Умида вынула из стола два ключа. Один показала Саиде, сказав: «Это от вашего несгораемого шкафа», а другим отперла кабинет.

Саида никогда бы не подумала, что в колхозе «Бустон», где сменилось пять секретарей за три года, в их распоряжении имелся такой прекрасный кабинет! Вся мебель была ореховая, полированная, на столах лежали бархатные скатерти, на стенах висели портреты, карта области, план колхозных земель, несколько диаграмм, а в углу даже стояла новенькая деревянная указка.

— Это что, недавно все оборудовали? — с некоторой даже растерянностью спросила Саида.

Умида ответила, что она пять лет работает секретарем правления, а кабинет уже и тогда был таким.

У Саиды отлегло от сердца; когда она на минуту подумала, что кабинет так хорошо убрали специально перед ее приездом, ей стало не по себе.

— И у Арсланбека-ака точно такой же кабинет,— сказала

Умида,— но он, правда, открыт, только когда его уборщица убирает,

или если гости приезжают, или если Арсланбек-ака очень уж выйдет из себя.

То есть как это — выйдет из себя? — улыбнулась Саида; ей показалось, что Умида шутит.

Ну да,— сказала Умида.— Он туда приходит только когда очень разозлится на кого-нибудь. Приведет этого человека с собой, откроет кабинет, запрется с ним изнутри и дает ему там нахлобучку с глазу на глаз. По-моему, это у него хорошая привычка; я почти не помню, чтобы он кого-нибудь при всех выругал или унизил... Сам он никогда в кабинете не сидит, всегда там...— и Умида кивнула в сторону видневшегося за окном карагача.

Потом, повернувшись к Саиде, она вставила ключ в замок несгораемого шкафа.

— Хотите посмотреть наши дела?

— Посмотреть можно. А если придется принимать, то от кого?

— Ну что ж, теперь ждать недолго,— невольно улыбнулась

Умида.— Выберем вас, и примете их от меня.

В шкафу лежали протоколы трех собраний, список коммунистов, ведомость членских взносов, двадцать шесть рублей сорок копеек

денег и заявление, написанное на вырванном из тетради листке.

Саида пробежала его глазами. Оно было написано четырнадцать месяцев назад и обвиняло бригадира Зульфакарова в двоеженстве. «То самое»,— подумала Саида и, отыскав в списке фамилию Зульфакарова, увидела, что он уже восьмой год состоит в кандидатах.

— Так и не расследовано до сих пор? — спросила Саида. Умида хорошо знала историю этого заявления и даже присутствовала при том, как Каландаров трижды откладывал его рассмотрение: мол, «нельзя в разгар работ отвлекать от дела хорошего бригадира!» Но ей не хотелось с самого начала оказываться между двух огней, и она лишь туманно заметила, что сама толком не знает всей истории, слышала только, что в свое время ею занимался товарищ Кадыров.

Саида вспыхнула и про себя решила, что, раз этот факт ярче всего показывает былую бездеятельность партийной организации, значит, его и надо поставить на обсуждение первого же партийного собрания! Больше знакомиться было не с чем, и она вслед за Умидой вышла из кабинета в сад.

Каландаров сидел на помосте, болтая ногами. Перед ним стоял чайник, а на лице его было написано самодовольство.

«Ну, как вам понравился кабинет?» — говорил его вид.

Кабинет понравился Саиде, но именно об этом она меньше всего собиралась говорить сейчас.

Строго сдвинув брови и усевшись на помост рядом с Каландаровым, она с преднамеренной суровостью спросила его:

— Выходит, у нас в колхозе есть и такие, что имеют по две жены?

— Есть, есть, как не быть,— отшутился Каландаров.— У нас все есть, ни в чем нет недостатка!

— А почему же до сих пор не обсуждено заявление? — подчеркнуто не приняв его шутки, все так же строго спросила Саида.

Тон ее покоробил Каландарова. Потирая пальцем лоб, он сказал с равнодушием, показывавшим, что не придает этому делу никакого значения:

— Между прочим, Зульфакаров хороший бригадир.

— Очень хорошо! — с иронией сказала Саида,— Но разве женщины у нас в колхозе раздаются в виде премий? Хороший бригадир имеет двух жен, отличный захочет иметь трех... По-моему, хоть и поздно, но все же стоит обсудить вопрос на бюро.

Кажется, Каландаров не на шутку обиделся. На висках у него

вздулись жилы.

— Вам виднее,— процедил он.— У всякого из нас, наверное, найдется за душой какой-нибудь, хоть один, грех, из которого можно раздуть дело и довести до бюро, но давайте все же для начала хоть выберем вас секретарем, а там уж поступайте как знаете!

Саида чуть не задохнулась, почувствовав, в какое глупое положение она попала.

Каландаров с удовольствием увидел, как она залилась краской. В душе он нисколько не сомневался, что сумеет обломать эту девчонку, но не рассчитывал, что она так потеряется после первого же удара. Довольный собой, он сидел теперь на помосте с победоносным видом, как на коне, высоко подняв одно плечо и засунув руку за широкий кожаный ремень.

— А разве обязательно стать секретарем партийной организации, чтобы выяснить свое отношение к двоеженству? — быстро оправившись, спросила Саида.

Почивший на лаврах Каландаров не ожидал удара с этой стороны и теперь сам пришел в замешательство.

Кажется, кстати для них обоих из окна правления в эту минуту раздался голос Умиды, звавшей председателя к телефону.

Разговор остался незаконченным, и ни тот, ни другой в последующие дни не спешили к нему вернуться.

Саида, окончательно придя в себя, подумала, что вряд ли правильно начинать работу с ссоры с председателем и что застарелый вопрос о Зульфакарове не обязательно сразу выпячивать на первый план, отделив от всего остального.

Каландаров, в свою очередь, заранее решил: если дело примет острый характер, не защищать больше Зульфакарова.

Однако ни тот, ни другой не желали разговаривать на эту тему и вслух признаваться в предполагаемых уступках, им обоим, а в особенности Каландарову, казалось, что уступить с самого начала — значит отдать другому узду, а самому бежать сзади, держась за хвост коня.

Саида стала готовиться к проведению партийного собрания. Она говорила с коммунистами, с комсомольцами, с членами правления колхоза, и ей вскоре стало ясно, что, наряду с вполне очевидными успехами колхоза, в его делах есть много недостатков и даже ошибок, никогда и нигде не подвергавшихся обсуждению и поэтому особенно требующих его.

Одни из тех, с кем она беседовала, говорили об этом открыто и зло, другие сдержанно, третьи притворялись, что им невдомек, в чем, собственно, суть дела, четвертые к самой возможности обсуждения относились с усмешкой: мол, горячо берешься, да не тебя первую мы здесь видим!

Но Саиду не смущало это. Разные люди — разные мнения! Если собрать их всех вместе, они так или иначе столкнутся между собой, — значит, прения по отчетному докладу будут горячие, а коли так, то сам спор, вскрытие недостатков и в партийной жизни, и вообще во всей жизни колхоза поможет поставить перед новым бюро новые задачи.

Однако совершенно неожиданно для Саиды камнем преткновения стала сама повестка дня. И если в споре о Зульфакарове обе стороны временно отступили на исходные позиции, то с повесткой дня, как говорится, нашла коса на камень.

Каландаров считал деятельность старого бюро достаточно для себя известной, а отчетный доклад — пустой формальностью. Он предложил Саиде просто собраться и без всяких докладов выбрать новое бюро.

— Однако так требует Устав партии, — сказала Саида, стараясь выразить эту аксиому как можно мягче и деликатнее.

— А Устав написан не для того, чтобы в партийной жизни пустые формальности разводить, — заявил Каландаров тоном отца, увещающего неразумную дочь.

Саида попробовала объяснить ему, почему, не говоря уже о требованиях Устава, ей кажется важным, чтобы отчетный доклад все-таки состоялся.

В душе Каландарову трудно было не признать доводы Саиды, но он уперся не только потому, что хотел поставить на своем, но и потому, что не испытывал никакого желания ворошить разные старые дела. Для этого своего соображения он даже подыскал удобную формулировку.

— Вперед смотреть надо, а не назад пятиться! — заявил он, очень довольный такой находкой.

Увидя за его упрямством желание и в дальнейшем гласно или негласно по своему усмотрению вертеть всей партийной жизнью колхоза, Саида довольно прозрачно намекнула ему, что если они не сойдутся, то вопрос, кто прав и кто неправ, придется выяснять в райкоме.

Слова Каландарова «если женщина начнет мной руководить, то или

мне, или ей не сносить головы» до сих пор при каждом воспоминании о них выводили Саиду из душевного равновесия.

Однако и Каландаров по-своему расценил твердость Саиды. «Эта горластая девчонка,— подумал он, — с самого начала хочет поставить на своем, чтобы я потом стал ее послушной тенью».

В общем, если сначала Каландаров возражал против отчетного доклада главным образом как против пустой, по его мнению, формальности, то теперь вопрос, быть или не быть докладу, превратился для него в проблему собственного престижа.

Спрашивается, что было делать Саиде? Она знала, что права, и знала, что райком встанет на ее сторону и в случае чего сумеет нажать на Каландарова. А что дальше? Идти в райком только для того, чтобы настоять на само собой разумеющейся повестке дня первого же собрания,— а потом что? С самого начала обострив отношения, потом бегать в райком перед каждым собранием? Нет, это не дело!

Итак, отношения с Каландаровым надо не обострять и в то же время собрание надо проводить именно с той повесткой, которой он не желает. Уступить Каландарову нельзя, иначе превратишься в его безгласную тень, и ломать его с треском тоже нельзя, потому что тогда он превратится в откровенного твоего врага, и ты в дальней-

шем будешь тратить все силы не на дело, а на борьбу с ним, а это не нужно ни тебе, ни ему, ни колхозу. Так как же все-таки быть?

От этих трудных дум у Саиды кругом шла голова.

#### 4

Вопрос о повестке дня так и повис в воздухе. В остальном Каландаров предоставил Саиде полную волю. За несколько дней они только раз мимоходом встретились в коридоре.

— Ну как, знакомитесь с делами? — спросил он и, не дожидаясь ответа, прошел к себе в кабинет вместе с одним из бригадиров: очевидно, ругать.

Время было горячее, работы у Каландарова действительно было по горло, но, конечно, если б он захотел, он бы нашел время помочь Саиде поскорей войти в курс всех сторон колхозной жизни. Однако такое желание у него как раз и отсутствовало.

Бывают колхозы, во всей жизни которых председатель занимает столь непомерное место, что без него — куда ни ткнишь — не знаешь, с

чего начать. Подобное положение не сразу создается, но, уже однажды создавшись, приобретает такой прочный характер, что хоть об стенку лбом бейся. Именно такое положение было и в «Бустоне».

Не очень ясно представляя, с чего начать работу, Саида два дня старательно рылась в бухгалтерии, изучая списки, цифры и документы, потом еще несколько дней обходила все хозяйство, сверяя со своим исписанным в бухгалтерии блокнотом: коровы, телята, овцы, посевы, машины, сады, огороды — документы в общем соответствовали наличию, но ведь Саида не собиралась становиться ревизором, а общее представление о размахе хозяйства и о стиле его ведения у нее все еще не очень-то складывалось. Все нити шли к Каландарову и от него же расходились.

Не решив еще вопроса с повесткой, но тем не менее готовясь к собранию, Саида изо дня в день продолжала беседовать с коммунистами колхоза. Один из них, очень рослый и сильный молодой человек по имени Исмаилджан, добродушный, как большинство силачей, и вежливый до того, что почему-то называл Саиду «Аячча», то есть обращался к ней, как в старину почтительно обращались ко второй или третьей жене своего отца, неожиданно в разговоре с Саидой сказал одну фразу, сначала показавшуюся ей очень странной.

Исмаилджан был одним из лучших бригадиров, хорошо знал и землю и людей и, казалось, без особых усилий вытаскивал на своих могучих плечах любое трудное дело. Во всяком случае, о своей работе и о своих трудностях он говорил весело, но, когда зашла речь о работе Саиды, лицо его приняло сочувственное выражение и он даже с каким-то оттенком печали сказал, что условия его работы одни, а условия ее работы — другие, их даже и равнять нельзя!

— Почему равнять нельзя? — спросила Саида, которой в первую секунду в этих словах почувствовалась нотка мужского превосходства, а в таких случаях она всегда сразу лезла напролом. Но оказалось, что она ошиблась.

Исмаилджан, наоборот, хотел сказать, что ее условия труднее, чем его.

— Пятьдесят процентов ваших условий составляет один Арсланбек-ака, это не шутка, это такие пятьдесят процентов, к которым не сразу привыкнешь!

Тогда Саида удивилась этим неожиданным словам, но потом она много думала над ними и поняла, что они правильны.

Условия для ее работы действительно были нелегкими. Она не только, как новый винтик в готовую машину, попала в тот, уже давно установленный Каландаровым порядок, при котором он в любом деле упрямо и уже привычно для всех проводил свою и только свою линию. Ей было нелегко еще и потому, что порядки Каландаров завел во многом, по ее мнению, неверные, но и при всем этом он был в то же время не просто «неплохим», как она когда-то сказала Насырову, а недюжинным организатором, настоящим самородком.

Критиковать, даже в деликатной форме советов и подсказок, человека, который привык, чтобы ему беспрекословно подчинялись,— это была трудная задача. Еще труднее казалось приобрести рядом с таким недюжинным хозяином свой собственный вес. А какой же секретарь без собственного веса? Тогда это не секретарь, а мыльный пузырь!

У Саиды, от природы худенькой и хрупкой, от всех этих мыслей и переживаний через неделю ввалились глаза и щеки. Однажды ночью, как всегда зачитавшись допоздна и наконец отбросив книгу, она вдруг почувствовала себя маленькой, несчастной и слабой. Зато Каландаров, наоборот, представился ей громадной, несокрушимой горой. Она испытала нечто близкое к отчаянию.

«Может быть, я все-таки напрасно согласилась на эту работу? Может быть, еще и сейчас не поздно пойти в райком к Тахирджану- ака, рассказать ему все как есть, попросить, наконец, умолить его?..»

Но как только она подумала об этом, у нее сразу встал перед глазами Тахирджан Насыров.

А в ушах, словно сказанные только сейчас, снова прозвучали его насмешливые слова: «Я женщина, существо слабое, беззащитное! Не это ли вы мне намеревались сказать? Или я ослышался?»

Саида порывисто вскочила с постели и, сердясь на себя за слабость, которая только что представлялась ей безысходной и непоправимой, а сейчас показалась просто жалкой и смешной, заходила из угла в угол по комнате мимо знаменитых картинок Ишана: вредителей хлопка, племенной свиньи и малярийного комара величиной с поросенка. Она остановилась напротив комара и почему-то громко рассмеялась. Потом, почувствовав усталость, задула лампу и легла, стараясь сегодня не думать больше ни о чем, ровно ни о чем! Это, кажется, помогло, потому что она вскоре уснула.

Она проснулась совсем рано, в окнах едва брезжил рассвет. Надо

было вставать, ее ждали дела, ради них она и проснулась, но глаза ее все еще оставались сонными, а все существо словно просило и даже требовало: еще хоть несколько минут, ну хоть минуточку этого самого главного утреннего сна! За окном шелестели листья, свистели и прыгали птицы, и весь этот утренний веселый, нежный шум только еще больше убаюкивал ее. Ей так хотелось спать, что было даже лень прикрыть одеялом оголившееся плечо. Несколько раз открыв и снова закрыв глаза, Саида прижала щеку к мягкой, нагретой за ночь подушке, но, как только ватная дрема начала закутывать ее в свои невесомые, нежные одеяла, она вдруг вспомнила про Каландарова, и в глазах ее не осталось даже и следа от только что владевшего ею сна.

«Совершенно ясно, что перед Каландаровым я — ничто. Это ясно как день. Что же мне делать? Если бы в колхозе уже сейчас была крепкая партийная организация, тогда другое дело».

Сказав себе это, Саида, будучи справедливой от природы девушкой, сейчас же сама посмеялась над собой: если бы тут была крепкая партийная организация, наверное, выбрали бы того секретаря, что был раньше, а она, Саида, по-прежнему преспокойно сидела бы в приемной у товарища Насырова. Вот именно, что здешнюю партийную организацию пока никак нельзя назвать крепкой! А чтобы она стала крепкой, надо прежде всего сделать так, чтобы Каландаров перестал сидеть на ней верхом. Саида сердито подумала об одинаковых дверях и одинаковых табличках на кабинетах: «Кабинеты-то одинаковые устроил, и на одном этаже, а партийную работу в подвал загнал!»

Несколько дней Саида размышляла над тем, как же все-таки поставить все на свое место, и наконец пришла к показавшейся ей очень удачной мысли: а так ли уж обязательно, чтобы Каландаров вошел в состав нового бюро? Эта простая мысль очень понравилась Саиде. В самом деле, подумала она, из старого состава бюро осталось двое: Каландаров и Умида. Когда третьей изберут ее — Саиду, что же получится? Умида как будто хорошая женщина, но, по мнению Саиды, слишком привыкла смотреть в рот Каландарову, и, если возникнет какой-нибудь очень острый вопрос, вряд ли она в присутствии Каландарова станет на сторону Саиды. Предположим, что на собрании большинство коммунистов поддержит в конце концов то или другое предложение Саиды, но как готовить это собрание, если в самом бюро будет по-прежнему хозяйничать Каландаров, если уже сейчас нормальную повестку дня нельзя утвердить потому, что он возражает!



Другое дело, если бюро будет работать единодушно, а спор с председателем возникнет уже на собрании, тогда еще не известно, чья возьмет!

Пока что ни с кем не делаясь своей идеей, Саида попробовала поговорить о новом составе бюро почти с каждым коммунистом отдельно. Однако большинство из них начинали с того, что первым кандидатом в члены бюро привычно называли Каландарова. Два или три раза Саида осторожно намекнула, что состав бюро мог бы быть и иным. Ответом на это было или неопределенное молчание, или недоумение. Только Умида сразу все поняла и даже выразила сочувствие, сказав, что все равно до сих пор бюро, в составе которого был Каландаров, в сущности не работало. Если он присутствовал на бюро, то говорил только он один, а если он не мог или не хотел присутствовать на бюро, то бюро вообще не собиралось. Когда же они, потеряв терпение, как-то раз вынесли одно неотложное решение вдвоем с бывшим секретарем, то Каландаров заявил, что решение, вынесенное без него, для него не закон. Однако после этого Умида, по мнению Саиды, вовсе не к месту вспомнила старую притчу о том, как мыши, чтобы не бояться кошки, мудро решили повесить ей на шею колокольчик, и дело стало только за тем, что среди них не нашлось охотницы повесить его!

Сравнение с мышами покорило Саиду, но в то же время она и в самом деле задумалась — кто же решится, хотя бы по самым уважительным мотивам, предложить не вводить в новое бюро Каландарова — человека, чье слово здесь уже много лет закон в любом деле? И даже если б и нашелся такой охотник, то как сам Каландаров посмотрит на подобное предложение и какие будут последствия?

Однако после долгих размышлений решив, что ее идея хотя и трудна для исполнения, но все же правильна, Саида выбрала минуту, когда, по ее мнению, Каландаров был в благодушном настроении, и, как говорится, взяла быка за рога.

— Пришла советоваться с вами о новом составе бюро, Арсланбек-ака.

Каландарову очень понравилось, что наконец Саида пришла к нему советоваться, и он сказал, величаво покручивая усы:

— Это хорошо! Состав организации у нас прежний, так что будем выбирать, наверно, из трех человек?

— Если не возражаете,— сказала Саида. Она не предвидела воз-

ражений, но пользовалась случаем заранее расположить к себе председателя.

— Что же, я согласен,— сказал Каландаров, снова покрутив усы,— Значит, так. Я! Потом — вы! И третья — Умидахон! — И он посмотрел на Саиду так, словно с этим вопросом все уже решено и он ждет, нет ли у нее других.

Если раньше у Саиды и были колебания, то сейчас они исчезли. То, как Каландаров скомплектовал бюро, беззастенчиво начав с самого себя, лишь усиливало ее желание, чтобы в конце концов как раз его и не оказалось в этом бюро.

— Да, три человека,— задумчиво сказала она вслух, в душе пожалев в эту минуту, что их парторганизация слишком маленькая для того, чтобы выбрать бюро из пяти человек,— тогда бы другое дело. Тогда при пяти членах бюро и Каландаров не был бы так страшен!

— А что, Арсланбек-ака,— продолжала она,— если бы вместо Умиды ввести человека, хорошо знакомого с какой-нибудь отраслью хозяйства? — Она сделала это предложение осторожно, так, словно ночью ступала ногой на незнакомую горную тропу, но Каландаров не думал и пяти секунд.

— Нет, нет! — сказал он, махнув рукой.— Умида мастерица и читать и писать, и расторопная, и грамотная — не женщина, а великий визирь: о чем ни спросишь, тут же ответит, какое поручение ни дашь, тут же поймет. Даже не предупрежу, куда ушел, все равно разыщет в любую минуту!

Внимательно выслушав эти полные простодушного эгоизма похвалы Умиде и даже сочувственно покачав головой, Саида сказала, что, конечно, было бы хорошо иметь в бюро побольше вот именно таких толковых и расторопных людей, тогда такое бюро сможет настоящему помочь председателю колхоза... Однако раз бюро пока нельзя расширить, может быть, сформировать его так, чтобы как можно лучше использовать его состав?

— Конечно, конечно,— благодушно сказал Каландаров, даже не подумав, куда гнет Саида.

Саида долго молчала и наконец подняла голову: наступала решительная минута.

— Послушайте, Арсланбек-ака,— мягко сказала она.— Мне в голову вдруг пришла одна мысль: ведь никто не знает все колхозное хозяйство лучше, чем вы...

Каландарова даже рассмешила эта наивная похвала.

— Да, вроде так,— он улыбнулся.— Пожалуй, спорить не стану!

— А раз так,— продолжала Саида,— значит, какие бы большие или маленькие вопросы колхозного хозяйства ни обсуждало бюро, оно всегда будет действовать, советуясь с вами. Ведь верно?

— До сих пор так и было,— ответил Каландаров, желая, видимо, подчеркнуть, что не только было, но и будет.

— А раз так,— все так же осторожно продолжала Саида,— то, в сущности, какая разница, будете вы давать эти советы как член бюро или не как член бюро?

— Конечно,— легко согласился Каландаров, все еще не подозревая, к чему клонится разговор.

— Ну, а раз так,— подхватила Саида,— то, может быть, даже вам лучше и не входить в состав бюро? Если вы войдете, вам будут помогать только два человека, а если не войдете, вам будет помогать трое. Привлечем к делу еще одного коммуниста, а работать так или иначе будем все вместе. Правая рука, левая рука — все равно моя рука!

Эти неожиданные в устах Саиды слова, в которых как будто было главное, что любил Каландаров,— почтительность в отношении к его особе,— в то же время своей непривычностью встревожили его.

— Так, так,— неопределенно произнес он, желая собраться с мыслями.

Но этого как раз и не хотела Саида, боясь, что, собравшись с мыслями, он тут же заупрямится.

— Я только хочу подтвердить то, что вы сами говорили,— быстро сказала Саида, хотя в течение всей их беседы Каландаров не сказал ровно ничего, даже отдаленно похожего на это.— Ведь не одна же Умида хорошая коммунистка, достойная быть членом бюро, наверное, за все эти годы под вашим крылом выросли и другие люди!

— Да уже чего-чего, а хороших людей нам не занимать! — самодовольно сказал Каландаров, забыв про обеспокоившую его предыдущую фразу Саиды.— Я вам больше скажу,— впал он в тот назидательный тон, который обычно сопутствовал у него хорошему настроению,— плохих людей вообще не бывает. И камень и цветок — каждый хорош на своем месте!

— Что верно, то верно,— сказала Саида, стремясь обратить в свою пользу даже это носившее отвлеченно-философский характер замечание председателя.— Вот и мне тоже кажется, что нечего лезть с

шилком туда, где может и иголлка справиться! И будет только хорошо, если мы вместо вас, а в конечном итоге вам же в помощь введем в бюро одного из хороших людей, выросших у вас в колхозе! — Обычно она говорила «у нас в колхозе», но в данном случае с некоторым насилием над собой сказала «у вас». — Конечно, того, кого вы сами порекомендуете.

Ее слова насчет шила и иголлки как нельзя больше пришлись по душе Каландарову. Он даже немножко умилился этому сравнению, но, не обнаруживая своего умиления, сказал со сдержанной важностью:

— Ну что ж, пусть так и будет. А кого же вместо меня? Или вы уже наметили? — Он оставался самим собой: в его голосе сразу прозвучала ревнивая нотка.

— Нет, Арсланбек-ака, — поспешно сказала Саида. — Тут уж первое слово за вами.

Каландаров одобрительно посмотрел на нее. «Да, из тебя, пожалуй, со временем выйдет толк!» — говорил этот взгляд. Однако, желая показать, что не привык спешить с ответами на такие вопросы, он сказал, что хорошо, он подумает до завтра и тогда назовет кандидатуру.

— Ну что ж, я очень рада, что мои мысли совпали с вашими, — сказала Саида, — но есть одно «но». Новый состав бюро, в котором не будет вас самого, надо будет предложить вам и только вам!

Каландаров добродушно расхохотался.

— Ладно, так и быть, предложу!

Саида ушла от Каландарова обрадованная и чуточку смущенная. Все-таки она сегодня и немножко льстила ему, и немножко кривила перед ним душой, а это было не больно-то в ее характере. Ища себе оправдания, она думала о том, что у нее нет другой цели, кроме пользы для общего дела. А сам Каландаров, несмотря на сегодняшнее свое благодушие, так свысока смотрел на все связанное с выборами нового бюро, это казалось ему таким маловажным делом, что Саиде было гораздо меньше стыдно за проявленное ею лукавство, чем если бы на месте Каландарова оказался другой человек.

Еще раньше, когда Саида размышляла, кто бы мог стать третьим членом бюро, она подумала об Исмаилджане и даже посоветовалась об этом с несколькими коммунистами. Все они в один голос считали кандидатуру хорошей, но двое или трое усомнились — согласится ли с этим Каландаров? Дело в том, что когда-то, правда уже давно, Исмаилджан совершил довольно редкий в их колхозе проступок —

покритиковал председателя — и с тех пор был у него в опале, хотя и продолжал оставаться одним из лучших бригадиров.

На следующий день Саида, заранее волнуясь, встретила с Каландаровым и сразу же, едва успев поздороваться, спросила его:

— Ну как?

И вдруг по его лицу увидела, что он совершенно забыл о своем вчерашнем обещании. Оно просто вылетело у него из головы, как только Саида ушла. Однако сейчас ему было стыдно признаться в этом, и, не долго раздумывая: в конце концов, какая разница — тот или другой, он тут же, с бухты-баракты, назвал фамилию колхозного завгара Усманджана Умарова.

Саида не собиралась соглашаться, но спорить об этом сейчас не входило в ее планы. Наоборот, в том, что Каландаров назвал именно эту кандидатуру, была своя хорошая сторона. Он мог бы выдвинуть и другого человека, такого же хорошего, такого же смирного и по роду работы так же непосредственно и прочно подчиненного ему, как Умаров. И, возможно, против той кандидатуры было бы труднее возражать. А здесь, с Умаровым, было как раз достаточно нескольких слов любого коммуниста на собрании, чтобы снять его кандидатуру. Усманджан Умаров был мужем Умиды Умаровой, но Каландарову, при его отношении к партийным делам, даже и в голову не пришло, как странно будет выглядеть партийное бюро, в котором двое из трех его членов — муж и жена.

С Умаровым Саида встретила в тот же вечер, она не хотела превращать этого тихого человека в мишень для насмешек на самом собрании.

Сказав ему, что у некоторых товарищей есть намерение ввести его в новый состав бюро, Саида ждала, что он на это ответит.

Немного побледнев, Умаров тихо попросил поручить ему какое-нибудь другое дело, поскромнее. Потом, помолчав и поколебавшись, он вдруг с запинкой спросил: а как Умида?

Саида сказала, что Умиду тоже собираются выдвинуть в состав бюро и что собранию, видимо, придется в данном случае выбирать между мужем и женой.

Тут Умаров страшно покраснел, и, повторив, что он просит поручить ему какое-нибудь другое дело, поспешно назвал взамен себя несколько фамилий, в том числе и Исмаилджана.

Услышав эту фамилию, Саида спросила Умарова, почему он назвал

ее? Какие качества этого человека заставляют Умарова рекомендовать его в члены бюро?

В ответ Умаров очень горячо и, как показалось Саиде, вполне искренне стал хвалить Исмаилджана чуть ли не как самого лучшего бригадира в колхозе, а под конец добавил, что у него даже есть некоторый опыт партийной работы. Еще в те времена, когда Каландаров не раскусил самостоятельного характера своего лучшего бригадира, тот, именно по рекомендации председателя, был введен в один из составов бюро. В заключение Умаров сначала с маленьким колебанием, а потом уже тверже сказал, что, если кто-нибудь будет выдвигать его кандидатуру, он сразу же даст себе отвод и, в свою очередь, выдвинет кандидатуру Исмаилджана.

На следующий день Саида вывесила объявление о предстоящем собрании. Они так и не говорили больше с Каландаровым о повестке дня, но теперь Саида написала первым пунктом «Отчетный доклад», считая, что после их вчерашней миролюбивой беседы Каландаров вряд ли снова будет возвращаться к этому вопросу.

Войдя в правление, Каландаров остановился и стал читать написанную Саидой повестку дня. У него была привычка никогда не проходить мимо объявления, даже самого маленького, и вторая привычка — все, что вывешено, читать не спеша, от первой до последней строки.

Но Каландаров, до конца прочитав объявление и взглянув через плечо на Саиду, только хмыкнул и молча прошел в кабинет.

## 5

В самом же начале собрания произошло не предусмотренное Саидой событие: как только Умида попросила назвать кандидатуры в президиум, Каландаров встал, быстро назвал имена трех человек, потом, едва дождавшись, чтобы все подняли руки, совершенно спокойно поднялся и, бросив на ходу: «Ну, вы тут пока говорите, а я пойду», вышел. Ему даже не пришло в голову попросить разрешения.

Пораженная Саида взглянула на Умиду и, не увидев на ее лице даже признаков удивления, посмотрела на остальных. Было совершенно ясно, что ни один человек, кроме нее самой, не придавал неприличной выходке председателя ровно никакого значения. Саиду больше поразила даже не сама выходка Каландарова, а именно это общее

равнодушие к ней. Лишь Исмаилджан, сидевший рядом с Саидой, тихо сказал ей на ухо:

— А это он всегда так, обычное явление...

Уход председателя сказался сразу. Один закурил, громко чиркнув спичкой. Другой засмеялся. Кто-то кому-то что-то сказал, не забываясь понизить голос. Председательствующий, даже не попробовав уговорить собрание, равнодушно пробарабанил повестку дня и предоставил слово для отчета о работе старого состава бюро Умиде Умаровой.

Умида уже собиралась начать, но Саида, не дав ей это сделать, встала и звеневшим от напряжения голосом сказала:

- Вопрос так важен, что присутствовать товарищу Каландарову на собрании необходимо от начала до конца! Есть предложение подождать его. А еще лучше, послать за ним...

Как видно, к подобным предложениям здесь не привыкли, наступила такая тишина, словно случилось нечто из ряда вон выходящее. Тишина эта продолжалась целых сорок минут, пока искали председателя, и с каждой минутой именно из-за этой тишины и предложение Саиды, и сама Саида приобретали все больший вес и значение.

Наконец вернулся Каландаров; ни на кого не глядя, он хмуро прошел к окну и плюхнулся в кресло позади президиума.

Умида начала доклад.

Каландаров сидел, закинув руку за спинку кресла, и, повернувшись спиной к президиуму, глядел в окно. На протяжении доклада он дважды бесцеремонно прерывал Умиду, сначала заговорив с проходившим по улице почтальоном, а потом с заведующим фермой.

Саиде показалось, что он ищет повод снова исчезнуть: «Ну, вы тут пока... а у меня дела...»

Как раз в эту секунду бригадир Зульфакаров, который до того все пытался увидеть свое отражение в натертой о бархат дивана поверхности табакерки, сунув себе под язык щепоть жевательного табака, встал и, пригнувшись, направился к двери.

Саида нашла момент подходящим для того, чтобы, призвав к порядку одного, тем самым предупредить другого.

— Просьба без разрешения не выходить,— сказала Саида, выждав, когда Зульфакаров окажется ровно на полпути.

Зульфакаров так растерялся, что даже и не подумал обратиться, хотя бы и запоздало, за разрешением, а сразу повернулся и, пригнув-

шись еще ниже, протрусил обратно к дивану.

— Слушаемся вас, ападжан,— сказал он с робостью, похожей на насмешку, должно быть проглотив перед этим лежавший у него во рту табак. Сказал — и посмотрел на Каландарова.

Саида, увидев этот взгляд, испугалась, что Каландаров, сам готовый лопнуть от досады, чем-нибудь выразит сейчас свое сочувствие бригадиру. Это было бы очень плохо, и, оказывается, об этом подумала не только она одна.

— На партийных собраниях нет ни «ападжан», ни «ака-джан»! — вдруг приподнимаясь со своего места, поддержал Саиду Исмаилджан и, кивнув на нее, добавил: — У нее, к вашему сведению, есть фамилия: товарищ Алиева.

— Да ну? — проговорил Зульфакаров таким тоном, словно ему сказали необыкновенную новость, и, повернувшись к сидевшему рядом с ним Усманджану Умарову, усмехнувшись, добавил: — Смотри не зови больше свою жену Умидахон, называй ее товарищ Умарова.

Саида не дала родиться смеху.

— Товарищ Умаров сам прекрасно знает,— быстро сказала она,— как ему называть свою жену, а вот вам действительно следует быть настороже, как бы не перепутать имена своих жен!

Зульфакаров побледнел и широко раскрыл рот. Каландаров, наоборот, покраснел и начал нещадно тереть лоб. Он всегда это делал в минуты волнения. Взгляд его, брошенный на Зульфакарова, не предвещал тому добра: ну и болван,— говорил этот взгляд,— черт тебя дергал за язык!

Зульфакаров и Каландаров смотрели друг на друга, а Умида растерянно стояла с бумажкой в руках, не зная, продолжать или не продолжать ей свой доклад.

Зная, что еще полтора года тому назад на него подано заявление, Зульфакаров если и не мог совсем скрыть от людей свое двоеженство, то, по крайней мере, стремился держать его где-то в тени. Виновато опуская голову в случае упрека, он в то же время в глубине души не считал это бог весть каким грехом. Но сейчас, когда обвинение в двоеженстве вдруг громко и открыто прозвучало на собрании, это было словно удар хлыста! Неопределенное становилось определенным, грешок — грехом, пятнышко — виной. Это почувствовал не только сам Зульфакаров, но и все вокруг. Они уже привыкли, что за Зульфакаровым тянется эта история; в домах она вызывала споры, на



улице смешки, в чайхане зубоскальство, но здесь, на партийном собрании, она вдруг разорвалась, как бомба!

— Со второй мы уже уладили,— наконец невнятно промямлил Зульфакаров.

После только что происшедшего взрыва это робкое признание показалось комариным писком.

При всей своей закалке Каландаров все-таки тоже поддался общему настроению.

— Не твой вопрос сейчас обсуждаем! Вот когда будем тебя обсуждать, тогда все и выложишь!

Слова эти прозвучали далеко не ласково, и Зульфакаров, глянув на председателя исподлобья, забился в угол.

Наконец доклад был дослушан.

Вопреки надеждам Саиды, выступавшие в прениях почти не касались вопросов, затронутых в докладе, а все больше распространялись насчет двоеженства Зульфакарова. Исмаилджан задал было другую ноту, рассказав о том, как работают коммунисты его бригады, но пример не оказался заразительным; еще один человек заговорил про Зульфакарова, и прения умерли.

Каландаров, не теряя времени, внес предложение считать работу бюро удовлетворительной; о том, что он сам является членом этого бюро и что такое предложение складней было бы внести кому-нибудь другому, он даже и не подумал. Предложение было вынесено на голосование и принято.

По второму вопросу снова первым выступил Каландаров. Когда он поднялся, по лицу Саиды прошла тень тревоги, но тревога эта оказалась напрасной, Каландаров был человеком слова. Он предложил избрать бюро из трех человек и назвал кандидатуры Саиды Алиевой, Умиды Умаровой и завгара Усманджана Умарова. Сказав две-три фразы о каждом, он протянул бумажку с заранее написанными им самим тремя именами председательствующему.

— А как же вы, Арсланбек-ака? — донесся из угла чей-то голос.

Но хотя этот голос и проявлял заботу о нем самом, на лице Каландарова не выразилось удовольствия. Он не любил постороннего вмешательства в то, что сам уже считал решенным, и это чувство было в нем и сейчас сильнее всех остальных.

— Без меня и так никакая работа не обойдется,— решительно сказал он,— и пусть лучше побольше людей в ней участие принимают!

— И, сразу же ставя точку, добавил: — В общем, я голосую за этих трех и ни за кого больше!

Саида подумала, что сейчас он сядет и начнется самое трудное: спор о кандидатурах Умарова и Исмаилджана. Но Каландаров, не садясь, попросил у собрания разрешения уйти.

— Мне сейчас до зарезу нужно ехать в МТС,— сказал он,— меня там уже ждут, на часы смотрят!

Все были довольны этим непривычным новшеством — Каландаров, перед тем как удалиться, просил разрешения.

— Отпустить, отпустить! — раздались дружные голоса из всех углов комнаты.

Чтобы как-то поддержать дисциплину, Саида предложила проголосовать. Пока люди поднимали руки, Каландаров стоял красный, словно переживал какую-то постыдную для себя церемонию. Стараясь сдержаться, он улыбался и подмигивал тем, с кем встречался взглядом, как бы говоря: ладно, раз надо, значит, надо, хотя ты и я понимаем, что все это пустое дело!

Саида тоже проголосовала со всеми. Она чувствовала, что, проголосовав «против», останется в одиночестве, а в данном случае это было бы глупо.

«Ну что же,— подумала она,— раз хочет уходить, его дело, пусть потом пеняет на себя».

Бледный Умаров, все время не спускавший тревожных глаз с Саиды, едва только вышел Каландаров, поднялся и, отведя свою кандидатуру, предложил избрать в члены бюро Исмаилджана Нур-матова.

Поскольку именно сам Умаров сказал о том, что неудобно одновременно быть в бюро ему и Умиде, это было встречено без смеха, а скорей даже одобрительно.

Кандидатуру Исмаилджана записали, но в последнюю минуту все-таки оставили и фамилию Умарова — пускай будут все четверо! По настроению собрания Саида поняла, что Умарова все равно не изберут, но многие не хотят вступать в прямой конфликт с Каландаровым, выдвинувшим его кандидатуру. Результаты голосования подтвердили ее догадку. Умида была избрана единогласно, против самой Саиды и против Исмаилджана был подан один голос. За Умарова не было подано ни одного голоса.

Когда прочли протокол счетной комиссии, стало так тихо, словно забаллотировали не Умарова, а самого Каландарова. Потом послышался

смех. Оставляя в списке Умарова, каждый, конечно, думал, что кто-нибудь да проголосует за него, но в результате все проголосовали против и сейчас сами смеялись над этим. Саиде сначала стало даже немножко жаль Умарова, но потом она подумала, что ничего. Огорчение забудется, а в таком голосовании есть свой, и очень серьезный, смысл. Умарова вычеркнули так дружно не только потому, что он и Умида — муж и жена, но и потому, что Каландаров в его лице слишком уж откровенно выдвинул самую удобную для себя кандидатуру — тихого и послушного ему человека.

Собрание закончилось. Члены бюро, оставшись, распределили обязанности. Поздравив Саиду с избранием ее секретарем, Умида и Исмаилджан оба одновременно подумали: «Предложение Каландарова не прошло. Ну-ну, что-то будет дальше!»

## 6

Узнав о случившемся, Каландаров был вне себя. В конце концов он, пожалуй, мог бы и сам выдвинуть кандидатуру Исмаилджана, черт с ним, пусть бы был в бюро, он, Каландаров, вовсе не такой злопамятный, каким его считают! Его бесил не сам факт избрания Исмаилджана, а то, что он, Каландаров, внес предложение — хорошее или плохое, другой вопрос — и это предложение было отвергнуто! Он внес, а Саида отвергла! Весь свой гнев он теперь сосредоточил именно и персонально на Саиде. А остальные тоже хороши, уже готово, пошли у нее на поводу!

Теперь Каландаров был вполне уверен, что буквально каждый шаг Саиды — результат ее желания увеличить свой престиж за счет престижа его, Каландарова. Теперь он припомнил ей все: и то, что она пренебрегла его мнением насчет повестки собрания, и то, что, как бы подчеркивая это, она написала в объявлении слова «Отчетный доклад» не какими-нибудь, а именно красными чернилами, и то, что, когда он ушел с собрания, она вынудила его вернуться. И Зульфикарова она ударила по голове, тоже не просто так, а чтобы он, Каландаров, почувствовал боль в ногах! А стоило ему уйти, как она протащила в бюро Исмаилджана! Чем больше Каландаров бесился, тем быстрее каждое из этих событий вырастало в целую гору.

И месяца не прошло, как тут болтается эта девчонка, а представьте себе, какие откалывает штуки! Спрашивается, что же будет дальше? Нет, надо привести ее в чувство, надо ей разом открыть глаза на то, кто

такой Каландаров и что такое она по сравнению с ним!

Приняв это решение, Каландаров на следующее утро вызвал Саиду в уже известный нам, предназначенный для голоvomоек, кабинет.

Когда Саида вошла, вид Каландарова не предвещал добра; чувствовалось, что он с трудом сдерживается.

Поздоровавшись, Саида, тоже заранее решив держать себя в руках, неторопливо уселась в кресло; чтобы выслушать упреки и неприятности, лучше всего усесться поудобнее, а неприятности будут, это уж безусловно. Сняв соломенную шляпу, Саида положила ее на краешек председательского стола.

Однако Каландаров начал не с упреков.

— Итак, значит, выписываем вам зарплату как завклубом?— спросил Каландаров тем недовольным голосом, каким спрашивают у навязавшихся на шею дармоедов: «Итак, стало быть, прикажете вас поить и кормить?»

Партийная организация была маленькая — освобожденный секретарь не предусмотрен, и Саида, как мы уже знаем, с самого начала приехала сюда на давно пустовавшую должность заведующего клубом. Каландаров знал это не хуже Саиды, но хотел уколоть ее.

— Ну что же,— сказала Саида,— вам виднее, тем более, что я заранее на это согласилась. Беда только, клуба у нас с вами и нет!

— Штаты есть,— отрезал Каландаров.

— А сам-то клуб?

Клуб давно не работал, Каландаров прекрасно знал и об этом, и поэтому пауза была достаточно длинной.

Развели там немножко шелковичных червей,— наконец сказал он.— Но на днях соберем коконы, освободим.

— Но ведь и тогда будет не клуб, а только одно помещение,— не сдавалась Саида.— Там же внутри ровно ничего нет! Как-никак, а раз я все-таки заведующая клубом, я за это время, по крайней мере, выяснила и чего там нет, и что там должно быть.

Ему очень хотелось обрезать ее, но ситуация была неподходящей, и он только хмуро спросил:

— А чего вам надо?

— Много надо, Арсланбек-ака. Вы не хуже меня знаете, что надо. Чтобы было такое место, куда бы люди могли прийти после работы отдохнуть и повеселиться. Кино надо! Занавес, чтобы можно было давать концерты, надо! Инструменты для музыкальных кружков надо!

Деньги, чтобы приглашать лекторов, надо! Если поможете сделать из клуба действительно клуб, то назначайте меня заведующей, я согласна!

Слово «поможете» особенно разозлило Каландарова, и он проговорил, не скрывая насмешки:

Вы и так умная девушка. Проживете и без моей помощи, она вам не больно-то нужна!

«Да, здорово разобиделся за вчерашнее»,— подумала Саида, но, сделав вид, что пропустила насмешку Каландарова мимо ушей, смиренно сказала, что если он на первых порах поможет ей, то потом она постарается не досаждать ему просьбами.

Но Каландарова нельзя уже было утихомирить никаким смирением.

Вы же приехали к нам не помощи просить, а руководить нами,— язвил он.— Вы же наш руководитель! Мы же, куда ни ступи, должны делать все под вашим руководством.

Он был до такой степени зол, что Саида даже подумала: уж не появилась ли у него какая-нибудь новая причина для раздражения, помимо результатов вчерашнего собрания.

«Интересно, как бы он разговаривал со мной, будь я мужчина,— подумала она,— может быть, тогда все-таки попробовал бы найти со мной общий язык?»

Эта мысль очень разозлила ее, и она, удержавшись от резкого ответа, не удержалась от иронии.

- Ну что вы, Арсланбек-ака,— сказала она, улыбаясь,— Как я могу вами руководить? Ведь если женщина начнет вами руководить — или ей, или вам головы не сносить!

Хотя шутка была, пожалуй, опасной, но Саида не ожидала от нее таких грозных последствий.

Каландаров пришел в самую настоящую ярость. Фраза, сказанная им дома жене в присутствии Саиды, тут, в стенах правления, вдруг прозвучала совершенно иначе: нелепо и рискованно. Он вызвал Саиду с целью приструнить ее, но, кажется, получалось наоборот!

И он ответил Саиде тем, чем привык отвечать всегда, когда не находил настоящего ответа,— грубостью.

— Вы мне не смейте тащить сюда на работу разные домашние шутки! — заорал он на нее, грохнув кулаком по столу.

Саида вздрогнула от неожиданности и невольно ответила ему совсем не тем, чем нужно было ответить.

— Да что я такого сделала? — почти робко сказала она.

Эта минутная робость только еще больше распалила Каландарова. Эта девчонка робеет от крика? Ну что ж, покричим на нее еще!

— Вы что, думаете, я уже не имею права пошутить в собственном доме, с собственной женой? Этого еще не хватало! Уж не собираетесь ли вы заставить меня плясать под вашу глиняную дудку! Так у вас нос не дорос! Люди покрупнее вас воображали, что заставят меня плясать под их музыку, да не вышло! И не выйдет!

Саида понимала, что Каландаров так рассвирепел не только от ее шутки,— шутка было всего-навсего щепкой, подброшенной в огонь. Но что же с такой силой полыхало в нем сейчас? Все та же вчерашняя обида? Или под этой обидой свирепым пламенем разгоралось самолюбие и тщеславие человека, вообще давно отвыкшего считаться в чем бы то ни было с кем бы то ни было?

«Но нет, считаться со мной вам придется! И на первый случай выборы уже состоялись, и результаты их не переменишь, хоть криком кричите!.. Да и что, собственно, он на меня кричит?» — подумала она и именно это и хотела сказать ему, но он уже снова завопил, не дав ей рта раскрыть:

— Глупым ребенком не будьте! Научитесь понимать, что вы можете и чего нет. Вы себе в голову вбили, что я захудалая кляча, годная только в пристяжные? Смотрите не ошибитесь! Я еще такой скакун, что не всякий на мне удержится, а кое-кого могу и раздавить! Да-да, зарубите себе это на носу!

Согласитесь, что, если даже на тебя кричат и ты очень рассержена, все-таки невозможно не улыбнуться, когда взрослый, немолодой, красный от злости мужчина вдруг сам называет себя скакуном. Не улыбнуться было невозможно — и Саида улыбнулась.

— Арсланбек-ака,— сказала она, неожиданно для себя успокаиваясь от звука своего тихого и насмешливого голоса.— Ведь скакуны бог весть куда уносят седока только при виде плетки. А вы унеслись так далеко... Простите меня, но, собственно, что случилось, в чем все-таки дело?

Где-то в глубине души Каландаров даже оценил ее насмешливый ответ и чуть сам не усмехнулся, но он еще не выложил всего, что собирался, и поэтому не желал успокаиваться.

— Это я вынес на своих плечах колхоз! — кричал он, постепенно все же переходя с крика просто на громкий голос,— И не вам, а мне

знать, в чем наша радость и в чем наше горе! Не мальчишки и не девчонки, а ученые, да-да, с бородами! Из разных академий! Приезжают и сначала идут ко мне, а потом уже смотрят хозяйство. Я книгу о колхозе написал!

Он с такой силой рванул ящик стола, что чуть не ударил себя по животу, и швырнул под нос Саиде довольно толстую брошюру:

«Путь колхоза «Бустон». Саида вдоль и поперек изучила эту брошюру еще до приезда в колхоз, но сейчас из врожденной вежливости перелистала ее.

— Я не сомневаюсь в том, что вы большой человек,— спокойно сказала она.

— А раз так, зачем артачитесь, не слушаете старших?

— А что я, собственно, сделала?

— Почему Умаров не прошел в бюро? — Каландаров снова повысил голос.

— А почему он должен был пройти? — все так же спокойно парировала она.

Каландаров грозно нахмурился.

— Потому что когда я что-нибудь делаю, то я делаю это обдуманно.

— Ну что же,— ответила Саида как могла равнодушной,— Значит, вам нужно было досидеть на собрании до конца и объяснить коммунистам, почему именно кандидатура Умарова является, по вашему мнению, наиболее подходящей.

Ее спокойный тон мешал Каландарову держаться на высоких нотах.

— Да, я обдумал кандидатуру Умарова,— сказал он уже без прежнего запала.— А вот обдумали ли вы сами кандидатуру Исмаилджана Нурматова — в этом я не уверен. Вы что, хорошо знаете его?

— Я пока еще нет,— сказала Саида, — но остальные коммунисты — да. Они знают его хорошо. И потом сами подумайте, Арсланбек-ака, что лучше: если бы членом бюро был завгар, половину времени проводящий в поездках и очень мало имеющий общего с нашим главным делом — с хлопком, или если членом бюро будет бригадир, всю жизнь выращивающий хлопок и, как говорят люди, один из лучших знатоков нашего колхозного хозяйства? Ну скажите сами, что лучше и кто из них как член бюро больше поможет вам как председателю? И,— еще спокойнее добавила она,— ведь нельзя считать таким уж правильным, когда в одно бюро выдвигают одновременно и мужа и

жену. Согласитесь сами...

— Вы не учите меня, не учите! Одного прошу — не учите! — снова раскричался было Каландаров. Выпрямившись, он захлопнул животом ящик стола, встал, но, с минуту постояв, снова опустился на стул.

У Саиды сдвинулись брови, голос ее по-прежнему оставался мягким, но в нем появились новые нотки.

— Я никогда не думала учить вас, хотя бы потому, что вы мне в отцы годитесь, но, если, по-моему, что-то неверно, должна же я сказать вам об этом! По-моему, партийное собрание приняло правильное решение. Против Исмаилджана был всего один голос, если не считать того, что вы отсутствовали...

— Еще бы, зачем же считать меня, если есть вы? Там, где присутствуют такие руководители, как вы, таких, как я, можно смело сбросить со счетов!

У него был сейчас такой обиженный вид, что Саида невольно заговорила с ним почти как с ребенком.

— Арсланбек-ака, подумайте сами, ну зачем такие слова!

Но Каландаров уже снова взвился до небес:

— Еще бы, это же вы вынесли колхоз на своих плечах! Это у вас на все сразу готов ответ: что хорошо, что плохо! Это вы на одном мизинце можете без труда поднять хоть десять таких колхозов, как наш «Бустон»! Знаете, есть такая птичка-синичка на тонких ножках. Так вот, старики говорят, что эта птичка-невеличка по ночам, подняв кверху свои ножки, думает, что небо удержит, если оно на землю упадет!

Отвечать сейчас Каландарову было бесполезно, он желал слушать только собственный голос, однако молчание было бы знаком согласия.

Саида несколько секунд смотрела на него и, усмехнувшись, сказала:

— На свете много разных птиц, Арсланбек-ака. Ведь и петух думает, что если он не покричит, так и рассвет не наступит!

После всех своих криков и в особенности последней, как ему казалось, беспощадной издевки Каландаров считал, что Саиде осталось только удариться в слезы. Ее ответный удар был так внезапен, что он вздрогнул и, потеряв остатки самообладания, даже не крикнул, а взвизгнул:

- Вон отсюда! — Руки его шарили по столу, словно искали, чем бы стукнуть девушку по голове. К счастью, первым, что ему попало под руку, была смиренно лежавшая на краешке стола соломенная шляпка Саиды. Схватив ее обеими руками, он стал ее рвать на кусочки, как



листок бумаги, и, с некоторой натугой изорвав всю до конца и собрав клочки в горсть, кажется, намеревался швырнуть их в лицо Саиды.

Но Саида неподвижно сидела, глядя на него в упор, не моргая и не отводя глаз, и именно поэтому он, не посмеяв сделать того, что ему хотелось, швырнул обрывки на пол и выскочил из кабинета.

Еще долго, не находя в себе силы сдвинуться с места, сидела пораженная Саида. Наконец она встала, не спеша подняла с полу все до одного клочки своей шляпы, открыла ящик каландаровского стола, сложила их туда, закрыла стол и медленным, усталым шагом вышла в приемную.

В приемной сидела Умида, улыбаясь, рассматривала только что пришедший свежий номер «Муштума».

- Ты что там делала? — спросила она, увидев Саиду.

— Да в общем ничего, — сказала Саида. — Ты давно здесь?

— Нет, минут пять. Как раз шла и встретила Каландарова, он куда-то спешил, летел как пуля! Я даже и не думала, что ты здесь, в кабинете.

— Ничего особенного, — повторила Саида, довольная тем, что оказывается, никто не слышал воплей Каландарова. — Ничего, — еще раз повторила она и почувствовала страшную усталость во всем теле.

## 7

Саида прошла в сад. Под карагачем никого не было, но красный чайник и опрокинутая вверх дном пиала говорили, что председатель неподалеку. Саиде меньше всего хотелось встречаться с ним; медленно, как больная, она прошла через густой коридор поднимавшегося по проволочным аркам винограда и, чувствуя, как слезы подступают к горлу, оглянувшись, не видит ли кто-нибудь ее, побежала домой через пустынный в этот час старый вишневый сад. Она уже добежала до своей комнатки, вставила ключ в замок и вдруг опомнилась.

«Да что же я делаю? — спросила она себя. — Зачем я пришла? Чтобы упасть на кровать и разреветься? Но какую печаль я хочу выплакать, чью бессердечную душу я хочу смягчить слезами? И вообще, почему я хочу реветь? Если Каландаров дал мне щелчок, то от меня он получил затрещину; если он, вместо того чтобы расправиться со мной, расправился с моей шляпой, — разве это он проявил силу, а я слабость?»

Она даже улыбнулась такой мысли и, шмыгнув носом, смахнула с ресниц слезинки. Самолюбие было отнюдь немаловажным качеством в

характере Саиды, и сейчас, ощутив его, она вдруг перестала чувствовать себя усталой и слабой.

Нет, она не поддастся и не поддалась и ни в коем случае не будет, как дура, лежать и реветь в подушку, наоборот, она пойдет сейчас же назад и немедленно встретится с председателем и совершенно прямо, как он того и заслуживает, назовет его отсталым и невоспитанным! О, она сумеет дать ему понять, что она вовсе не из тех жалких, беззащитных женщин, какую он, очевидно, надеялся увидеть в ее лице! Саида решительно повернула обратно и нарочно пошла мимо карагача. Но председателя там не было, а председательский чайник и пиала исчезли.

Зайдя в правление, Саида узнала новость: только что пришла телефонограмма. Каландаров утвержден руководителем взаимопроверочной бригады, выезжающей сегодня в соседнюю область.

Саида была в том настроении, когда трудно заставить себя быть вполне справедливой.

«Ну конечно, — подумала она, — не нашли ничего лучшего, чем послать человека, который и в милиции побывал, и женские шляпки рвет, и вообще безобразничает как ему вздумается».

Однако не будем осуждать Саиду за то, что она сейчас была готова забыть, что Каландаров умеет не только рвать женские шляпки и наезжать на милиционеров. По правде говоря, она сегодня здорово натерпелась от Каландарова и была теперь вправе наедине с собой проявить к нему некоторую несправедливость.

Сердито пройдя в свой кабинет, она впервые со дня приезда села на секретарское место.

Чуть-чуть поостыв, она подумала, что, наверное, все же Каландарову станет неловко за свой поступок и он, хотя бы под предлогом отъезда, зайдет к ней, чтобы как-нибудь загладить происшедшее.

Сначала подумав так, а потом решив, что так оно и будет, Саида заранее обсудила сама с собой тот миролюбивый, но достойный ответ, который она даст Каландарову. И так, все было готово к его приходу; дело оставалось только за ним — но он не шел и не шел...

Лишь через два часа от случайно заглянувшей к ней Умиды Саида узнала, что Каландаров уже давно, вовсе и не подумав прощаться с ней, уехал в райцентр, а оттуда в область.

«Неужели он не понимает, — с новым приливом горькой обиды

подумала она,— что за поступки, которые он совершил сегодня, надо просить у людей прощения?.. Даже пусть бы он не попросил прощения,— продолжала свои размышления Саида, по правде говоря не очень представляя себе Каландарова просящим прощения,— но пусть бы я увидела, что он хоть чувствует себя виноватым...»

— Нет, бесполезно что-нибудь говорить такому человеку! — вслух сказала она, сидя в пустом кабинете и сердито стуча по столу своим маленьким кулаком.— Надо ехать в райком и все, все рассказать товарищу Насырову. И если даже Каландарову ничего не будет за это, пусть все-таки знают, в каких условиях мне здесь приходится работать!

Саида решила было тут же написать в бюро райкома письмо про все безобразия Каландарова, но так расстроилась, перебирая их в памяти, что отложила это на вечер, а сейчас торопливо на клочке бумаги набросала только план письма: «Милиция! Дисциплина на собрании! Отношение к женщинам! Руководство и потеря головы! Шляпа!»

Слова «дисциплина» и «шляпа» она жирно подчеркнула. Вечером, только-только Саида засела за письмо, как в окно ее комнатки просунулась голова Умиды. Умида сказала, что приехал товарищ Насыров.

Саида ужасно обрадовалась — как ни пиши о Каландарове, разве передашь в письме все самые тонкие и важные обстоятельства дела!

Наспех сунув уже исписанные листки под подушку, Саида побежала в правление.

Под карагачем была целая толпа народа; тут и обычно-то собиралось по вечерам много людей поговорить о том о сем, а сейчас, услышав о приезде секретаря райкома, многие пришли специально, чтобы увидеть его.

Еще издали приветствуя Саиду, Насыров поднялся с помоста, пошел ей навстречу и, пожалуй, даже с чуть-чуть подчеркнутым уважением поздоровался с ней.

Любой, кто мог наблюдать, как Насыров говорил сейчас с Саидой и как он в свою очередь слушал ее, невольно должен был бы прийти к выводу: «Эге, кажется, мал золотник, да дорог: смотрите, как с ней разговаривает секретарь райкома!»

И хотя Саида в душе чувствовала некоторую неловкость от того подчеркнутого внимания, которое ей оказывал сейчас Насыров, она старалась не обнаружить этого и держаться на высоте.

Однако когда Саида, решив изложить все свои обиды на

Каландарова, пригласила секретаря райкома зайти к ней в кабинет, Насыров сказал, что он очень спешит и завернул сюда только на минуту по дороге в колхоз «Ватан».

Это было не совсем верно; он действительно ехал в «Ватан», но вовсе не так уж спешил и первоначально как раз имел намерение, заехав сюда, не только поддержать авторитет Саиды, но и часок поговорить с ней. Однако, увидев припухшие глаза Саиды и ее подрагивающие губы, он передумал. Несомненно, она чем-то расстроена, собралась жаловаться и готова расплакаться. Несомненно также, что для такого ее настроения есть свои более или менее уважительные причины и главная из них, наверное, Каландаров. Но начать тут же выслушивать ее сдобренные слезами жалобы и поневоле успокаивать ее — это, по мнению Насырова, значило вовсе не к месту показывать свое расположение к молодому работнику, открывая ему и в дальнейшем дорогу к нытью и жалобам.

Насыров уехал, сказав, что, когда у Саиды будет время, она может застать его в райкоме, а расстроенная Саида до полночи писала свое письмо, то злясь, то плача, и поэтому добрую половину страниц заикаясь слезами.

Свободное время у нее, разумеется, выбралось на следующее же утро, но, когда она переступила порог райкома, лежавшее в ее кармане и написанное с такими муками письмо показалось ей слишком длинным и малодушным, и она решила, не показывая его, просто рассказать все и сделать это покороче, опустив лишние мелочи.

А когда она уже переступила порог секретарского кабинета, ей вдруг стало не по себе. Всего месяц, как она сидела вот тут, в соседней комнате, еще так недавно, уезжая отсюда, она обещала сделать все, что в ее силах, и — нате, здравствуйте — вернулась сюда жалобщицей.

Она вошла в кабинет растерявшись, еще не зная, что будет говорить и что оставит при себе. А когда Насыров, посадив ее напротив себя на диван, сказал: «Я вас слушаю», Саида вдруг и вовсе не нашлась что сказать.

В замешательстве она начала с того, что высказала несколько соображений о формах политучебы в колхозе — этот вопрос и правда занимал ее в последние дни, хотя для него не нашлось места в письме.

Выслушав ее, Насыров немножко поговорил о работе как раз таких политкружков, которые она хотела сейчас организовать, сделав вид, будто он именно так и думал, что Саида приехала к нему говорить о

кружках.

На самом деле Насыров, разумеется, понимал, что Саиду привело сюда не только это. Да и ничего удивительного,— наверно, она здорово успела натерпеться за этот месяц от Каландарова!

Сейчас Насыров уже не опасался такого разговора. Он был почти уверен, что теперь Саида обойдется без слез и более здраво, чем вчера, посмотрит на дело. Не желая вынуждать девушку, он сам завел разговор об этом.

— Кстати, о политучебе,— начал он.— Предвижу, что привлечь к ней Каландарова вам будет довольно трудно. Рассказывают, что, когда ему советуют хоть слегка подучиться, он гордо отвечает, что это его личное дело. Вот бессовестный, а? — вдруг рассмеялся Насыров.

— Это верно. А кто вам рассказал? — спросила Саида и, покачав головой, горестно вздохнула.— Вообще тяжело, очень тяжелые условия!

У нее покраснели веки, и Насыров сразу заметил это. Надо было предотвратить вчерашнее. Прекрасно зная, что Саида имела в виду, Насыров, однако, сделал вид, что не понял ее.

— Вот как, тяжелые условия? — переспросил он.— В чем же они прежде всего заключаются: земля, люди, профиль хозяйства? Вы не напомните мне, сколько у вас там гектаров и под какими культурами и как на них распределяется рабочая сила?

Саида смешалась. Не понял ее Насыров или только сделал вид, что не понял, но отвечать-то надо было! А как раз это ей трудно было сделать. Те поверхностные сведения, что она получила в первые дни в бухгалтерии, те немногие разговоры, которые она вела собственно о хозяйстве колхоза, да и то больше в первые дни, чем в последние, спутались у нее сейчас в голове, и даже цифры, которые она, кажется, помнила, вдруг как чертики поскакали в разные стороны. Однако на память нечего было обижаться — у хорошей памяти должны быть корни, а их пока не было. Саида еще плохо знала хозяйство колхоза, еще мало интересовалась им, и единственное хорошее во всем этом было то, что она сейчас честно об этом подумала.

А пока она думала, Насыров молча сидел и терпеливо, даже слишком терпеливо, ждал ответа.

Прошло, наверно, с минуту; она подняла глаза и встретила его взгляд, говоривший: «Если ты сейчас, через месяц, все еще не знаешь таких азов, спрашивается — с чего ты там начала свою работу?»

И хотя Саида еще недавно собиралась излить в этой комнате свои обиды на Каландарова, по крайней мере в течение часа, никак не меньше, сейчас, под взглядом Насырова, это желание начало исчезать у нее.

А Насыров между тем продолжал расспрашивать о соблюдении севооборотов, об опасности засоления земель, о соотношении колхозных доходов — основных и побочных... И она хотя и пыталась говорить в ответ что-то близкое к истине, но сама прекрасно понимала, что это не ее собственные знания, а только жалкие обрывки мельком услышанных чужих слов.

Наконец, уже сама не желая сейчас говорить о Каландарове, а просто судорожно ища выход из неловкого положения, она вдруг выпалила:

— Я пришла потому, что хотела поговорить о председателе, о Каландарове!

Насыров был совсем не прочь услышать мнение Саиды о Каландарове и выяснить причины ее вчерашнего подавленного состояния. Однако ему хотелось, чтобы ее жалобы не остались в кругу сетований на тяжелый характер председателя и на трудно сложившиеся личные отношения. Он хотел, чтобы речь пошла прежде всего о деле и жалобы тоже, в конечном итоге, послужили бы делу. Поэтому он, приготовясь слушать, бросил, однако, предостерегающую реплику:

— Условия, в том числе и тяжелые, создаются не одним председателем! — И, сказав так, вдруг спросил Саиду, читала ли она один новый роман, некоторые страницы которого, как он полагает, подтверждают его мысль.

Романа Саида не читала, а прохладное отношение Насырова к тому, что она собиралась рассказать о Каландарове, очень раздосадовало ее.

— Конечно, не один председатель создает условия,— сказала она,— но его отрицательное влияние может быть очень большим.

— Что верно, то верно,— сказал Насыров, — тут я с вами согласен. Но если говорить о влиянии — ваша чаша весов всегда перетянет, если председатель, в данном случае Каландаров, со своим отрицательным влиянием останется в одиночестве, а вы со своим положительным влиянием обопретесь на окружающих вас людей, на колхозных коммунистов, да и на нас, на райком. Мне лично думается, что Каландаров — большая сила, он как полая вода: может и своротить мельницу, может и завертеть ее. В людском характере много сторон.

Мой совет — изучите в Каландарове хотя бы эти две, но зато как следует! Что мы знаем о Каландарове? Знаем, что он прекрасный организатор? Но ведь эти слова — целая книга, ее надо прочесть от доски до доски! У семи нянек дитя без глазу,— говорим мы о нем; но ведь нянек-то семь, и бывший секретарь товарищ Кадыров был только одной из них, нельзя все сваливать на него. Надо разобраться — и почему няньки стали привыкать к тому, что дитя без глазу, и почему дитя (усатое в данном случае) само стало стремиться к тому, чтобы за ним этого глаза было поменьше. А не разберемся во всем этом — положения не переменим! И не кто-нибудь другой, а вы и мы должны показать ему ясно, где черное и где белое, показать, что благодаря ему выросло и расцвело в колхозе и что — благодаря ему же — засохло, осыпалось. А если у человека, даже ценного, глаза так заплыли жиром, что он и на самого себя посмотреть не может, то такие глаза при всем народе прочищают. Мы ведь не следователи, мы — партийные работники.

Желание жаловаться на Каландарова окончательно увяло у Саиды. В самом деле: она пришла сюда готовая очень много наговорить, а подумать о том главном, что, наверное, каждый день с треском сталкивается в самом Каландарове, делая его таким, как он есть, подумать об этом она по-настоящему не успела. А прежде чем говорить, надо было много думать и много знать. И во всем том, что только что сказал ей Насыров, содержался прежде всего именно этот укор.

В конце концов, теперь уже больше в порядке информации, Саида рассказала Насырову о некоторых бросившихся ей за этот 60 месяц в глаза — иногда грубых, иногда смешных — проделках и выходках Каландарова. Она отзывалась о них сейчас так, как они этого заслуживали, то с горечью, то со смехом.

Насыров тоже иногда посмеивался, а услышав про шляпу, захохотал.

— Ого,— сказал он,— я вижу сдвиги. И то, что вы мне рассказали, все это отнюдь не в порядке жалобы,— это тоже своего рода сдвиг в работе!

— Ну а если бы я пожаловалась вам, Тахирджан-ака? Ведь жалобы бывают разные...

— Разумеется,— сказал Насыров,— но все же всякая жалоба несет в себе долю слабости. Когда я в детстве учился в интернате, меня здорово отлупил один ловкий малый из соседнего детдома; я опоздал к

обеду, все ребята уже сидели за столами, а воспитатель стоял у дверей. Еще не утерев слез, я бросился к нему жаловаться: такой-то из такого-то детдома только что избил меня! Тогда воспитатель отвел меня на мое место за столом, велел встать на табуретку и стоять, подняв руки. «Подними, подними,— сказал он,— тот, у кого руки не умеют драться, должен, по крайней мере, хорошо поднимать их вверх!» Так я и простоял с поднятыми руками и опущенной головой, пока все девяносто моих товарищей не покончили с обедом. С тех пор я ни разу никому ни на кого не жаловался. На рабфаке учился, университет кончал, в армии шесть лет служил — ни разу не жаловался!..

И хотя Насыров обошелся без того, чтобы закончить свои воспоминания прямым нравоучением, Саида была рада, что ее письмо так и осталось лежать у нее в кармане.

Недалеко от райкома, на мосту через магистральный канал, Саида остановилась, вынула письмо и, не перечитывая, изорвала его на мелкие клочки, еще более мелкие, чем те, в которые Каландаров превратил ее шляпку. Клочки, потрепыхавшись на ветру, один за другим легли на воду и поплыли себе далеко-далеко, в казахские степи...

## 8

Саида получила хороший урок, не хуже того, что дал когда-то воспитатель самому Насырову, заставив его стоять на глазах у всех с поднятыми руками. Спрятав в карман самолюбие, она сделала единственно правильное, что могла сделать,— начала с азов, не стыдясь задавать о любой стороне колхозной жизни любой самый простой вопрос, если ей казалось, что она чего-то не знает или не понимает.

Сначала она тревожилась за свой авторитет, но потом почувствовала, что люди презирают не тех, кто не знает и спрашивает, а тех, кто не спрашивает, делая вид, что знает. Конечно, ее выручало и то, что она была хоть и с городским образованием, но все-таки из кишлака и могла отличить ячмень от пшеницы и дыню от тыквы.

Итак, Саида не покладая рук изучала колхоз, а вместе с ним его председателя товарища Каландарова. Если когда-то, на первых порах, ее, случалось, больше всего волновала проблема «Каландаров и я», то сейчас она изучала проблему куда более существенную: «Каландаров и



колхоз».

Говоря с Саидой о Каландарове, Насыров сказал: «У семи няnek дитя без глазу». Прослужив много лет в армии, он вообще любил употреблять русские поговорки, невинно щеголяя перед собеседником знанием всех тонкостей русской речи.

Но на узбекском языке была еще другая, своя поговорка, уже давно и накрепко приставшая к Каландарову. На холодном севере про такого сказали бы, что он хорошо пригрелся, на палящем юге — что он рос в холодке, «в тенечке».

И вот Саиде предстояло теперь изучить не только те качества Каландарова, которые сделали из него хорошего организатора, но и те причины, что привели его в этот «тенечек».

Одной из причин была его малограмотность.

Внутренне стыдясь ее, он только и делал, что хвастался ею.

«Хоть я и малограмотный, но планы выполняю лучше всех грамотеев» — это была его любимая поговорка, начало и конец всех его речей.

Второй причиной того, что он рос «в тенечке», было очень многое, связанное с историей его возвышения, а в конечном счете с еще недавно нередким положением, когда один гремевший на всю республику колхоз мог служить для района и знаменем, и похвальным листом, и щитом от упреков за все остальное.

Для того чтобы в этих условиях понемногу не распоясаться, у председателя такого колхоза должно было быть много скромности и мало тщеславия. У Каландарова было как раз наоборот: мало скромности и вполне достаточно тщеславия. Это последнее росло у него прямо как рекордный урожай на специально удобренном и во всех отношениях подготовленном для этого участке. В итоге Каландаров привык считаться только с тем, что приносило ему славу: с выполнением плана и с доходом на трудовень, а на все остальное смотреть сквозь пальцы.

Как раз в те дни, что Каландаров ездил со взаимопроверочной бригадой, а Саида, отчасти пользуясь его отсутствием, поочередно совала свой любопытный нос во все колхозные дела, был самый разгар сбора и сдачи коконов. В эти дни по вечерам под карагачем можно было слышать немало разговоров о том, что в таком-то звене есть «липа» или даже большая «липа», а в таком-то звене ее нет или почти нет.

Саида и прежде слышала это слово, но не вникала в его значение,

считая, что речь идет о каком-то недостатке в области шелководства.

Теперь ей пришлось познакомиться с тем, что это значит на самом деле, в жизни: некоторые шелководческие звенья, гонясь за славой и за премиями-надбавками, тайно, сверх установленной нормы, разводили еще некоторое количество шелковичных червей.

И вот вдруг, когда, скажем, повсюду выполнение плана еще только-только начинало ползти от девяноста процентов к ста, районная газета бухала во все колокола, что такое-то звено колхоза «Бустон» выполнило план на сто двадцать процентов!

Именно такая история произошла и сейчас. Саида, не откладывая в долгий ящик, сразу отправилась в одно такое прославившееся на весь район звено и без особого труда обнаружила, что из ста двадцати процентов пятнадцать приходится как раз на «липу».

Саида долго говорила со звеньевой, пробовала растолковать ей, что так делать нельзя, что если все звенья будут поступать так же, то и наверх пойдут неверные сведения, и наука, чего доброго, сделает неверные выводы о продуктивности шелковичного червя, и что, наконец, если каждый год можно разводить больше червей, чем намечено по плану, то, значит, надо составить и другой план. Но звеньевая обратила на ее слова ноль внимания.

— Да-да,— сказала она,— может быть, у нас не все так, как надо.— Но по выражению ее лица было совершенно ясно: она считает, что у нее как раз все так, как надо.

Саида переменяла тактику и попробовала припугнуть ее тем, что, наверное, за обман в конце концов по голове не погладят.

Звеньевая сначала и к этому отнеслась безразлично, а когда Саида стала настаивать, в ответ просто-напросто обругала ее.

Ларчик открывался просто: оказывается, Каландаров, хотя и делал вид, что ни сном ни духом не причастен к «липе», на самом деле прекрасно знал, что она существует, и те, кто ею занимался, чувствовали себя за его спиной в полной безопасности.

Когда же огорченная Саида стала делиться своей тревогой с одним из членов правления, он, усмехнувшись, рассказал ей о том, по какому принципу вообще Каландаров дает в течение сельскохозяйственного года сведения, которые от него требуют сверху. Принцип оказался самым простым: Каландаров отнюдь не утруждал себя подсчетами, а брал из головы все сведения, которые считал в данный момент необходимыми или удобными, потом диктовал их на бумагу, ставил

внизу свою закорючку и отправлял все это в любое место, где желали заниматься статистикой. На этот счет у него была не только своя практика, но и своя теория.

«Дело района,— говорил он,— получить от меня хлопок и шелк, а в мои дела пусть не лезет!»

Исследуя разные стороны деятельности Каландарова, Саида выяснила, что те документы, где он только должен был ставить свою подпись, он поручал писать Умиде, и тут все обстояло сравнительно благополучно. Гораздо хуже обстояло с теми документами, которые по тем или другим причинам надо было писать собственноручно. Ведь одно говорить «я малограмотный, а план выполняю лучше всех грамотных», а совсем другое сесть перед чистым листом бумаги и выводить на нем каракули. Такое занятие было Каландарову нож острый, и поэтому все его «собственноручные бумаги» были написаны не им, а старшим чайханщиком, и только подпись на них действительно принадлежала Каландарову. Это, разумеется, даже при его крутом характере все же ставило председателя в какую-то зависимость от Ишана, а об этой зависимости Саида думала без всякого удовольствия.

Малограмотные люди обычно одно из двух: или очень уважают науку, сетуя, что в их собственной судьбе она прошла мимо, или раз навсегда считают себя обиженными на нее и стремятся третировать тех, кому довелось учиться больше их, но кто тем не менее попал от них в зависимость.

Вторые встречаются реже, чем первые, но Каландаров был как раз одним из них.

Директор и учителя школы отнюдь не принадлежали к числу людей, о которых Каландаров думал или заботился; наоборот, при всяком удобном случае он демонстрировал свое пренебрежение к ним, а в колхозе это всегда сказывается не только на оборудовании школы или на том, свистит или не свистит ветер зимой в ее классах, но косвенно даже на таких вещах, как дисциплина: ведь дети очень чутки к тому, как относятся к их учителям взрослые. Были вещи и похуже: только ничтожная часть девочек, учившихся в школе, доходила до десятого класса. Здесь как раз и опереться бы на помощь председателя. Да где там!

Детский сад был отдан на откуп Кифоятхон, а она, как мы знаем, была слишком занята своими многочисленными обязанностями в доме председателя, а в свободное от них время — своими мыслями о

предстоящей свадьбе дочери, выходящей замуж за сына председателя.

Что касается клуба, то, хотя, когда он был достроен, его фотография была напечатана и в районной и в областной газетах, этим дело и ограничилось: по большей части в нем что-нибудь разводили, сушили или складывали.

Вот многое из того, хотя и далеко не все, о чем Саида говорила за это время с членами правления колхоза. Иногда она разговаривала вполне откровенно, иногда, отложив эту откровенность на будущее, просто исподволь старалась привлечь внимание своих собеседников и разбудить дремлющую мысль тех, кто успел свыкнуться со всем этим. Эта привычка была самая опасная. Ведь многие в самом деле приучили себя считать, что все, что бы ни делал Каландаров, к лучшему.

Такие вещи — не мелкая сорная травка, которую можно выщипнуть с грядки двумя пальцами, их надо вырывать с корнем, ухватись двумя руками, а чтобы это удалось, нужно, как в детской сказке, тащить не одну, а так, чтобы «дедка за репку, бабка за дедку...». Нужно было так или иначе постепенно, терпеливо, без паники вовлечь в это дело многих людей и в конечном счете, как это ни трудно, и самого Каландарова...

И вот когда Саида с головой окунулась в работу, которой не видно было конца, случилось неожиданное.

После сдачи коконов, когда помещение клуба освободилось, Саида, собрав молодежь, вымыла, вычистила его и назначила день открытия, не того торжественного открытия, что один раз уже состоялось, а того настоящего, после которого клуб должен был и в самом деле начать работу.

На вечере открытия Саида очень-очень коротко, так, чтобы не наболтать ничего лишнего, такого, что будет только сказано, а потом не сделано, поговорила о клубе и о том, каким он может стать, если приложить к нему руки. После этого были объявлены музыка и танцы, но первое время веселья что-то не получалось.

Тогда Саида, взяв дутар, сама заиграла на нем, одного парня уговаривая спеть, а нескольких девушек — сплясать.

Хотя Саида и молода, но все-таки она руководитель, хотя она и не ходит в гимнастерке и галифе, насупив брови и важно переставляя ноги, но все-таки она секретарь партийной организации,— короче говоря, присутствующие не ожидали, что она так запросто возьмет дутар и так лихо заиграет на нем. И то, что она все-таки взяла его и

заиграла, и то, что вслед за этим, как огонек на ветру, быстро разгорелось общее веселье, пляски, песни, невольно сблизило всех, кто здесь был, и с Саидой и друг с другом. Под конец та самая, уже немолодая звеньевая, которая обругала Саиду и с тех пор сама считала себя с ней в ссоре, вдруг, словно на нее откуда-то нахлынула ушедшая молодость, взяла дутар и заиграла, попросив Саиду сплясать. По-разному ссорятся разные люди и по-разному мирятся. Бывает, что мирятся и так, как это случилось сейчас...

Саида не заставила себя долго просить и сплясала. Поднялись веселые крики и даже шум, а в результате всего вместе взятого многие люди в колхозе начали за глаза называть Саиду «наша Саида» или «наша Саидахон» и все меньше стали чураться ее. Скорее напротив: ей пришлось за эти дни выслушать так много откровенных разговоров и так много душевных тайн, что иногда она и спать-то ложилась куда позже, чем ей бы хотелось после трудного длинного дня.

По объявленному Саидой плану работы клуба первая лекция проводилась специально для женщин и называлась «Что говорит религия о женщинах».

В клубе собрались одни женщины и девушки, и собралось их куда больше, чем ожидала Саида.

Когда лектор закончил, Саида поинтересовалась, нет ли вопросов. Сразу поднялось несколько рук. Не ожидая, что придет столько народу, Саида тем более не ожидала такой активности.

Поднялась худощавая, с темным, усталым лицом женщина, сидевшая прямо перед Саидой.

— Мой первый вопрос,— сказала она,— про равноправие. Товарищ, который прочел нам лекцию, сказал, что в старину могилы для женщин рыли на пол-аршина глубже, чем для мужчин, а по-моему, что ж, может быть, это и верно. Что толку, если мертвая женщина будет похоронена наравне с мужчиной, когда она живая все равно не стояла наравне с ним... А я вот про живых хочу спросить: почему у нас в колхозе и до сих пор на женщин смотрят по-одному, а на мужчин совсем по-другому?

Лектор даже подскочил.

— Ну, тут уж ответ не за мной, а за вашим председателем колхоза.

Но женщина остановила его:

— А вы постойте, я еще не досказала... Кундузой, моя племянница, с кетменем только на ночь растается, хотя она и слабенькая, как

тростиночка, а ее муж, круглый, как бочка, работает у нас почтальоном, такой толстый, что уже два велосипеда сломал. Хорошо бы наоборот: его в поле, а Кундузой — на почту. Я так и сказала нашему председателю, а он голову задрал и заявляет: «Ваша Кундузой не сумеет на велосипеде ездить». А что, разве ее муж выехал из утробы матери прямо на велосипеде? За целый день только и сделает, что пять кило газет развезет. А Кундузой, бедненькая, вернется в темноте с поля, а в доме дела-то еще и не начаты — и ужин сготовь, и постирай, и шей, и дети у нее, за ними тоже ведь не муж смотрит...

В эту минуту из глубины зала донесся громкий голос:

— Э, сестрица, когда вода мутная течет, иди посмотреть, что случилось, к началу арыка. Разве вы не заметили, что у нас в канцелярии делается: сидят один на другом молодые люди, один другого здоровее, рубашки у них у всех шелковые, — может, товарищ лектор не знает, но мы эти рубашки называем между собой «утешение тела», — сидят в этих рубашечках и пощелкивают себе пальцами по костяшкам!

В зале поднялся шум и говор.

— А что, нет у нас, что ли, женщин, которые бригадирами могли быть?

В других колхозах не только бывают, но и Героя получают.

— А у нас и в кладовой мужчина, и на ферме мужчина, и в магазине мужчина!

— Только в ясли назначить не догадались!

— Подождите, скоро Ишана назначат!

Саида встала и, подняв руку, пытаясь успокоить разволновавшихся женщин, сказала, что лектор приехал из области, не знает дел их колхоза, ему трудно ответить на такие вопросы, но на них, конечно, нужно ответить, только не сейчас: нельзя превращать лекцию в собрание.

— А почему нельзя? — не поднимаясь с места, крикнул кто-то из середины зала. — Нас так давно не собирали, что все можно!

В зале снова поднялся гул. В первом ряду встала старая полная женщина, от волнения несколько секунд беззвучно шевелила губами, потом вдруг решила и зычным голосом сказала так, что было слышно не только во всех уголках зала, но, должно быть, и за окнами.

— Дочь моя Саидахон, есть у меня один вопрос: говорят, у председателя нашли ошибку, скажи, когда теперь будут обсуждать о нем вопрос?

Зал притих, а Саида испугалась.

— Какая ошибка? — даже немного заикнувшись, спросила она и посмотрела на Умиду. Но та сама сидела ошеломленная.

— Какая ошибка? — на этот раз уже увереннее повторила Саида.

Старуха посмотрела на соседок слева и справа, потом обернулась назад, в зал, так, словно об этой ошибке знали все присутствующие, но, обнаружив, что женщины сидят молча, обиженно воскликнула:

— Да что же вы молчите все? Говорите!

В зале по-прежнему стояла тишина.

— Я не знаю, о чем идет речь,— овладев наконец собой, сказала Саида.— Товарищ Каландаров уже столько лет руководит колхозом, что, наверное, я так думаю, по крайней мере, все его дела на виду у всех нас. Другое дело, если бы за ним было что-то такое, что он от всех скрывал и только теперь вдруг... Но я не знаю и думаю, что это пустые слухи.

В ответ на ее слова в зале раздалось несколько трезвых голосов:

— Надо такие вопросы задавать на общем собрании!

— Да пояснее, чтобы всем было понятно, о чем речь идет!

— И в присутствии самого председателя!

Воспользовавшись удобной минутой, Саида объявила перерыв, а затем кино. Передвижка, на ее счастье, уже приехала. Продолжать сейчас разговор и, не зная толком, откуда возникли слухи об «ошибке» Каландарова, пытаться тут же рассеять их, по ее мнению, значило бы добиться обратного.

Однако слухи все росли и за три-четыре дня выросли в целый снежный ком: говорили, что вопрос будут обсуждать, как только вернется Каландаров, что «ошибка» большая, что правление уже собиралось, что вместо Каландарова уже ищут другого и что не зря в колхоз приехал новый секретарь.

Все это очень встревожило Саиду. Конечно же, председатель не был для всех одинаков: одному он казался солнцем, другому луной, в колхозе были и довольные им и обиженные им люди. При этом у него, разумеется, имелись ошибки и, по мнению Саиды, даже очень большие, но все это было одно, а таинственная «ошибка», за которую его непременно должны были снять,— это уж нечто совсем другое, подозрительное и тревожное, опасный слушок, вокруг которого те, кому Каландаров в разное время насолил и за дело и без дела, могли накрутить все, что им вздумается, натворить много бед, внеся разброд

во все колхозные дела.

Саида советовалась с Умидой, с Исмаилджаном, с несколькими членами правления, но результат был один и тот же: каждый был удивлен не меньше ее и никто не знал, откуда пошли эти слухи.

А между тем объяснение было самое простое.

Во-первых, когда Саида заставила Каландарова возвратиться на партийное собрание, это, оказывается, произвело на отсутствовавших еще большее впечатление, чем на присутствовавших. Рассказы об этом необычном происшествии постепенно превратились в слухи о том, что Каландаров в чем-то провинился и его искали, куда-то вызывали и не то обсуждали, не то будут обсуждать.

Во-вторых, возникновению слухов помогло легкомысленное слово Умиды, которое она даже сама не заметила. Неделю назад Умида вместе с одной своей подружкой отправилась в баню, и там ее подружка стала бранить за скупость председателя, который в целях экономии велел слесарю так прикрутить краны с горячей водой, что из них капало в час по чайной ложке. Умида в ответ на это почему-то вздумала щеголять своим положением человека, знающего больше, чем простые смертные, и важно сказала, что краны — мелочь, у председателя есть ошибки и по крупнее.

Кроме Умиды и ее подружки, в бане были другие женщины, они слышали это и, чуточку, самую малость каждая добавив от себя, уже рассказывали потом другим, что у «председателя нашли ошибку и будут обсуждать о нем вопрос». К этому, пожалуй, следует добавить, что вполне невинное слово «вопрос» благодаря его неумеренному употреблению давно уже приобрело загадочное и даже тревожное значение отнюдь не только в устах этих мывшихся в бане женщин.

Словом, пошло-поехало. И в конечном счете сам Каландаров поневоле был причиной этого. Уж слишком долго он был вне критики, уж слишком долго даже самый пустячный его промах, о котором при других обстоятельствах и другому человеку можно сразу запросто сказать в глаза и тем кончить дело, оставался не названным вслух, но, как всегда это бывает, тем более прочно застревал в памяти людей. И хотя большинство колхозников в общем любили и уважали Каландарова, но, поскольку эту свою любовь и уважение они всегда могли продемонстрировать, а свое недовольство должны были годами прятать в кармане, постольку почва для произрастания слухов об «ошибке» Каландарова была достаточно успешно удобрена им самим.



Саида, Умида и Исмаилджан обсуждали все это с несколькими членами правления, но ни к какому определенному решению не пришли. Слухи были. Кто их так злобно распускал — неизвестно, оставалось надеяться, что рано или поздно в конце концов они сами заглохнут.

Однако Саиду особенно беспокоило, что все эти слухи возникли в отсутствие Каландарова и как назло после его ссоры с ней. Вдруг, когда он вернется, слухи дойдут до него и он сгоряча примет их на веру! Спрашивается, что будет тогда?

По правде говоря, наша Саида очень и очень нервничала...

## 9

Погода стояла неважная, солнечных дней не хватало, и хлопчатник развивался медленно. В такое лето особенно дорог опыт людей, добывающихся на своих участках более раннего вызревания. Такие участки были в «Бустоне», и правление и партбюро решили провести совещание, на котором лучшие бригадиры и звеньевые рассказали бы о своем опыте.

Разумеется, такое совещание за один день не подготовишь, и Саида вместе с агрономом из МТС и двумя членами правления уже второй день с утра до вечера ездила, а еще больше ходила по полям, из бригады в бригаду, из звена в звено.

Она вернулась уже в сумерках, не чуя под собой ног, но все же решила зайти в правление посмотреть почту и, если случится, выпить горячего чая. Собственный быт ее, как говорится, был неустроен, домашних у нее не было, а, вернувшись с работы, разводить огонь, чтобы вскипятить один чайник чая,— себе дороже, да и слишком она устала для этого.

В правлении было пусто. Взяв из приемной почту, Саида прошла в кабинет, открыла окно и зажгла лампу. Но только было она взялась за газету, как в кабинет вошел Зульфакаров, как добрый гений, держа в руках именно то, что нужно было Саиде,— чайник чая и пиалу.

Саида удивленно взглянула на него. Она еще ни у кого не просила принести ей чай, а кроме того — почему это чай по кабинетам разносит именно Зульфакаров!

— Прошу прощения, товарищ Алиева,— встретившись с ней взглядом, сказал Зульфакаров,— Ишан-ака куда-то отлучился, и вот...

Не договорив, он поставил чайник на стол, ополоснул пиалу и несколько раз, как водится, перелил чай из чайника в пиалу и обратно и лишь после этого протянул Саиде пиалу с чаем.

Однако его заботы этим не ограничились: он приподнял лампу и поболтал ее — достаточно ли в ней керосина? Потом подвернул чуть-чуть копивший фитиль и обдернул углы покрывавшей стол бархатной скатерти.

Тут Саида уже окончательно поняла, что Ишан-ака отсутствует не случайно: Зульфакаров пришел говорить с ней.

Выпив свой чай и налив в пиалу новую порцию, Саида протянула ее Зульфакарову. Тот поспешно подошел, принял пиалу обеими руками и, придвинув свой стул к Саиде, чайник, наоборот, придвинул к себе, дав этим понять, что будет разливать сам.

— Как ваши дела? — спросила его Саида.

— Ничего, товарищ Алиева, — сказал Зульфакаров, видимо, решив после того случая на собрании называть ее так при всех обстоятельствах. — Я все искал случая сказать вам, что исправил свою глупость, что с Мехри все у нас сейчас покончено... А вот и случай выпал, и сижу перед вами, а язык не поворачивается — стыдно...

Услышав этот смиренный тон, Саида задумалась: «Что-то больно быстро! Вчера еще не считал свое двоеженство виной, а сегодня уже говорит об этом, потупив глаза, как невинная девица. Может, ударился в панику, поверив разным слухам про Каландарова?»

— Ну что же, хорошо, — выжидательно ответила она.

Зульфакаров тоже выжидательно посмотрел на нее исподлобья.

— Если бы теперь похоронить все эти разговоры...

— Похоронить можно, — сказала Саида и слегка усмехнулась при этом. — Но бывает и так, что прежде чем похоронить покойника, считают нужным его вскрыть и осмотреть. Иногда это важно для живых... — Она помолчала и добавила: — Вы, оказывается, уже давно хотели поговорить со мной, а я уже давно хочу поговорить с Мехрихон, да никак не удается: иду к ней — прячется от меня; вызываю к себе — не приходит! А я все хочу спросить ее, что заставило ее выйти замуж за женатого человека? Вот узнаем это, может, в конце концов и похороним всю историю, да и поглубже!

— Всяко бывает, — вздохнул Зульфакаров. — Сердцу не прикажешь!

Саида не удержалась от смеха.

— Ну, еще бы, где уж устоять сердцу женщины перед человеком старше ее на десять лет, да еще с женой и с шестью детьми! Небось с потолка пыль сыплется — так она стонет по вас!

— Гм!.. Я не про то... — смущенно откашлялся Зульфакаров. — Я хотел сказать, что она женщина одинокая...

Но Саида не собиралась давать ему пощады.

— Ну, если дело только в одиночестве, — сказала она, — то скорее бы она вышла за такого холостяка, как Узаков. Я слышала, он в былое время и сватов к ней засылал, да и сам помоложе вас...

Обнаружив, что Саида знает об этой истории гораздо больше, чем он думал, Зульфакаров заметно смутился.

— И не нужда толкнула Мехрихон на этот путь, — словно разговаривая сама с собой, продолжала Саида, — Говорят, когда вы сблизились, оба вы были звеньевыми, в доходах разница у вас была невелика, а в расходах... Мехри ведь жила одна, а у вас жена, шестеро детей. Трудно поверить, что вы так уж щедро могли сорить деньгами, выкраивая подарки из своего семейного бюджета, а?

Зульфакаров не знал, что ответить. Он пришел сюда, готовый немножко поунижаться, лишь бы потом выйти сухим из воды. Но когда Саида вовсе не проявила желаний ограничиться его показным раскаянием, это не на шутку встревожило Зульфакарова. На всякий случай он подпустил в свой голос побольше дрожи.

— Как хотите, товарищ Алиева, а я всю правду сказал, глупость была... Была, но больше не будет...

— Что больше не будет — верю, — сказала Саида, собирая со стола разложенную на нем почту, чтобы взять ее с собой домой, — А вот что вы рассказали всю правду — не верю! Ладно. Почему Мехрихон вышла замуж за женатого человека, я узнаю у нее сама. Но как вы могли жениться, имея жену, можете вы мне это сказать?

— Дурак был, — тихо ответил Зульфакаров, боясь запутаться и не желая выходить из рамок показного самоунижения, казавшегося ему самым безопасным.

Но его смирение по-прежнему не трогало Саиду.

— Не вы выдумали обычай многоженства, — сказала она, — это я знаю. И не вы будете вслух его защищать — это я тоже знаю. А вот почему это случилось именно с вами и Мехрихон — этого я не знаю, а вы мне сказать не хотите!

Зульфакаров сидел не шевелясь и не поднимая головы.

Убедившись, что он решил не говорить ничего сверх уже сказанного, Саида попросила извинения, сказав, что она устала и пойдет отдохнуть.

Зульфикаров взял чайник и пиалу, но, судя по его нерешительной походке, все еще надеялся, что Саида окликнет его и остановит.

Отпирая свою комнатку, Саида заметила, как в кустах у окна мелькнуло что-то белое. Потом, когда Саида уже вошла и зажгла лампу, дверь приоткрылась — и на пороге появилась низенькая пухленькая женщина в белом шелковом платье и вышитой бисером тюбетейке. У нее было довольно миловидное лицо, но голова как-то нескладно сидела на слишком короткой шее, и это очень портило ее.

Саида пригласила неожиданную гостью сесть, и она опустилась на стул, крепко сжав в смуглой руке белый платочек.

— Я Мехрихон Анарбаева,— несмотря на очевидное волнение, с каким-то привычным жеманством сказала женщина.— Я столько раз приходила к вам, даже устала, да все никак не могу застать вас одну. Говорят, что вы будете обсуждать вопрос обо мне и Зульфикарове.

— Вопрос? Что за вопрос? — Саида прикинулась самую чуточку удивленной.

— А вы критиковали, говорят, на собрании, спрашивали: которая из них твоя жена? Так вот я вам скажу: я за него замуж не выходила, он на мне не женился!

Саиде с первого взгляда не понравилась эта женщина, и она не вполне сумела скрыть свои чувства.

— Раз Зульфикаров вам не муж,— сказала она даже с неожиданной для себя резкостью,— то кем же вы предлагаете нам его считать? Любовником?

Женщина взвизгнула:

— Такие слова мне говорите! А еще девушка!

Но на Саиду это мало подействовало, она только усмехнулась.

— Ну что же, тогда придумайте сами, как назвать мужа — не мужем, а как-нибудь по-другому, и при этом не оскорбить ничей слух.

Женщина сидела понурясь, нервно комкая в руке платок.

Увидев ее в первую минуту, Саида решила, что они заранее сговорились с Зульфикаровым. Оказывается, нет: он принес повинную, она, напротив, отрицала свою вину; сходство было лишь в том, что оба порознь и одновременно решили как-нибудь предотвратить надвигавшуюся грозу.

Много вопросов, оставшихся без ответа, успела задать Саида, прежде чем посетительница наконец сдалась. Кажется, на нее подействовал спокойный тон, которым говорила с ней Саида, подавив в себе первую вспышку неприязни. У женщины зародилась надежда на сочувствие Саиды, и, заговорив, она рассказала все, то плача, то смеясь, то обвиняя себя, то Зульфакарова, то ругая заодно его и себя.

Мехри рано осталась без матери, на руках у отца, который, едва она достигла совершеннолетия, в самом начале войны выдал ее замуж за Усманджана, колхозного кузнеца, тихого и трудолюбивого юношу, а через год — это случилось все разом — отец умер, а Усманджан ушел на фронт.

Примерно в это время уже совсем распоясалась та шайка воров и плутов, которая, как мы знаем, чуть не довела «Бустон» до развала накануне прихода Каландарова. Мехри, оставшаяся сразу и без мужа и без отца, показалась лакомым куском одному из этой шайки, и хотя это не делает ей чести, но, в общем, так случилось...

Саида хорошо поняла — как и что случилось, и, когда Мехри в этом месте своего рассказа вопросительно посмотрела на нее, не стала спрашивать о подробностях.

После того как все это случилось, человек, бывший этому виной, выразил свою благодарность Мехри именно таким образом, каким это может сделать отпетый плут. Он назначил ее руководить звеном, которое до тех пор едва-едва сводило концы с концами, но, лишь только в него пришла Мехри, сразу выполнило план на сто двадцать процентов. Как это вышло, не знала ни Мехри, ни ее звено, но зато ее покровитель очень хорошо знал, как это делается. Мехри получила большую премию, а он через полгода сел за решетку, ибо история с Мехри была вовсе не самым большим злом из всего им сотворенного.

В следующие три года ни о каких премиях не могло быть и речи, премии даются тяжелым трудом, а такое начало, какое было у Мехри, не больно-то располагало к труду.

Когда Усманджан невредимый вернулся из армии, он даже не захотел войти под крышу своего дома; люди позаботились о том, чтобы он узнал все, чего он предпочел бы не знать; впрочем, может быть, они и были по-своему правы. Усманджан поселился в каморке при кузнице, через год построил с помощью колхоза дом и, обзаведясь кое-каким хозяйством, посвятился к Умиде, работавшей тогда дояркой. Муж Умиды погиб на войне, и она жила вместе с матерью и свекровью.

Хотя, казалось, было уже поздно питать какие-либо надежды на примирение с Усманджаном, однако, узнав, что он женится, Мехри чуть не заболела от горя и зависти и ужасно обрадовалась, когда деревенские сплетницы сказали ей через несколько дней, что Умида отказала Усманджану, потому что считает свекровь своей второй матерью и не хочет бросать ее одну. Однако, как видно, Усманджан не побоялся приобрести сразу двух тещ, потому что через неделю была сыграна свадьба. Правда, Мехри и после свадьбы утешала себя мыслью, что все равно у них ничего не получится: человек часто лезет на стенку и от одной тещи, а тут целых две, да притом одна из них мать покойного мужа,— разве это жизнь?!

Прошли дни. За днями прошли месяцы. Мехри жадно выпрашивала у соседей: «Ну как? Не поссорились? Не разошлись?..» Увы! Усманджан и Умида не ссорились и не расходились, больше того, не ссорились даже старухи, ни между собой, ни с молодыми. Прошли годы. У Усманджана родился и рос сын, и однажды, увидя его одного на улице, Мехри в приступе ревности, к которой примешивались остатки все еще не потухшей любви к Усманджану, смертельно напугала мальчишку: сначала схватила его и стала тискать, а потом укусила за щеку.

Прошли еще годы. Усманджан, кончив курсы шоферов, часто ездил на своем грузовике мимо дома Мехри, так ни разу и не взглянув в ее сторону, и, наконец, стал колхозным завгаром. Умида кончила вечернюю школу и сделалась секретарем правления, а Мехри по-прежнему оставалась тем, чем была.

Вот как раз в это время и началось у нее все с Зульфикаровым...

Как-то летним вечером приезжие артисты давали концерт под открытым небом, прямо на бригадном стане. Конферансье шутил без остановки и, должно быть, заранее разузнав все колхозные дела, то легонько, с похвалами задевал кого-нибудь из передовиков, то награждал довольно злыми тумаками отстающих. Почти все вокруг дружно смеялись, но Мехри было не до смеха: мало того, что на ее долю достался увесистый тумак, это бы еще полбеды, но почти сразу вслед за этим ей пришлось услышать целое похвальное четверостишие, адресованное другой, соревновавшейся с ней звеньевой. Эта звеньевая считалась подругой Мехри, но была из тех подруг, которым втайне мечтают выцарапать глаза. Мехри задрожала от зависти, а случившийся рядом Зульфикаров, заметив ее состояние, сначала тихо

шепнул ей, чтобы она не больно-то огорчалась, а потом, когда они возвращались с концерта, идя с ней рядом, тихо сказал:

— Если не помогать друг другу, всю жизнь проживешь на задворках!

Слово «помогать», в особенности в устах мужчины, не было новостью для Мехри. Именно это слово когда-то во время войны часто любил повторять тот человек, что сбил ее с пути.

В общем, Мехри и Зульфакаров довольно быстро поняли друг друга и решили «помочь» друг другу, правда, не сразу, а по очереди.

В тот год, о котором идет речь, оказывать «помощь» выпало на долю Мехри. Всеми правдами и неправдами, обманывая ничего не подозревавших и поэтому не таких уж бдительных членов своего звена, Мехри какую-то часть хлопка, собранного ими, и чуть не половину того, что собрала сама, ухитрилась перевести на счет звена Зульфакарова. Когда подводили итоги, оказалось, что Зульфакаров намного перевыполнил план; он получил и большие надбавки, и премию, и похвалу от председателя на собрании, а в конце концов получился даже более сильный эффект, чем могли предвидеть и Зульфакаров и Мехри: Зульфакарова сделали бригадиром, а Мехри освободили от обязанностей звеньевой, потому что работа ее звена уж слишком плохо выглядела на фоне успехов соседа.

Никем не обнаруженный подвох (хотя если приглядеться, то обнаружить его ничего не стоило) связал Мехри и Зульфакарова; в то же время сознание существующей между ними тайны невольно отдалило их от всех окружающих. Так или иначе Зульфакаров решил увидеться с ней, чтобы ее успокоить. Но увидеть ее он решил тогда, когда никто не увидит его, то есть глухой ночью, а успокаивать ее он полез через забор, не пытаясь воспользоваться воротами. Впрочем, к тому времени подобные странности Зульфакара уже не могли удивить Мехри.

Прошло несколько месяцев. Зульфакаров время от времени ездил то в город, то в райцентр и теперь обычно перелезал через забор Мехри уже не с пустыми руками, а то с отрезом маргиланского атласа, то с парой лакированных туфель, то с бутылкой сладкого вина в кармане.

Добавив, что Зульфакаров не ограничивался вещественными дарами. Во время своих посещений он стремился также и поддерживать дух Мехри, говоря, что теперь он в колхозе большой человек, и намекая при этом, что на долю Мехри с его помощью когда-нибудь достанутся

почести и даже слава.

Заборы могут быть высокими, а ночи темными, но в кишлаке трудно долго что-нибудь скрывать, и вскоре поползли слухи, на этот раз вполне соответствовавшие истине.

Жена Зульфакарова отнеслась к его ночным прогулкам без всякого сочувствия, наоборот, ее очень прельщала мысль ворваться к Мехри, выцарапать ей глаза и в заключение притащить ее за волосы в правление. Только прямая угроза Зульфакарова, что в этом случае он уедет из дома за тридевять земель, бросив жену и детей и не оставив адреса, пресекла это первоначальное намерение. Жена проплакала несколько дней, потом, чтобы показать характер, на неделю ушла к своей сестре, но так как на самом деле у нее этого характера не было, вернулась и продолжала жить с Зульфакаровым. Впрочем, добавим от себя, что в таких случаях присутствие шести детей порой влияет и на более крепкие характеры.

Однажды как-то в колхоз приехал секретарь райкома товарищ Кадыров. Он должен был обойти поля нескольких бригад и, по расчету председателя, примерно к обеду оказаться в бригаде Зульфакарова. В соответствии с этим расчетом именно Зульфакаров и получил председательское распоряжение приготовить плов.

Вот тут-то Зульфакаров и пошел на риск, решив организовать плов не на бригадном стане, или, как по-узбекски говорят, шипане, а в доме у Мехри, стоявшем как раз неподалеку.

Расчет Зульфакарова был прост: если секретарь райкома в сопровождении председателя посетит дом Мехри, да они еще съедят там плов, да еще об этом станет всем известно, то это если не пресечет болтовню, то все же свяжет кое-кому языки, а главное, неприметно узаконит ночные посещения Зульфакаровым дома Мехри, из которых ему уже осточертело делать тайну.

Плов был приготовлен и съеден. Кадыров ровно ничего не знал о Мехри, а Каландаров был занят Кадыровым и мало интересовался тем, где приготовлен плов: на шипане или в чьем-то доме; главное, чтобы плов был хороший и вовремя.

Хитроумные расчеты Зульфакарова, как это ни странно, оправдались, и, надо сказать, отчасти потому, что они сами, и Зульфакаров и Мехри, уж очень поверили оба в полный успех своего плана. Мехри, давно отвыкшая задирать нос перед соседками, снова приобрела эту привычку, а Зульфакаров стал посещать Мехри уже не ночью, а днем и



без особых предосторожностей. А когда люди вдруг начинают так поступать, стало быть, за этим стоит какая-то причина. В общем, дошло до того, что некоторые кумушки стали говорить, что снова нашу Мехри чуть ли не назначают звеньевой, а некоторые кумушки мужского рода глубокомысленно замечали: неудивительно, что Зульфакаров так смело действует; недаром Каландаров привел самого секретаря райкома есть плов в дом Мехри и недаром он не Дает ходу заявлению, написанному на Зульфакарова комсомольцами. Разве бы он мог не дать хода этому заявлению, если бы товарищ Кадыров не обещал ему своей поддержки? Уж наверное обещал, как же иначе!

Словом, в конце концов отношения Зульфакарова и Мехри превратились во что-то вроде полуофициального второго брака. И, почувствовав себя в безопасности, Зульфакаров решил довести дело до конца: приготовил для ближайших друзей и привез на попутной полutorке захудалого муллу, который недолго думая совершил все, что от него хотели.

— Я и сама не заметила, как стала второй женой этой собаки,— не слишком нежно аттестовав напоследок Зульфакарова и громко всхлипнув, закончила свой рассказ Мехри.

— Собака облизывает только открытый котел,— сказала в ответ Саида, с сожалением поглядев на рябоватое, потное от волнения лицо Мехри, казалось, осунувшееся за эти два томительных часа.

— Что вы собираетесь теперь делать?

— Не знаю.

— Какое у вас образование?

— Когда-то семь классов кончила.

— А нет у вас желания пойти куда-нибудь учиться?

Совершенно неожиданно для Саиды Мехри ужасно перепугалась.

— А что, неужели из колхоза выгонят? — быстро спросила она.

Саида невольно рассмеялась.

— По-моему, никто не ставил такого вопроса. А если кто-нибудь и поставит, то я первая буду возражать. Я просто подумала, что после того как вы так споткнулись у всех на глазах и сами вызвали о себе столько нехороших разговоров, которые не скоро утихнут, может быть,— если, конечно, другие согласятся со мной,— послать вас в город на годовичные или полугодовичные курсы. Такие курсы есть сейчас по многим специальностям, и вас с семилетним образованием туда примут. А когда вернетесь, наверно, и вы иначе посмотрите на окру-

жающих и они на вас!

Мехри молчала, а Саида с тревогой подумала о том, права ли она и не слишком ли много на себя берет. Заслуживает ли эта женщина, чтобы посылать ее на какие-то курсы, и согласятся ли с этим те, от кого это будет зависеть, хотя бы тот же Каландаров? Одно дело сидеть и есть у нее плов, другое дело послать ее на курсы. И все-таки, несмотря на колебания, Саида в глубине души чувствовала, что ее первый, непосредственный порыв верен. Да, эта сидящая перед ней женщина, возможно, и не заслуживает никаких курсов, но ведь она не всегда была такая, как сейчас, и не всегда будет такой, как сейчас, а если верить в это, то ее надо спасти! А не верить в это Саиде не позволяла ее молодая, чистая и деятельная душа.

«Да, да, так и сделаем! — мысленно воскликнула она и, подумав о возможных препятствиях, самолюбиво добавила про себя: — Ничего, я настою!»

А вслух сказала только:

— Если вы в самом деле пойдете учиться, кем бы вам хотелось стать?

В глазах Мехри светилась благодарность, больше относившаяся к самой Саиде, чем к ее предложению насчет учебы.

— Я буду учиться, — не совсем уверенно сказала она. — Я подумаю, кем бы я хотела стать, и потом скажу вам.

Она уже ушла, и Саида, прибавив в лампе фитиль, положила перед собой все еще не прочитанные газеты, как вдруг в окно просунулась голова Мехри.

— Саида-апа! — хотя Саида была на целых восемь, если не на десять лет моложе ее, но все-таки Мехри именно так, почтительно окликнула ее. — Саида-апа, запишите меня туда, куда сами решите. Как вы скажете, так и сделаю.

10

Саида пребывала в самом хорошем настроении, и для этого имелись причины.

Во-первых, в клубе один за другим прошло несколько удачных вечеров, одновременно и серьезных и веселых, и Саида почувствовала, как молодежь сразу потянуло в клуб. Это можно было заметить даже по вечернему движению на улицах кишлака.

Во-вторых, после первых же скромных своих удач она в разговорах с людьми почувствовала такое радостное доверие к себе, что ей стало даже чуть-чуть боязно: а вдруг не до конца оправдаешь его?

И, наконец, в-третьих, совсем не плохо прошло то, за что Саида особенно боялась, чувствуя себя неуверенно: совещание хлопкоробов по обмену передовым опытом. Правда, совещанием руководила не сама Саида, а Исмаилджан, но она нисколько не меньше волновалась от этого.

Все прошло хорошо, люди много и горячо выступали, и у Саиды осталось двойственное чувство: с одной стороны, многие выступавшие сетовали на отсутствие Каландарова и вспоминали его по разным поводам. Он был в их глазах большим мастером хлопка, настоящим авторитетом, и они не кривили душой, говоря, что здесь его не хватает; а с другой стороны, после совещания многие люди сами сказали Саиде, что еще не помнят за последнее время такого количества активных выступлений, как на этом собрании, проходившем в отсутствие Каландарова. В общем, выходило так, что отсутствие Каландарова имеет две стороны: с одной стороны — было плохо, что он не был и не выступал, а с другой стороны — как раз потому, что его не было, так много и активно выступали другие.

На следующий день после совещания от Каландарова пришла телеграмма, не вообще в правление, а на имя Саиды. Каландаров просил завтра к восьми вечера выслать за ним на станцию машину.

То, что Каландаров прислал телеграмму именно ей, показалось Саиде хорошим знаком, — видимо, он протягивал руку для примирения.

Саида вовсе не хотела, чтобы эта рука повисла в воздухе, напротив, она решила пожать ее двумя руками и для этого самой встретить Каландарова.

Но, как говорится, «ум хорошо, а два лучше». Умида-предложила то, до чего сама Саида не додумалась, а именно: чтобы пресечь разные слухи о председателе, еще бродившие по колхозу, организовать ему встречу пошире. К концу рабочего дня собраться несколькими членами правления, взять бригадиров и звеньевых, поставить на грузовик скамейки и проехаться на станцию всем вместе.

Сказано — сделано, и на следующий день, за час до прихода поезда, грузовики и председательская «Победа» уже пылили по дороге к станции.

Вышедший из вагона Каландаров, увидев, что его встречают чуть

не двадцать человек, сначала встревожился: не случилось ли чего? А потом страшно обрадовался. И так как он был не мастер скрывать свои чувства — и дурные и хорошие, то эта радость была вполне откровенно написана на его лице, когда он первым долгом подошел к Саиде и сгреб ее ладошку в свою здоровенную ручищу. Потом он поздоровался с остальными и, сев рядом с шофером, несмотря на свою радость, разговаривал всю дорогу с сидевшими сзади Саидой, Исмаилджаном и Умидой, ни разу не повернув к ним головы, так что им приходилось сидеть вытянув шеи и прикладывая ладони к ушам, чтобы расслышать его золотые слова. Повторяем, что Каландаров был в самом прекрасном настроении, но, как видно, привычка — вторая натура.

Только один раз, когда машина встала у закрытого шлагбаумом переезда, Каландаров повернулся, посмотрел на Саиду, потом нагнулся, порылся в стоявшем рядом с ним на сиденье саквояже и вытащил оттуда немножко помятую соломенную шляпу. Старательно расправив ее на колене, он осторожно взял шляпу двумя пальцами и протянул ее Саиде.

— Наденьте-ка, синичка,— сказал он, произнеся это слово ласково, будто просил не вспоминать, какой злой смысл он вложил в него прошлый раз.

Ни Умида, ни Исмаилджан так и не поняли: ни почему председатель вдруг привез Саиде шляпу, ни почему он называет ее синичкой.

— Вон как интересно вы называете нашу Саиду, Арсланбек-ака...— вопросительно протянул Исмаилджан.

Но Каландаров обратил на его любопытство ноль внимания и, как только миновали переезд, усевшись поудобнее, снова стал, не поворачивая головы, расслашивать о колхозных делах.

Время было уже позднее, и Каландарова проводили прямо до дома. Почти все встречавшие ненадолго зашли к нему и, посидев, сколько требовали того вежливость и обычай, постепенно разошлись. Саида тоже хотела уйти, оставив дела до завтра, но Каландаров сам задержал ее; он все еще продолжал пребывать в прекрасном настроении.

Саида подробно, потому что он попросил ее, рассказала ему обо всем, что было сделано в его отсутствие.

Про совещание по хлопку он слушал с интересом и одобрительно кивал головой, хотя в душе, видимо, сетовал на свое отсутствие. Даже когда Саида сказала, что Исмаилджан очень хорошо провел совещание, Каландаров, и тут одобрительно кивнул; было видно, что он,

превозмогая себя, старается быть справедливым.

Над вопросами, которые задавали женщины после лекции, он посмеялся, раз или два при этом скрыв под смехом некоторое смущение, а когда Саида смело решила сама рассказать о возникших о нем слухах, он на одну секунду уперся в нее тревожным взглядом, а потом громко захохотал: то, что Саида сама рассказала ему об этом, не оставило места для подозрений.

Потом он одобрил мысль послать на разные курсы нескольких колхозниц, имеющих среднее образование, а когда Саида заговорила о Зулфакарове и Мехри, вдруг совершенно неожиданно для нее очень рассердился и заявил, что надо собрать общее собрание и выгнать их обоих из колхоза.

Кажется, он думал при этом, что его предложение как нельзя больше придется по душе Саиде. Но когда Саида сказала ему, что, по ее мнению, надо подумать, тем более что и он сам, пожалуй, был тут кое в чем виноват, защищая в свое время Зулфакарова и потворствуя их отношениям с Мехри, он сразу остыл и быстро согласился с тем, что лишний раз подумать всегда неплохо.

Ну вот вам и весь мой отчет,— сказала наконец Саида,— Удовлетворительно поставите?

— Почему удовлетворительно? Пять!

— Ну, а вы когда перед нами отчитаетесь? — спросила Саида, улыбнувшись столь щедрой оценке.— Какие новости у них в области? Чему вы их там учили и что привезли с собой оттуда? Послезавтра у нас открытое собрание, посвященное школьным делам, но мы бы изменили повестку и первым поставили ваше сообщение.

— Что ж,— сказал Каландаров, кажется, очень довольный этим предложением.— Вон вы сколько дел без меня провернули, может, и мне тоже не грех поболтать перед вами минут пятнадцать!

— Да, совсем забыла,—уже уходя, сказала Саида, хотя на самом деле она вовсе не забыла, а нарочно оставила этот трудный вопрос на самый конец.— Всех коммунистов, работающих в школах, мы за это время перевели к себе на учет, а то они жили как-то вразброд...

У нее были ясные, невинные глаза, хотя, как говорится, «знала кошка, чье мясо съела». Дело в том, что Каландаров считал, что коммунисты, работающие в школах, не имеют никакого отношения к колхозу. В основе этого убеждения лежало то, что он когда-то несколько раз попадал на собраниях под обстрел учителей-коммунистов и побай-

вался их, но его мнению, излишне независимого поведения. Именно поэтому он когда-то добился согласия не вникшего как следует в это дело райкома на перевод школьных коммунистов в разные другие партийные организации. Теперь, пока его не было, Саида все переделала по-своему. С присутствием учителей партийная организация колхоза становилась крепче и больше, вдобавок открывалась возможность впоследствии расширить бюро до пяти человек. Кстати говоря, когда Саида ездила к Насырову, он не погладил ее по голове за то, что Каландарова не оказалось в новом составе бюро. «Может, на первых порах вам, как молодому секретарю, и кажется, что так будет проще работать, но поживете — увидите, что линия наибольшего сопротивления хотя и трудней, а верней! Да и разные люди по-разному могут воспринять то, что председатель колхоза вдруг не вошел в бюро!» — сказал тогда Насыров Саиде и добавил, что, если впоследствии бюро расширится до пяти человек, это даст возможность поправить дело. Он же и подал Саиде мысль о приеме на учет школьных коммунистов. Однако Саида решила сейчас не ссылаться перед Каландаровым на авторитет секретаря и, взяв все на себя, ждала, как отнесется к этому председатель.

Каландаров, вопреки ее опасениям, не взорвался, но заметно помрачнел.

— Эх,— крикнул он,— зря я вам пятерку поставил. По мне, так не надо было их и близко подпускать к нам! — сказал он, имея в виду учителей.— В хлопке ни бельмеса не смыслят, зато по другим вопросам любят воду в ступе толочь!

Саида сделала вид, что очень удивлена.

— Не думала, что у вас такое мнение,— сказала она.— Но дело ведь уже сделано. Арсланбек-ака, теперь нельзя идти на попятный...

С этим последним Каландаров поневоле согласился, и Саида ушла, оставив его в раздумье, что же все-таки поставить ей: четверку или тройку?

## 11

Всевозможные слухи о председателе на время нарушили мир и благодать, царившие в душе Ишана.

«Эх, черт, неужто его скинут?» — думал он, тревожась не столько за Каландарова, сколько за себя, и несколько дней на всякий случай

усиленно кланялся Саиде и Исмаилджану.

Однако после торжественной встречи Каландарова он тут же взыграл духом и, едва ушла Саида, сел с ним вдвоем и сплетничал до вторых петухов, по-своему излагая и комментируя каждое происшедшее в отсутствии Каландарова событие.

Правда, Каландаров не больно-то верил ему, слишком хорошо зная способность Ишана делать бурю из каждого чиха блохи, но все же какие-то капли яда пролились в ухо председателя, и, засыпая, он подумал о Саиде с новым приступом недоверия: «Скажи, пожалуйста, каким невинным белым цыпленком притворилась, особенно на станции! А между тем, если поверить хоть десятой доле всего, рассказанного Ишаном, у этой птички-невелички действительно хватит ловкости и коварства, чтобы удержать на своих тонких ножках целое небо!»

Так до конца и не решив, чему верить и чему нет, Каландаров заснул и, проспав всего два часа, ранним утром был уже в правлении. Хотя на него обрушилась сразу такая куча дел, которую менее расторопный и опытный человек не переделал бы за три дня, Каландаров в душе даже радовался этому: дела дожидались именно его решений, а люди дожидались возможности говорить именно с ним. И, пожалуй, именно это ощущение своей силы и необходимости помогло ему сегодня не слишком сильно реагировать на те капли яда, что вчера были влиты в его ухо Ишаном.

Он так же приветливо, как вчера вечером, поговорил с Саидой, перенявшей за это время его привычку приходить в правление чуть свет, побеседовал еще с десятком людей, забежал домой, наспех позавтракал и занялся осмотром хозяйства. Все-таки какие там ни были грехи у Арсланбека Каландарова, а другой жизни, кроме своего колхоза, у него не было, и за две недели отсутствия он, попросту говоря, по нему соскучился! Поэтому, наверное, он не выбирал сегодня, на какой участок хозяйства ему пойти сначала, а на какой потом. Он скучал без всего вместе взятого и обходил теперь все подряд.

Он остался доволен работой фермы и недоволен работой строительной бригады. Садовники во фруктовом саду встретили его улыбаясь, он обычно хвалил их, а проводили нахмурысь, потому что он на этот раз обругал их за неполадки с подачей воды; зато заведующую птицефермой, которую отругал в прошлый раз, теперь он имел основание похвалить и, кажется, был рад этому не меньше, чем она сама.

Словом, все было бы ничего, если бы во время этого обхода Каландаров не заметил одной поразившей его вещи: слишком многие произносили при нем имя Саиды с уважением, не соответствовавшим ни ее годам, ни короткому сроку ее работы в колхозе.

Если бы Каландаров мог невидимо присутствовать всюду, где за это время бывала Саида, и слышать все, что она говорила, окажись он незримым свидетелем того, как Саида с первых же дней приезда взялась за свое дело с чисто женской дотошностью, со справедливостью партийного работника и с энергией юности,— случись так, возможно, Каландаров оказался бы сейчас в другом настроении... Но ему не дано было видеть причин, он столкнулся только с результатами: имя Саиды было у всех на устах; и недобрый огонек, зажженный в сердце Каландарова Ишаном, постепенно превратился в адское пламя ревности.

На следующий день он пришел на собрание, вопросительно подняв одну бровь и хмуро опустив другую. Увидев сидевших вместе, возле окна, директора школы и двух учителей, он окончательно пришел в тихую ярость. Он никогда не был мастер выступать по писаному, хотя, может быть, как раз потому, что был малограмотен, считал необходимым начинать всякий свой доклад с бумажками в руках. На этот раз из-за дурного настроения он прочел вступительную часть доклада особенно плохо, искажая трудные для прочтения слова, а то 80 и просто пропуская их. Обычно после выступления, оторвавшись от бумажек, он говорил хоть и не очень складно, но живо, с умом и душой, а сейчас все мысли повыскакивали у него из головы, и он, пробубнив минут пятнадцать и раздраженно ответив на несколько вопросов, уселся, вытирая пот со лба.

Недовольные докладом и удивленные настроением председателя слушатели, словно сговорившись, отказались от дальнейших вопросов.

Поняв, что вступительная часть доклада была написана Ишаном, и подумав, что Каландаров пришел в дурное настроение именно потому, что неудачно начал, Саида пожалела, что не решилась заранее предложить ему помочь подготовить доклад, и даже упрекнула себя в этом.

Едва перешли ко второму вопросу — о школьных делах, Каландаров встал и, словно позабыв, что было на прошлом собрании, словно все это ему как с гуся вода, буркнул куда-то в сторону: «Ладно, вы тут пока поговорите между собой»,— и вышел.



Умида (она вела собрание) переглянулась с Саидой, но та, хотя и была сама очень расстроена, спокойно кивнула ей: мол, ничего, продолжай! Впрочем, другого выхода и не было, призывать председателя к порядку на открытом партийном собрании показалось Саиде неудобным.

Утром Саида пошла к Каландарову. Встреча состоялась на обычном месте под карагачем. Увидев Саиду, Каландаров постарался взять себя в руки и быть приветливым.

— Молодец, синичка, — сказал он, и на его уже немолодом лице, когда он улыбнулся, заиграли мелкие морщинки. — Мне рассказали, как вы тут за клуб взялись. Это хорошо, что молодежь стала по вечерам туда бегать, а то ведь недолго и распуститься!

Саида присела рядом с ним на помосте и сказала, что двое недавно вернувшихся из армии парней организовали радиокружок и автокружок. Есть уже и музыкальный кружок, только в первых двух не хватает оборудования, а в третьем — инструментов. Но, говорят, по смете есть еще много неиспользованных денег.

— Денег сколько надо, столько и дадим! — сказал Каландаров.

И, наверное, потому, что у самой Саиды было отличное настроение, ей показалось, что такое же настроение и у председателя.

— А теперь главный вопрос, Арсланбек-ака, — сказала она, берясь за блокнот. — У нас в колхозе немало девушек со средним образованием, из них можно подготовить нужных нам специалистов, послать на курсы, в ремесленные училища...

Каландаров кивнул в знак согласия, взял у нее блокнот и стал просматривать список.

— Трактористок, что ли, хотите готовить? — спросил он, чуть заметно усмехнувшись.

— Ну, если кто-нибудь очень захочет, — пожав плечами, сказала Саида. — А вообще я против — сейчас не война и есть много специальностей для женщин таких же нужных, но менее тяжелых.

Каландаров погасил возникшую было на его губах усмешку и, достав карандаш, стал ставить птички и нолики.

— Шафоат Каимова — хорошо, но у нее сын трех лет, с мужем развелась, на кого сына оставит?

— На мать.

— Мать у нее больная. Ну, ладно, оставим, потом подумаем... Нусрат Бодалбаева — плохо школу кончила. Это отец ей заставил

тройку вывести, ходил к учителю, просил, просил, а потом избить пригрозил. Я знаю эту историю. Не пошлем... Азиза Тиллаева... уж очень мать у нее стара, восемьдесят лет ей справляли, навряд ли согласится дочь отпустить... Лютфи Иноятова — это хорошо... Ходжар Турсунова — у этой ветер в голове, пусть дома посидит... Мехри — эту из колхоза гнать надо, а вы?.. Что вы ее тут вставили?.. Рано Джа лилова — эта стихи пишет. Хорошо!

Саида и прежде не раз удивлялась тому, как отлично он знает каждого человека в колхозе. Сейчас она лишний раз убедилась в этом. Он не только хорошо помнил каждого, но и знал, что у этого человека за душой.

«Конечно, это знание людей с их способностями, с их слабостями — одна из причин его авторитета. Конечно, а как же иначе?» — подумала Саида.

Ладно,— сказал Каландаров, возвращая ей список.— Кроме тех, против кого нолики поставил, возражений нет. Жалко только, что нескольких хороших кетменщиц колхоз лишите!

— Что вы, Арсланбек-ака, — сказала Саида,— наоборот, я каждой уже замену нашла. В бане двое здоровых парней с утра до вечера за шахматами сидят, а там ведь сыро, так и сгнить можно! В чайхане, по моему, кассир совсем не нужен. Да он там и не помещается, такой высокий — еще немного вырастет, и крышу головой пробьет!.. Можно еще почтальона взять, двух поваров из бригад, сторожа из гаража...

У Каландарова заметно вытянулось лицо.

— Значит, по мнению женщин,— сказал он,— у нас половина кадров неверно расставлена. Может, и мне в кетменщики пойти? А вместо меня вы там уже подобрали какую-нибудь поязыкастей? Как, еще не вынесли такой резолюции там у вас, на женском собрании?

Каландаров язвил, но Саида предпочла понять его слова как шутку и рассмеялась.

Резолюцию не составляли,— сказала она, — но если бы вы послушали, как женщины честили некоторых наших бездельников: здоровенные, говорят, молодцы, поперек себя шире. И рубашки, говорят, у них не рубашки, а утешение тела, и почтальон, говорят, такой толстый, что уже два велосипеда сломал... Словом, так их честили, что хуже всякой резолюции.

Каландаров даже не улыбнулся. Он долго, очень долго молчал и, наконец, сказал:

— Есть такая поговорка: и дружба счет любит! Так давайте, прежде чем о всех других говорить, между собой разочтемся, лишнее сбросим...

— А что нам надо сбрасывать? — с похолодевшим сердцем спросила Саида.

— Найдется,— все так же невесело сказал Каландаров,— Говорят, что на верблюда целую юрту нагрузили — все поднял! А потом еще ситечко положили — он и надорвался. Я вчера ушел с собрания, но ведь шила в мешке не утаишь, не нравится мне, как вы там без меня обсуждали мою племянницу! Конечно, чтобы над одиннадцатилетней девчонкой издеваться, большой храбрости не надо. Но вы тем самым и мой авторитет подрывали! Об этом не подумали? Ладно бы там учителя болтали, их уж дело такое, а вы-то чего, спрашивается, полезли?

Саиду разозлил его грубый тон, но она сдержалась.

— Ах, Арсланбек-ака,— сказала она.— Неделю готовила я это собрание и только и сидела, днем и ночью думала, как бы подорвать ваш авторитет!.. Смешно просто! Да, я назвала вашу племянницу недисциплинированной. Да, она не одна такая, но я назвала именно ее. И была убеждена, что вы, как умный человек, поймете меня правильно!

— Ладно, пускай я глупый,— оборвал ее Каландаров,— В чем ее недисциплинированность?

— Она стащила и куда-то забросила классный журнал, вылила чернила в карман своему соседу по парте. На уроках сидит и жует жевачку, а главное, что не могут найти на нее управы.

— Подумаешь, жует, — сказал Каландаров.— А об остальном не слышал!

— В этом-то и беда.

— Никакой беды,— снова оборвал ее Каландаров.— Беда в том, что учителей зря хлебом кормят,— детей прибрать к рукам не могут.

— А как? — горячо возразила Саида.— Как прибрать к рукам хотя бы вашу племянницу, когда вы при ней ее учителя называете на «ты» и помыкаете им как вздумается!

У Каландарова даже челюсти задвигались, а уши побагровели. Он нагнулся, подтянул сапоги и сказал голосом, не предвещавшим ничего доброго:

- Да, видно, во всем кишлаке не осталось человека, который бы не пожаловался на нас.— От обиды он даже заговорил о себе во множественном числе.— Что ж, верно, и правда много грехов за нами и

только и остается нам уповать на судьбу.

У Саиды вдруг стало так тяжело на душе, что даже и говорить больше не хотелось, но она пересилила себя и сказала просительным тоном:

— Арсланбек-ака, мы с вами обсуждаем такое важное дело, так стоит ли из-за вашей племянницы...

Она не договорила, потому что Каландаров как раз в эту минуту во весь рост растянулся на помосте, картинно подперев голову рукой, подчеркивая своей позой полное презрение и ко всем словам ее и к ней самой.

— Не впервые находятся люди,— проговорил он с угрожающей многозначительностью,— желающие обсуждать мои ошибки и ставить обо мне вопрос, но еще никому до сих пор это не удавалось!

Наконец Саида поняла, что племянница всего-навсего предлог и что Каландаров еще со вчерашнего дня лопается от гнева из-за возникших в его отсутствие слухов.

— Не верьте сплетням, Арсланбек-ака, очень вас прошу!

Но Каландаров вовсе не желал ее слушать, он продолжал гнуть свое:

— Когда однажды уже вот так собирались обсуждать вопрос о Каландарове, его в Москву вызвали и сам товарищ Калинин ему орден вручил и сказал: «Поздравляю вас, товарищ Каландаров!» А когда другой раз вот так собирались обсуждать вопрос о Каландарове, Каландарова в район вызвали и поручили ему колхоз «Бустон» из пепла поднимать и сказали ему: «На вас вся надежда, товарищ Каландаров!»

— Зачем вы мне все это рассказываете? — воскликнула Саида.— Я все это знаю, все это так! Но вам же тем более стыдно верить при этом каким-то глупостям! Я же не вопрос о вас сюда ставить приехала, а помочь сколько моих сил хватит! Поймите же вы это наконец! Я же вам сама сразу же рассказала про все эти глупые слухи.

— Слухи? — заорал Каландаров, садясь на помосте.— Слухи? Я знаю, чем пахнут эти слухи, у меня еще нос цел! А вы уже вырыли для Каландарова могилу и пришли к ней с дутарами и бубнами! И это вы слухами называете? Сделали вид, что лекцию проводите, а сами женщин на меня натравили! Я учителей открепил, а вы их опять прикрепили! Все это слухи?

— Может быть, обсудим все это спокойно? — сказала Саида усталым голосом.

— Ах, вот как! — завопил Каландаров,— Когда я вас прищучил, так вы спокойствия захотели!

Но тут Саида разозлилась и посмотрела ему прямо в лицо.

А вы не орите на меня. Кругом люди. И не пугайте меня, я не маленькая, не боюсь вас.

— Знаю, вы не пугливая,— сказал Каландаров осипшим голосом.— Еще бы, у вас вон какая высокая опора! Но вы не думайте, и до товарища Насырова тоже достать можно! Не лезьте слишком высоко, упадете!

На этот раз, от злости и обиды окончательно обрета хладнокровие, Саида спокойно ответила, что она ни на кого не опирается и не собирается ни лезть, ни падать, а если ей действительно понадобится опора, то она уж как-нибудь обопрется на Советскую власть!

— Вот как! — перетолковав ее ответ по-своему, снова закричал на нее Каландаров.— Велишь арестовать меня, что ли? Так я никого не боюсь!

В дверях правления появилась Умида и быстро направилась к карагачу. Каландаров, не желавший продолжать разговор при ней, соскочил с помоста и пошел навстречу. Оказалось, его вызывали к телефону.

Сказав в трубку несколько раз «да» и «нет» и от ярости даже плохо соображая, о чем шла речь, Каландаров отправился домой завтракать. За завтраком, мысленно восстанавливая весь свой разговор с Саидой, в котором не чувствовал себя победителем, он постепенно пришел в еще большее неистовство и решил сейчас же ехать к Насырову с простым и, добавим, не новым предложением: «Или она, или я!» При этом в душе он не сомневался в том, кто останется, а кто вылетит. Шофер, поняв по выражению лица председателя, что произошло нечто чрезвычайное, сразу дал восемьдесят километров. Полный негодования на Саиду, боясь только одного — как бы не пропустить в разговоре с Насыровым ни одного из ее злодеяний, Каландаров ехал, похожий на заряженное ружье, готовое выстрелить при первом же толчке.

Однако когда позади уже осталась половина дороги, он вдруг подумал: «С каким же лицом я, мужчина, приеду жаловаться на женщину?»

И одна эта простая мысль разом сокрушила все его планы.

От желанья поскорей вернуться он крикнул шоферу, ухватясь рукой за руль: «Поворачивай!» И шофер, решив, что теперь случилось

нечто еще более чрезвычайное, развернулся так, что они чуть не перевернулись. Машина на восьмидесятикилометровой скорости помчалась в обратном направлении.

Сначала мысль о том, что жаловаться на Саиду — значит оказывать ей слишком много чести, принесла Каландарову некоторое облегчение. Но, въезжая в кишлак, он снова с горечью подумал, что положение остается в сущности прежним: Саида как была, так и есть секретарь парторганизации и нельзя ее ни обругать, ни прибить, ни переговорить — больно уж остра на язык! Жаловаться на нее смешно, но так или иначе расстаться с ней надо, не то скоро от всего его председательского авторитета останутся только рожки да ножки!

Придя наконец к твердому решению, Каландаров, вернувшись, прошел прямо в кабинет и попросил найти Саиду. Он считал, что лучше обойтись без лишнего шума, спокойно, по-хорошему, и поэтому, когда Саида вошла, обратился к ней довольно вежливо:

— Заходите, садитесь,— указал он ей на стул.

Саида села, выжидательно посмотрела на Каландарова: что теперь будет?

— Послушайте меня внимательно, Саидахон,— сказал Каландаров, всеми силами стараясь сохранить спокойствие,— Я вижу, что нам с вами не удастся вариться в одном котле. Я горяч, имею мужской характер, да и грубоват бываю, а меняться мне вроде бы поздно... Вы — молодая, и женщина вдобавок, да еще ученая... Словом, если каждый из нас будет стоять на своем... Я, например, с большим удовольствием ушел бы отсюда, но все-таки, хотя вы и больше меня, наверное, во всем понимаете, я, пожалуй, больше вас сделал своими руками в этом колхозе, да и боюсь — не отпустят меня.

Саида с трудом удержала улыбку.

— Вы, наверное, хотите мне предложить, чтобы я ушла?

— С умным человеком и говорить приятно,— сказал Каландаров почти без иронии, так он обрадовался, что Саида в свою очередь прямо взяла быка за рога.— Да, вот именно. Вы только подайте заявление, а с товарищем Насыровым я уж сам договорюсь!

Но Саида покачала головой и очень тихо сказала, что она не подавала заявления, когда ехала сюда, не собирается подавать его сейчас и вообще никуда не собирается уходить отсюда.

Каландаров не мог скрыть досады и съязвил, что если Саиде так уж понравилось здесь, в колхозе, то он, пожалуй, поможет ей подыскать

подходящего мужа.

Саида не осталась в долгу, сказав, что она до сих пор считала Каландарова только хорошим хлопкоробом, но не знала, что у него есть еще вторая профессия — свахи.

Каландаров так задохнулся от обиды, что целую минуту молчал. Из рта его выскакивали только какие-то неопределенные вздохи и бурчание.

— Хорошо,— выдавил он наконец с трудом.— Не хотите уходить вы, уйду я. Говорите, в чем провинился,— буду писать заявление!

— Меня прислали сюда не для того, чтобы я выясняла, кто и в чем провинился,— все тем же спокойным голосом, каким и начала разговор, сказала Саида.— Если бы надо было выяснить тут чью-то вину, то, наверное, сюда бы прислали не меня, а хорошего следователя.

— А мне как раз кажется, что вы и есть следователь, потому что вы все копаете, все ищете, все ходите за мной по пятам...

И черт знает чего только еще не наговорил Каландаров в том же духе, потому что он говорил долго, ожидая возражений, а Саида не возражала; он рассчитывал, что она прервет его, а она не прерывала. В то же время упорное молчание Саиды вселяло в него надежду, что она все-таки смирится и уйдет из колхоза.

Но когда наконец Каландаров замолчал, чтобы хоть немножко передохнуть, Саида подняла глаза, в которых, против ожидания председателя, не было ни слезинки, и сказала самым спокойным тоном, на который была способна:

— Вот сразу и видно, до чего вы избаловались, Арсланбек-ака, вас так долго не критиковали, что вы совсем разучились понимать, что такое критика: любой упрек считаете пулей в лоб!

Каландарова даже в жар бросило от этого спокойствия.

— Ложь! Клевета! — заорал он.— Это вы не понимаете, что значит критика! От критики человек радоваться должен, потому что в сухое дерево камни не швыряют.

— Вот это верно! — согласилась Саида.— И так как вас сухим деревом не назовешь, плодов на вас достаточно, то разрешите мне в вас два-три камешка кинуть. Или вы еще покричите на меня? Тогда я подожду.

Каландаров молчал.

— Так вот вам первый камешек,— сказала Саида.— Возьмем ваш вчерашний доклад. Разве это доклад? А ведь люди очень ждали вашего

выступления!

— Чем богаты, тем и рады, говорить я не мастер,— пробурчал Каландаров.

— А это ведь неправда, Арсланбек-ака! Как раз, если бы вы рассказали то, что видели, наверное, было бы всем очень интересно! А вы вместо этого заставили писать Ишана, а Ишан действительно не мастер. Тут я не спорю!

— А кто вам это сказал? — воинственно воскликнул Каландаров.

— Что?

— Про Ишана...

— А я мельком глянула в листки, что вы читали, почерк Ишана я хорошо знаю. Он на бухгалтерских документах часто встречается...

Каландаров побледнел. Он хорошо понял намек Саиды. Ишан не представлял в бухгалтерию никаких собственных документов, и все-таки его руку можно было узнать на многих и очень многих бумагах. Дело в том, что Каландаров имел привычку забирать на ночь домой документы, требовавшие его резолюций, и резолюции на них писал Ишан, а Каландаров ставил только свою подпись. Это и имела в виду Саида.

— Да, верно, почерк у меня куриный,— наконец, помолчав, проговорил Каландаров.— Приходится диктовать.

Саида отнюдь не была уверена, что Каландаров диктовал свой вчерашний доклад Ишану, но она не хотела углублять этот вопрос, щадя самолюбие председателя.

— И еще один камешек,— сказала она.— Ну скажите, зачем вы, Арсланбек-ака, поручили детский сад — детей! — женщине, от которой родная ее дочь и то отвернулась! Не говоря уже о том, что Кифоятхон ведь совсем безграмотна и детей не любит, да и не бывает там почти. А Хурниса-апа — грамотная женщина, была учительницей,— почему же она теперь не работает? И детей у вас дома сейчас нет, что же она делает? Неужели не скучно ей? Ну вот вы так бы весь день сидели дома и ничего не делали — можете вы себе это представить?

Это последнее предположение настолько огорошило всю свою жизнь работавшего не покладая рук Каландарова, что он, несмотря на нелепость подобной мысли, все-таки на секунду задумался и вдруг попробовал себе представить, как это он сам сидит целый день дома и ровно ничего не делает...

В эту минуту на столе затрещал телефон: Хурниса звонила мужу по



колхозному коммутатору, что только что приехал их сын Казимбек.

Каландаров поднялся и вышел, в дверях обернувшись и чуть-чуть, самую малость, кивнув головой Саиде: дескать, понимай как знаешь — простился я с тобой или не прощался!

Разговор остался незаконченным, но Саида не жалела об этом. Она немножко боялась самое себя — что не удержится и, чего доброго, нагрузит на этого верблюда лишнее ситечко...

## 12

Каландаров соскучился по сыну и поэтому, дав себе редчайшую поблажку, весь остаток дня провел дома.

Они засиделись вдвоем с Казимбеком, и, когда Каландаров добрался до кровати, Хурниса уже спала, заняв почти всю постель и сладко похрапывая во сне.

Привычно подтолкнув жену плечом и освободив себе необходимый минимум места, Каландаров вдруг вспомнил сегодняшний разговор с Саидой о детском саде и о том, что Хурниса уже давно ровно ничего не делает.

«И в самом деле, смотри, как растолстела»,— сердито подумал он.

Должно быть, именно из-за этой сердитой мысли сонное похрапывание жены сегодня, против обыкновения, мешало ему спать. Он лежал в темноте с открытыми глазами и вспоминал все подряд, все, что сказала ему сегодня Саида, и все, что он ответил ей. Теперь, задним числом, отнюдь не все собственные ответы казались ему удачными, и он, злясь на Саиду, лежал и бесцельно придумывал новые, почему-то не пришедшие ему на ум там, в кабине!

Особенно злил его разговор о докладе.

Ну да, доклад, конечно, был никудышный, особенно начало. Он понадеялся на Ишана, а тот дал ему листочки в последнюю минуту, и он, против обыкновения не прочтя их заранее, вышел на трибуну и сразу стал спотыкаться, как стреноженный конь. Верно, что он сделал плохой доклад, он и сам это знает, и вовсе незачем выслушивать замечания от других, тем более от женщины!

Да, в самом деле, надо что-то делать с детским садом. И так вот читать по бумажке, спотыкаясь, тоже нельзя.

Но, с другой стороны, если убрать из детской сада Кифоятхон или вдруг идти советоваться с Саидой перед каждым выступлением, то,

глядишь, у этой птички-невелички голова закружится от гордости: вот, мол, стоило мне слово сказать, и уже Каландаров пляшет под мою дудку!

Душа Каландарова изнывала от бессильной обиды. Он даже несколько раз вздохнул, громко и скорбно, как женщина, и, заметив это, разозлился еще больше. А так как он не очень-то привык злиться на самого себя, то все его ночные проклятья, естественно, пали на голову нашей бедной маленькой Саиды.

На следующий день чуть свет к Саиде постучала Умида и сказала, чтобы она скорее шла к председателю.

Каландаров, как всегда, сидел под карагачем и разговаривал с окружающими его людьми — это была его обычная утренняя «летучка», хотя за ней и не водилось такого названия.

— Ездили вы когда-нибудь верхом? — спросил Каландаров Саиду.

Что ответить? Уже здесь, в «Бустоне», Саиде раза два приходилось садиться на лошадь, но вряд ли это называется уметь ездить верхом. Наверное, так бы и надо сказать, но вокруг Каландарова сидело и стояло человек десять выжидательно смотревших на Саиду мужчин, и она невольно ответила:

— Да, приходилось...

— Это хорошо,— насмешливо сказал Каландаров, кажется, не больно-то веря ей.— А то дело колхозное — бывает, и пешком не поспеешь, и на машине не проедешь... Сейчас поедем с вами по бригадам... Посмотрим хлопчатник.

Саиде давно хотелось поехать по полям вместе с Каландаровым, и, если бы не каверзный вопрос насчет верховой езды, она бы только обрадовалась. Но сейчас к радости примешивалась тревога, и, как показали дальнейшие события, отнюдь не напрасная.

У ворот колхозного сада стоял Ишан, держа под уздцы неказистого саврасого коня и рослого иссиня-черного жеребца.

Едва Саида успела с надеждой взглянуть в смирные и доброжелательные глаза саврасого, как Каландаров сам полез на него, кивнув Саиде на вороного.

Вороной оказался таким резвым, что уж через километр замучил Саиду: чуть она ослабляла узду — он норовил припустить вскачь, а стоило ей натянуть поводья — жеребец начинал сердиться, поводить головой и выделять разные кренделя.

Правда, Каландаров то и дело останавливался поговорить со

встречными колхозниками, почти всякий раз слезая при этом с коня. Остановки бывали и долгими, и тогда Саида не только отдыхала, но даже успевала нацарапать несколько каракулек в той самой своей тетрадке, что она когда-то — теперь казалось, уже бесконечно давно — обновила у себя дома, под любопытными взглядами тетушки Тутынисы.

Одна из таких особенно долгих остановок произошла возле теплиц с ранними помидорами. Сторож, старик с длинной, белой, как хлопок, бородой, пригласил председателя выпить чаю. Каландаров охотно согласился, спешился, выпил две пиалы и лишь после этого завел разговор о том, что его здесь интересовало.

— Расскажите мне, пожалуйста, Хамид-ата, что за шум у вас тут был вчера? — почтительно обратился он к старику.

Все веселые морщинки на лице старика в один миг убежали и спрятались где-то, должно быть, в его длинной белой бороде, а выцветшие старые глаза сделались сердитыми.

— Приехал тут шофер, мальчишка; я потом узнал, что это сын вдовы Урагбая,— знаете ее?

Каландаров привычно кивнул: в своем колхозе он знал всех.

— Приехал с бумажкой от бухгалтера, чтобы я отпустил ему два кило парниковых помидоров. А я как раз самовар ставил и понадеялся на парня, сказал, чтобы он сам себе взвесил из той кучи, что утром сняли. Но он что-то долго возился, и я, проходя мимо, взял да и заглянул к нему в кабину, а там у него на сиденье килограммов шесть... «Ах так,— говорю ему,— хочешь, чтоб я своей рукой расстрелял тебя?!» — При этих словах старик сторож грозно сверкнул глазами и шлепнул по стволу лежавшего рядом с ним на земле дробовика.— Ну и отобрал у него все помидоры, а записку бухгалтера разорвал и бросил на землю: пусть другой раз не дает записок таким бесчестным людям!

Рассказывая, старик сильно разволновался: событие было редким в его жизни и оттого еще более значительным.

Каландаров слушал очень серьезно и не моргнул глазом, даже когда старик сказал про расстрел, хотя Саида на этом месте еле удержалась от улыбки.

— Да, вы прекрасно сделали, отец,— сказал наконец Каландаров, сочувственно покачивая головой.— Вы очень правильно ему сказали, но больше никому об этом не говорите, пусть это знают только он, вы, Саидахон,— кивнул он в сторону Саиды,— и я. Значит, все помидоры он

тут оставил?

— Вон они,— кивнул старик на горку помидоров, лежащих отдельно на стеклянной раме.— Я, конечно, оставил, чтобы вам показать.

— Так вот,— продолжал Каландаров,— когда сегодня к вам заедет кто-нибудь из шоферов, вы передайте эти помидоры, пусть отвезет их матери того воришки и скажет, что это ей председатель прислал.

Сторож был слишком старый и почтенный человек, чтобы позволить себе выразить удивление. Он степенно наклонил голову и сказал «хоп», а Саида нацарапала в своей тетрадке несколько каракулек для памяти. Ей показалось, что она поняла Каландарова: в это время года помидоры еще редкость, вдруг получив их, вдова Урагбая, конечно, обрадуется и, наверно, спросит сына, что он такого сделал на работе, что председатель прислал им прямо на дом эту маленькую, но приятную премию? Интересно, что ответит ей сын? А если даже ничего не ответит, то скоро ли забудет этот урок?

Едва Саида и Каландаров снова уселись на коней и поехали дальше, как возле стоявшей на отлете от кишлака колхозной бани им встретился секретарь сельсовета и попросил у Каландарова полсотни штук кирпича для своего председателя — тому надо было подправить очаг.

На этот раз Каландаров, не предвидя долгих разговоров, не стал слезать с коня.

— Уплатите за пятьдесят штук в бухгалтерию,— сказал он,— а вечером кто-нибудь из наших шоферов мимо вас поедет и забросит кирпич.

Секретарь рассмеялся:

— Да ведь всей бухгалтерии-то на четыре рубля! Ходить к вам — себе дороже!

— А по каплям воду хуже терять, чем целый ушат опрокинуть. Когда опрокинешь — сразу заметишь, а по капле — кап да кап — и сам не заметишь, как без воды останешься! — усмехнулся Каландаров и, не вступая в дальнейшие переговоры, проехал мимо секретаря.

— Ну и скуп же ты! — уже в спину крикнул ему секретарь.— Самого себя вместо замка на колхозный сундук повесил.

По дороге в бригады Каландаров останавливался еще несколько раз, и Саида уже не знала теперь, от чего она больше устает — от того ли, что едет, или от того, что беспрестанно то спешивается, то снова влезает на своего вороного.

Когда они наконец выехали на полевую дорогу, Саида, которой надоело, что вороной все время рвется и крутит головой, совершила оплошность: осмелев, немножко отпустила поводья. И вороной сразу же понес ее. Сначала она пробовала удержать его поводьями, а потом, отчаявшись, вцепилась обеими руками в гриву, думая об одном только: чтобы не свалиться. Подбрасывая ее, как мешок, конь проскакал километра два и остановился, когда Саиде уже казалось, что еще минута — и она свалится. У нее нестерпимо ломило поясницу, а ноги от напряжения совершенно онемели.

Однако жаловаться было некому. Догнавший ее Каландаров спокойно проехал мимо и, полуобернувшись, насмешливо бросил:

— Да, конь — не женское дело! Хотя вам и очень к лицу сидеть в седле...

Только теперь Саида окончательно поняла, что председатель решил сыграть с ней жестокую шутку и заставить ее запросить пощады.

«Так нет же, не сдамся», — подумала Саида и, закусив от боли губы, молча поехала вслед за Каландаровым.

Проехав еще километров шесть, как показалось измученной Саиде, а на самом деле — от силы три, они сделали привал на полевом стане четвертой бригады.

У Каландарова не было привычки объезжать поля просто так, чтобы показать свою деятельность. Раз он приехал, стало быть, собирался или советоваться, или проверять, или ругать за непорядки, или и то, и другое, и третье вместе. А тут вдобавок Каландаров приехал не один, а с секретарем партбюро.

Бригадир сразу насторожился, а те из колхозников, что работали поближе к полевому стану, нет-нет да и поглядывали в сторону Каландарова.

Наспех выпив две пиалы чая, Каландаров пошел по полям. Саида шла за ним, едва передвигая одеревеневшие ноги; к ломоте в пояснице прибавилась еще острая боль внизу живота; она чувствовала, что сегодняшняя скачка дорого ей обойдется.

Проходив по полям часа полтора и особенно придирчиво обследовав при этом посеvy тех звеньев, что работали подальше от глаз, Каландаров остался доволен и повернул обратно к полевому стану с заметно просветлевшим лицом. В ту сторону он шел все время молча, изредка перекидываясь отрывистыми замечаниями с бригадиром; на

обратном пути, наоборот, только и делал, что заговаривал с каждым встречным. Он долго расспрашивал какого-то мальчишку о здоровье больного отца и пообещал навестить его, потом поболтал минут пять с молодой женщиной, судя по их разговору, только недавно вышедшей замуж; женщина намекала, что хорошо бы дать им кредит на постройку нового дома, а Каландаров отшучивался, говоря, что кредиты можно давать при хороших доходах, а, судя по делам той тракторной бригады, где работал ее муж, больших доходов ожидать нечего... Потом он встретил старика, сын которого случайно ранил кого-то из охотничьего ружья; старик сокрушался — что теперь будет? А Каландаров успокаивал его: недавно он заезжал к районному прокурору, говорил с ним и передал ему характеристику на сына старика, написанную правлением колхоза.

Саида чувствовала себя все хуже и хуже. Она уже не пыталась записывать в тетрадку приходившие ей в голову мысли, а думала о том, что у Каландарова есть, как видно, свои твердые правила поведения с людьми: если он не мог остановиться — он не останавливался, если у него не было времени разговаривать — он не разговаривал, но если уж он останавливался и разговаривал, то люди чувствовали, что он не торопится и, когда слушает их, думает именно об их деле и ни о чем другом.

На похвалы Каландаров был, как видно, не тороват. Хотя, судя по всему, он был очень доволен положением дел в бригаде, вернувшись на полевой стан, не больно-то расхваливал бригадира: сказал ему «молодец» и пошел садиться на коня.

Должно быть, заметив, с каким трудом ходит Саида, и почувствовав, что переборщил, он теперь сам сел на вороного, оставив Саиде смиренного саврасого.

Если б он сделал это с самого начала, Саиде не пришлось бы так туго, но теперь уже трудно было понять, что лучше, а что хуже: вороной, почувствовав опытного седока, пошел ровной рысью, и, чтобы не отстать от него, Саиде пришлось подгонять саврасого.

Подумав, что хрен редьки не слаще и что, если она переседет на вороного, может быть, они поедут медленнее, Саида, догнав Каландарова, попросила его обменяться конями. От быстрой рыси ее подташнивало, а перед глазамиплыли круги. Но Каландаров не понял, почему она хочет меняться, и, решив, что Саида просто показывает характер, поглядел на нее даже с некоторым одобрением: вон, мол, ты какая! Ну-

ну!

Они обменялись конями и поехали дальше.

Жеребцу то ли надоело дурить, то ли — кто его знает — стало совестно, но, когда Саида снова пересела на него, он пошел под ней так же ровно, как под Каландаровым.

«Ах, если бы так с самого начала!» — подумала Саида. Ей было так плохо, что она даже притерпелась к боли и лишь изредка, чтобы хоть чуть-чуть передохнуть, привставала на стременах.

В следующей бригаде, куда они приехали, Каландаров снова долго ходил по полям и здесь тоже остался доволен тем, как идет дела.

Зато в последней бригаде председатель даже не спешил у полевого стана; он хмуро и молча проехал вдоль расположенных у самой дороги полей и, подозревая бригадира и наклоняясь с седла, сказал ему тихо, в самое ухо:

— Вот что я скажу тебе, братец: хоть у тебя есть надежда вырастить самые высокие сорняки во всем колхозе, но мы тебе премии за это, имей в виду, не дадим! Так что напрасно стараешься. А выращивать хлопчатник тебе, кажется, не по плечу. Попробуй-ка лучше за курами ходить, если получится, конечно. Да-да, за курами,— повторил Каландаров, без всякого сожаления глядя в лицо побледневшему от обиды бригадиру.

— Неужели в этой бригаде такой уж плохой хлопчатник, а, Арсланбек-ака? — спросила Саида, когда они отъехали.— Я, по правде говоря, сама этого не подумала. Мне показалось, что только чуть-чуть хуже, чем в других местах.

Саиде было нелегко сделать такое признание, лишний раз напоминавшее Каландарову о ее неопытности. Но она снова подумала о том, что смешон не тот, кто не знает, а тот, кто лишь делает вид, что знает.

Каландаров бросил на нее косой взгляд, но прямого вопроса обезоружила его, и ему пришлось объяснить ей, почему поля бригады находятся, по его мнению, в таком дурном состоянии.

Саида даже попробовала, сидя на коне, записать несколько слов для памяти в свою тетрадку; впоследствии она так и не разобрала, что именно пыталась тогда записать, но в ту минуту Каландаров подумал о ней со злостью, смешанной с уважением: «Ишь ты, нарочно пишет, доказывает, что ее ничем не сломишь!»

К полевому стану четвертой бригады они вернулись как раз к обеду. Колхозники, собравшись в кружок, сидели на берегу маленького

искусственного водоема, или, как говорят в Средней Азии, хауза, в тени густо разросшегося вблизи воды молодого тальника. Пока Саида мыла руки, старый колхозник, поливавший ей воду из узкогорлого медного кумгана, сочувственно поглядывал на ее побледневшее лицо.

— Ой, доченька,— ласково, как маленькой, сказал он.— Вижу, умаял он вас,— старик кивнул на топтавшегося поодаль вороного.

Ну конечно же, старик хотел Саиде только добра, а между тем, наоборот, чуть не довел ее до слез. От его ласкового голоса ей стало жаль себя, а стоило ей пожалеть себя, как она сразу почувствовала невыносимую боль во всем теле.

В больших фарфоровых мисках, или, как их здесь зовут, косах, дымилась горячая, как огонь, наваристая похлебка. Посыпая поверх того перца, что уже был в похлебке, еще целую щепоть, Каландаров, который, оказывается, зацепил краем уха ласковые слова старика, безжалостно сказал:

— Ничего, что умаялась, привыкнет! — И, пощелкав ногтем по зазвевшему краю косы, добавил: — Не фарфоровая, не разобьется.

Каландаров ел похлебку и после каждого глотка похваливал повара, а Саиде было не до еды. Она с трудом проглотила несколько ложек и беспомощно оглянулась, когда заботливые руки подлили ей в косу навару, а другие подложили еще кусок баранины.

Саида за время отсутствия Каландарова уже была два раза на этом полевом стане. Люди знали ее, а сейчас, заметив ее довольно-таки несчастный вид, вдобавок еще и пожалели.

Каландарову не понравилось ни то, ни другое. С аппетитом выхлебав одну косу, он с удовольствием принялся за вторую. Он, кажется, был готов съесть подряд и третью и четвертую, лишь бы показать окружающим, что эта не уменяющая ни проехаться на коне, ни всласть поесть после трудового дня девчонка — белая ворона в их колхозе.

— Что же это вы не едите, а, Саидахон? Не нравится вам, что ли, их пища? — Он повел головой вправо и влево.— Да вы не скрывайте, я уж вижу, что не нравится!

«Скажи пожалуйста,— разозлилась Саида,— что я, из Америки, что ли, сюда приехала! Как он обо мне смеет так говорить?»

Слова Каландарова показались ей одновременно и ужасно фальшивыми, и ужасно обидными, но она ничего не могла с собой сделать: ей было так плохо, что кусок не шел в горло.



Между тем Каландаров продолжал развивать понравившуюся ему тему. Ему очень хотелось как-нибудь поостроумнее подчеркнуть, что Саида имеет очень слабое касательство к жизни и труду людей, среди которых они сейчас сидели и среди которых он сам провел всю свою жизнь.

- Другое дело дехканин,— продолжал разглагольствовать он.— Когда дехканин семь потов спустит на работе, ему и вареная картошка пловом кажется!

— Конечно, всякий человек, когда потрудится, после этого ест с аппетитом,— ответила Саида, просто чтобы что-нибудь ответить, надеясь, что Каландаров наконец оставит ее в покое.

Но Каландаров не унимался.

— Конечно-то конечно, да разные бывают эти «конечно». У дехканина труд такой, что с другим его равнять может только тот, кто сам не отведал. Дехканин круглый год трудится. Ни летом, ни зимой не отдыхает!

Каландарова прямо-таки распирало от чувства собственного превосходства над Саидой.

— А интересно, какая фабрику, или завод, или шахта берет да и останавливается на лето? Или на зиму? — разозлившись, спросила Саида.

Каландаров не ожидал от нее ответа вообще, а тем более — такого. Он поперхнулся, а окружающие сочувственно рассмеялись.

Каландаров в душе выругал себя. «На черта мне понадобилось дразнить эту вертихвостку,— подумал он.— Вот, пожалуйста, ответила — и уже смеются. В который раз она мой авторитет подрывает! А все сам виноват...»

Однако, несмотря на эти разумные соображения, оставить последнее слово за Саидой было свыше его сил.

— Это-то да,— сказал он,— это так. А все-таки вы не равняйте труд дехканина с трудом рабочего. Рабочему что? Повернул рычажок — и готово.

— Как жаль, Арсланбек-ака, что вас наши трактористы не слышат. Оказывается, вон какая у них легкая работа: повернул рычажок — и готово! — отпарировала Саида, от злости даже на минуту забыв о том, как болит у нее все тело.— А насчет аппетита, если не ошибаюсь, вы в планах колхоза записали, чтобы через несколько лет убрать кетмень с поля. Что ж, кетмень уберем — и сразу у всех дехкан аппетит пропадет?

Кто-то сзади хохотнул, некоторые улыбнулись, лица других остались серьезными. Это было уже больше чем обмен шутками. Это была новость: Каландарову давали сдачи.

Саида почувствовала значение этой паузы, но не раскаивалась в своем резком ответе. Что же поделаешь, она секретарь партбюро и не может позволить, чтобы Каландаров делал из нее посмешище.

Каландаров в молчании и уже без всякого удовольствия доел вторую миску похлебки и, присев на корточки у края хауза, вымыл руки. Он был раздосадован и, хотя намеревался с полчаса отдохнуть после обеда, теперь, взяв с собой бригадира, сразу пошел на те ближайšie к дороге поля, что еще не осмотрел с утра.

И Саида еще час или два — она уже начала терять представление о времени — почти как автомат ходила за ним. Теперь Саида уже ничего не записывала — она даже с трудом понимала то, о чем говорит Каландаров с бригадиром. У нее было одно желание: не дать возможности Каландарову доказать, что она ничего не стоящая белоручка, готовая рассыпаться от усталости, не выдержав первого же испытания.

Когда они наконец вернулись к хаузу, Саида с отчаянием думала, как она снова влезет на коня.

Каландаров давал последние распоряжения бригадиру, а Саида стояла рядом и ждала.

— Слушай, доченька,— окликнул ее кто-то. Это был тот самый пожалевший ее недавно старик.— Не можешь ли ты исполнить мою просьбу,— отвезти ко мне домой одну вещь, небольшую и легкую?

Саида с тревогой подумала о том, как она, взгромоздившись на своего вороного, вдобавок ко всему повезет еще какую-то вещь, пусть даже и небольшую и легкую. Но ей было неудобно отказать старику, и она, вздохнув, тихо сказала:

- Да.

Ей не пришлось раскаиваться в этом. Старик, взяв с супы одну из лежавших на ней пуховых подушек, подошел к вороному и приладил подушку поверх седла, накрепко прикрутив ее ремнем.

Только взобравшись на коня, Саида смогла оценить всю доброту и деликатность старика. До этого седло казалось ей чуть ли не раскаленными угольями, сейчас на нем можно было сидеть без особых мук. Правда, теперь Саиду мучило другое. «Как же он догадался, что мне так плохо? — спрашивала она себя.— Ведь не просто же по моему лицу. Неужели по походке? Но если это заметил он, могли заметить и другие!

Боже мой, какой стыд!»

Не будем рассказывать о том, какую пытку выдержала Саида на обратном пути, пока упрямый и злой Каландаров в течение двух часов осматривал поля еще одной бригады. Когда они под вечер наконец добрались до правления и Каландаров пригласил ее к себе поужинать, она, несмотря на то, что в глазах председателя блеснула ядовитая искорка, уже не нашла сил скрыть свое состояние и наотрез отказалась, сказав, что пойдет домой и ляжет.

Каландаров остался под карагачем, а Саида, стыдясь и чувствуя на своей спине его взгляд, пошла к себе, изо всех сил стараясь идти своей обычной походкой.

### 13

Наутро Саида не могла встать; вдобавок ко всему, кажется, у нее был жар. Накануне Каландаров прислал к ней Кифоятхон, которая перед сном долго массировала ей спину и ноги, но толку от этого, как видно, было мало. Сегодня утром Кифоятхон пришла снова и принесла Саиде завтрак.

— Арсланбек-ака велел, чтобы я о вас позаботилась,— сказала Кифоятхон, объясняя свое вторичное появление.

Однако заботы Каландарова не ограничились только этим. Вскоре в окно просунулась его голова, он осведомился о здоровье Саиды и с сочувствием, за которым скрывалась насмешка, несколько раз повторил: вот, мол, бывает, неделями ходишь по полям с утра до вечера — и как с гуся вода, а без привычки — и один день трудно.

Потом голосом, не допускавшим возражений, заявил, что пришлет Саиде своего сына Казимбека сделать укол пенициллина, и, прежде чем девушка успела что-нибудь возразить, исчез.

Саида давно уже позавтракала, а Кифоятхон все не уходила и не уходила. Кажется, она считала болезнь Саиды удачным предлогом, чтобы сблизиться с ней.

Саида сначала не испытывала никакого желания болтать с Кифоятхон, но та все сидела. Саиде пришлось заговорить, а уж заговорив, она стала расспрашивать Кифоятхон — о чем же еще? — разумеется, о детском саде.

Как видно, до Кифоятхон уже дошел слух, что Саида высказывала недовольство ее работой в детском саду, и она заметно забеспокоилась.

— Только скажите мне правду,— спросила Саида,— вам действительно нравится работа в детском саду?

— А что будешь делать? Раз я ничего другого не умею. Да и работа легкая...

Саида была на этот счет совершенно другого мнения — работу в детском саду может считать легкой только человек, который по-настоящему не работал там и не собирался работать. Однако она не стала спорить.

— Что ж,— сказала она,— может, вы и правы, в детском саду не так уж трудно, но ведь, кроме того, у вас на плечах хозяйство в председательском доме. Если взять все, что вы там делаете, да прибавить к этому еще и детский сад, тогда вряд ли можно сказать, что работа у вас легкая. И, по правде говоря, вы могли бы найти себе в колхозе другую работу, нолегче, чем эти две. Да и вообще на мой, например, характер, самый тяжелый труд — это в чужом доме, где зависишь от того, как кто чихнет или кашляет.

Кифоятхон долго молчала, видимо, обдумывая, идти ей или не идти на откровенность.

— Ваша правда,— сказала она наконец.— Хурниса весь день только тем и занята, что сама ничего не делает, а ходит за мной по пятам и объясняет, как и что я должна сделать. Если бы не ждала, что породнимся, давно бы уже терпения не хватило! — Маленькие быстрые глаза Кифоятхон так сердито сверкнули при этих словах, что Саида поверила: руководящие указания Хурнисы надоели Кифоятхон хуже горькой редьки.

А многое ли изменит свадьба? — вдруг спросила Саида.—

Хурниса-апа ведь уже привыкла помыкать вами, а привычка — вторая натура.

Спросила и почувствовала, что задела самое больное место своей собеседницы. Кифоятхон, как видно, и сама опасалась, что свадьба минует, а побегушки останутся.

— Ну а что же делать-то? — всплеснула Кифоятхон руками.— Раз вы умная, так советуйте!

— А у вас есть какое-нибудь образование?

Ответ был самый короткий:

— Нет, никакого.

Однако вслед за этим коротким ответом сразу же последовал такой длинный и откровенный рассказ, какого Саида вовсе не ожидала

выслушать из уст Кифоятхон.

А впрочем, тут, пожалуй, нечему было удивляться: уже больше десяти лет Кифоятхон состояла в услужении у Хурнисы, и обязанности между ними были распределены самым бескомпромиссным образом: Кифоятхон работала и молчала, Хурниса ходила за ней по пятам и говорила, говорила, говорила... При ее природной болтливости это не составляло для нее ни малейшего труда. Она говорила подряд уже десять лет, но могла говорить и еще двадцать,— трудно, что ли? И теперь намолчавшуюся за все эти годы Кифоятхон словно прорвало, и она понеслась, как застоявшийся конь.

Начала она, надо отдать ей должное, от Адама и Евы — не с себя и даже не со своей матери, а с бабушки и дедушки.

Дед Кифоятхон — по имени Маткарим, а по прозвищу Вукок, что значит зобатый,— был человек бедный деньгами и хилый здоровьем. Он с утра до вечера таскался по базарам, предлагая желающим потянуть из кальяна, и на полученные за это медяки кое-как кормил свою семью. Там, на базаре, он и умер со старым кальяном в руках, так и не успев получить за последнюю затяжку последнего в своей жизни медяка.

Когда человек тридцать лет подряд бродит с утра до вечера по базару, его, конечно, все знают, тут нет ничего удивительного. И вот через час после того, как Маткарим Вукок упал ничком в ту базарную пыль, которую он топтал тридцать лет, его погруженное на арбу тело привез к нему домой богатый купец-мануфактурщик по имени Эрмад-Базоз. Подойдя к обливающейся слезами жене покойного, он сказал, что Маткарима-хаджи надо похоронить со всеми почестями, подобающими тому, кто совершил паломничество в Мекку.

Это была правда — Маткарим Вукок, когда был ребенком, путешествовал в Мекку вместе со своим отцом, но его, несмотря на это, никто и никогда не называл хаджи, ибо кому придет в голову называть хаджи нищего и сына нищего?

Жена покойного от неожиданности даже на минуту перестала рыдать и, подумав, что почтенный Эрмад-Базоз решил бескорыстно выполнить высокий долг мусульманина, призвала на его голову благословение аллаха и предоставила ему делать впредь все, что он сочтет должным.

На следующий день живой богач воздвиг для мертвого нищего гробницу из кирпича, да и не из сырца, а из обожженного, из которого

покойный при жизни никогда бы не построил себе дома; соседям было роздано сто двадцать кусков ситца, чтобы носили в память умершего,— словом, были устроены пышные поминки. А еще неделю спустя купец явился к старухе с тем, с чем и полагается являться купцу,— со счетами в руках. Он щелкал на них достаточно долго для того, чтобы бедная вдова посерела от ужаса, и, наконец, сообщил ей, что если она не уплатит двенадцать золотых, истраченных на достойные похороны покойного хаджи, то ему с таким долгом за плечами никак не удастся на том свете переступить порог садов аллаха, то есть, короче говоря, купец пощелкал костяшками и сказал: гони монету!

Что было делать? За дом покойного вместе со всем скарбом никто не дал бы и шести золотых. После смерти кормильца его вдова пряла нитки, получая за свой скромный труд от силы целковый за целую неделю. Она просто не знала, что ответить, но, к ее счастью, благочестивый купец ушел, не дождавшись ответа, и целых полгода не напоминал ей о долге.

Через полгода, однако, он все-таки напомнил. К бедной вдове пришла одна разбитная женщина, из тех, что и свахи, и повитухи, и плакальщицы, смотря кому что надо, и сказала: почтенный мануфактурщик готов взять ее под свое крыло и спрашивает, что она на это скажет.

Отнеся это предложение на свой счет, вдова даже заплакала от радости, что, впрочем, оказалось преждевременным. Мануфактурщик сватался отнюдь не к ней, а к ее семнадцатилетней дочке (которой, добавим, забежав вперед, впоследствии предстояло стать матерью Кифоятхон), а вдову он был готов взять под крыло заодно с дочерью.

Мануфактурщик был немолод, вдова бедна, а дочь красива. Мануфактурщик решил, вдова немножко поколебалась, а дочку никто не спрашивал. Словом, все скоро кончилось свадьбой, и будущая мать Кифоятхон вошла третьей женой в дом Эрмада-Базоза.

Первая жена купца была бесплодна, а вторая что ни год приносила ему одних дочерей. Третья жена начала с того, что родила купцу еще одну дочь и назвала ее Кифоятхон, что по-узбекски значит «довольно».

Обе младшие жены, понимая, что первое место в доме останется за той из них, которая родит наследника, даже самые дорогие мужнины подарки безропотно передаривали разным ишанам и шейхам, лишь бы вымолить у аллаха сына.

Но с наследником как заколодило.

Наконец они обе отправились в паломничество в город Ош. Там, возле Оша, на самом верху священной горы была священная пещера со священным источником. Источник издавна славился тем, что любая женщина, преподнеся в дар местным шейхам все, что у нее было при себе, могла сунуть руку в водоем и заранее выяснить, кого ей предстоит родить. Если, пошарив по дну, она вытаскивала источенную водой баранью бабку, или железный биток, или еще что-нибудь в том же роде, то значит аллах судил ей сына. Если же у нее в горсти оказывалась бусина, или ржавое колечко, или обломок серьги, то — ничего не поделаешь — ей предстояло рожать дочь.

Мать Кифоятхон сунула руку первой и вытащила черенок от горшка. По мнению шейхов, такая странная находка не предвещала ничего определенного. Зато ее соперница — вторая жена — вытащила ржавый ножик, что, само собой разумеется, предсказывало сына.

Путь в пещеру и из пещеры шел по нависшей над пропастью горной тропке. Мать Кифоятхон твердо верила в силу предсказания и не менее твердо знала, что настоящей хозяйкой в доме будет та из них, которая принесет наследника. Словом, сделав вид, что это вышло нечаянно, она столкнула в пропасть шедшую впереди нее счастливую соперницу. И в тот же день попала в тюрьму.

Она была еще молода и красива, свет не без добрых людей, и вот нашелся такой добрый человек, по профессии содержатель публичного дома, который нанял адвоката и через год за большие деньги вызволил ее из тюрьмы для того, чтобы поместить в свой публичный дом на

Балочном базаре в Коканде.

Бедная убийца не столько страшилась тюрьмы, сколько разлуки со своей дочерью Кифоятхон, которой тем временем пошел уже третий год. Она согласилась на все, лишь бы девочка оказалась вместе с нею. Так вышло, что из всех мест на земле местом для воспитания Кифоятхон оказался публичный дом.

Однако не следует думать, что мать собиралась разрешить дочери пойти по своим стопам. Наоборот, для Кифоятхон была уготована достойная и счастливая судьба: как раз в год революции, когда ей минуло четырнадцать лет, она вошла любимой женой в дом богатого купца, у которого, правда, кроме нее, было еще семь жен в возрасте от двадцати до пятидесяти лет. Но, так или иначе, именно она была любимой женой и именно она унаследовала дом своего престарелого мужа, когда он спустя шесть лет отдал душу аллаху.

— Ах, после его смерти я дала себе волю... дала себе волю,— повторяла Кифоятхон, задумчиво глядя в потолок и даже заломив над головой руки при этом воспоминании.— Несколько лет я жила и одна и не одна и, по правде сказать, вышла замуж за своего Ишана не раньше, чем мне самой все это надоело. Вы спросили меня, сколько я училась? Да, может быть, я и училась, но не тому, о чем вы спрашиваете. А буквам я никогда не училась и до сих пор не умею написать ни одной. Даже и готовить я научилась уже потом, у Ишана, когда мы поженились. Когда он в хорошем настроении, он любит хвалить мои кушанья, но на самом деле он и сейчас умеет все приготовить гораздо лучше, чем я.

Вот вам вкратце и вся история, которую Кифоятхон вдруг, словно извержение вулкана, обрушила в это утро па ничего не подозревавшую Саиду. Обрушила — и притихла, снова привычно прикусив язык и уже ругая себя за откровенность, которая, по ее мнению, чего доброго, могла вызвать у Саиды чувство презрения к ней. Теперь она сидела и молча смотрела на Саиду, стремясь прочесть в ее глазах, что думает эта девушка о ней — женщине, не умеющей писать букв, но знающей о жизни гораздо больше, чем написано во всех вместе взятых книгах.

Саида была оглушена и подавлена ее рассказом, но, следуя природному чутью, сделала самое умное, что могла сделать, а именно: не ужаснулась и не удивилась, а очень просто, словно ничего не случилось, продолжила разговор, что был прерван рассказом Кифоятхон.

— Раз вы совсем неграмотны,— сказала она,— то вам надо оставить работу в детском саду. Все равно рано или поздно туда назначат вместо вас другую, грамотную. Так уж лучше уйти самой, будет не так обидно. Ну и конечно, раз вы перестанете работать в детском саду, у Хурнисы уже не будет удобного предлога держать вас на побегушках. А какая-нибудь работа в колхозе для вас, конечно, найдется. Вы подумайте, и я подумаю тоже. Но если вы что-нибудь надумаете сами, первая не заговаривайте с Арсланбеком-ака, не поговорив сначала со мной. Он ведь может сразу отрезать «нет», а потом из этого «нет» будет так же трудно сшить «да», как халат из безрукавки.

Кифоятхон задумалась. Слова Саиды показались ей искренними, она поблагодарила ее вежливо и тихо, без своих обычных ужимок и, завязав в узелок оставшуюся от завтрака посуду, вышла. Но едва она вышла, как в дверь постучали. Саида откликнулась, и на пороге появился высокий молодой человек с добрыми глазами, длинной шеей и немножко оттопыренными ушами.



Хотя Казимбек и был теперь уже самый настоящий доктор, но все-таки он оставался очень похожим на свою детскую фотографию, висевшую в доме отца,— по крайней мере, Саида сразу узнала его.

14

С важностью, присущей всем или— скажем из осторожности — почти всем молодым врачам, Казимбек уселся на стул, строгим, профессиональным взглядом бестрепетно посмотрел на Саиду и, к своему ужасу, почувствовал, что краснеет.

— Я слышал, вы заболели,— сказал он, с трудом преодолевая смущение,— Отец мне сказал, чтобы я зашел к вам.

Саида посмотрела на его лицо, залившееся краской так, что даже тонкая мальчишеская шея порозовела до самого выреза белой шелковой рубашки, заметила, как он смущенно барабанит по колену тонкими пальцами, и почему-то почувствовала себя вдруг совсем взрослой и сильной по сравнению с ним, улыбнувшись, спросила:

— Должно быть, Арсланбек-ака сам сказал, чтобы вы и пенициллин мне ввели?

Казимбек расхохотался. Шутка Саиды сразу положила конец строго официальным отношениям между начинающим врачом и его первой после вступления в должность пациенткой. Теперь в комнате просто сидели рядом два молодых и смешливых человека, и у обоих был вполне законный повод для шуток.

— Ага,— сказал Казимбек,— оказывается, вы уже изучили характер моего отца! Вы правы: он из всех блюд признает только плов, из всех руководителей — товарища Кадырова, а из всех лекарств — пенициллин. Ну а все-таки, как вы себя чувствуете? Или, как бюрократически говорим мы, врачи: на что жалуетесь?

Ожидая ответа, он чуть-чуть нагнулся, взял руку Саиды и стал старательно считать пульс. Саида молчала. Она вовсе не собиралась рассказывать этому молодому врачу ни о подробностях своей вчерашней поездки, ни о ее последствиях. Из-за этого ей хотелось, чтобы Казимбек скорее ушел, хотя в то же самое время — встань он сейчас и уйди — ей было бы жалко с ним расстаться.

— Вы только не стесняйтесь,— не дождавшись ответа, сказал Казимбек, солидно покачав головой, совсем так, как качал головой бородатый профессор Мусаев, читавший у них общую терапию.— Когда

мы, врачи, осматриваем больную, мы иногда даже забываем, что и матери наши и сестры — женщины! Перед нами всегда не женщина, а только больной.

Впрочем, сказать-то он это сказал, но, должно быть, оттого, что при этом он вовсе не вспомнил ни матери, ни сестры, а, наоборот, глядя в нежное, улыбающееся лицо Саиды, думал в эту минуту о ней самой, его лицо со строго сдвинутыми бровями снова покрылось честным румянцем молодого смущения.

Наконец Саида, на его счастье, собралась с духом и сказала, что она вчера целый день ездила верхом, что до этого почти никогда не ездила и чувствует себя немножко разбитой, а в общем все хорошо, сегодня она еще полежит, а завтра, наверное, встанет, только не надо ей никакого пенициллина, даже если бы Арсланбек-ака вынес такое решение на правлении колхоза. Тут она снова рассмеялась и с облегчением заметила, что доктор засовывает обратно в чемоданчик свой стетоскоп.

Казимбек перестал краснеть и еще раз повторил, что Саида, кажется, неплохо изучила его отца.

— До меня еще по дороге сюда дошел слух, будто бы, когда он ушел без разрешения, вы заставили его вернуться на партийное собрание, и, уж поверьте мне, я-то знаю, что заставить моего папашу совершить такой вполне нормальный для другого человека поступок — значит сделать большое дело! А потом мне говорили, что, почувствовав вашу поддержку, тут даже женщины критиковали его. Ну, а это уж вообще... мой папаша и женщины, критикующие его, — такого не было от сотворения мира! А знаете, кто мне все это рассказал? Агзамджан! Я встретился с ним по дороге.

— Да он и не был у нас! — удивленно протянула Саида.

— А-а,— махнул рукой Казимбек.— Разве вам не известно, что у корреспондентов носы чуть-чуть длиннее, чем у всех остальных смертных? Да и потом, как говорится, слухом земля полнится. Кстати, Агзамджан сказал, что собирается приехать сюда, к нам, писать фельетон о Зульфакарове. Но слушайте, все же я врач,— вдруг снова вспомнив об этом немаловажном обстоятельстве, сказал Казимбек.— Я ж все-таки должен вас осмотреть!

Но Саида в ответ только махнула головой, как упрямая молодая лошадка. Казимбек улыбнулся.

— В институте нас учили, что наибольшие трудности при осмотре

своих больных обычно испытывают детские врачи и ветеринары, но теперь, я вижу, что иногда плохо приходится и нам, терапевтам.

Однако он был достаточно умен, чтобы, пошутив, не настаивать, и именно поэтому Саида, окончательно преодолев смущение, теперь уж совсем откровенно сказала ему, что очень намучилась вчера и сейчас у нее нет на теле ни одного живого места.

— Вот вы говорите,— сказала она,— что я знаю характер вашего отца. А на самом деле я еще только его изучаю, да притом еще на собственной спине, в буквальном смысле этого слова.— Саида рассмеялась.— Это же он, чтобы наказать меня, посадил на непослушного коня и возил весь день напролет, до самого вечера. Наверное, хочет, чтобы я испугалась его характера и сбежала отсюда. А я вот назло ему отлежусь и возьмусь за прежнее!

Они, наверное, еще целый час проговорили о Каландарове, причем Саида почувствовала, что хотя она и злится на председателя, но в то же время этот человек чем-то начинает ей все больше нравиться. А Казимбек, хотя и посмеивается над отцом и стыдится некоторых его выходок, в то же время любит его.

— Да, уж таков мой отец! — сказал он под конец.— Но, между прочим, хотя он и больше всего любит говорить: «Да, я такой и меняться не собираюсь!», а на самом деле он вовсе не такой уж несдвигаемый с места монумент самому себе. Если как следует поднажать, он, глядишь, сначала пошумит, а потом возьмет да и сдвинется, да еще примет гордый вид, будто сделал это по собственной инициативе! Помню, года два назад я приехал на каникулы. Сидим обедаем... Отец, поев плов, стал вытирать пальцы о голенища. Мне вдруг стало стыдно перед гостями, надо бы сдержаться, а я возьми да брякни. Ну, сначала поднялся такой крик — гости были не рады, что пришли... Потом половину каникул отец со мной не разговаривал, а еще немного погодя стал плов ложкой есть, и ни о каких голенищах уже и речи не было. Куда там!.. Ну ладно, я пойду, а вам советую полежать все-таки и сегодня и завтра. А завтра вечером я зайду и предложу вам одно лекарство, после которого никакие кони вам не будут страшны — ни саврасые, ни воронные!

Казимбек ушел, а Саиду охватило вдруг такое оживление, что, несмотря на все свои боли, она даже почувствовала потребность двигаться. Она встала с постели и, благо никто не слышал, легонько охая, несколько раз взад и вперед прошла по комнате. Потом села на

кровать и задумалась: то, что Казимбек, любя отца, в то же время понимал его характер и был союзником Саиды, и это показалось ей сейчас очень, очень важным...

15

Целый день у Саиды, как говорится, не было отбоя от посетителей. Сначала к ней зашла Умида, потом Исмаилджан, потом директор школы, потом Мехри,— правда, она, увидев, что Саида не одна, только кивнула ей из двери головой, застеснялась и ушла. Потом зашел Ишан с чайником чая. Потом пришла жена Зульфакарова — не Мехри, а его старая, настоящая жена, с маленьким узелком, в котором было завернуто два граната и кишмиш. Почему Зульфакаров вдруг прислал свою жену, да еще с узелком?.. Это внушило Саиде некоторые подозрения, но знак внимания был такой скромный, что отказаться показалось неудобным. Потом пришла Хурниса и даже предложила Саиде перейти к ним в дом, полежать, пока не выздоровеет, там. Но Саида отшутилась:

— Когда с больным слишком возьмется, он не торопится выздоро-  
равливать.

На следующий день Кифоятхон принесла ей завтрак совсем рано, едва рассвело. Оказывается, на это была своя причина: Кифоятхон спешила рассказать Саиде о том, что случилось вчера.

— Не годишься работать в детском саду,— решительно заявил ей Каландаров.— Ты ведь неграмотная, а в детском саду грамотная нужна. Я так решил! — он покрутил при этом свои тигриные усы так самодовольно, словно принял невесть какое мудрое решение.

Но, оказывается, это было только началом. Каландаров любил действовать по принципу: семь бед — один ответ, и поэтому, разделавшись с не слишком опечаленной, но на всякий случай зарыдавшей Кифоятхон, он тут же взялся за жену.

Вечером в доме председателя происходил целый концерт: Кифоятхон неискренне подвывала в одной комнате, а Хурниса вполне искренне и во весь голос рыдала в другой, выкрикивая сквозь рыдания, что она больна, работать в детском саду не может и непременно умрет от этой работы...

Саида решила лежать весь этот день, чтобы завтра, почувствовав себя совсем здоровой, с лихвой возместить потерянное. Однако после

обеда к ней вдруг явилась Умида еще с одной новостью: председатель вызвал к себе в кабинет Зульфакарова, шумел так, что Умиде в соседней комнате пришлось разговаривать по телефону, затыкая ухо пальцем, и заявил, что он сегодня же поставит на правлении вопрос об исключении Зульфакарова из колхоза.

«Смотри как разошелся»,— подумала Саида, слегка даже смущенная бурной деятельностью председателя; он, как видно, решил произвести все предполагаемые перемены во время ее болезни, чтобы никто, не дай бог, не подумал, что Каландаров действует не по своему разумению, а под женским влиянием.

Крутые перемены в судьбе Кифоятхон и Хурнисы, разумеется, можно было только одобрить. Другое дело — Зульфакаров. По мнению Саиды, едва ли тут стоило и торопиться, и поступать до такой уж степени круто, тем более, что история Зульфакарова возникла не на пустом месте: вряд ли бы он стал двоеженцем, если бы ему в свое время не попустительствовали.

Саида решила сейчас же, пока еще можно что-либо переменить, встретиться с Каландаровым и, вскочив с постели, начала поспешно одеваться.

Увидев ее, Каландаров проявил удивление, граничащее с недовольством: он был явно не прочь, чтобы Саида еще немножко поболела.

— Смотри-ка, уже выздоровели?! Быстро, быстро! А я сказал членам правления, что вы не будете, что проведем заседание без вас. Так что вы возвращайтесь, полежите еще день. Ничего не случится, здоровье всего дороже.

Саиде для начала разговора показалось удобнее не знать того, что она уже знала от Умиды, и она спросила Каландарова, что же сегодня будет на заседании правления, если, конечно, не секрет.

— Какой там секрет! — сказал Каландаров.— У нас на заседании всего один вопрос: я решил снять Зульфакарова с бригадиров, да и в колхозе он не такое уж украшение, чтобы его задерживать. Вот так! — добавил он и покрутил усы,— Дело ясное, решенное, так что можете не волноваться. Идите домой, долеживайте свое!

Но Саида не проявила никакого желания уходить, а, наоборот, села рядом с Каландаровым. Она почувствовала, что теперь, раз уж Каландарову попала вожа под хвост и он объявил, что выгонит Зульфакарова из колхоза, будет нелегко его переспорить или заставить хотя бы повременить с этим делом.

— Это конечно,— дипломатично сказала она,— раз виноват, значит, надо наказывать! Но как бы вы думали, Арсланбек-ака, может, прежде чем решать — оставлять или не оставлять Зульфакарова в колхозе, стоило бы рассмотреть вопрос о его пребывании в партии?

— Это и потом успеется, не тратьте время на раздумья! — отрезал Каландаров.

— А может, это будет не совсем верно, если вы вдруг, не решив сначала вопроса на партийном собрании, сразу же... Вы подумайте, Арсланбек-ака. Вам, конечно, виднее, чем мне, вы старый коммунист.

Невинная дипломатия Саиды немедленно оказала свое действие. Каландаров важно задумался, покрутил усы, нажал на звонок с таким значительным видом, словно этим нажатием кнопки он, по крайней мере, взорвал мост. На звонок явилась Умида.

— Умидахон,— сказал Каландаров, вытягивая пальцами кончики усов так, словно хотел измерить их общую длину,— подождите с вызовом людей на правление. До этого у нас с вами есть дела поважнее! — И, кажется, совершенно искренне забыв, что минуту назад сам же хотел сделать наоборот, поучающим тоном объяснил обеим женщинам: сначала следует исключить Зульфакарова из партии на заседании бюро, потом утвердить исключение на партийном собрании и только после этого поставить вопрос о его пребывании в колхозе на правлении и на общем собрании колхозников.

— Ну как? — заключил он. — Я, по крайней мере, думаю, что так будет вернее. Или у вас, может быть, другое мнение?

В ответ на это Саида поспешила подтвердить, что у нее совершенно такое же мнение, как у Каландарова.

— А раз так,— сказал он,— значит, сегодня же и бюро соберем. Раз вы уж все равно встали,— кивнул он Саиде.

«Час от часу не легче»,— подумала Саида, а вслух сказала, что, может, все-таки не стоит так уж спешить с этим делом.

— Видите ли, Арсланбек-ака, мы, члены бюро, когда вы еще были в отъезде, несколько раз говорили об этом между собой, конечно предварительно, и подумали, что, наверное, вы, когда вернетесь, одобрите наше предложение...

Под Каландаровым даже закрипело кресло, так резко он повернулся к Саиде. Как она ни обкладывала подушками каждое свое слово, но Каландаров вообще не любил, чтобы кто бы то ни было и о чем бы то ни было думал в его отсутствие!

Дальше разводить дипломатию было бесполезно, и Саида - будь что будет — прямо сказала то, что думала: конечно, двоеженство Зульфакарова — это свидетельство байско-феодалного отношения к женщине, но, вообще-то говоря, это отношение не сводится только к такому прямому преступлению, как двоеженство,— ведь верно? А если верно, так нет ли у них в колхозе и еще кое-чего в этом духе, не так бросающегося в глаза, но похожего? И еще: то, что Зульфакаров, договорившись с Мехри, приписал себе урожай хлопка, снятый ее звеном, конечно, прямое очковтирательство и, стало быть, тоже преступление. Но не происходит ли в колхозе кое-чего похожего на это, хотя бы когда шелководы занимаются «липой» — разводят лишних червей сверх нормы? Конечно, это разные вещи, но все-таки... В общем, Саида решила воспользоваться случаем...

Когда Саида начала говорить, Каландаров недовольно засопел, йотом сдержался и, в сильной борьбе с самим собой дослушав ее до конца, очень долго молчал.

— А стоит ли растягивать это дело? — наконец сказал он.— Четыре собрания будем созывать, а когда работать?

Однако в голосе его чувствовалась неуверенность, и Саида решила ковать железо, пока горячо.

— Конечно, дело нелегкое,— сказала она.— Взялась бы я одна, может быть, и надорвалась бы,— она впервые за все время напомнила ему сейчас об их первом разговоре в райкоме.— Но вы-то, если возьметесь, я думаю, не надорветесь?

Каландаров посмотрел на Саиду и самодовольно повел широкими плечами. Он был человек со сметкой, но даже и умные люди слабеют от похвал гораздо чаще, чем мы думаем.

- Ладно, хорошо,— сказал он,— А как мы будем поступать?

— Да как вы посоветуете,— откликнулась Саида,— Если посоветуете создать комиссию, чтобы подробнее расследовать все это дело с Зульфакаровым, то создадим комиссию. И хорошо бы под вашим председательством,— И, повернувшись к Умиде, она спросила, что та думает на этот счет.

Умида ответила, что она согласна с Саидой и что председателем комиссии конечно же лучше назначить такого авторитетного человека, как Арсланбек-ака.

— Да вы ведь с самого начала знаете все, что относится к этому делу,— сказала Саида,— так что вам будет легче, чем всякому другому.

Другой бы месяц над этим просидел, а вам, наверное, и десяти дней будет достаточно?

Эту цифру она назвала с некоторой тревогой: ей самой нужно было как раз это время, чтобы как следует подготовить предстоящее собрание. Но вдруг Каландаров возьмет да и скажет: а мне десяти дней не надо, мне и трех хватит?

Но Каландаров не сказал этого. Наоборот, он согласился. Правда, первоначальный его план сильно отличался от окончательного, но поскольку у него из разговора создалось ощущение, что и тот и другой были предложены им самим, то спорить ему было не с кем.

## 16

Саида до вечера просидела у себя дома, думая о предстоящем собрании и о том, как бы получше его провести, записывая наиболее важные соображения в свою старую тетрадку, теперь уже исписанную, по крайней мере, на три четверти. Может быть, со стороны это и смешно — записывать в тетрадку план собрания, но уж такая она была аккуратистка, эта наша Саида! Говорить выходит без единой бумажки, но перед этим целую неделю сидит себе и пишет, пишет своим быстрым бисерным почерком.

Уже перед закатом, как и обещал, пришел Казимбек. По правде говоря, пока Саида писала, она, наверно, раз десять подумала о том, что он должен прийти, и даже раза три посмотрела на часы, но, когда он вошел, она сделала вид, словно у нее совсем из головы вылетело его обещание. Он же, наоборот, очень долго и очень серьезно извинялся за опоздание. Оказывается, Каландаров велел ему самому отвезти в районную больницу прихворнувшего старика сторожа. По мнению Казимбека, случай был не из тяжелых, больного вполне могла отвезти сестра, но у Каландарова на этот счет были свои суждения: он сообразовался не с тяжестью болезни, а с возрастом больного.

— Старый человек,— сказал он,— а ты молодой. Отвези, окажи ему почтение.

— Ну что? Где же ваше лекарство? — спросила Саида, выслушав его объяснения.— Или у вас было столько дел, что оно не готово?

— Нет, оно готово,— сказал Казимбек.— Я вас буду ждать у ворот, только оденьтесь потеплее, вечер прохладный.

Он вышел, а Саида, надевая жакетку, подумала, что, наверное, он



поведет ее в амбулаторию: может быть, там сестра сделает ей укол или прогревание синим светом. Каландаров как раз недавно хвастался, что в амбулаторию прислали из Ташкента разные, как он выразился, лечебные лампы.

Однако выяснилось, что лампы тут ни при чем. У ворот сада топтались два коня. На саврасом — любимце председателя — сидел Казимбек, а второй — вороной конь — предназначался для Саиды. Оказывается, Казимбек решил вышибать клин клином, то есть заставить Саиду два или три дня подряд ездить понемножку на лошади, чтобы окончательно приучить ее к верховой езде.

— Вам же все равно придется ездить, значит, надо учиться,— сказал он и добавил, что если ездить понемножку, в меру, то спина разомнется и ей полегчает.

Саида с содроганием посмотрела на проклятого вороного, но, обнаруживая своих чувств, храбро взобралась на него. Они рядом выехали за окраину кишлака, лошади ровным шагом шли по хорошей, гладкой дороге, и Саиде начало казаться, что действительно последние остатки боли покидают ее.

Саида почувствовала себя настолько уверенной, что решила поговорить с Казимбеком о предстоящем собрании. Ей казалось, что сын, как хорошо знающий характер своего отца, не только правильно поймет ее, но и поможет ей. Однако попытки обстоятельно поговорить на эту тему не увенчались успехом. Едва она уселась на коня, как Казимбек заговорил сам, и говорил не переводя дыхания целый час, все время, пока они ездил. То ли он от смущения не решался заговорить о чем-нибудь другом, то ли ему не терпелось посвятить Саиду во все подробности своей профессии, но, заведя речь о медицине, о своих профессорах, которые все были как на подбор выдающимися людьми, и о болезнях, которых он знал великое множество, он до самого конца уже не мог соскочить с этой пластинки. Начав с головы, а именно с опухоли головного мозга, он постепенно и неотвратимо добрался до кишечника и, слава богу, остановившись на этом, перескочил на общую анатомию.

— На худых мертвецах, знаете ли, гораздо легче делать вскрытие,— увлеченно говорил Казимбек, совершенно не принимая во внимание, что Саида не только не знает всего этого, но и знать не хочет. — Говоря профессионально, с ними иметь дело — одно удовольствие: обработаешь их в формалине, потом отслоишь кожу — и весь

внутренний механизм у тебя как на ладони!

«Тьфу ты, господи,— думала Саида, слушая его ученые разглагольствования,— нашел о чем рассказывать!»

— Да, так вот,— сказал Казимбек, когда они вернулись обратно, так и не успев покончить с анатомией.— Значит, я за вами завтра опять заеду.

Он соскочил с коня и, взяв обеих лошадей под уздцы, расстался со слегка раздосадованной Саидой.

Наутро Саида почувствовала себя отлично. Оказывается, Казимбек был совершенно нрав, и это даже чуть-чуть примирило ее задним числом со вчерашней медицинской беседой. У нее немного ныли мускулы, но это была уже не та прежняя расслабляющая боль, от которой тянуло в постель; наоборот, ей хотелось размяться, ходить, двигаться...

Саида весь день провела на ногах — в правлении, в клубе и на фермах. Днем она переговорила по меньшей мере с десятком людей о будущем собрании, а ближе к вечеру пошла на собрание комсомольцев. Оказывается, дела двигались, а люди думали не только в отсутствие Каландарова, но и в ее отсутствие. Пока она два дня болела, комсомольцы надумали своими силами построить летний кинотеатр. Вчера это была еще только мысль, а сегодня на комсомольском собрании она уже стала решением. Саида была очень рада, хотя, кажется, во время собрания держала себя с комсомольцами чуть-чуть солиднее, чем это требовалось. Впрочем, извиним ее за это. Она сама еще не вышла из комсомольского возраста, а очень молодые люди часто возмещают недостаток лет избытком солидности,— не она первая, не она последняя!

Зато она совсем несолидно выскочила вечером навстречу Казимбеку, как и вчера подъехавшему к воротам, ведя в поводу второго коня. Он, улыбнувшись, сказал, что сегодняшний, второй сеанс лечения, кажется, будет последним: колхозный конюх — ворчливый старик — заявил, что «будь ты хоть доктор, хоть профессор, а три дня подряд не дадим тебе гонять по вечерам лошадей».

— Конечно,— улыбаясь, добавил Казимбек,— если бы я был ветеринаром, он оказался бы поговорчивее, но я всего-навсего терапевт...

«Ну и к лучшему, что в последний раз,— подумала Саида, уже сев на коня.— Вчера ездили вдвоем, сегодня опять едем... Чего доброго, еще

кто-нибудь что-нибудь подумает...»

Но хотя эта мысль снова тревожно кольнула ее в сердце, когда они проезжали мимо кучки молодых людей, двое из которых при виде их перемигнулись, она наперекор себе именно в эту минуту повернулась лицом к Казимбеку и, громко рассмеявшись, сказала первую пришедшую ей на ум фразу. Она хотела доказать себе самой, что презирает пустые пересуды. Но на сердце у нее по-прежнему оставалось тревожно, и она еще раз, помимо своей воли, подумала: «Все-таки хорошо, что поездка — последняя».

Они тихонько ехали между двумя рядами тополей по утоптанной тысячами ног узкой тропинке, шедшей вдоль оросительного канала.

Отсюда в густеющих сумерках виднелся черный силуэт кишлака, особенно резко выделявшийся на фоне неба, где солнце разожгло свой огромный закатный костер.

Саида опасалась, не примется ли Казимбек за прерванную вчера на полуслове анатомию, и поэтому начала разговор первой.

По-моему, Ишан-ака очень хорошо играет на дутаре и поет совсем неплохо. Как вы думаете, если мы создадим в клубе оркестр национальных инструментов, он не пойдет руководителем?

— Не знаю,— впервые за все время их знакомства сердито откликнулся Казимбек.— Не знаю, каким он будет музыкантом в оркестре, но здесь, в колхозе, он сильно портит всю музыку, это я знаю.

Саида быстро взглянула на него.

— Однако вы довольно неважного мнения о своем будущем тесте.

— И еще более скверного мнения о той болтовне, которую ведут на этот счет моя мать и Кифоятхон,— с большой и даже, пожалуй, со слишком большой горячностью откликнулся Казимбек.— Они хотят раскроить халат, как им вздумается, но только забыли спросить меня, захочу ли я его надеть! Ишан в своей жизни достаточно поиграл на свадьбах, но на этой ему играть не придется, как бы ему ни хотелось. Манзурахон вовсе не собирается выходить за меня замуж, а я вовсе не собираюсь на ней жениться! Кое-кто не желает знать об этом, но в наши времена знать такие вещи полезно даже людям с характером моего отца. Что верно, то верно,— продолжал Казимбек уже спокойнее,— мы вместе росли, вместе учились, вместе играли на одной улице. Можно даже сказать, что мы и сейчас дружим. Но не больше того. И слава богу! Если бы стряслась такая беда, что мы полюбили бы друг друга, просто не знаю, что бы мы сейчас оба делали. Манзурахон кончает балетное

училище, она уже танцевала и будет танцевать в Ташкенте, в театре Навои, ее место там! А мое место — здесь! Я не из тех, что бьют поклоны профессорам, чтобы приклеиться к аспирантуре. Я врач, я мечтал стать врачом с детства, и я хочу быть врачом вот в этом своем кишлаке.

— Именно в этом? — переспросила Саида.

Казимбек, до этого очень серьезный, вдруг улыбнулся.

— Если мой отец не будет слишком мешать мне своими руководящими указаниями по медицинским вопросам, то именно в этом. Если будет мешать, то в другом. Вот видите, какие разные у нас дороги. Я считаю для себя просто большой удачей, что почему-то так и не влюбился в Манзурахон, тем более что она очень красива.

Несмотря на все сказанное до этого, последнее замечание Казимбека задело Саиду, да и вообще она вовсе не хотела продолжать разговор на эту опасную тему.

— Вы знаете, — сказала она, — Ишан мне чем-то не понравился с первой же встречи.

— Ну и правильно! Ваше чутье не обмануло вас, — воскликнул Казимбек. — Сейчас я вам расскажу одну историю, и вы сразу поймете, кто такой Ишан. Уже под самый конец войны прошел слух, что будет еще один призыв в армию, под который Ишан мог попасть по возрасту. Вы видали, какой он беззубый сейчас ходит?

Саида кивнула.

— У него были зубы лучше, чем у меня, но он, когда прошел этот слух, за неделю вырвал себе двадцать зубов, только бы не попасть в армию.

Саида даже не рассмеялась. Ей стало противно и захотелось спросить Казимбека: зачем же его отец столько лет держит такого человека подле себя?

Но Казимбек сам угадал этот вопрос в ее глазах.

— Удивляетесь, что в нем нашел отец?

— Да! — Саида была рада, что Казимбек понимает ее с полуслова. — Может быть, вашему отцу так уж дорого его пение и игра на дутаре? — неуверенно спросила она.

— Да, отчасти, — сказал Казимбек. — Но не в этом главное. Отец малограмотен, почти безграмотен. И он уже давно привык, что Ишан, находясь под рукой всегда, и днем и ночью, готов прикрыть это. Затем — это случается с малограмотными людьми чаще, чем с другими —

отец, в душе Страдая от своей малограмотности, в то же время любит, чтобы кто-то все время превозносил его знания и ум и смотрел ему в рот. В общем, как у нас говорят, Ишан оказался у моего отца между кожей и мясом. Он из тех паразитов, у которых есть дар внушать, что они нужны, и я бы даже сказал, он имеет некоторое влияние на отца, несмотря на то, что отец — сила, а Ишан — тряпка.

— Как хорошо, что вы сами знаете все, о чем я как раз собиралась с вами говорить. Если мы с вами вместе примемся за вашего отца, то, я думаю, наша возьмет!

Казимбеку очень понравилось то, что сказала Саида, а в особенности такие слова, как «мы» и «вместе». Он был очень не прочь задержаться на этом важном пункте, но Саида уже перевела разговор на общие колхозные дела и стала рассказывать о том, как она готовит очередное партийное собрание и чего ожидает от него. По ее словам, главная задача заключалась в том, чтобы люди, привыкшие закрывать глаза на разные пороки и изъяны в жизни колхоза, поняли, что эти пороки и изъяны вовсе не неизбежны, что у них есть свои причины и что, наверное, можно не без успеха повоевать с ними. Собрание, по мнению Саиды, как раз и должно было оказаться началом такой войны.

Итак, война? — улыбнулся Казимбек.— Ну что ж, новым вместе! — Он подчеркнул это последнее слово как только мог значительно.— А как будем воевать? С объявлением войны или без объявления?

При этом он, чуть припустив коня, оказался на полкорпуса впереди Саиды и, повернувшись, прямо взглянул в ее освещенное луной лицо.

— Уж не знаю, как там,— сказала Саида, отводя глаза,— лишь бы в конце концов победить!

И поспешно добавила, что им пора возвращаться.

Обратно ехали молча, глядя на расплавленное серебро воды, налитой высоко, почти до самых краев канала, на хлопковые поля, темневшие сквозь серую кисею вечернего тумана, на желтые полосы тракторных фар, то вонзавшиеся в небо на подъемах, то втыкавшиеся в землю при спусках... Вечер был так хорош, что Саида снова, вопреки своей воле, тревожно подумала о том, что могут сказать люди про двух путников, молча едущих рядом в этой опасной тишине, под этой опасной луной.

Партбюро вело активную подготовку к собранию, и хотя никто еще прямо не критиковал самого Каландарова, однако он все чаще чувствовал себя не в своей тарелке. Он сам склонен был отнести это за счет интриг Саиды, однако дело обстояло совсем не так. Просто-напросто люди, готовясь к собранию, встречаясь в клубе, стали чаще и смелее говорить между собой о разных делах и недостатках. А раз так, то в конце концов они косвенно критиковали и Каландарова. Когда человек долго старается внушить всем окружающим, что колхоз — это он, разумеется, сам имея в виду достижения, то ведь вправе же люди вспомнить об этом же человеке, имея в виду и недостатки. Каждый предмет на свете имеет по меньшей мере хотя бы две стороны, а что же сказать о человеке?

Готовясь к собранию, Умида, как член партийного бюро, решила поговорить с женщинами, по тем или другим причинам не работавшими в колхозе. На этом маленьком собрании, по крайней мере, половина женщин выразила желание переменить свое положение, если для них найдется работа по силам и способностям.

Кифоятхон, никогда в жизни не посещавшая никаких собраний, тут, на свою беду, вдруг пришла и сама была не рада. Одна из женщин так прямо и выпалила ей в лицо:

— Лучше уж помереть, чем жить так, как ты живешь! Обьедаешь наших детишек да крутишься вокруг подола председателевой жены.

Кифоятхон, обычно не лавившая за словом в карман, растерялась и не нашлась что ответить.

Потом жена Зульфакарова попросилась на любую работу, если только двоих младших из ее шестерых детей возьмут наконец в детский сад; она гордо сказала, что выгнала мужа из дома, а потом, всхлипнув, добавила: ничего этого не случилось бы, если бы не было проклятой горы, на которую опирался ее муж.

Под «проклятой горой» подразумевался Каландаров, хотя бедная женщина так и не произнесла вслух его имени.

Уже не на собрании, а после возник слух, что один из сидевших в бухгалтерии «молодцов в шелковых рубашках» приписывает кое-кому лишние трудодни, а потом, как говорится, «распиливает их пополам». К этому следовало добавление: кое-кого предупреждали, что этот «молодец в шелковой рубашке» нечист на руку, но этот «кое-кто» не привык слушать других, он слушает только самого себя.

И это тоже был камешек в огород Каландарова.

Наконец произошло еще одно прискорбное событие, вызвавшее невольные улыбки даже у людей, вполне расположенных к председателю. Оказывается, на этих днях он, сидя в чайхане и желая лишний раз показать себя мудрым, а своего собеседника посадить в галошу, спросил у приезжего агитатора:

— Да знаешь ли ты, братец, что добывают из хлопка? Думаю, что вряд ли ты это знаешь!

Но агитатор оказался малый не промах и, не щадя авторитета председателя, тут же отбрил его, сказав: я-то, мол, знаю, что добывают из хлопка, а вот знаете ли вы, что добывают из руды, нефти и угля,— это, пожалуй, действительно вопрос!

Словом, Каландаров, как говорится, был недоволен созданным положением, тем более что, за исключением случая с агитатором, где он сам оказался пострадавшим, обо всем он обычно узнавал из вторых уст, а эти вторые уста были, как правило, устами Ишана. Последствия понятны: Каландаров сдерживался, но кипел, и пришел день, когда он вдруг перекипел через край, как забытое на огне молоко.

В тот вечер Саида проводила у себя в кабинете политкружок, и едва он закончился, как к ней пришли две совсем молоденькие девушки, занимавшиеся в другом кружке — музыкальном — и по дороге из клуба домой забежавшие на огонек лампы, горевший в кабинете секретаря. Горячась и перебивая друг друга, они заявили Саиде протест от имени всех девушек колхоза против того, что «эту никуда не годную Мехри», вместо того чтобы гнать из колхоза, посылают учиться.

И тут как раз к Саиде зашел Каландаров.

Правда, увидев председателя, девушки из приличия привстали с мест, но чтобы замолчать при старшем — на это воспитания у них, конечно, не хватило. И они продолжали тараторить, словно Каландарова и не было в комнате.

— Что ж, теперь, значит, премии у нас будут давать не за успехи, а за проступки? — горячилась одна.

— Неужели же у нас на Мехри свет клином сошелся? Что, у нас в колхозе хороших женщин нет? — обиженно поддакивала другая.

Саида только было начала объяснять им, что Мехри посылают в числе многих других, что послать ее необходимо — ведь надо же попробовать ее снасти,— как вдруг Каландаров покраснел, дернул себя за ус так, словно хотел оторвать его, и закричал на девушек:

— Эй, вы, кто это вас воспитывал? Где ваша совесть? Кто вас

приличиям учил?

— А что мы такого неприличного сделали? — спросила одна из девушек, оробевшая немножко меньше другой.

Мало того, что они не умели молчать при старших, они еще смели возражать!..

Каландаров окончательно рассвирепел:

— Ах, вы не знаете, что вы неприличного сделали? Разве так надо разговаривать с секретарем, как вы разговариваете? Да и я вошел, а вы даже не замолчали!

Та девушка, что была посмелее, еще раз попробовала возразить, но Каландаров так раскричался, что им в конце концов осталось только уйти. Они так и сделали — ушли, покрасневшие, в слезах и даже от злости хлопнув дверью.

Услышав это вместо ожидаемых извинений, Каландаров уже никак не мог унять и продолжал кричать, оставшись наедине с Саидой. По видимости, он как будто защищал ее от дерзких девчонок, посмеявших спорить с ней, секретарем парторганизации. На самом же деле он просто обрушивал на Саиду все, что накопилось у него в душе, подчеркивая, что именно она во всем и виновата.

— Сами виноваты! Сами! Сами! — выговаривал он, тыча своим толстым пальцем едва ли не в нос Саиде.— Кому вздумается и когда вздумается, тот с вами и разговаривает о чем ему вздумается. А вы только слушаете да киваете... С тех пор, как вы тут, и взрослые потеряли последние приличия, и молодежь распустилась! Скажите пожалуйста, всегда вы всех готовы слушать! Всегда со всеми и все готовы обсуждать! А к чему это привело? Какие-то девчонки врываются к вам и грубят, и оспаривают наши с вами решения... А напомнить им, что каждый сверчок знай свой шесток, на это у вас духу не хватает! Бойтесь свою популярность потерять!

Саида, как это уже не однажды было, слушала его, ни разу не перебив, до тех пор пока он не выговорился. Стоило бы ей хоть раз возразить, и Каландаров снова бы заплясал, словно мяч, отпрыгнувший от стенки. Но она не отвечала ему, и он в конце концов завял. Только после этого она наконец очень спокойно сказала в оправдание девушек, что люди бывают разные и по возрасту и по характеру: одни умеют говорить хладнокровно, а другие начинают кипятиться, еще не выговорив первого слова; у одних слова, как засахаренный орех, у других — как колючая изгородь. Да и главное не слово, а то, что стоит



за словами. И не так уже важно как говорят, куда важнее что говорят!

— Вот-вот! — даже, кажется, обрадовавшись тому, что она наконец возражает, заорал Каландаров.— Вот именно, так вы и портите народ! Вам на голову садятся, а вы молчите. Вы что ж, и в самом деле считаете, что эти две болтуны к вам за делом пришли?! И что это за дело, интересно узнать?

Саида улыбнулась.

— Мне показалось, что они пришли покритиковать нас с вами.

— А что, разве мы с вами неправильно сделали, что послали Мехри на учебу? — взъелся Каландаров.

Не так давно он сам возражал против такого решения, но у него была привычка — приняв в конце концов какое-нибудь решение, считать, что оно было его собственное с самого начала.

— Нет, я думаю, мы с вами не ошиблись,— сказала Саида,— На этот раз ошибаются девушки, и им, я полагаю, было бы нетрудно объяснить это. Я с ними не согласна, но мне нравится, что они, такие молоденькие, уже вмешиваются в наши дела и не стесняясь говорят о том, что считают неправильным.

— Ну еще бы! Вот именно «не стесняясь»! — сердито сказал Каландаров.— Попробовали бы они мне вот так, не стесняясь, болтать обо всем, что им вздумается, я бы им коленом в живот уперся и язык бы с корнем вырвал!

Саида не выдержала и улыбнулась.

— После ваших слов,— сказала она,— я с большой тревогой думаю о том, что через три дня к нам придет взаимопроверочная бригада из колхоза «Социализм». Еще, чего доброго, скажут наши соседи что-нибудь такое, что не придется вам по душе, а вы им сразу коленом в живот, а рукой за язык?

- Язва вы, вот вы кто! — буркнул Каландаров.— Если вас змея укусит, и та, наверное, бедная, сама от вашего яда околеет!

Саида изо всех сил ущипнула себя за локоть, чтобы только не дай бог не расхохотаться. Каландаров бы, наверное, ушел — он сказал все,— но известие о взаимопроверочной бригаде обеспокоило его, и он остался.

— Значит, бригада к нам едет? — сказал он после молчания.—

Ну и пусть едут! Без вас еще никогда не проигрывал я соревнования Назарову, авось и при вас не проиграю.

Саида знала, что Каландаров говорит правду: действительно за

много лет соревнования с колхозом «Социализм» «Бустон» ни разу не сплеховал. Однако Саида знала и другую сторону дела: при взаимных проверках в расчет брались почти исключительно хозяйственные итоги. В остальное Каландаров не совал носа сам и старался, чтобы к нему не совали носа соседи.

— Да, вы правы,— сказала она вслух,— за хозяйственную сторону дела я тоже спокойна, тем более что мы в этом году на некоторых участках такой хлопчатник пересеели и подняли, на который соседи только рукой махнули... Но вот в культурно-бытовых вопросах мы здорово хромаем. Вы ведь и сами мне об этом говорили.

Каландаров сам ничего не говорил об этом, наоборот, об этом говорила ему как раз Саида, но такая форма упоминания об их предыдущих разговорах, как мы уже знаем, была ему по душе.

— Например?.. — неопределенно спросил он.

— Например, из двадцати домов для колхозников мы за полгода построили только пять,— сказала Саида.— Или, например, партбюро в «Социализме» обсудило недавно такой вопрос: «В каких условиях рождается у нас новый человек и в чьих руках воспитывается?!» А короче говоря, они обсудили, как у них работают родильный дом, ясли и детский сад... И даже на правление колхоза вынесли потом этот вопрос. Разве это плохая мысль?

— Ну, во всяком случае, не Назарову же она пришла в голову, эта мысль,— ревниво сказал Каландаров и подозрительно добавил: — А вы откуда это знаете?

— Ездил третьего дня в «Социализм», говорила там с секретарем партбюро.

— Чего это вы вдруг поехали?

— А я ведь учусь верховой езде,— не удержавшись, съязвила Саида.— Вы же мне посоветовали. Вот я взяла у конюха того вороного и поехала... Между прочим, он меня теперь слушается.

Каландаров замолчал решительно и надолго, так, словно получил хорошую затрещину, после которой нужно время, чтобы прийти в себя. Он был полон тревог, сомнений и подозрений. Во всем, что ему говорила Саида, не содержалось ничего такого, к чему можно было бы придаться, однако сама мысль о том, что Саида взяла да и поехала в другой колхоз, взяла да и поговорила там с секретарем партбюро, взяла да и первая начала обсуждать вопрос о приезде бригады из «Социализма»,— все это беспокоило Каландарова своей непривыч-

ностью. А тут еще заявляет, что вороной ее слушается! Не содержится ли в этом некоего ядовитого намека? Вполне возможно, что именно так и есть, она ведь на все способна!

Каландаров ушел притихший и задумчивый. А Саида, когда он ушел, вздохнула так, что в лампе колыхнулось пламя.

«Все-таки трудный человек этот Каландаров, очень трудный! — подумала она. — С какой стороны ни кусни — крепкий орешек».

Проверочная бригада из колхоза «Социализм» прибыла ровно через неделю.

По идее день проверки не устанавливался заранее и даже сохранялся в тайне, но Каландаров был не сторонник таких условностей, он принял свои меры, получил точные сведения и не меньше чем за трое суток до этого уже завертел колесо на полный ход. У моряков есть команда «свистать всех наверх». Примерно в таком же духе, готовясь к приезду гостей, действовал и Каландаров. Он и сам носился с утра до вечера по угрожаемым, в смысле проверки, участкам и всем другим, разумеется, не давал сидеть сложа руки.

Рассказ Саиды о том, как в «Социализме» интересовались, «где рождается и в чьих руках воспитывается новый человек», особенно крепко засел в памяти у председателя. И уж тут он, как говорится, не пожалел родного сына: от Казимбека просто пар шел — в такую горячку вогнал его папаша, заставив за три дня привести в порядок, признаться, довольно-таки запущенный родильный дом.

Отставленная от детского сада Кифоятхон была назначена в баню — кассиром и ученицей парикмахера. Еще недавно в бане вообще не было парикмахера, зато теперь сразу появились и парикмахер и ученица, ибо Каландаров, как мы знаем, был человек с размахом. Хурниса, которая вначале хотя и поплакала, но не до конца поверила, что муж в самом деле снарядит ее на работу, теперь испытала на собственной персоне твердость его характера. Явившись в детский сад вразвалочку, она вдруг попала в общий темп приготовления и под неусыпным оком мужа забегала с такой скоростью, какой и сама в себе не подозревала. С трудом протискиваясь в двери, жалуясь на врачей, которые довели ее до такой полноты, и по сто раз на дню проклиная «эту бездельницу Кифоятхон», Хурниса следила за побелкой засиженных мухами стен, за починкой поломанной мебели и за десятком других дел, которые сам бог велел сделать давным-давно, но за которые — увы! — взялись лишь теперь, перед приездом гостей.

Немало горя она хлебнула и с детишками. От природы они, наверное, были не озорней других ребят, но, как видно, прежняя усложненная система руководства детским садом отразилась на их дисциплине отнюдь не в лучшую сторону.

Механик электростанции тоже был поднят на ноги. Если учесть, что в его распоряжении до сих пор был всего-навсего небольшой движок, зажигавший полсотни лампочек да по временам крутивший мельничный жернов, то, пожалуй, такая номенклатурная должность выглядела несколько пышно. Однако сейчас Каландаров намерен был поставить перед ним грандиозные задачи, отнюдь не считаясь со скромными масштабами имевшейся в его распоряжении техники. Механику было строго-настрого приказано обеспечить на время пребывания соседей бесперебойную работу «станции» и не допускать никаких миганий и морганий.

— И чтобы лампочки не висели у тебя бледные, как недозревшие помидоры! — так закончил свою краткую беседу с механиком Каландаров.

Проблема срочной радиофикации тоже оказалась в после зрения председателя; по правде говоря, на нее уже давно были отпущены деньги и даже привезено и где-то свалено оборудование. Но сейчас приходилось искать пожарный выход из положения, и Каландаров нашел его: накануне приезда соседей он, показав при этом личный пример, реквизировал все имевшиеся у работников канцелярии и бухгалтерии батарейные приемники и приказал установить их в коридорах и на балконе правления, в чайхане, перед гаражом и в нескольких других, наиболее бросающихся в глаза, а в данном случае в уши, местах. В результате этого проведенного железной рукой мероприятия утром, в день приезда бригады, приемники, перебивая друг друга, заговорили на все голоса и говорили напропалую до ночи, охрипнув сами и успев оглушить и своих и приезжих — всех, кто попадал в предел их досягаемости.

Бригада из «Социализма» пробыла в «Бустоне» три дня, и на третий день к вечеру было созвано общее собрание колхозников, посвященное итогам проверки.

Началось собрание, по мнению Каландарова, совсем не плохо. Соседи не обнаружили сколько-нибудь серьезных недостатков в уходе за посевами хлопчатника и других культур, больше того, они за многое хвалили бустонцев, а кое-чему даже собирались у них поучиться.

Слушая эти приятные речи, Каландаров крутил свои усы с таким удовольствием и энергией, что казалось, вот-вот совсем вырвет их.

Потом зашел разговор о животноводческих фермах; он был уже менее приятного свойства: и дорога, мол, подвесная все еще не сделана, и электродойки лежат на складе неустановленные, и коровы стоят в стойлах не такие чистые, как следовало бы... Вот уже действительно у людей совести нет, чуть ли не под хвосты коровам заглядывали. А еще соседи!

Слушая эту менее приятную часть разговора, Каландаров уже не крутил усы, а только морщился, делал вид, что записывает что-то в блокнот; на самом же деле он выводил на бумаге все одну и ту же сердитую закорючку, похожую не то на вопросительный знак, не то на хвост ишака.

Третья часть разговора оказалась еще менее приятной; речь зашла о культурном строительстве, и тут Каландарову, несмотря на аврал последних дней, пришлось-таки попотеть: один ус его, намокнув, так и повис горестно.

Конечно, некоторые из пожарных мер немножко выправили положение, но и тут не обошлось без конфуза. Один дотошный старичок из проверочной бригады, как видно, любивший счет деньгам не только в своем, но и в соседском кармане, походил, походил вокруг выставленных напоказ батарейных приемников, а потом и спросил на собрании: не слишком ли, мол, дорого обходится колхозу такая батарейная радификация?

Спрашивается, чего стоило взять да пропустить мимо ушей ехидный вопрос этой старой занозы? Так нет, сразу же из задних рядов донесся чей-то голос:

— А вы не расстраивайтесь, дедушка, мы не разоримся! Это ведь у нас временно: еще и пыль за вашей машиной не уляжется, а уж хозяева приемников потащат их обратно к себе по домам!

Зал буквально застонал от смеха, а Каландаров, не угадав «предателя» по голосу, не посмел искать его глазами; слушая, как гогочет зал, он сидел, воткнув глаза в стол и сердито чертя карандашом по бумаге. Еще хорошо, что никто не видел лежавшей перед ним бумаги: его рука почему-то непроизвольно выводила на листе кривобокие электрические лампочки.

Все имеет свой конец, наступил конец и этому собранию. По уже давно установившейся традиции, последнее слово принадлежало

председателю проверяемого колхоза. Каландаров поднялся побагровевший, растерянный, а главное, сам еще не знающий, что он сейчас выпалит. Прежде чем заговорить, он наконец заставил себя поднять глаза и посмотреть в зал. И первым, кого он увидел, была Саида. Она с тревогой смотрела в багровое лицо Каландарова и делала ему какие-то странные знаки: одной, слегка приподнятой рукой она словно бы дергала за что-то невидимое, а другой, держа ее пониже, словно бы упиралась во что-то, тоже невидимое, и при этом легонько покачивала головой, как бы стараясь удержать его, Каландарова, от чего-то, чего он не должен делать.

Ей дважды пришлось повторить эти жесты, прежде чем Каландаров понял: она просила его, несмотря на гнев, ради бога не упираться коленом в живот гостей и не пытаться в ответ на критику вырвать у них язык.

А он ведь как раз и собирался это сделать! Для начала, из приличия, погладить гостей по головке, а потом заехать им покрепче под ребра: мол, ладно, скоро и мы пошлем к вам бригаду, посмотрим, что там у ваших коров под хвостом!

Но выразительные знаки Саиды, и даже не столько сами знаки, сколько уж очень встревоженное выражение ее лица, заставили его отказаться от первоначального намерения. С полминуты простояв молча, в борьбе с самим собой, он, вместо того чтобы, начав во здравие, кончить за упокой, начал с благодарности за приезд, а кончил благодарностью за критику. Правда, при таком необычном для Каландарова окончании речи лицо его легонько перекошилось от натуги, но этого, кажется, никто не заметил.

Саида первая захлопала в ладоши, как только он кончил, и зал, довольный поведением своего председателя дружно поддержал ее.

Каландаров возвращался домой хотя и несколько смягченный дружными аплодисментами, но все же не оставляющий мстительной мысли о том, как он, в свою очередь, с пристрастием проверит занозистых соседей и потом на собрании, при всех, насыплет соли на хвост своему старому другу Назарову.

Что касается Саиды, то она возвращалась домой, наоборот, в благодушном настроении, с молодым легкомыслием преувеличивая достигнутые успехи; она радостно думала, что Каландаров, кажется, начал поддаваться критике, а ведь еще совсем недавно, стоило его покритиковать, и он уже спешил, упершись коленом в живот, половчей

ухватить за язык критикующего!

18

Через два дня после отъезда гостей наконец состоялось отложенное в связи с взаимопроверкой заседание партийного бюро.

Как мы помним, Каландаров в свое время согласился стать председателем комиссии по делу Зульфакарова; теперь он выступил с докладом, в котором предлагал исключить Зульфакарова из партии. До сих пор единственным камнем преткновения для такого решения вопроса был сам докладчик, так что теперь спорить было некому и не с кем.

Исключив Зульфакарова, бюро в своем решении вообще призвало к борьбе с пережитками прошлого в отношении к женщине и с любыми проявлениями очковтирательства.

Через два дня закрытое партийное собрание единогласно утвердило решение бюро. Но разговор не ограничился этим: при разборе истории Зульфакарова слишком многое всплыло на поверхность, чтобы, решив вопрос о нем, взять да и поставить точку. Собрание затянулось за полночь. Между прочим, на этом собрании впервые досталось на орехи и нашей Саиде. Один из коммунистов вдруг напомнил о той лекции, что когда-то была организована для женщин.

— Тогда, после лекции, женщины задали вам вопрос, почему у нас в колхозе к мужчинам относятся но-одному, а к женщинам — по-другому, помните?

— Помню.

— А что вы на это ответили? Что вопрос важный, но на него надо отвечать не на лекции, а на собрании! А где же это собрание? Или вот вы, товарищ Алиева, не раз вслух говорили, что нужно кое-кого из мужчин, прохлаждающихся на легких работах, заменить женщинами. Вы говорили, люди слушали — а воз и ныне там! Почему не довели дело до конца? Мешали вам? Тогда скажите, кто мешал? А то ведь люди ждут; раз секретарь сегодня сказал, значит, завтра должен сделать. Разве не так?

— Так,— сказала Саида, опустив голову. Она могла бы кое-что возразить на упреки, но, к счастью, удержалась, поняв, что, раз здесь, на собрании, ее критикуют и требуют, чтобы она действовала решительней, значит, она не одна, значит, у нее поддержка, значит, за

ее спиной гораздо больше силы, чем раньше, когда ее еще не критиковали, а лишь приглядывались к ней.

Словом, хотя самолюбие Саиды и было уколото, она удержалась от спора по мелочам и даже постаралась всем своим поведением подчеркнуть, что принимает критику. Ей даже подумалось, что таким своим поведением она подаст хороший пример Каландарову, однако тут она оказалась слишком большой оптимисткой.

Пока критиковали Саиду, Каландаров и в ус не дул. Потом, когда другие выступавшие стали критиковать и Саиду и партбюро, при этом полегоньку заезжая и в дела правления, Каландаров начал хмуриться и подкручивать усы с таким видом, словно он, взрослый человек, возится по своей охоте с малым ребенком и, получая от него детские шлепки по щекам, не испытывает ничего, кроме удовольствия.

Однако из этого, еще сравнительно благодушного состояния его вывел директор школы.

— Десять лет назад,— сказал директор,— в нашу школу в первый класс поступили восемьдесят три девочки, а в этом году десятый класс окончили только шесть из них! Думаете, это вышло так просто, само по себе? А может быть, среди других причин, по которым девочки не доучиваются в школе, есть и такая, как остатки феодального отношения к женщине? А горькие жалобы учителей вы хоть раз дослушали терпеливо до конца, скажите по совести, Арсланбек-ака?

Пробормотав в ответ что-то не очень вразумительное, Каландаров не принял боя — заполз, как улитка, в раковину.

Он, нетерпеливо дожидаясь, пока кончится собрание, утешал себя мыслью, что на завтрашнем заседании правления, где он сам будет председательствовать, все пойдет по-другому.

Однако его самолюбивые надежды не оправдались. Заседание правления проходило почти так же, как вчерашнее партийное собрание. Люди без обиняков говорили о разных ошибках и промахах, главным образом в культурной жизни колхоза, как-то само собой приходивших им на память при обсуждении истории Зульфакарова. При этом почти никто не критиковал Каландарова персонально, но сама атмосфера заседания, где говорили почти все, и говорили почти без оглядки, была своего рода коллективной критикой тех порядков, которых придерживался до сих пор Каландаров, самовластно управляя всеми собраниями и заседаниями и не давая рта раскрыть тем, кто, по



его мнению, мог выступить против него.

Сейчас Каландаров тоже председательствовал, но ему все время казалось, что кто-то невидимый и сильный стоит за его спиной и то дергает его за полу, когда он хочет вскочить и оборвать оратора, то вдруг хватает его за локоть, когда он намеревается для наведения порядка хватить кулаком по столу.

Собрание не то чтобы шло вопреки воле Каландарова — он, как и вчера, был в основном согласен с большинством предложений,— но обилие чужой инициативы все больше и больше выбивало у него почву из-под ног. Он любил сам резать грудью волну, окликая других, чтобы плыли за ним, а тут получалось какое-то плавание наперегонки. Вспомним вдобавок, что Каландаров настолько же не любил присоединяться к мнению других людей, насколько любил, чтобы другие люди присоединялись к его мнению,— и нам станет понятно, что настроение у председателя было изрядно испорчено.

Он долго крепился, но под самый конец заседания все-таки, как говорится, спустил собаку с цепи. Когда все члены правления, единодушно решив снять Зульфикарова с бригадирства, так же единодушно предложили оставить его в бригаде рядовым кетменщиком, Каландаров, несмотря на явное благоразумие такого решения, взъелся и потребовал сегодня же выгнать Зульфикарова из колхоза.

— И прошу поправок к моему предложению не давать,— заявил он на самой высокой ноте.— Кто за меня, прошу поднять руки, а кто против меня, пусть голосует против меня

— Что вы говорите, Арсланбек-ака? — своим тоненьким ласковым голосом сказала кругленькая Умида, очень не любившая вступать в прения с Каландаровым, но тут все-таки не выдержавшая.— Кто же будет голосовать против вас? Мы ведь говорим о Зульфикарове...

Но Каландарову не терпелось поставить вопрос ребром; он действовал, как готовое подать в отставку правительство:

— Вы мне там тень на плетень не наводите! Или голосуйте за меня, или против меня.

Наступило общее молчание. Все сидели с озабоченными лицами, потому что положение, надо прямо сказать, создалось преглупое.

Идти на попятный и соглашаться так вот запросто выбросить человека за борт члены правления не хотели. Оставлять своего председателя при особом мнении, всем скопом проголосовав против его предложения, тоже не улыбалось им. Кроме того, раз уж Каландаров

полез на рожон, то он будет и дальше действовать в том же духе: заставит записать свое особое мнение в протокол и вынесет его на общее собрание.

А что дальше?

Дальше опять-таки ничего хорошего!

Во-первых, правление выйдет на собрание без общего мнения; во-вторых, недоброхоты и завистники воспользуются этим, чтобы там, на собрании, побольней кольнуть председателя; в-третьих, наоборот, найдутся подлипалы, вроде Ишана, всегда готовые похлопать любому предложению Каландарова, и, наконец, в-четвертых, после неизбежного шума неразумное и жестокое предложение Каландарова неизбежно провалится, и это уже будет действительно ударом по его авторитету.

После долгого молчания снова зазвучал тоненький ласковый голос Умиды:

— Ах, Арсланбек-ака,— сказала она,— вы не только вдруг зачем-то хотите встать один против всех, вы ведь и против самого себя хотите встать! Разве не вы сами нашли способ повлиять на того парня...— она запнулась, не желая называть фамилию,— в общем, я имею в виду тот случай с помидорами... Когда мне Саидахон об этом рассказала, у меня даже слезы на глаза навернулись! Почему же вы тогда поверили и так правильно поступили, а тут, никого не слушая, хотите бить человека, как собаку, палкой?

Долго, очень долго молчал Каландаров, с одной стороны, сердясь на Саиду, за то, что она не сумела удержать язык за зубами, а с другой стороны, радуясь, что она, оказывается, с одобрением рассказывает людям о его поступках.

— Сами же вы все,— наконец сказал он,— только и твердите, только и шумите про то, что у нас и это нехорошо и то плохо! А когда я предлагаю взять за шиворот и вытряхнуть из колхоза всего-навсего одного негодяя, чтобы другим неповадно было, так вы сразу на понятный! Хорошо, не будем голосовать. Но я прошу записать мое особое мнение в протокол.

Он сказал это уже без прежнего запала, чувствовалось, что если бы он с самого начала не задибался, то теперь согласился бы с остальными.

Бывают случаи, когда без дипломатии не обойдешься и на заседании колхозного правления! Один из членов правления, к счастью, оказался дипломатом, он предложил, сняв Зульфакарова с бригадир-

ства, вопрос о дальнейшей его судьбе отложить до следующего заседания правления.

Этому предложению обрадовались все, в том числе и Каландаров. Заседание было закрыто, и члены правления стали расходиться.

Саида тоже хотела уйти, но Каландаров остановил ее кивком головы и, когда они остались вдвоем, вдруг спросил с глубокой обидой в голосе:

— Что же получается, а, Саидахон? Разве не вы говорили мне, что, войду я или не войду в бюро, вы все равно будете решать любой вопрос, заранее посоветовавшись со мной? А что выходит на деле?

Саида была искренне удивлена и даже огорчена его обиженным тоном.

— Подождите, Арсланбек-ака,— сказала она,— какие же вопросы я ставила на бюро, не советуясь с вами? И что до сих пор было решено на бюро вопреки вашему мнению?

— Это, положим, так,— неуверенно сказал Каландаров,— но вот с этим, с Зульфакаровым?

Теперь Саида поняла, в чем дело, но сочла за благо прикинуться непонимающей:

— Но разве вы были против исключения Зульфакарова из партии? Вы же сами голосовали за это на собрании!

— Да что вы в самом деле! — теряя терпение, воскликнул Каландаров.— Я не про партию говорю, я про исключение из колхоза говорю!

— А этот вопрос мы на партийном бюро не решали,— на этот раз прямо поглядев в глаза Каландарову, сказала Саида,— это вопрос правления и общего собрания. И если вы, как председатель, не поинтересовались заранее мнением других людей, тут уж, по-моему, не я виновата! На себя сердитесь, не на меня!

Каландаров хотел ответить ей что-то резкое, но вдруг и очень кстати вспомнил историю с помидорами, смягчился и промолчал...

Под вечер к Саиде зашел Казимбек. Он уже давно не заглядывал по вечерам,— наверное, был слишком занят благоустройством родильного дома и амбулаторией. Саида с тревогой подумала, не стряслось ли что с Каландаровым, и сразу же спросила Казимбека об отце. Но, оказывается, тревога ее была напрасной: Каландаров вернулся с заседания тихий, за ужином, как показалось сыну, ни к селу ни к городу пробурчал: «Над старым волком и собаки смеются!» — и, выпив пиалу

крепкого домашнего вина, залег спать. Казимбек не заметил в поведении отца ничего особенного да и, кажется, не испытывал сейчас никакого желания говорить об отце. У него была куда более интересная тема для разговора: последние два вечера он читал недавно вышедшие произведения Авиценны и обнаружил у этого древнего философа некоторые вполне современные взгляды на лечение желудочных заболеваний; именно этими соображениями он и намеревался сейчас поделиться с Саидой, слушавшей его с невольной улыбкой, в которой, по правде говоря, была некоторая доля нежности.

19

Ровно в час ночи Каландарова, сладко заснувшего после пиалы домашнего вина, разбудил звонок. Председатель райисполкома вызывал его на завтра, в одиннадцать утра.

Каландаров даже забеспокоился — председатель райисполкома был не охотник звонить по ночам.

Уже в половине одиннадцатого Каландаров сидел в приемной райисполкома и беседовал с другими, тоже, как и он, приехавшими заранее, председателями колхозов. Как обычно в таких случаях, серьезный разговор перемежался шутками.

— Ну, как там у тебя? — спросил кто-то у Каландарова.— Мне один человек рассказывал, что твой секретарь ездит на тебе верхом, даром что женщина...

— А ты передай тому ишаку,— огрызнулся Каландаров,— который тебе это рассказывал, что не родился человек, который ездил бы на мне верхом. И еще передай своему ишаку, что секретарь у меня действительно толковый и я не променяю его на десять таких ишаков, как твой рассказчик, хотя он и мужчина, а мой секретарь всего-навсего женщина!

Поддразнивание собеседника очень задело Каландарова, но тем не менее, как мы видим, он из самолюбия не пожелал дать в обиду не только себя, но и Саиду, хотя, конечно, намотал при этом на свой длинный ус, что она, оказывается, по слухам, ездит на нем верхом!

Председатель райисполкома куда-то торопился и поэтому изложил суть дела самым кратким образом. Оказывается, на днях в их район из Самарканда приедет целая делегация индийских женщин; в какой из колхозов они поедут погостить — пока неизвестно, да и не в этом дело

— в какой захотят, в тот и поедут. К председателям одна просьба: в ближайшие дни надолго не отлучаться, чтобы самим принять гостей, если они приедут.

К Каландарову за эти годы приезжало несколько иностранных журналистов, но целая делегация, да еще из Индии, да еще женщин! — с такой сложной проблемой он еще не сталкивался и поэтому приготовился повнимательнее выслушать все те советы, которые, безусловно, даст по этому поводу председатель райисполкома.

Однако председатель, то ли потому, что торопился, то ли потому, что не считал нужным давать специальные советы, ограничился сказанным и быстро отпустил всех.

Каландаров, уже давно не бывавший в райцентре, покрутился там по разным колхозным делам часа четыре и вернулся домой только во второй половине дня.

Усевшись под карагачем, он налил себе пиалу чая и только было собрался позвать Саиду, как она сама оказалась тут. Она шла к нему деловым шагом, уже вынимая на ходу из своей красной папки какую-то бумажку и всем видом своим показывая, что не собирается терять времени.

Каландаров даже почему-то чуть-чуть привстал с помоста, пожимая ей руку, и предложил присесть, собираясь рассказать про делегацию.

Но оказалось, она уже слышала об этом сама.

— Мы, поджидая вас, уже посоветовались между собой,— сказала она,— и предварительно кое-что набросали, на случай, если гости приедут именно к нам.

И она протянула Каландарову вынутую из папки бумагу.

Каландаров, сам ездивший недавно с нашей делегацией в Индию, как-то с похвалой отзывался при Саиде о подробной программе, которую заранее составили для них хозяева, чтобы у гостей не пропало зря ни одного часа. Сейчас Саида вспомнила об этом и с присущей ей аккуратностью составила целый план приема гостей и тоже расписала все по часам: где и когда будут гости, в каких бригадах и на каких полях, где будут завтракать, обедать и ужинать...

На этот раз Каландаров нисколько не рассердился,— наоборот, у него словно гора с плеч свалилась: он только еще раздумывал, как все будет, а тут уже и программа готова!

— Все это хорошо,— не скрывая удовольствия, сказал он,— за это назову вас молодцом, даром что вы женщина.

Саида рассмеялась:

— Ах, Арсланбек-ака, неужели вам не приходит в голову, что вы такой похвалой можете обидеть человека? Что значит «даром что женщина»? На худой конец, и кошка зверь, так, что ли? Я-то уже не обижаюсь, привыкла, но разве это похвала?

— Ничего, хвалю, как умею, говорю, как думаю,— отшутился Каландаров.— Зачем заставляю вас трудиться — зачем вам расклеивать меня своим птичьим носиком, чтобы узнать, что у меня там внутри? Лучше уж я сам буду держать перед вами душу нараспашку.

Еще раз просмотрев программу и обнаружив в трех местах свою фамилию, Каландаров слегка поежился: предполагалось, что именно он произнесет приличествующие случаю речи и при встрече гостей, и при проходах, и за столом, на обеде.

— Да-да,— протянул он, задумчиво почесывая голову,— а уж так ли нужно, чтобы я столько раз выступал? Может, когда пойдем по полям, я им расскажу о хлопке, а по разным другим, мелким вопросам пусть лучше другие скажут?

Зная характер Каландарова, Саида без труда поняла, что его смущает не столько количество выступлений, сколько непривычность обстановки. Попросту он неясно представлял себе, что нужно говорить в таких случаях.

И Саида деликатно, издали, завела речь об Индии, о ее экономическом и политическом положении и о тех дружественных связях, которые завязались у нас с народами Индии, особенно в последние годы...

Каландаров сидел с выражением лица, говорившим, что он и сам прекрасно знает все, о чем идет речь, но если Саиде так уж хочется, ну что ж, пусть повторит еще раз...

На самом же деле он слушал очень внимательно, стараясь не проронить ни слова, и, вспоминая, как Саида стыдила его за доклад, написанный Ишаном, думал, что теперь ему представляется удобный случай заставить всех забыть об этой проклятой неудаче.

— Ладно,— сказал он наконец,— я выступлю, но так как дело все-таки международное, то над моей речью, когда я ее напишу, надо вместе поработать...

— А вы что думаете, написать, а потом читать? — с сомнением в голосе спросила Саида.

— Там посмотрим, часть напишу, часть так скажу...

Как ни боялась Саида заранее написанных речей, она благоразумно решила не заострять сейчас этот вопрос и переменяла тему.

— К соседям в «Социализм» гости все равно не попадут, там мост чинят, машины еще дней пять ходить не будут, так что, я думаю, если гости приедут к нам, пригласить из «Социализма» самодеятельный кружок: уж очень хорошо их девушки пляшут и поют. Как вы думаете?

Каландаров вовсе не думал об этом.

— Не знаю, как там с этим кружком,— сказал он без всякого энтузиазма.— Другое дело, если бы Таджихон пригласить, она действительно знатный человек! Когда все ордена наденет, можно полюбоваться. Да и плясать тоже умеет.

— Я уже узнавала и про нее, но она, говорят, нездорова. В общем, мы еще подумаем,— сказала Саида и снова поторопилась перескочить на другую тему, пока Каландаров не успел сказать ни да, ни нет, ибо однажды сказанное им «нет» долго бы висело у нее жерновом на шее.

Предоставив Саиде вместе с членами правления обсуждать дальнейшие подробности программы, Каландаров не без важности попросил временно уволить его от всех других дел и, зачем-то захватив с собой целую кипу бухгалтерских книг, отправился домой писать речь.

Этим нелегким делом он честно занимался почти до рассвета. Озадаченная Хурниса ходила по дому на цыпочках, а Каландаров изводил лист за листом, самоотверженно, буква за буквой, выцарапывая текст своей первой собственноручно составленной речи.

Рано утром он заперся в правлении вдвоем с Саидой и с видом человека, собиравшегося экзаменовать ее, положил перед ней толстую пачку исписанной бумаги:

— Ну-ка, прочитайте!

Саида даже вздрогнула, ощутив в пальцах толщину этой пачки, потом немножко успокоилась, увидев, что на каждой странице помещается не больше пяти-шести строчек, и начала читать.

«Делегации индийских женщин от имени колхозников и руководителей колхоза «Бустон» наш колхозный салам! — так начиналась речь Каландарова.— Мы, колхозники колхоза «Бустон» и работники правления, воодушевленные поставленной перед нами великой задачей, в прошлом году удостоились получить ордена и медали за полученный нами высокий урожай хлопка, а в этом году, несмотря на плохие метеорологические условия, взяли на себя дополнительное обязательство и боремся за получение тридцати центнеров хлопка с

каждого засеянного гектара, в настоящее время уже добившись стопроцентно хорошего состояния посевов хлопчатника по бригадам товарищей...»

После перечисления лучших бригад Каландаров перешел к обширному сравнению состояния хозяйств в конце войны и теперь, приводя цифры по каждой отрасли. «Так вот зачем он вчера забрал с собой все бухгалтерские книги!» — подумала Саида. После этого он подробно рассказывал, каких урожаев добился колхоз в прошлом году по каждой отрасли — по хлопку, по зерну, по семенам люцерны, по шелку, по овощам, по бахчевым культурам — и каких урожаев намечено добиться в этом году по всему колхозу в целом и по каждой бригаде в отдельности. Все это занимало львиную долю речи...

Каландаров смотрел на Саиду и молчал, ожидая, что она скажет.

— Что ж, обстоятельный доклад, очень подробный, почти всего коснулись... — с некоторой запинкой сказала Саида. Она с трудом представляла себе, как можно при первой встрече обрушить на голову гостей эту речь, смахивающую на годовой отчет правления. Однако у нее не хватило духу сразу высказать свои сомнения сидевшему перед ней с довольным видом Каландарову.

— Я и старался поподробней! — сказал он, гордо покручивая усы и не замечая растерянного вида Саиды. — Конечно, может, тут и есть кое-какие ошибки, ну да потом вместе еще раз прочитаем. А сегодня за ночь я обе остальные речи напишу — и ту, что на обеде, и ту, что при отъезде.

Это грозное заявление наконец вернуло Саиде потерянное мужество. Хорошо, что Каландаров первый раз в жизни сам написал свою речь, но допустить, чтобы он корпел еще ночь над двумя речами, которых все равно обстоятельства не позволят ему произнести, было бы просто-напросто нечестно!

— А по-моему, больше ничего не надо писать, Арсланбек-ака, — сказала Саида как можно ласковее. — Одну эту вашу речь вполне можно разделить на две и даже на три и произнести их, когда это окажется наиболее к месту. А в первый момент, при встрече, может быть, лучше все-таки обратиться к гостям без всякого заранее написанного текста, просто так, как мы говорим, когда гости к нам в дом приходят: «Добро пожаловать! Рады видеть вас у себя! Спасибо, что приехали к нам!» Или как-нибудь еще красивей. Я в сто раз реже вас принимала гостей, и вам в сто раз видней, как это сказать. Как вы думаете?



И хотя Каландаров исписал целую пачку бумаги именно с целью прочесть все это в виде приветствия, почтительный тон Саиды удержал его от вспышки гнева.

— Ну что же,— сказал он, чувствуя в ее словах здравый смысл,— можно при первой встрече и в самом деле просто так сказать, без бумажки... Хорошо, так и сделаем!

Ему очень хотелось спросить у Саиды, когда же, в какой момент, по ее мнению, будет все-таки удобно прочесть гостям этот труд бессонной ночи, но он постеснялся задать такой вопрос и замолчал.

— Да, вот еще что,— сказала Саида.— Может случиться, что гости заинтересуются не только историей нашего «Бустона», но и вообще историей орошения Голодной степи. Если бы вы на всякий случай освежили в памяти все, что знаете об этом!

Каландаров был заметно озадачен такой перспективой и не сумел скрыть этого.

— Да, конечно... разумеется,— сказал он.— Ведь еще товарищ Ленин подписал декрет об этих землях, только забыл сейчас, в каком точно году, по-моему, в восемнадцатом...

— Совершенно верно, в восемнадцатом году, — к большому удовольствию Каландарова подтвердила Саида.— Но можно рассказать гостям и о более давних временах, вспомнить первые проекты еще конца прошлого века...

Саида, наверное, целых десять минут перечисляла разные даты и события, связанные с историей освоения Голодной степи. Причем она, отдадим ей должное, удачно сумела облечь все это в форму совместных с Каландаровым воспоминаний. И ее речи то и дело мелькало: «вы, конечно, помните», или «как вы сами знаете», или «как вам известно, наверное, лучше, чем мне», так что, в конце концов, Каландарову стало трудно отделить то небольшое, что он действительно помнил сам, от всех остальных подробностей, только сейчас впервые услышанных им от Саиды.

— У вас даже кое-что написано об этом в начале вашей книжки о колхозе «Бустон»,— заключила Саида,— и не будет ничего плохого, если вы найдете лишний экземпляр и подарите его гостям!

Каландаров не очень-то помнил, что было сказано об истории Голодной степи в начале его книжки. В нем даже впервые шевельнулось нечто похожее на угрызения совести, потому что хотя самое главное в этой книжке — рассказ об опыте возделывания хлопчатника

— было действительно в первоначальном виде продиктовано им самим, но все остальное — и конец и начало — было составлено уже без его участия мастером этого дела, присланным из области журналистом. Однако, несмотря на царапнувшее его воспоминание, сама идея Саиды подарить книжку гостям пришлась ему по душе.

— Хорошо,— сказал он, прощаясь с Саидой,— я подумаю, может, и правда подарю. А про историю им надо рассказать, конечно! Гам уж или я. или вы расскажете, увидим, кому придется к случаю.

Саида ушла, а Каландаров остался один, обуреваемый противоречивыми мыслями. Конечно, книжку писал, в общем, не он, хотя, с другой стороны, тот заезжий журналист мало чего знал о хлопке и о колхозе «Бустон», и не расскажи ему Каландаров всего того, что потом было написано в книжке, этой книжки и в помине не было бы.

Вот так и теперь получается, думал он. Если гости приедут в «Бустон», то это потому, что он, Каландаров, поднял колхоз из праха и теперь в нем есть на что посмотреть. И в то же время Саида, которая здесь без году неделя, подсказывает ему, Каландарову, как принимать гостей, как и о чем с ними разговаривать. Она, конечно, не дура, тонко все это проделала, чтобы его не задеть, но и он ведь тоже не дурак,— хотя и не подал вида, а понял ее маневры. А ловко, до чего ловко! Рассказывала, как надо принимать гостей,— просто соловьем пела. Выпусти ее вперед, так она небось без запинки сама за всех все речи скажет. Ну и пусть скажет, а что проку? Все равно не возьмут ее туда, в Индию, в начальницы женотдела. Каждый сверчок знай свой шесток!

«И откуда она все-таки столько всего знает? — подумал он снова, вспомнив, как бойко рассказывала Саида про историю Голодной степи.— Насыров, что ли, всем этим ее напичкал? Едва ли! Она и в район-то ездила в последний раз давно, когда про гостей еще и речи не было. Или она все это из книг вычитала? Наверное, так оно и есть. Недаром, как вызовешь ее попозже, так сразу бегут за ней прямо в библиотеку, уже знают, где она сидит. Вот что делают с человеком эти книги: ты тридцать лет хлопок растишь, а другой раз-два — и готово, прочтет десять книжек, приедет и так бойко про все на свете расскажет, словно и в самом деле больше тебя знает! Вот уж действительно проклятая малограмотность. Надо бы все-таки пересилить себя, хоть по одной книжке в месяц, хоть по ночам, через силу, а все же читать...»

Два дня еще волновался Каландаров, готовясь к приезду гостей, волновался до тех пор, пока не выяснилось, что гости не приедут.

Ведь, как мы помним, председатель райисполкома предупредил, что гости отправятся туда, куда сами захотят. И они отправились туда, куда захотели, проехали мимо «Бустона» на машинах в славившийся своими шелководческими бригадами колхоз имени Первой пятилетки. Оказывается, они интересовались больше всего как раз не хлопком, а шелком, так что нечего было и огород городить, как выразился облегченно вздохнувший и в то же время немного огорченный напрасными хлопотами Каландаров. А Саида с ним не согласилась, то есть вслух спорить не стала, но про себя подумала: ничего, расстраиваться не стоит, такие «хлопоты» пригодятся и на будущее.

Расстраиваться и в самом деле не стоило. Хотя гости в тот воскресный вечер и проехали мимо, но собравшаяся для их встречи молодежь и приехавшие из «Социализма» участники самодеятельного кружка все равно устроили на хорошо утоптанной площадке перед карагачем веселый праздник.

Особенно хорошо танцевали девушки из «Социализма». Каландарову очень понравилось, как весело и дружно они танцевали, и он даже немного испугался, когда в общий круг начали поодиночке входить девушки из «Бустона».

«Эх,— ревниво сетовал он,— еще чего доброго осрамят наш колхоз. Эта двигается кое-как, еле ходит, а вон та зачем-то руками машет, как аист крыльями, того и гляди себе все бока отхлопает. Уж лучше бы скорей поклонилась да отошла в сторону!»

И в самом деле, когда девушки из «Социализма», утомившись, стали понемножку выходить из круга, веселье начало как будто увядать.

Каландаров даже охнул с досады, но как раз в эту секунду, широко, призывно раскинув руки, в круг весело вбежала Саида, зазывая столпившихся кругом оробевших девушек. Зрители одобрительно зашумели, они, так же как и Каландаров, жаждали, чтобы в танцах не осрамили честь «Бустона». Бубен загремел громче, потом заиграли остальные примолкшие было музыканты, и девушки из «Бустона», ободренные примером Саиды, одна за другой залетали птицами.

Скоро в кругу плясало почти столько же, сколько толпилось вокруг. Теперь танцевали не только девушки, но и молодые женщины и мужчины. Неуклюже притопывал огромный Исмаилджан, волчком вертелся вывернувшийся откуда-то из-за спины председателя Ишан, и, наконец, долго не решавшийся рискнуть Казимбек сорвался с места и, вскидывая головой, подрагивая плечами, пошел к центру круга

наперерез Саиде.

«Ах, вон оно что,— хотела крикнуть ему Саида,— вы, оказывается, и плясать умеете, а не только рассказывать об анатомии и желудочно-кишечных заболеваниях!»

Хотела, но не крикнула, а лишь, озорно улыбнувшись, начала отплясывать перед ним в таком бешеном темпе, словно решила заставить этого долговязого доктора тут же, посреди круга, свалиться замертво от усталости.

После танцев женские голоса завели песню, потом к ним присоединились мужские... Каландаров сидел на помосте в тени карагача, казавшегося в эту лунную тихую ночь отлитым из одного громадного куска тяжелого черного железа, сидел и слушал хор, в котором, вырываясь из сильных и низких мужских голосов, высоко в небо взлетал чей-то чистый, прозрачный женский голос.

«Кто бы это мог быть? — спрашивал самого себя Каландаров.— Неужели кто-то из наших? А почему бы и нет? Раз есть у нас такие плясуньи, почему бы не оказаться и певице?» Он радовался этому и в то же время досадовал, что на вечере все и неумолимо возникало помимо него и происходило без его участия. Он даже и не подозревал, что у него в колхозе есть такие голоса.

«Эх, мало ли чего я не знаю! — вдруг с горечью подумал он.— Все планы да проценты, некогда и песню послушать. Вот и думаешь, что один на свете певец — Ишан, посадишь его за стол, споет, кивнешь, чтобы замолчал,— замолчит...»

Луна стояла уже совсем высоко. Где-то за дувалами сипло, спросонок, крикнул первый торопливый петух.

«Да, час уже поздний,— подумал Каландаров,— пора бы уже расходиться, вставать-то рано!»

Он поднялся и решил было пройти к воротам напрямик, через круг, давая этим понять, что пора расходиться, но вдруг услышал оживленный голос Саиды, просившей музыкантов сыграть еще одну песню, услышал и не стал пересекать круг, а обошел его за спинами людей и задумчиво направился к своему дому.

наотмашь, выгонять из колхоза.

На очередном общем колхозном собрании были, как водится, выбраны председатель и секретарь и утверждена повестка дня из четырех вопросов: первый — ход обработки хлопчатника; второй — о передаче колхозникам новых жилых домов; третий — утверждение сметы на кружки самодеятельности и четвертый — о Зульфакарове.

По первому вопросу первым выступил Каландаров. Собственно говоря, он просто сам встал и сам предоставил себе слово, не дожидаясь, пока это сделает председатель собрания.

Как всегда немногословно и в то же время подробно, он рассказал о деле, которое знал, как свои пять пальцев,— о ходе обработки хлопчатника в каждой бригаде, потом перечислил работы, которые еще оставались, потом сказал свою любимую заключительную фразу: «В общем, я думаю, теперь все всем ясно и понятно!» — и, вполне искренне запямятовав, что сегодня не он председатель собрания, не открывая прений, с маху перешел к следующему вопросу:

— Как вам всем известно, нами построено пять домов. Построено и передано лучшим людям колхоза. Но, как нам стало известно, один из этих товарищей, а именно товарищ Дустматов, до сих пор не хочет переезжать в новый дом. Где Дустматов? А ну, встань, Дустматов, и расскажи, почему ты не переехал в новый дом?

Из середины поднялся широкоплечий человек лет пятидесяти, но хотя он покорно встал по первому же вызову Каландарова, это не помешало ему упрямо молчать в ответ на дважды заданный вопрос. Он стоял опустив голову, молчал, и чувствовалось, что он может вот так стоять и молчать еще сколько угодно.

— Ладно, раз ты молчишь, я сам скажу: у него, видите ли, в новом доме не сделаны ниши для одеял. Эх ты, да куда же мы уедем с такими феодальными пережитками? Может, тебе и для чайников и для пиал ниши проделать? И гвоздей, чтобы сбрую было где вешать, понатыкать? И крышу тебе по-старому переделать, чтобы ты туда мог хворост складывать? Дом по проекту построен, над проектом инженеры думали, а тебе все не так! Нет, товарищ, так у нас дело не пойдет. Предлагаю поручить нашей Саидахон в трехдневный срок перевоспитать Дустматова и обеспечить, чтобы он переехал в новый дом. Против есть? Нет? Воздержавшиеся есть? Нет? Тогда предлагаю перейти к третьему вопросу.

— Подождите минуточку, Арсланбек-ака,— вдруг остановила его

Саида и повернулась к растерявшемуся председателю собрания.— Я принимаю поручение поговорить с товарищем Дустматовым, но хочу, чтобы перед этим все-таки решение правления о передаче новых домов было, как положено, проголосовано собранием.

Председатель собрания, посмотрев на Саиду, виновато развел руками: «Что же делать, Каландаров мне еще ни разу рта раскрыть не дал», потом, не меняя позы, посмотрел на Каландарова, как бы говоря: «Что поделаешь, видите, товарищи настаивают!» И только после этого приступил к голосованию.

Постановление было утверждено. Саида и не хотела ничего другого, а просто, вспомнив замашки Каландарова, решила напомнить ему о дисциплине.

Однако напоминание, как видно, было недостаточно сильным, Каландаров не унимался.

По третьему вопросу, о кружках, должна была выступить Саида. Об этом договорились заранее, но вошедший в раж Каландаров снова, не дав заикнуться председателю, первым взял себе слово.

— Всем ясно и понятно, какая работа теперь развернулась у нас в клубе. Каждый вечер и музыка, и танцы, и разные другие кружки. Так поздно сидят, что я даже удивляюсь, как на работу не опаздывают. Смету мы втрое увеличили и предлагаем утвердить. Но прежде чем утвердить, предлагаю поблагодарить Саидахон за ее работу по этим кружкам. Уже наш радиокружок провел электрические звонки и в школе и в правлении, а теперь ставит вопрос о радиоузле. А кстати, у нас и оборудование для этого есть. В общем, предлагаю поблагодарить Саидахон и утвердить!

Несмотря на такое лестное для себя предложение, Саида выдержала характер и, к большому неудовольствию Каландарова, предложила зачитать смету, прежде чем ставить ее на голосование.

Смету прочли, утвердили, и на этот раз уже не Каландаров, а наконец сам председатель собрания предложил перейти к последнему, четвертому вопросу — о Зульфакарове. Слово от выделенной партийным бюро комиссии было предоставлено Каландарову.

Каландаров говорил довольно долго, излагая главные обстоятельства дела, и собрание слушало его затаив дыхание. Наконец в глубокой тишине он прочел решение партийного собрания об исключении Зульфакарова из партии и решение правления о снятии его с должности бригадира.

Эта тишина продолжалась после того, как Каландаров закончил и сел. Она длилась и тогда, когда председатель дважды обратился к собранию, спрашивая, какие будут мнения.

Вдруг в тишине раздались громкие всхлипывания. Зульфакаров сидел в дальнем уголке зала и рыдал, уткнув голову в колени.

— Эй ты, замолчи,— не выдержав, крикнул ему через весь зал Каландаров,— Раньше надо было думать! А еще мужчина!

В зале снова стало тихо. И лишь когда председатель несколько раз спросил, кто желает высказаться, поднялся один из коммунистов, а за ним и второй и третий, и каждый по-своему повторил то, что они уже говорили на партийном собрании: дело не только в Зульфакарове, а в том, чтобы до конца искоренить атмосферу, благоприятную для таких уродств, как двоеженство и наглое очковтирательство.

История Зульфакарова произвела глубокое впечатление, но больше говорить о ней не хотелось, дело было ясное, а дальнейшая судьба Зульфакарова зависела от него самого.

Но теперь, когда один за другим трое коммунистов напомнили, что дело не только в Зульфакарове, сразу же нашлись и другие охотники выступить.

Первым попросил слова пожилой кетменщик; никто не помнил, чтоб он выступал когда-нибудь на собрании. Он с минуту стоял, молча тербя кончик седеющей бородки, потом поднял глаза, горько усмехнулся тем невеселым мыслям, которые собирался высказать, и с некоторым трудом, как иностранное, произнес длинное слово «очковтирательство».

— Я у нас в колхозе часто встречался с такими делами, вот только не знал до сих пор, как это у ученых людей называется... Ну да что говорить о прошлом: кто прошлое помянет, тому глаз вон! Я лучше скажу про это наше собрание. Вот мы собрались. А для чего мы собрались? Чтобы вместе вопросы решать. Да или нет? А какие вопросы мы вместе решали? Вот Арсланбек-ака говорил про уход за хлопчатником: что мы сделали, как мы сделали, что нам делать, как нам делать, даже всем нам уже поручения роздал. А кто будет выполнять его поручения? Я буду выполнять. А разве он меня спросил, что я думаю про его поручение? Может, оно и правильное, пусть так, а вдруг не только у него, а и у меня тоже есть какие-нибудь мысли? А ведь он меня про них не спросил, а я их ему не сказал. Так только называется, что собрание...— И кетменщик, махнув рукой, сел на место.

Едва он сел, как Каландаров, уязвленный в самое сердце, вскочил и, с великим трудом удержав себя от желания закричать на весь зал, криво улыбаясь, сказал придушенным голосом:

— А ну, говори. Чего уселся? Послушаем твои советы. Вижу теперь, здесь каждый храбрец. Каждый думает, что он искру высечет. Даже ком глины, и тот себя кремнем считает.

Бородатый кетменщик медленно поднялся, сначала посмотрел на зал, потом на Каландарова и сказал с невеселой улыбкой, которая только усиливала горечь содержавшейся в его словах укоризны:

— Ладно, Арсланбек-ака, называйте меня хоть комком глины, хоть прахом — стерплю, не обижусь! Но не смейте звать меня на «ты». Помните, что я старше вас, здесь в зале сидят мой сын и моя дочь, и у них уже есть свои дети! Ради счастья вашего сына никогда больше не смейте этого делать!

В зале раздался глубокий вздох, лучше всякого, самого громкого восклицания выразивший то, что творилось сейчас на душе у людей.

Человек, упавший на людном месте, спешит вскочить и отряхнуться, еще не замечая боли; нечто похожее случилось и с Каландаровым. Еще не вполне понимая, что произошло, он инстинктивно поспешил сесть и, втянув голову в плечи, стал лихорадочно чиркать карандашом по бумаге.

«Откуда ты взялся? — сердито думал он.— Молчал, молчал, как последний тихоня, и вдруг — нате, здравствуйте, обиделся! Молчал, молчал, а теперь швырнул мне такие слова. И как? Прямо в лицо! И где? Прямо на собрании, при всем народе. Нет, тут что-то есть. Это не просто так, это не сам он, это кто-то воду мутит, и надо докопаться кто!..»

Отдавшись этим вздорным мыслям, Каландаров даже не заметил, что выступает уже кто-то другой, и только когда в уши ему ударил дружный хохот, он поднял глаза и увидел стоявшего в первом ряду, прямо против него, механика электростанции.

— Что верно, то верно,— запальчиво говорил механик,— раз общее собрание, значит, и общие решения! А то что же выходит: председатель собрания сидит, как бедный родственник на чужой свадьбе, а Арсланбек-ака вместо него собрание ведет: я — за! Против нет? Воздержавшихся нет? И готово! За пять минут плов сварил. Если так голосовать, то и подумать не успеешь, за что голосуешь. А разве не бывало у нас так, что сначала голосовали, а потом головы чесали? Взять хоть наш движок! Шум от него у всех в печенках сидит, а накалу от него



на пятьдесят лампочек. А ведь мы три года назад уже проголосовали, дали двести шестьдесят тысяч, чтобы протянуть постоянную линию по всему колхозу! Ну, а теперь я спрошу: если бы мы тогда действительно обсудили вопрос, прежде чем руки вверх тянуть, ведь нашелся бы, наверное, кто-нибудь и сказал: «Стоп, товарищи! Давайте пока для движка времянку протянем, а постоянную линию проведем, когда ток от высоковольтной получим!»

Положим, нам в будущем году обещают ток дать. Но ведь линия-то за три года бездействия уже наполовину в негодность пришла. Значит, когда ток подключат, дай еще сто тридцать тысяч на ремонт. А по существу не на ремонт, а коту под хвост. Или возьмите тот срам, что мы с этими батарейными приемниками от соседей приняли! Вот тут Арсланбек-ака говорил как бы в похвалу, что оборудование для радиоузла у нас уже есть. Подтверждаю — есть и уточняю: уже два года на складе лежит. А как это вышло? Очень просто. Рузмат Назаров пригласил нашего уважаемого председателя на пуск своего колхозного радиоузла. Ну как же тут стерпеть, чтоб Назаров верх взял! Наш уважаемый председатель завтра же, ни с кем не советуясь, — в Ташкент. Деньги, ни у кого не спросясь, — со счета на счет. А полный комплект радиооборудования — на склад. А потом горячка прошла, другие дела наворачнулись, и в итоге пришлось батарейными приемниками соседям очки втирать. Охоты нет, а то бы я сейчас спросил, кто только сегодня узнал, что у нас радиооборудование уже два года на складе лежит! Наверное, ползала бы руки подняли...

Собрание, начавшееся мелкой зыбью, постепенно превратилось в самый настоящий шторм.

Каландаров то багровел, то белел и чувствовал себя, как человек, которого швыряют вверх и вниз семиэтажные валы.

О чем только не вспоминали выступавшие! И о случаях «липы» в шелководстве, и о летних сводках, взятых с потолка, в надежде на то, что все равно цыплят по осени считают, и о хлопкоуборочных машинах, которые больше ржавеют, чем работают...

«Какая змея их сегодня ужалила?» — растерянно думал Каландаров, упрямо глядя в стол и узнавая выступавших не по лицам, а по голосам.

Вдруг сердце у него екнуло — он услышал голос Исмаилджана Нурматова.

«Ну, этот сейчас выпится на мне!» — подумал Каландаров,

вспомнив и свой старый спор с Исмаилджаном — о главных и второстепенных источниках колхозных доходов, и то, как после этого спора он выжил строптивного бригадира из партбюро.

Однако Исмаилджан вовсе не собирался «выспаться» на Каландарове. Он действительно хотел сейчас открыто, перед всеми продолжить их старый спор, но сначала, словно призывая всех не забывать об этом, громко напомнил о главных достоинствах Каландарова: организаторской хватке, безотказном трудолюбии и преданности колхозу.

Собрание даже два раза заплодировало Исмаилджану при этих словах, они были настолько искренними, что это почувствовал даже сам Каландаров.

Однако, как ни сладостны похвалы, Каландаров сейчас пропустил их мимо ушей: он с тревогой ждал дальнейшего, как топора, который вот-вот упадет ему на шею.

И топор действительно упал.

Исмаилджан повторил, что Каландаров болеет за интересы колхоза, но добавил, что, на его взгляд, председатель не всегда правильно понимает эти интересы.

Чтобы объяснить это на примере, он, как и ожидал Каландаров, вытащил на свет божий их старый спор.

Три года назад Исмаилджан как член бюро взял в бухгалтерии и посмотрел отчеты колхоза за несколько лет. Все эти годы на трудодень выдавали от тринадцати до двадцати трех рублей. По профилю колхоза основными источниками доходов были хлопок, шелк и животноводство. Интересуясь причинами колебаний в выдачах на трудодень, Исмаилджан увидел, что доход колхоза бурно увеличивался не за счет роста основных отраслей хозяйства — они росли медленно, — а главным образом за счет дополнительных и даже случайных источников. Львиную долю этих дополнительных доходов давали два овощных ларька в райцентре, где продавались не столько овощи, сколько вино, в розницу и оптом, а также яблоки и виноград, в большом количестве и по высоким ценам отправлявшиеся каждый год специальным человеком в Сибирь.

Вот против этого и спорил тогда с Каландаровым Исмаилджан, говоря, что хотя дополнительные доходы и благо, но нельзя строить на них половину всех расчетов, отвлекая силы от развития главных отраслей хозяйства.

Тогда Каландаров подмял его и не дал довести дело до конца. Теперь Исмаилджан снова повторил все это на собрании.

— Подумайте сами,— сказал он в заключение,— каждый ли год будет так выгодно продаваться наше вино, кстати, не такое уж хорошее, каждый ли год удастся засылать фрукты в Сибирь и продавать их по такой высокой цене, как продавали до этих пор? В прошлом году мы получили по двадцать семь рублей на трудодень, а кто гарантирует, что, если у нас что-нибудь сорвется с побочными доходами, мы не получим по семнадцать? Нет, на твердый, железный доход можешь рассчитывать, только когда прежде всего берешься за основные отрасли своего хозяйства. Добавляю: это и стране нужней! И еще добавляю: давно пора бы это понять такому умному человеку, как наш председатель!

Исмаилджан сел, и Каландаров, не ожидавший, что бригадир обойдется без личных нападок, искоса посмотрел на него и довольно миролюбиво подумал: «Ладно, после собрания посоветуемся...» Не то чтобы Исмаилджан сейчас вдруг взял да и переубедил его насчет источников дохода, доходы — дело сложное, тут надо и так и эдак прикинуть! Но, во всяком случае, Каландаров испытал неожиданную потребность — посоветоваться, а это был уже не малый шаг вперед для такого человека, как он.

После выступления Исмаилджана зал долго еще гудел на разные голоса. Вопрос о прочных и зыбких источниках доходов был такой горячий, что горячее не придумаешь, и чуть ли не все сидевшие в зале наскоро обменивались с соседями первыми пришедшими в голову соображениями.

Когда говор стал понемногу стихать, на трибуне раздался задорный женский голос.

Каландаров, которого при одном звуке этого голоса бросило в холодный пот, оглянулся.

Да, это была она — Ойниса, хорошо известная на весь район звеньевая, это она в дни отъезда Каландарова, на лекции для женщин, первая открыла по нему огонь.

— Я сначала скажу еще про одно очковтирательство, а потом скажу про женщин,— угрожающе начала Ойниса.— Кто помнит, как я шесть лет назад собрала за один день четыреста восемьдесят шесть килограммов хлопка?

В зале зашумели и засмеялись. Кто-то громко крикнул: «Как же,

помним, помним!»

— А раз помните, так я расскажу, как это было,— и женщина бросила злой взгляд на облившегося холодным потом Каландарова.

— Я и правда в тот год больше всех хлопка собирала, у меня руки быстрые, но, видно, этого мало показалось! Пришел однажды к нам в дом Арсланбек-ака и говорит мне: «Завтра с утра пойдешь на самый лучший участок, я уж подобрал тебе, и начинай собирать, но только не спеши, чтобы раньше времени не устать. А я вскоре подойду к тебе с одним человеком из района. Мы, я думаю, недолго там с ним пробудем, но, пока будем, ты так собирай, чтобы обо всем на свете забыть. А потом, когда уйдем, сразу отдохай, если хочешь, даже домой иди».

Ну и действительно, только я начала работать, пришел Арсланбек-ака, а с ним какой-то в очках, из района приезжий. Вынул он часы, а я нажала что есть мочи и за пятнадцать минут пятнадцать килограммов собрала, да еще с граммами! Ну а через два дня мое имя в районной газете появилось. Оказывается, это хронометражем называется: четверть часа на четыре, а потом еще на восемь помножили — и вышла такая цифра, что все ахнули. Кто подальше, тот поражался, а кто поближе — тот ругался, чуть не плевки я в глаза принимала. Зато на областном слете наш председатель сидел да усы подкручивал.

В ответ зал долго и дружно хохотал.

Каландаров сделался из белого пунцовым, а из пунцового снова белым. Он взглянул исподлобья на Саиду и увидел, что она тоже сидит низко пригнувшись к столу и на лице у нее нет и тени улыбки, наоборот, она выглядит бледной и расстроенной.

«Смотри-ка,— удивленно подумал Каландаров,— но моей спине палка гуляет, а на ее спине рубцы остаются!»

— А теперь — про женщин,— все так же звонко сказала Ойниса, оторвав Каландарова от его мыслей.— Я уже один раз говорила про это, но Саидахон тогда сказала, что здесь не собрание, а лекция, что об этом потом. Выходит, Саидахон, что мы торопимся о нашем деле поговорить, а вы нет. Видно, пеший конному не товарищ.

При этом намеке на вечерние прогулки Саиды в зале кое-кто засмеялся.

— А вы, Арсланбек-ака, — оставив в покое Саиду, повернулась Ойниса к Каландарову,— уж так Зульфакарова за плохое отношение к женщине распекали, что просто любо-дорого, какого мы в вас защитника нашли! Но раз вы такой наш защитник, скажите нам — и

другие члены правления пусть скажут,— какой вопрос о женщинах вы за последние пять лет обсудили? Неужели, кроме Зульфакарова, ничего важного нет? А по-моему, есть! Хоть меня возьмите: у меня пятеро детей, а шестой ребенок — муж. Я же за ним больше, чем за остальными пятью, должна ухаживать. В поле, днем, у нас с ним кетмени одинаковые, оба не ржавеют, а вечером у нас с ним заботы разные: у него никаких нет, а у меня за двоих. Я в прошлом году одиннадцать тонн хлопка собрала да все одиннадцать на плечах до хирмана перетаскала, вот и посчитайте, много раз я отдохнуть присела? А по вечерам что? И хозяйство, и дети, и на собрание сходить надо, а ведь я должна иногда и собой заняться. Потому что не займись я собой, как бы мой муж от меня нос не отвернул.

В зале засмеялись, но сама Ойниса даже не улыбнулась.

— Говорят, что в колхозе Ленина решили: уже в будущем году кетмень побоку, а у нас и намека нет. Говорят, что в «Гулистане» в прошлом году треть хлопка машинами собрали. А у нас как эта машина-то выглядит, я толком не помню. Знаю только, что в прошлом году все поля, отведенные по плану для машинной уборки, Арсланбек-ака под ручной сбор пустил: пусть, мол, колхозники побольше трудодней заработают! Вроде бы он от нас спасибо ждет. А как вместо машины погнешься каждый день с утра до вечера три месяца подряд, так спасибо-то говорить и не хочется. Говорят, что машины, мол, никуда не годятся. И рукой машут. А вы рукой не машите, лучше скажите, что в ней, в машине, хорошего, что плохого, и пусть поправят. Я-то, помню, девчонкой была, когда к нам на поля первый трактор пришел: бывало, зацепится плуг за корень в два пальца толщиной и встанет — силы нет и сноровки нет. А теперь трактора рвут корни с верблюжьей костью толщиной. Хороши бы мы были, если б тогда, вначале, от тракторов отказались!

А теперь я хочу сказать еще одно всему нашему правлению в глаза. Вот я тружусь сколько сил есть. А когда у меня душа спокойна? Никогда! В руках у меня кетмень, а в мыслях ясли да детский сад. В яслях у нас такие старушки сидят, за которыми за самими надо ухаживать, а уж детский сад... спасибо, наконец Хурниса-апа раздобрилась,— может, не захочет мужа срамить и в самом деле там за дело возьмется. А родильный дом? Говорят, там Казимбек теперь чистоту навел. Но это еще не все. Я там двоих родила и оба раза от обиды плакала: планы по молоку мы перевыполняем, излишки

продавать везем, а роженица лежит и за неделю пиалы молока не увидит!..

Собрание проводило Ойнису громом аплодисментов.

Теперь уже не только Каландаров, а все члены правления сидели опустив головы и вяло пошлепывали руками.

Никто даже не заметил, что Ойниса так ничего и не сказала о Зульфакарове, но она сама вспомнила об этом и, уже сев на место, снова поднялась и сказала:

— О самом главном-то и забыла! Насчет Зульфакарова — согласна с решением правления.

Кончилось собрание поздно. Поднято было столько разных вопросов, что тут же, на месте составлять резолюцию даже не пробовали, а по совету Саиды рекомендовали правлению наметить свои предложения и вынести их на следующее собрание. После этого дружно проголосовали за это решение и разошлись, все еще продолжая говорить между собой и в коридорах правления, и у выхода, и на улицах кишлака.

Саида, потеряв в толкучке Каландарова, несмотря на поздний час, все-таки решила забежать к нему — беспокоило его состояние. Однако встретившая ее на пороге Хурниса решительно заявила, что Арсланбек заболел, принял лекарство и лег спать.

Едва Саида успела вернуться к себе домой, как к ней зашли Казимбек и Агзамджан. Саида сразу же спросила Казимбека о здоровье отца.

— Вполне здоров, — усмехнувшись, сказал Казимбек, — Ле- даит на кровати и переворачивается с живота на спину и обратно. То грызет подушку, то зализывает раны.

Агзамджан рассказал Саиде, что Каландаров еще до собрания звал его к себе в кабинет, показал несколько бумажек, относившихся к делу Зульфакарова, и попросил поскорей написать об этом фельетон.

Агзамджан решил посоветоваться — это и было целью его прихода к Саиде.

Саида колебалась. Фельетон о Зульфакарове казался ей сейчас вовсе не нужным, однако указывать журналисту, что ему надо писать и чего не надо, представлялось ей неудобным.

— Не знаю, — помолчав, сказала она, — вам видней, но если вы хотите знать мое мнение, то простой отчет о нашем собрании был бы самым полезным делом не только для нас, но и, наверное, для многих

других.

## 21

Узнав, что Каландаров не болен, а только прикидывается, Саида и разозлилась и встревожилась. На следующий день Каландаров не выходил из дома и никого не пускал к себе, продолжая сказываться больным. Это еще больше встревожило Саиду: «Что он там придумал, сидя один, как бирюк, или вдвоем со своим любимым Ишаном? И что после таких раздумий выкинет, снова появившись на людях?..»

После обеда Саида решила дать себе маленький отдых и, попросив у конюха все того же вороного жеребца, поехала в «Социализм» навестить Таджихон, которая не раз усиленно приглашала ее к себе. Это казалось ей тем более уместным, что Таджихон, по слухам, болела.

Оказалось, Таджихон уже поправилась и завтра собиралась выйти на работу; приезд Саиды обрадовал ее: она не знала, как принять и куда посадить гостью.

Двор, дом и вообще все хозяйство Таджихон привели Саиду в восторг: двор был не двор, а цветущий сад; дом был не дом, а маленький дворец. Мебель вся новенькая, полированная, без единой пылинки; радиоприемник такой громадный и красивый, каких Саида еще и не видела; за зеркальными стеклами буфета блестела и искрилась хрустальная посуда; на стенах висели картины в золоченых рамах — у нашей Саиды зарябило в глазах от всего этого великолепия.

Когда Таджихон налила ей душистого чая в одну из тонких, прозрачных китайских пиал, Саида чуть не попросила хозяйку дать ей другую пиалу, попроще.

Правда, и Таджихон и ее муж оба работали: она бригадиром, он счетоводом, но Саида с невольным сомнением подумала, не слишком ли здесь богатое хозяйство, даже по их совместным заработкам. Стараясь отогнать от себя эту мысль, она стала рассматривать висевшие на стенах картины. Среди них было два портрета в красках; на одном изображена пожилая женщина, на другом — Таджихон, совсем молодая, должно быть, в начале замужества.

— Хамидулла придумал! Его желание,— небрежно, даже с какой-то удивившей Саиду неприязнью кивнула на свой портрет Таджихон.

Голова Таджихон была повязана голубым газовым платком. Сама она была одета в платье из атласа и в затканную золотом безрукавку.

Уши украшали большие серьги полумесяцем. Таджихон сидела, вышивая бисером тюбетейку, прикусив нижнюю губу, прищурив глаза и пытаясь продеть нитку в иголку. Лицо ее на портрете было красивым, пожалуй, немножко красивее, чем на самом деле.

— А что, вам не нравится этот портрет? — спросила Саида.

Таджихон покачала головой и сказала, что, будь ее воля, она б и не заказала этого портрета и не повесила. На этом настоял ее муж, и у него была на то своя причина: он только и мечтал, чтобы она всю жизнь оставалась такой, как на этом портрете, сидела бы дома, вышивала тюбетейки и вообще, как писал когда-то поэт Фуркат:

*В своем наряде, словно в кандалах,  
Сидит с тоской в подкрашенных глазах...*

— Это Хамидулла привез художника из Ташкента! Целую неделю я перед ним сидела; не наряжалась и не вышивала, просто так сидела, а потом он, уже в Ташкенте все это пририсовал и портрет прислал.

В заключение Саида услышала, что Хамидулла заплатил за портрет — ни больше, ни меньше — семь тысяч рублей! И, услышав это, сразу же мысленно нарисовала себе образ бесстыдного хапуги, который из каждой проплывающей мимо сотни рублей не моргнув глазом готов проглотить девяносто!

Однако через несколько минут она, совсем по другому поводу, услышала от Таджихон, что ее Хамидулла, наоборот, один из тех честных до щепетильности людей, про которых говорят, что они и молока-то не пьют, чтоб телят не обездолить!

Зарботка Таджихон вполне хватало, чтобы безбедно жить и даже время от времени кое-что покупать в дом. А заработок Хамидуллы состоял отнюдь не только из его счетоводческого жалованья. По словам Таджихон, ее Хамидулла был удивительнейшим, на все руки мастером. Он умел чинить все — от швейной машины до мотоцикла и от ручных часов до радиоприемника. Слава о нем давно шла по всему району, и Таджихон даже удивилась, что Саида никогда не слышала о второй специальности ее мужа.

Занимаясь по вечерам всякими поделками — то на дому у себя, то на дому у заказчиков, Хамидулла выколачивал каждый месяц большие деньги и уже много лет тратил их только на одно: на украшение своего дома и своей жены Таджихон. Он и не пил, и не курил, и ни с кем



компании не водил, а каждую лишнюю копейку был готов, как говорят, зубами с земли поднять.

— В общем, плохо мое дело,— вдруг сказала Таджихон, остановись посреди своей заставленной вещами комнаты и с горестной усмешкой разведя руками.

— Почему же плохо? — спросила Саида, невольно повторив жест Таджихон и показав на обстановку комнаты.

— Да нет, не плохо! Хорошо! Но ведь когда хорошее делают со злым умыслом, оно хуже плохого! Двор — в цветах; я, если захочу, могу сидеть в шелках, муж на все готов, только бы прибить мои крылья к этому дому! Только бы в колхозе не работала, только бы никуда не ходила, только бы ни с кем не говорила, только бы сидела тут разодетая и накрашенная, таяла бы от его любви, плакала бы от его побоев — вот что ему нужно!.. В наши времена этого не добьешься ни тем, что, как в старину, хлеб от жены в сундук запрешь, ни тем, что ножом на нее замахнешься! Вот он и делает будто совсем по-другому!.. А я все равно вспоминаю и нож и сундук! Думаете, для чего он мой портрет заказал? Чтобы смотрела и вспоминала, какой я была в первый год замужества, когда он меня, как дуру, взаперти держал!.. Вот так и живем,— вздохнула Таджихон.— Одну упряжку в разные стороны тянем!

Саида понимала, что между Таджихон и ее мужем, наверное, произошла очередная ссора. Но она знала, что люди впоследствии обычно раскаиваются в слишком откровенных излияниях; поэтому при первом же удобном случае она перевела разговор на другое.

— А это кто же, ваша свекровь? — спросила она, подойдя к портрету старухи, висевшему в комнате на самом видном месте.

Таджихон грустно улыбнулась:

— Почему вы сразу спросили — не свекровь ли? А может быть, это моя мать.

Саида немного смутилась.

— Я просто подумала,— с запинкой сказала она,— что на таком почетном месте чаще всего бывает мать мужа...

— А в нашей семье это место заняла моя мать,— казалось бы с противоречащей смыслу ее слов горечью сказала Таджихон.— Когда мать умерла, Хамидулла плакал громче меня!

Оказывается, хотя Саида и перевела разговор, но неудачно. Вспомнив мать, Таджихон снова стала сетовать на мужа. Он был любимцем

своей тещи. Теще нравилось и то, что зять тащил в дом каждую копейку, и то, что, держа жену взаперти, не скупился на ее наряды, и даже то, что он в первое время поколачивал ее!

При любой размолвке старуха брала сторону зятя и ругала дочь, попрекая ее даже своим материнским молоком.

— Грех сказать, чтобы я желала зла матери,— сказала Таджихон,— но, пока она жила, дом наш был и вовсе адом! Хотела я пойти учиться — и не пошла! Хотела стать агрономом — не стала! Их было двое, я — одна, и у меня не хватило сил перебороть их обоих. А сколько ночей я проплакала, раздумывая, как поехать учиться? Столько ночей проплакала, что уже и учиться поздно!

Печаль Таджихон была беспредельна; казалось, она ищет не только сочувствия, но и помощи. Однако, представляя себе Хамидуллу по рассказам Таджихон пожилым, солидным человеком, Саида не представляла, как она вдруг заведет с ним разговор на щекотливую семейную тему.

Оказалось, однако, что пресловутый Хамидулла вовсе не так грозен с виду, как можно было ожидать.

Во дворе незаметно появился щупленький человечек, который, не заходя в дом, сразу же стал возиться по хозяйству. Он прибирал во дворе то одно, то другое, потом поливал цветы, потом не то полыл, не то рвал что-то на грядках... Саида несколько раз искоса поглядывала в окно, думая: кто бы это мог быть? И только когда Таджихон, сидевшая спиной к окну, повернулась и, увидев мужчину во дворе, окликнула его по имени, Саида с удивлением поняла, что это и есть знаменитый Хамидулла!

Он вошел в комнату тише воды ниже травы, отвесил несколько смиренных поклонов и, даже не подав руки Саиде, присел на кончик стула у двери.

Вблизи он выглядел еще более щуплым, чем издали. У него была маленькая голова и моложавое, довольно хорошенькое, если можно так сказать про мужчину, лицо с маленькими завивающимися усиками над узкими, плотно сжатыми губами.

Нет, что-то совсем не вязались с рассказами Таджихон ни внешность, ни поведение этого человека, сидевшего на своем стуле, смиренно сложив руки на животе и покроличьи помаргивая.

Когда Таджихон познакомила мужа с Саидой, сказав при этом, что она секретарь партбюро в «Бустоне», Хамидулла удивленно захлопал

глазами, словно собирался воскликнуть: «Отчего же вы этого мне раньше не сказали!» — и, вскочив на ноги, стал настойчиво приглашать Саиду во двор.

— Там хоть и жарко, зато ветерок продувает, да я уже там и постелил, приготовил все!

Во дворе действительно все было приготовлено. Земля обильно полита водой, а среди буйно разросшихся кустов шиповника на новеньком свежескрашенном помосте постлано несколько атласных одеял и разбросаны пуховые подушки.

Таджихон уже сидела с Саидой на помосте, а Хамидулла еще долго суетился и вел себя так предупредительно, что любая женщина, увидев эту сцену, наверное, позавидовала бы Таджихон.

Конечно, она скажет этому Хамидулле все, что думает о том, какими должны быть в наше время отношения между мужем и женой! «И как это сама Таджихон не может справиться с таким человеком», — с некоторым пренебрежением подумала Саида.

Таджихон отправилась готовить плов, а Саида, не теряя времени, сразу пошла в наступление:

— Какая у вас прекрасная жена!

После этого она довольно долго говорила об уме и авторитете Таджихон, которых, по ее словам, хватило бы на сорок мужчин; потом вспомнила, как все огорчались в «Бустоне», когда Таджихон не смогла приехать к ним в прошлое воскресенье, и, наконец, перебрав достоинства Таджихон, стала коварно хвалить Хамидуллу:

— Честь и хвала вам, Хамидулла-ака! Наверное, в том, что Таджихон-апа многого достигла, есть и ваша заслуга! Мало ли есть женщин, готовых бросить работу, если дом и так полная чаша? Но Таджихон-апа не из таких, и вам, наверное, нравится это, она, наверное, чувствует вашу поддержку?

Хамидулла сидел перед Саидой, сложив руки на животе, и, помаргивая своими кроличьими глазами, время от времени односложно и вежливо повторял, что все это верно, все это действительно так и есть.

«Хоть бы возразил что-нибудь!» — с досадой подумала Саида, но Хамидулла вовсе не собирался возражать ей. Он только похлопывал глазами да повторял свое «верно, действительно», так что Саиде волея-неволей приходилось продолжать монолог.

Так и не наткнувшись ни на одну зацепку для более откровенного разговора, Саида махнула рукой на дипломатию и перешла к прямому

нравоучению.

— Есть, конечно, мужчины,— храбро сказала она,— которые только и мечтают, чтобы их жены сиднем сидели дома; при этом им и в голову не приходит, что труд существует не только для того, чтобы деньги получить и живот набить! Взять, к примеру, хоть вас: вот, скажем, провозились вы целый вечер и, наконец, исправили самое сложное радио; оно при помощи ваших искусных рук опять заговорило. Разве в эту приятную минуту вы думаете только о том, сколько вам заплатят за работу? Конечно, нет! Ну а Таджикихон-апа? С чем можно сравнить радость замечательных успехов ее знаменитой на весь район бригады! Таковую радость не купишь ни за какие деньги!

Хамидулла в ответ сказал еще раз свое «верно, действительно», и Саида наивно сочла себя победительницей.

Однако на самом деле Хамидулла был вовсе не так прост, как казался, и в конце вечера сумел одним единственным вопросом свести на нет все те монологи, что Саида произнесла до плова, во время плова и после плова.

Когда Таджикихон на минуту ушла в глубь двора, чтоб на прощание нарвать для гостыи букет, Хамидулла вдруг пододвинулся к Саиде и вкрадчиво спросил ее:

— Простите за нескромность, вы сами-то замужем?

— Нет,— опешила от неожиданности Саида.

— Та-а-ак,— протянул Хамидулла,— желание выйти замуж у вас, вероятно, есть?

Саида смутилась, но, преодолев смущение, заставила себя рассмеяться:

— Не знаю...

Хамидулла в ответ тоже тихо, почти угодливо рассмеялся.

— Что ж! Это, как в старину говорили, самим богом велено. Человек без человека как земля без воды... Ах, как было бы и вам хорошо и нам хорошо, если бы вы поскорее вышли замуж! Стали бы, конечно, бесценныш образцом для Таджикихон, а ваш муж — для меня, грешного...

У Саиды даже язык отнялся от обиды и удивления, и слава богу, что Таджикихон как раз в эту секунду вернулась с целой охапкой цветов.

Муж и жена вышли вместе с Саидой за ворота. Хамидулла отвязал от дерева вороного и с подчеркнутой предупредительностью подвел его к Саиде: мол, скатертью дорога!

У каждого в эти дни были свои печали и тревоги.

Как мы помним, Каландаров, услышав на первых шпильках в свой адрес, очень сердился и бросался от подозрения к подозрению, предполагая тайные козни то Саиды, то еще неизвестно чьи.

Теперь, когда люди наговорили ему столько неприятностей совершенно открыто, на собрании, его гнев сменился обидой.

«Вот, стало быть, как! — горестно думал он.— За годы, что я председатель, и урожай хлопка поднялся почти до тридцати центнеров, и трудодень до двадцати семи рублей, и к старикам я, если они глупостей не болтали, относился с почтением, и молодых, если умели слушать, учил уму-разуму, и ни одна свадьба в колхозе не прошла без меня, и ни одного покойника без меня не предали земле. А как меня отблагодарили за это? Неужели же все мои труды ломаного гроша не стоят? Ну хорошо, пусть у них в душе накопилось! Так разве нельзя было отвести меня в сторонку, как я сам, бывает, с другими делаю, и сказать мне все то же самое тихо, с глазу на глаз!» Так, не выходя из дому, сокрушался Каландаров.

А в доме Ойнисы не утихала ссора. Едва они возвращались с работы, как муж, словно старая баба, начинал пилить ее: как она в присутствии стольких мужчин не постыдилась сказать, что ей приходится прихорашиваться, чтобы он, ее муж, не бросил ее!

Что касается Хурнисы, то она даже с тела спала от двойных переживаний: во-первых, муж вот уже столько дней сидел дома и ничего не делал, а это с непривычки так ужасало ее, что она то и дело плакала; во-вторых, она приходила в неистовство от непонятливости, прямо-таки тупости своего единственного и возлюбленного сына Казимбека.

Дело в том, что из Ташкента приехала его невеста Манзура. Приехала всего на одни сутки, проститься с родителями — она на целых два месяца уезжала в Китай с молодежной делегацией. Будущая свекровь и будущая теща мудро решили, что перед этой новой разлукой нареченные должны непременно встретиться наедине и дать друг другу согласие. На «военном совете» было все подробно предусмотрено: и где должно состояться свидание двух юных сердец, и в котором часу, и в какой именно момент они должны быть оставлены

наедине. Не предусмотрено осталось только одно: тупость Казимбека, который в назначенный час явился в дом Ишана не один, а, представьте себе, вдвоем с Саидой!

Должно быть, он даже не предупредил Саиду, куда ее ведет, потому что Саида вдруг забрыкалась у самых ворот, как молодая лошадка, и хотела улепетнуть, но выбежавшая им навстречу Манзура приветливо обняла ее и повела во двор.

Саида невольно залюбовалась ею: в самом деле, только чудом Казимбек за столько лет знакомства ухитрился не влюбиться в эту очаровательную девушку — стройную, как молодой тополек, и веселую, как ручей.

Тщательно составленный военный план рухнул, точно карточный домик. Хурнису взбесила тупость сына, Кифоятхон поразилась недогадливости дочери, вдобавок обе были возмущены «наглостью» Саиды, — но ничего не поделаешь: раз гости в доме, пришлось, как двум старым дурам, и сидеть с ними, и даже разговоры разговаривать! А уж от разговоров этих можно было просто лопнуть с досады. Посудите сами: Казимбек только и делал, что через каждую фразу называл Манзуру «сестрицей», а эта дуреха в свою очередь не нашла ничего лучшего, как сказать ему, что еще надеется, вернувшись из Китая, поплясать на его свадьбе!

К счастью, все на свете когда-нибудь да кончается, кончился и этот истерзавший и будущую свекровь, и будущую тещу разговор. Казимбек с Саидой ушли, а вечером каждая мамаша поспешила поговорить начистоту со своим чадом.

Увы, оказалось, что у детей совершенно другие проекты, чем у родителей.

Манзура показала матери фотографию какого-то прекрасного собой молодого человека с усиками, сказав, что он сейчас учится в Москве и скоро станет режиссером. В ответ на это мать зарыдала, даже не попытавшись выяснить, что значит это мудреное слово. Ишан, наоборот, разорался на дочь и даже выразил намерение прибить ее, но дочь так посмотрела ему в глаза, что он даже и замахнуться-то как следует не посмел!

Казимбек карточки не показывал, имени не называл, но тоже дал понять, что любит не Манзуру, а другую. Хурниси и рада бы покричать на сына, но, во-первых, за стеной, как тигр, бегал из угла в угол и без того расстроенный Каландаров, а во-вторых, сын был как-никак

доктор, и это мешало ей кричать на него.

Ишан, узнав поздно вечером от Хурнисы, что Казимбек любит другую, а эта старая корова, его мать, не мычит и не телится — даже не посмела прикрикнуть на сына, вернулся домой в угнетенном состоянии и, решив хоть чем-нибудь выразить свой крайний гнев и насолить окружающим, довольно удачно сделал вид, что отравился с горя.

Картина была внушительная... Ишан хрипел и катался по полу, а его верная супруга, сделав вид, что поверила мужу, с воплями бросилась ему на грудь и, раза два лязгнув челюстями, в беспамятстве закатила глаза.

Перепуганная дочь кинулась за Казимбеком.

Казимбек явился, тщательно осмотрел больных, усмехнулся и довольно быстро привел обоих в чувство при помощи такого простого средства, как стакан воды с разведенной в ней английской солью.

Добавим для ясности, что, вливая им не слишком вкусное лекарство сквозь сжатые зубы, он достаточно громко сообщил их дочери, что, если один стакан не поможет, он вольтет и по два, и по три, пока не добьется успеха.

Родители перед лицом такой угрозы поспешно пришли в себя, а Казимбек повез их дочь на станцию, потому что через час уже отходил ташкентский поезд, которым ей надо было ехать.

То, что Казимбек отправился провожать Манзуру, зажгло в душе Ишана слабую искру надежды.

— Раз не хочет жениться, зачем же повез ее на станцию? Да еще поехал с ней не в большой компании, а один!

Старшему чайханщику не приходило в голову, что в нынешнее время молодой человек может просто-напросто взять да и проводить девушку на поезд, не имея при этом за душой никакого умысла.

Ишан без долгих объяснений, захватив с собой жену, прибежал в гараж, уговорил шофера и на грузовике прикатил на станцию задолго до отхода поезда.

На перроне было безлюдно, Казимбек и Манзура прохаживались взад и вперед и чему-то беззаботно смеялись.

Ишан и Кифоятхон придирчиво наблюдали за каждым их движением с грузовика, стоявшего в темноте с потушенными фарами.

Наконец подошел поезд. Немногочисленные пассажиры заторопились к вагонам, заторопились и двое молодых людей, но, увы, того, что ожидал Ишан, не случилось: его дочь крепко пожала руку

Казимбеку и легко вскочила на подножку.

Казимбек помахал ей платком и спокойно пошел назад по перрону...

Муж и жена скорбно переглянулись: да, уж видно — пришла беда, отворяй ворота!

Вернувшись домой, Кифоятхон сразу же легла, завернувшись с головой в одеяло; у нее болел живот от английской соли, и она сквозь зубы, чуть слышно ругала мужа за его любовь к мнимым отравлениям: на ее памяти он выкидывал эти штуки уже не в первый раз.

У Ишана, наоборот, не было никакого желания ложиться. Он слонялся по улице, постепенно все больше наливаясь гневом против Саиды.

«Зачем Казимбек привел ее и зачем она пошла! Ведь она же знала наши виды на Казимбека, а все-таки пошла. Это она заставила Каландарова самого писать свой последний доклад. Это она добилась и того, что я теперь все реже бываю в доме у председателя, и того, что мою жену вовсе вытурили оттуда... Постой-постой, а не она ли два раза, и притом по вечерам, ездила вместе с Казимбеком верхом?! А как они танцевали вместе в прошлое воскресенье! Да и я раза три видел, как он шел то от нее, то к ней, да еще по вечерам. Ах я старый дурак, так вот оно что!»

Ишан засеменял в сторону сада и в минуту оказался возле окна Саиды.

В комнате горел свет и слышался говор.

Ишан, предав забвению свои года, не постыдился залезть на инжир и сверху заглянул в окно.

«Так оно и есть!»

Саида сидела на кровати, Казимбек напротив нее на стуле, оба громко разговаривали и смеялись.

Ишан спрыгнул с инжира, рысью понесся домой и, подняв жену с постели, потащил ее за собой, на ходу объясняя план действий.

Когда они подошли к окну Саиды, Ишан снова взгромоздился на свой наблюдательный пункт, а Кифоятхон тихонько постучалась в дверь.

Ишан в это время так и прилип глазами к окну.

Услышав стук в дверь, Саида и Казимбек невольно переглянулись, как бы спрашивая друг друга: кто бы это мог быть? Саида поднялась с кровати, быстрым движением оправила одеяло, пересела на стул и только теперь, еще раз взглянув на Казимбека, ртветила:



— Войдите!

Кифоятхон вошла и, как было заранее условлено с мужем, сделал вид, что ищет Ишана, всплеснула руками:

— Куда же он девался! Обыскалась, думала, может, вам чай понес! Вот так всегда по вечерам — с собаками его не найдешь! — и с этими словами вышла из комнаты, закрыв за собой дверь.

— Теперь всему конец,— уныло бубнил Ишан, бредя в темноте вслед за женой, и, презрев мужскую гордость, чтобы не споткнуться держался за подол ее платья.— Это она, чертовка, Казимбека приворожила! Если бы между ними ничего не было, разве бы они так всполошились, когда ты постучала! Хорошо еще, он не успел сказать своей матери, что влюбился в эту змею. Очень хорошо, что не успел сказать, вот видишь, как нам это на руку.

Дело в том, что в голове хитроумного Ишана созрел за это время план, как согнуть Саиду в бараний рог и пустить между ней и председателем черную кошку. Но если делать это, то надо делать как можно скорей, до того, как мать и отец Казимбека узнают, что их сын влюбился в эту проклятую Саиду!

## 23

Следующим утром Ишан пришел к Хурнисе и, в соответствии с составленным за ночь планом, сообщил, что Казимбек провожал вчера ночью Манзуру на поезд и они целовались так долго, что она едва успела в вагон вскочить. Посетовав при этом, что нынешняя молодежь мучает своей скрытностью родителей, Ишан рекомендовал Хурнисе на всякий случай не сообщать пока радостной вести мужу: мол, мало ли как еще дело повернется!

Расчет Ишана был прост: если бы Хурниса с горя рассказала мужу о том, что Казимбек не любит Манзуру, или, наоборот, с радостью — что Казимбек целовался с Манзурой,— и то и другое могло бы привести к объяснению между отцом и сыном. А Казимбек, начав объясняться, наверное, признался бы отцу, что любит Саиду. Но именно это и не устраивало Ишана; случись так — вся та клевета, которую он собирался возвести на Саиду, могла бы показаться Каландарову попыткой отомстить Саиде за ее невольное соперничество с дочерью Ишана.

Итак, с одной стороны, умерив горе Хурнисы, а с другой стороны, не дав расцвести ее радости, коварный Ишан спросил, нельзя ли ему

повидать больного председателя,— это и было главной целью его прихода.

Исполняя строгий наказ мужа, Хурниса отрицательно замахала руками, но в это время из соседней комнаты донесся зычный голос больного:

— А ну иди сюда!

Ишан, словно танцуя на сцене, закинул волосы мизинцем левой руки за правое ухо и на цыпочках двинулся в комнату Арсланбека.

С той секунды, как он просунул свою тощую шею в приоткрытую дверь, и до той, когда он уселся на свое привычное, последнее время пустовавшее место, он успел задать, по крайней мере, двадцать вопросов подряд о бесценном здоровье хозяина, раз десять улыбнулся и раз пять отер рукавом халата не слишком обильно струившиеся из глаз слезы. Словом, за две минуты он показал столько преданности, сколько другой и за год не удосужится!

Больной выглядел как обычно, то есть как отменно здоровый мужчина. Необычными были только книги, со всех сторон лежавшие вокруг Каландарова.

Ишан не сумел скрыть удивления, и Каландаров это заметил.

— Ни одной толковой книги,— сказал он с таким апломбом, словно и в самом деле прочел все эти книги от доски до доски и не нашел в них ни малейшего толка.— Одну читаешь-читаешь, глаза лопнут, прежде чем поймешь; в другой небылицы какие-то! Настоящая книга должна быть такой, чтобы с первой же страницы на все, что тебе нужно, отвечала! А это что за книги? И нового из них не узнаешь, и старое, того и гляди, из головы выбьют!

— Вот это верно, это правильно, это уж как пить дать! — льстиво воскликнул Ишан, ожидая, что вслед за таким многообещающим началом Каландаров от книг перейдет к людям и начнет расспрашивать его, что делается в колхозе и кто, что и про кого говорит.

Однако Каландаров вовсе не имел подобного намерения. Пройдя через полосу гнева, а потом через полосу горькой обиды, он теперь находился в приступе самобичевания, тем более сильного, что это чувство для него было полной новостью. Для такого человека, как он, нужно было очень сильное потрясение, чтобы пятые сутки сидеть дома, устранившись от всех дел, всегда занимавших его с утра до ночи. Именно таким потрясением и было для него минувшее собрание, уже на второй день после которого он решил, что в общем люди правы, а он

не прав, хотя в то же время ни перед кем не виноват. Но виноватый все-таки должен быть? Должен! И на третьи сутки Каландаров нашел этого виноватого. Этим виноватым была его малограмотность!

— Ничего в тебе нет, никаких знаний,— один в пустой комнате кричал он, яростно стуча себя кулаком по лбу.— Никаких! —

Он был страстной натурой и в минуту горечи не останавливался перед явными преувеличениями.— Двух слов не могу связать! Доклад не могу написать, речь не могу сказать, совсем пропащий человек.

Однако долго чувствовать себя пропащим человеком было не в его характере, и на четвертые сутки он решил одним приступом покончить со своей малограмотностью. Он обложился всеми книгами, которые у него с бору по сосенке собрались за долгие годы. И, не удовольствовавшись этим, велел жене принести из библиотеки столько книг, сколько она донесет за один раз.

Он брался то за одну, то за другую, то за третью, но ни одна из них не соглашалась по первой же команде принести ему все те знания, которых он от нее торопливо требовал.

...Говорят, жил некогда великий, но смертный, как все люди, царь. И когда он почувствовал приближение смерти, то решил не умирать раньше, чем овладеет всеми знаниями, что существуют в мире. И по его строгому приказу ученые сняли самые сливки со всех книг, что были на свете, и переписали их в новые книги. Но и этих новых книг оказалось так много, что их еле поднял самый сильный верблюд. Тогда царь приказал снять сливки с этих сливок, и ученые сделали это и переписали сливки снятые со сливок, в новые книги. Но и этих новых книг оказалось тоже немало, их еле могли погрузить на самого сильного ишака. Тогда царь велел снять сливки со всех книг, погруженных на ишака, и переписать эти сливки в одну-единственную книгу. И ученые после многих трудов наконец сделали это. Но когда они сделали это и принесли книгу царю, царь умер, не успев дочитать первой страницы...

Вот бы Каландарову такую книгу!

В колхозе было немало образованных людей, а в колхозной библиотеке достаточно книг, и если бы Каландаров давно спрятал в карман свою заносчивость и самолюбие, нашлись бы и люди, охотно помогшие ему, и книги, охотно открывшие перед ним свои страницы. Но в том-то и беда, что самолюбие даже и теперь мешало Каландарову пойти этим, для всех открытым путем. Он страстно хотел овладеть

недостающими ему знаниями, но хотел овладеть ими втайне от всех и сейчас с надеждой смотрел на своего старого наперсника Ишана, словно тот мог ему подсказать, как это сделать.

Однако Ишан не только не мог, но, если бы даже и мог не стал бы ему подсказывать. Он пришел совсем с другой целью и, еле дождавшись первой паузы, с торжеством вытащил из-под халата свежий номер районной газеты. Он считал, что этот номер в его умелых руках окажется ножом, который можно будет не только вонзить в самолюбивое сердце председателя, но и несколько раз с наслаждением повернуть в ране.

Дело в том, что районная газета посвятила собранию в «Бустоне» целую страницу и даже в предисловии от редакции назвала это собрание важным событием в жизни колхоза.

Прочтя эту страницу непредубежденно, нетрудно было понять, что газета не стремится никого проработывать, в том числе и Каландарова. Придавая большое значение той здоровой инициативе, которая проявилась на собрании, газета просто хотела, чтобы люди других колхозов взяли пример с «Бустона».

Если читать непредубежденно,— но Ишан вовсе не собирался этого делать, наоборот, он вытащил из-за пазухи газету, заранее грозно исчерканную карандашом, и с места в карьер стал читать ее Каландарову таким тоном, словно речь шла о пожаре или наводнении.

Ишан был достаточно умен, чтобы читать все подряд, ничего не пропуская, но читал он так, что одни фразы превращались в гору, а другие — в пылинку; одни он выкатывал из рта, как арбуз, а другие проглатывал, как кишмиш! В итоге он довольно ловко превратил статью чуть ли не в обвинительный акт против Каландарова, поставив все вверх ногами, а в заключение, не теряя времени, стал комментировать ее как бог на душу положит.

— Вот видите,— как змея, шипел он в самое ухо Каландарову,— обсуждали-то Зульфакарова, а палки-то ломают о вашу голову! Фамилия Зульфакарова встречается всего раз, а ваша — пять раз: «Каландаров поверхностно отнесся к этому вопросу!» «Каландаров недопонял!» Это вы-то, вы недопоняли! Они допоняли, а вы недопоняли! Я все это заранее предчувствовал. Я бы давно вам это сказал, но эта проклятая Саида встала между нами, и я устранился и один лил слезы но ночам, горюя за вас! Вам никто не скажет правды, а я скажу: Насыров хочет съесть живьем все кадры, заботливо выращенные товарищем

Кадыровым, и он начал с вас и специально подсунул вам, как кочергу, свою Саиду, чтобы по уголькам расшвырять весь ваш авторитет!

— Ну, ну, не горячись,— неуверенно попробовал остановить его Каландаров, сам при этом теряя последние остатки хладнокровия.— Были у нас и хорошие дела с тех пор, как приехала Саида!

— А как бы вы думали! — Ишан даже сладострастно изогнулся, окончательно почувствовал себя коварным визирем при доверчивом хане,— Конечно, она замазала вам глаза добрыми делами, а потом воткнула нож в спину!

Каландаров, задрожав от гнева, потянулся за газетой, но Ишан, не выпуская ее из рук, стал сам тыкать пальцем в подчеркнутые красным карандашом места, не давая Каландарову взглянуть на остальное.

- Да что газета! — сказал наконец Ишан, засовывая газету обратно за пазуху.— Я вам больше скажу! Приезжала моя Манзура в надежде скоро назвать вас отцом, а уехала вся в слезах! Вы знаете, что ей сказали? Ей сказали, чтобы она ни за что не выходила за Казимбека, потому что его отца скоро вышвырнут вон!

— Кто? Кто это сказал? — громовым голосом заорал Каландаров, схватив Ишана за руку с такой силой, что у того в глазах потемнело.

Ишан придумал эту нехитрую ложь, чтобы отвлечь внимание Каландарова от газеты и не дать ему самому внимательно прочесть ее всю целиком, но теперь, увидев, до какой степени разъярился Каландаров, сам испугался.

— Н-не знаю,— заикнувшись, пролепетал он,— она так плакала, а я так возмутился, что даже не спросил, кто это сказал.

Каландаров сердито, так, словно они теперь действительно уже не могли принести ему никакой пользы, распахнул лежавшие вокруг него книги, торопливо выпил несколько глотков остывшего чая и, стащив с головы тубетейку, вытер ею вспотевший лоб.

— Что же теперь делать?

— Ехать! Сразу же! И не в райком, там правды не добьешься, там Насыров... в обком ехать! В облисполком ехать! Нельзя быть таким беспечным! Старики недаром говорят, что всего-навсего один див всего-навсего за одну ночь способен слизать языком священную гору Каффу до самого подножия, так что все, что от нее останется, будет не толще луковой шелухи! И если бы муэдзин, прокричав свой призыв к молитве, не возвращал каждое утро гору в прежнее состояние, то давно бы уже наступил конец света! Так вот, я говорю вам как преданный

друг: с первого же дня приезда эта проклятая Саида начала слизывать вас языком, как эту гору! И мне уже страшно глядеть на вас, скоро от вас одна луковая шелуха останется! И теперь у вас одно спасение: чтобы кто-нибудь из больших людей прокричал над вами, как муэдзин!.. А впрочем, вам-то что? — вдруг, словно опомнившись, тихо и горестно добавил Ишан.— Вы куда ни поедете, всюду председателем будете, а вот нам как тут без вас придется!..

Хотя Каландаров, будучи от природы слегка тугодумом, не вполне понял, почему Ишан сравнивал его то с горой, то с луковой шелухой, почему Саида слизывает его, как гору, а обком и облисполком должны для его спасения кричать, как муэдзины, однако самолюбие помешало ему признаться в своей непонятливости.

— Знаю, все сам знаю! — решительно ответил он.

— А раз знаете, чего сидите, чего ждете?

И вот спустя два дня и две ночи против нашей Саиды было составлено целое обвинительное заключение.

Хотя основные его пункты были продиктованы самим разгневанным Каландаровым, с великим тщанием завершил его Ишан, или, как он любил выражаться, «придал блеск и оформил все как полагается».

Прочитав все заявление, занявшее без малого двадцать страниц, Каландаров, по правде говоря, даже сам удивился.

«Смотри-ка, что написано! Сколько эта птичка-невеличка успела натворить за такое малое время! Вот уж правду сказал Ишан, что она, как кочерга, по уголькам хотела разбросать мой авторитет! И не без того, что при этом ею руководил сверху кто-то, державший против меня камень за пазухой!»

Хотя по ночам Каландаров писал с Ишаном заявление, по утрам он снова стал выходить на работу и даже так закрутился с делами, что с уже готовым заявлением в кармане еще несколько дней никак не мог выбраться в Ташкент.

С помощью Ишана накачав себя за ночь разговорами о мнимых злодеяниях Саиды, утром злой и невыспавшийся Каландаров волей-неволей то и дело грубил и досаждал ей, где и чем только мог.

Обиженная до глубины души, Саида хоть и старалась держать себя в руках, но, когда ничего другого не оставалось, давала сдачи.

Каландаров после таких перепалок свирепел еще больше и укреплялся в убеждении, что все то, что он пишет по ночам, суцая правда. А тут еще Ишан обогатился новыми уликами против Саиды.

Оказывается, после того, как Хамидулла на прощание посрамил Саиду коварным вопросом о замужестве, между мужем и женой разыгралась крупная ссора.

Сначала, еще во дворе, Хамидулла обозвал Саиду приезжим адвокатом, присовокупив к этому некоторое количество непристойностей. Таджихон, не желая его слушать, ушла в комнату. Хамидулла последовал за ней и, видя, что это удручает жену, стал снова непристойно ругать Саиду. Таджихон не выдержала и выложила мужу, что она о нем думает. Хамидулла схватил со стола графин и шваркнул его об пол. Пробка от графина, отскочив, ударилась в зеркальное стекло буфета, и тут куски стекла полетели во все стороны. Таджихон закричала. Хамидулла в испуге увидел у нее кровь на лице и на платье. Он бросился к ней, на этот раз чтобы помочь, но она, не поняв этого, опрометью выбежала со двора. Так и не догнав ее, он вернулся домой, и в страхе стал думать о том, как она прибежит в таком виде к чужим людям и вообще что будет дальше.

Потеряв от страха голову, он решил тут же покончить с собой. В противоположность Ишану он делал это и всерьез и впервые и, не находя ничего лучшего, выпил целую бутылку попавшихся ему под руку фиолетовых чернил. Почему он решил, что это отрава — неизвестно. А впрочем, от человека, пришедшего в такое состояние, трудно требовать излишней сообразительности.

Однако бутылка чернил все-таки не бутылка молока, и сбжавшиеся соседи застали неудачного самоубийцу в корчах.

Словом, через час в колхозной больнице в одной комнате перевязывали жену, у которой текла кровь с поцарапанного осколками лица, а в другой — отхаживали мужа, у которого текли изо рта фиолетовые чернила.

При этом Хамидулла, который был склонен преувеличивать опасность своего положения, на всякий случай мстительно прошептал, что если он умрет, то просит считать виноватой Саиду Алиеву.

Правда, Хамидулла быстро ожил, но предсмертные слова, вытекшие из его уст вместе с чернилами, увы, не остались секретом. И, разумеется, Ишан поспешил присовокупить к заявлению Каландарова и этот грозный «материал».

Наконец Каландаров выехал в Ташкент. Прибыв туда к вечеру, заняв номер в гостинице и отложив дела на завтра, он сразу же поспешил в цирк. Дело в том, что Арсланбек Каландаров питал к цирку

давнюю и непобедимую страсть, и ни одной поездки в Ташкент не обходилось без того, чтобы он не побывал там.

Благополучно достав билет и отряхнув с себя прах всех забот и обид, Каландаров, в эту минуту совершенно счастливый, уселся в первом ряду и стал любоваться собакой, которой достаточно было крикнуть «гоп», чтобы она тут же прыгнула в кольцо с тумбы на тумбу.

Самозабвенно хлопая после окончания этого номера, Каландаров вдруг увидел, тоже в первом ряду, но только по другую сторону арены, аплодирующего так же самозабвенно, как и он, товарища Кадырова, хотя в свое время и снятого с работы, но тем не менее до сих пор горячо им любимого.

С трудом дождавшись конца первого отделения, Каландаров, толкая встречных и наступая на чужие ноги, кинулся к Кадырову.

Встреча была радостной взаимно. А как только кончилось представление, немножко похудевший, но в общем довольно жизнерадостный Кадыров потащил Каландарова к себе домой — посидеть, поговорить о том о сем, «вспомнить минувшие дни».

Кадыров работал теперь директором техникума и жил тоже при техникуме, на окраине города. Пока они шли пешком до его дома, Каландаров успел частично излить душу молча слушавшему его Кадырову, а как только они пришли и сели за стол, он, в расчете на полное сочувствие, вытащил из кармана то самое заявление, с которым он завтра, прямо с утра, собирался идти в обком.

— Нате-ка, почитайте, что у нас теперь люди творят.

Кадыров надел очки (он теперь носил очки), аккуратно разгладил на сгибах заявление и начал читать.

Долго ли он читал это заявление, и сколько потом разговаривал с Каландаровым, и что сказал ему — все это мы в точности так до сих пор и не знаем. Знаем только одно: Каландаров так и не пошел в гостиницу, а заночевал у Кадырова и на следующий день, не заходя в обком, сел в машину, поехал прямо в райцентр, к товарищу Насырову, и молча положил ему на стол свое заявление с таким видом, словно сдает нож, которым собирался зарезать ближнего.

Насыров долго и тоже молча читал заявление, а дочитав и глубоко вздохнув, только и сказал, взглянув на измученное лицо Каландарова: «Поезжайте домой, отдохните...»



Еще весной Казимбек уговорил отца передать в распоряжение больницы старый, выдавший виды колхозный «Москвич».

Каландаров сравнительно легко поддался на уговоры именно потому, что «Москвич» был старый и все равно требовал капитального ремонта. Казимбек тогда же угнал «Москвич» в Ташкент и устроил его на ремонтный завод. Как со всеми ремонтами в мире, и с этим, конечно, не обошлось без проволочек, и только теперь, в разгаре лета, Казимбек наконец получил своего «Москвича» обратно и сейчас, сам сидя за рулем, подъезжал к колхозу.

Старый «Москвич» был не только отремонтирован, но даже покрашен голубой краской, что очень радовало Казимбека. Да и, по правде говоря, какой молодой врач не обрадуется тому, что в его маленькой больнице есть своя маленькая машина, на которой можно и больного перевезти, и за медикаментами послать, и самому съездить к больным. А если уж говорить всю правду до конца, то у Казимбека по молодости лет были и другие, менее деловые, но радужные мысли, связанные с голубеньким «Москвичом»: например, в воскресенье можно будет совершить на нем небольшую прогулку, и притом не одному; в этом случае Казимбек, кажется, отнюдь не имел в виду сажать рядом с собой кого-нибудь из больных...

Словом, Казимбек возвращался домой в самом прекрасном настроении. Оставив машину на улице, он зашел на минуту домой, чтобы положить в надежное место счета на ремонт и покраску, а то еще куда-нибудь задеваются эти бумажки, потом не оберешься разговоров и в бухгалтерии и с отцом, который на этот счет хуже всех бухгалтерий вместе взятых!

Поискав глазами, куда бы спрятать бумажки, Казимбек подошел к этажерке с книгами и взял первый попавшийся ему на глаза томик в картонном футляре. Однако оказалось, что точно такая же идея уже пришла в голову кому-то раньше. В футляр была засунута целая пачка растрепанных и перемаранных листов, Казимбек заглянул в них без особого интереса, но через секунду впился глазами и прочел все, что там было написано, с начала до конца.

Пачка перемаранных листов была не чем иным, как черновиком заявления Каландарова, правда, без предсмертных фиолетовых слов

Хамидуллы, которые, как мы знаем, Ишан внес уже в самый последний момент.

Дочитав все до конца, Казимбек, пораженный, опустился на стул.

Если бы сейчас вошел кто-нибудь и сказал ему: «Твой отец умер», и тогда бы, пожалуй, он не испытал большего потрясения, чем сейчас. В первую минуту у него не было никаких мыслей и чувств, кроме беспредельного удивления и такого же беспредельного стыда. Потом он сразу подумал о Саиде: «Что с ней, с бедной, творится сейчас, если она уже узнала об этом!»

Сунув листы обратно в футляр, Казимбек побежал в правление, совершенно забыв в эту минуту о той солидной неторопливой походке, к которой он, став доктором, с большим старанием привыкал в последнее время.

Подбежав к правлению, Казимбек прежде всего глянул в открытое окно секретарского кабинета. Саида была там и, чуть склонив набок голову, внимательно слушала мужа Ойнисы, который, отчаявшись утихомирить взбунтовавшуюся жену домашними средствами, смилив мужскую гордость, пошел жаловаться на нее прямо к Саиде.

— Саидахон! — взволнованно воскликнул Казимбек.

Саида быстро обернулась; лицо Казимбека показалось ей бледным, и она подбежала к окну.

— Что случилось?

— Ничего,— сказал Казимбек, сдерживая волнение,— только что из Ташкента вернулся.

— Да-да,— с некоторым удивлением сказала девушка,— верно, вы ведь вчера туда поехали...

— Своего «Москвича» пригнал...

— А-а, ну поздравляю,— Саиду все еще удивляло несоответствие между словами Казимбека и его ужасно бледным лицом.

— Я подумал, если вы будете свободны, может быть, вместе обновить «Москвича», немножко прокатить вас.

— Спасибо,— Саида все еще вглядывалась в лицо Казимбека,— но только часа через два, раньше я не освобожусь.

Казимбек ушел,— что ему оставалось делать? А ровно через два часа подъехал за ней на «Москвиче».

Саида была уже свободна, ждала его и, с удовольствием заметив, что с его лица исчезла встревожившая ее бледность, садясь в машину, пошутила:

— Только, чур, ни слова о ваших любимых кишечечно-желудочных! Меня и так в машине укачивает. Если заговорите, сразу вылезу!

Против ее ожиданий, Казимбек не отозвался на шутку. Он только подумал, что, раз она так шутит, значит, еще ничего не знает. И пока отец не вернулся из Ташкента, и пока Саиду в связи с отцовским заявлением еще не вызвали в район или область, надо поскорей рассказать ей обо всем.

Едва они выехали за кишлак, Казимбек повел машину на самом тихом ходу и, запинаясь от волнения, стал рассказывать Саиде суть того, что прочел два часа назад, правда, кое-что опуская, потому что хотел оберечь ее от особенно обидных подробностей.

Саида была поражена: ей и в голову не приходило, что Каландаров может куда-то, тем более прямо в область, поехать с заявлением на нее, однако она не выразила ни тревоги, ни страха, а, напротив, стала сама успокаивать Казимбека, снова побледневшего от стыда за отца и от тревоги за нее.

— Если Арсланбек-ака решил поехать с заявлением на меня прямо в обком,— спокойно и даже чуть-чуть насмешливо говорила Саида,— это значит, что он начал считать меня силой. Ну что ж, теперь я, выходит, могу чувствовать себя на своем месте!

Она замолчала, потому что такого железного спокойствия больше чем на одну фразу у нее все-таки не хватило. Среди всех ссор, стычек и препирательств, то и дело бросавших ее из жара в холод и обратно, она в то же время успела привязаться к своему трудному председателю, и неожиданный поступок Каландарова — что бы она там ни говорила — больно ранил ее.

— А скажите,— спросила она после долгого молчания,— это заявление написано рукой вашего отца?

— Нет, на почерк отца не похоже.

— Ну, тогда, безусловно, его писал ваш будущий тещь, — сказала она, усмехнувшись и сама до конца не понимая, зачем ей в эту минуту понадобилось уколоть Казимбека.

А он, как ужаленный, мгновенно затормозил машину и в упор взглянул на Саиду.

Она сидела неподвижно, так и не успев стереть с лица свою неуместную улыбку. Сидела и безотчетно ждала чего-то, что вот сейчас, именно сейчас, должно было произойти.

Казимбек схватил ее за руку и с неожиданной силой повернул

лицом к себе.

— Не говорите! Не смейте мне этого говорить!

Увидев его глаза, полные упрека, мольбы и обиды, Саида поняла, что слишком зло пошутила, и остатки улыбки исчезли с ее лица.

— А что я такого сказала? Разве...

Все-таки наша Саида любила самую чуточку полукавить, и она задала свой откровенно лукавый вопрос, чтобы услышать от Казимбека то, что она хотела от него услышать. Но в эту минуту вдали показался пыливший им навстречу знакомый «газик» Каландарова.

Увидев изменившееся выражение ее лица, Казимбек посмотрел в ту сторону, куда глядела Саида, и, рванув с места машину, крикнул ей:

— Нагнитесь пониже!

Саида послушно согнулась и наклонилась влево, так, что голова ее едва не легла на колени Казимбеку.

Приподняв правую руку, лежавшую на руле, и легонько придерживая ею плечо Саиды, как бы молчаливо говоря этим: «Вот так и лежите, не двигайтесь!», Казимбек продолжал гнать машину навстречу отцу.

Машина Каландарова ветром пронеслась мимо них на восьмидесятикилометровой скорости.

Саида хотела приподняться, но Казимбек все еще придерживал локтем ее плечо. «Москвич» замедлил ход, накренился и встал, тихонько ударившись обо что-то.

Ощутив на своем лице горячее дыхание все ниже и ниже наклонявшегося к ней Казимбека, Саида, задохнувшись от волнения, прошептала:

— Зачем... Я обижусь!

Казимбек поспешно — кто знает, может быть, даже слишком поспешно — поверил ей. Он отпустил руку, поднял голову: еще немножко, и он бы, кажется, попросил у нее прощения.

Удобно усевшись на свое место, Саида уже неторопливо и уверенно поправила волосы и очень ласково, но с оттенком власти, вдруг появившейся в ее голосе, сказала Казимбеку:

— Давайте поедem домой, хорошо?

Всю обратную дорогу они молчали. Казимбек чувствовал себя смущенным, а Саида искоса виновато поглядывала на его некрасивое, доброе, порозовевшее от смущения лицо. И оно, пока они ехали домой, почему-то стало казаться ей все более и более красивым.

Саида вылезла из машины на перекрестке, не доезжая до правления, и пошла к себе, а Казимбек поехал домой, обещав разузнать, с чем приехал отец, и после этого зайти к ней.

К дому Казимбек подъехал уже в сумерках. «Газик» отца стоял еще у ворот; шофер, приоткрыв капот, копался в моторе. Увидев Казимбека, он, вздохнув, сказал, что Арсланбек-ака, кажется, захворал — всю дорогу от Ташкента до райцентра и от райцентра до дома ехал молча, не сказал ни одного слова, не иначе как захворал! Высказав эту догадку, шофер снова уткнулся в мотор, а Казимбек открыл калитку.

Хурниса, встретив сына посередине двора молчаливым, скорбным вздохом, прошла на веранду и, громко чиркнув спичкой, зажгла висевшую на стене лампу. При ее тусклом свете Казимбек увидел отца. Каландаров лежал на стеганом одеяле в углу веранды. Несмотря на жару, он был накрыт халатом; на белой подушке черной занятой печально лежал ус.

— Как съездили в Ташкент, отец?.. Говорят, вы нездоровы?

— Никогда в жизни еще не чувствовал себя таким здоровым,— не отрывая головы от подушки, каким-то ватным, глухим голосом сказал Каландаров,— Где Саида? Пусть сейчас же разыщут ее!

Казимбек, не теряя времени, побежал к воротам, но на полпути его схватила за рукав мать.

— Не иначе беда стряслась,— испуганно прошептала она в лицо сыну.— Спрашиваю — молчит, опять спрашиваю — опять молчит!

— Ничего,— отмахнулся Казимбек.— Вот приведу Саидахон — и все выяснится!

Услышав шаги поднимавшихся на веранду Саиды и Казимбека, Каландаров присел на одеяле и протянул руку Саиде.

Казимбек прибавил в лампе огня и с тревогой посмотрел на отца.

Лицо Каландарова заметно осунулось, а веки покрасневших глаз чуть-чуть подрагивали.

Ни словом не ответив на вопрос Саиды о его здоровье, Каландаров жестом пригласил ее сесть.

Саида опустилась на одеяло, Казимбек присел на перила, а поднявшаяся со двора Хурниса робко остановилась на ступеньке.

Каландаров, словно он никак не мог найти удобного положения, с минуту посидел, потом прилег, облокотись на подушку, потом снова сел. Кажется, он хотел заговорить, очень спокойно и долго готовился к этому, но спокойствие ему никак не давалось, и, несмотря на все свои

старания, заговорил он отрывисто, после каждой фразы переводя дыхание.

— Ездил в Ташкент... Видел там товарища Кадырова... Просил он привет передать... Вам обоим... И тебе тоже...— Каландаров кивнул поднявшейся на одну ступеньку жене.— Большой привет он передал... А сейчас уйдите! Мне надо поговорить с Саидахон...

Хурнису как ветром смело, но побледневший Казимбек остался. И отец сделал вид, что не заметил.

Бросив себе на колени подушку, Каландаров долго молча сидел, нагнувшись вперед, обняв ее обеими руками и низко опустив голову.

И только когда Саиде показалось, что это молчание никогда не кончится, он наконец заговорил окрепшим, твердым голосом, хотя по-прежнему все еще не поднимая головы.

— Я ездил в обком подавать на тебя заявление.

— Разве? — печальным голосом сказала Саида, еще не понимая, зачем он ей это говорит, и судорожно вздохнула от нахлынувшего на нее волнения.

— Ездил подавать, но не подал. На обратном пути оставил его у товарища Насырова, для сведения, чтобы знал, как я писать умею, там и про него есть... А черновик хочу тебе отдать...

— Эй, Казимбек,— окликнул Каландаров сына,— там в комнате, на этажерке, в большой книге за картонку бумаги засунуты, поищи!

Искать эти бумаги, как мы знаем, Казимбеку было недолго, и через минуту он уже вернулся и протянул их отцу.

— Возьмите их у него,— сказал Каландаров Саиде, не прикасаясь к бумагам,— только в этот черновик еще одна глупость не вписана — про Хамидуллу. Ну да ладно, и так хватит! Читай! А если еще кому захочешь прочесть, тоже читай! А если захочешь всех собрать, всех собери, всем прочитай! — И тут голос Каландарова заметно дрогнул,— Только у меня к тебе одна просьба: тут почерк Ишана, ты его руку знаешь, но ты не сердись на него. Не будь я таким неучем, я бы все своей рукой написал. Весь ответ на мне, больше спрашивать не с кого. А теперь иди к себе и читай!

Каландаров замолчал и уткнулся головой в лежащую на коленях подушку. Кажется, он больше не собирался говорить ни слова, во всяком случае, сегодня...

## ЭПИЛОГ

Прошло несколько лет.

В день открытия съезда женщин Узбекистана у театра имени Навои я столкнулся со своим старым знакомым, корреспондентом областной газеты Агзамджаном. Выяснилось, что нас с ним постигла общая неудача. По мужской самоуверенности мы оба не запаслись заранее пригласительными билетами, а теперь, когда съезд уже начался, их можно было достать только на вечернее заседание.

Посочувствовав друг другу, мы присели на скамейку и, дожидаясь перерыва, разговорились, вспомнили прошлое.

Оказывается, Агзамджан только сегодня утром проводил Каландарова на курорт, куда тот, с некоторой опаской и после долгих уговоров, уезжал впервые в своей жизни. Весь вчерашний день они были вместе. Прочитав во вчерашнем номере «Кзыл Узбекистана» отрывок из повести «Птичка-невеличка», Арсланбек-ака весь день, оказывается, ворчал на автора:

— Мало ли что я когда-то называл Саидахон птичкой-невеличкой, зачем же теперь из этого себе шубу шить? Я давным-давно и в беседе с товарищем Насыровым признал свою ошибку, и на общем собрании пожал ей при всех руку, и сказал: «Хоть ты и правда невеличка, но, оказывается, и в самом деле можешь на своих тонких ланках удержать целое небо!» Было так? Было! А написал об этом писатель? Не написал! Ему б только старое ворошить да в глаза людям тыкать!

Насыров, как и обещал, отозвал Саидахон из «Бустона». Правда, не через год, а через два, и не обратно в райком взял, а послал секретарем в новый большой совхоз в Голодной степи. И Саида уехала не одна, а забрала с собой Казимбека. Может быть, для мужского самолюбия приятнее было бы сказать, что он забрал ее, но уж как-то так вышло у них в семье, что Саида чаще верховодит в разных семейных делах, чем Казимбек, а он, представьте себе, не очень этим огорчается.

На их свадьбе Ишан (с которым Каландаров — сильны все-таки человеческие слабости — так и не смог до конца распрощаться) чуть не испортил все веселье. В то время как отец Саиды Али-бобо, сидя, как всегда, в стороне, бубнил себе под нос свою вечную песню, Ишан вдруг с пьяных глаз заорал: «Великое спасибо отцу, вырастившему такую дочь!»

У Саиды и Казимбека растут двое детей, и Казимбек, говорят, очень доволен своей работой в новой совхозной больнице; здесь он, по

крайней мере, не получает руководящих медицинских указаний от своего отца, и это его очень устраивает.

Секретарем партбюро в «Бустоне» стал Исмаилджан Нурматов, и, говорят, их с Каландаровым теперь водой не разольешь. Может, это и близко к истине, но, наверное, иногда они все-таки ругаются, запершись вдвоем в кабинете,— характеры-то ведь у обоих кремневые...

— А как дела в семье Таджихон? — спросил я.

Агзамджан только покрутил головой.

— Не вышло прока! Разошлись. Таджихон ушла с обоими детьми, оставив Хамидулле все — и дом, и хозяйство, и даже половину платьев своих. Целый год потом Хамидулла подыскивал себе жену по вкусу и наконец выискал где-то в Самарканде. Она ему внушала большие надежды: во-первых, была вдовой какого-то древнего шейха, а во-вторых, пряталась под паранджу не только от мужчин, но даже от встречных петухов... Боюсь, однако, что Хамидулла и с этой женой не уживется,— смеясь, добавил Агзамджан.— В прошлом году заезжал в «Социализм»; проклятые соседки уже и ее сбили с праведного пути — ходит, бесстыдница, без паранджи, собирает вместе со всеми хлопок и даже была уже два раза на собраниях...

Двери театра открылись, и в них показалось несколько женщин.

— Кажется, перерыв,— сказал Агзамджан,— Интересно, что они там обсуждали и что решили без нас, мужчин,— добавил он, улыбаясь.

— Когда женщины берут свою судьбу в свои руки, я не беспокоюсь за правильность их решений,— сказал я.— Наверно, обсудили что-нибудь важное и решили что-нибудь хорошее, такое, что здесь аукнется, а на всем Востоке откликнется.

— А впрочем, что гадать, спросим сейчас у Саиды.

Мы поднялись со скамейки и подошли к дверям театра, поджидая, когда наконец вместе с другими делегатами выйдет и наша Саида.

Интересно, какой она стала за эти годы?

1958



## СКАЗКИ О БЫЛОМ

*Как рыдает напев! Как стремится  
Прозвучать  
Чей-то горестный век..  
Если музыка так им томится,  
Как же прожил его человек?  
Абдулла Арипов*

### НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОВЕСТИ

*Детские годы мои прошли в кишлаках Ферганской долины: Яйпан, Нурсук, Кудаш, Бувайди, Толлик, Алкар, Юлгунзор, Аккурган. И когда в середине тридцатых годов я вспомнил свое детство, оно мне показалось беспорядочным и странным сном: это были времена, когда люди видели в небе хвостатую звезду — комету, а караульщик стрелял из ружья в Бабара, но тот остался жив. Тогда караульщик воскликнул: «Клянусь аллахом, впервые встречаю такого упрямого вора! Выстрелил я почти над его головой, а он и глазом не моргнул!»*

*У меня таких воспоминаний было множество. Чаще они всплывали на поверхность, но были и такие, что долгое время оставались где-то в глубине сознания. И остались бы там, если бы не Антон Павлович Чехов.*

*Тридцать лет тому назад мне в руки попало собрание сочинений Чехова. Я прочитал эти книги буквально за несколько дней. Произошло что-то удивительное, словно автор великолепных рассказов, мой глубокоуважаемый учитель дал мне свои очки. «Надень их и оглянись на прошлое своего народа»,— сказал он.*

*Я точно выполнил этот его наказ и увидел, что «злоумышленник» Антона Павловича, пытавшийся отвинтить гайки на железной дороге, и «упрямый вор» Бабар, который шел туда, куда ему было велено идти, или стоял там, где ему было приказано стоять, были как бы двумя половинками яблока с древа эпохи.*

*Так проснулись в моем сознании картины детства, и прошлая жизнь еще полнее предстала перед глазами. Может, потому и родились в середине тридцатых годов полные горя и печали мои рассказы: «Вор», «Больная», «Националисты», «Городской парк». Они хорошо были встречены читателем. Однако эти рассказы, хотя они переиздаются и поныне, уже тогда вызвали возражения у многих. Жизнь, изображенную*

в них, молодежь считала очерненной.

Проходили годы, и с появлением нового поколения читателей эти возражения приобрели еще более резкий характер.

Упреки молодых читателей в последние годы стали сильней.

В 1960 году я написал рассказ «Страх» о прошлом узбекской женщины. И то, что в этом рассказе я заключил восемь женщин в гарем старого Алимбека-додхо, одной читательнице показалось оскорблением женской чести. Я получил от нее письмо без подписи и адреса.

«...Может, в прошлом все действительно было так, как вы описали в своем рассказе. Но стоит ли теперь, спустя столько лет, ворошить печальные страницы истории? Мне кажется, когда описываете картины прошлого, вы впадаете иногда в сочинительство...»

После таких обвинительных писем мне захотелось без всякого «сочинительства» описать прошлую жизнь, все, что видел, пережил и что осталось в памяти. Один из критиков, уже прочитавший несколько новелл из моей книги в газетах и журналах, недоверчиво и опасно воскликнул: «Не сгущены ли здесь краски? Не оставит ли эта книга у читателя слишком тяжелое впечатление?» Этот критик родился в 1930 году. Я не сомневаюсь в том, что молодежь, родившаяся позже него, может высказать свои подозрения куда более резко. Я хотел назвать свою повесть «Страницы былого», но, чтобы успокоить моих читателей, назвал ее «Сказки о былом».

**Абдулла Каххар**

## **НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА**

В Яйпане мы жили во дворе пекаря деда Алима. Посреди тесного маленького дворика, половину которого занимала пекарня, росли астры, желтоцвет, райхан, чабрец, заботливо ухоженные моей мамой. Низкий глинобитный дувал был весь испещрен дырочками, похожими на ласточкины гнезда. Дверь в доме была одностворчатая; маленькое, низкое, почти у самой земли, окошко выходило на айван — небольшую террасу. Чтобы скрыть от чужого взгляда то, что делается в доме, на окно была наклеена промасленная бумага. В доме было сыро и настолько темно, что нельзя было различить друг друга на расстоянии двух шагов. Вторая половина двора, которую занимал сам хозяин, тоже была небольшая, но вся увитая густыми виноградными лозами. Правда, это не спасало от изнуряющей жары в летнюю пору.

Жена деда Алима, женщина уже немолодая, целыми днями пряла пряжу, изредка забегая к нам перекинуться словечком-другим с мамой. В ее глазах мы были несчастными людьми. Она знала, что мой отец, кузнец Абдукаххар, без конца кочует с места на место в поисках хорошей работы, и потому жалела нас. Утешая маму, она говорила:

*Кто не странствовал за солнцем следом?  
Прожил жизнь, не быв ничьим соседом?  
Кто себя, осевши на чужбине,  
чужаком не чувствовал при этом?*

Старики жили одни. Сын деда Алима батрачил у кого-то из баев, дочь они недавно выдали замуж. Алим-бува вставал рано, еще до восхода солнца, пек лепешки и, сложив их в корзину из ивовых прутьев, выносил и раскладывал на прилавке перед домом. Потом он исчезал в саду и появлялся только перед вечерней молитвой. Пересчитывал деньги, и, если выручки не хватало, он начинал ворчать, но не потому, что денег было мало по сравнению с проданными лепешками, а просто он жалел человека, который попадет в ад за то, что украл хлеб у ближнего своего.

Стояли жаркие дни. Хотя двор наш был тенистым, в доме было полно мух. Однажды отец, закрыв наглухо дверь и окна, устроил дымовую завесу. Дым был настолько едким, что отец, еле дыша, вышел из дома и долго кашлял. Узнав о его действиях, дед Алим обиделся и, подойдя к дувалу, сказал:

— Не обижайте божьих тварей, уста. И мух тоже бог создал, вселил в них души!

Отец тотчас же прекратил травить мух.

Как-то к нам заглянул мой двоюродный брат — племянник отца, который охотился недалеко от нас, в Пасткурике. Патроны у него кончились, и он забежал к нам набить новые. Несмотря на то, что мама мне строго-настрого наказала не подходить близко к брату, я с любопытством наблюдал, как он заправляет гильзы. Брат поджег немного пороха и показал мне, как он горит, и, взяв пистон, сверху красный, а внутри белый, стукнул по нему камнем — раздался выстрел, я от испуга вздрогнул, а потом запрыгал от радости. Улучив момент, когда брат был занят набивкой патронов, я спрятал два пистона под палас. Когда он уехал, не знаю почему, я поймал муху и, зажав ее между

двумя пистонами, положил на наковальню и изо всех сил стукнул по ним молотком — так грохнуло, что мама, которая, разговаривая с женой Алима-бува, перекапывала цветник, схватилась за поясицу и упала в кусты райхана. А старуха от испуга свалилась на мою маму и закричала: «Что ты наделал, сорванец! Иди сейчас же позови отца!»

Мама лежала, охая, и все же не забыла крикнуть мне: «Надень чарыки!» Я быстро на босу ногу надел чарыки и выбежал на улицу. Кузница наша стояла на перекрестке возле самого базарчика, и оттуда слышался стук молотка о наковальню. Отец раздувал мехи кузнечного горна; увидев меня, он испуганно подбежал и спросил: «Что случилось?» Ничего не объясняя, я сказал ему, что мама плачет. Развязав фартук, отец вышел из кузницы и, вскочив на свою «шайтан-арбу», как тогда называли велосипед, помчался домой. От испуга я остался стоять как вкопанный. На другой стороне перекрестка, там, где располагались лавки торговцев, на деревьях висели разноцветные клетки, и оттуда доносилось несмолкаемое кудахтанье кекликов — горных куропаток — и пение перепелов.

Я вышел из кузницы, перешел на противоположную сторону, и только успел подойти к лавке, где кудахтала горная куропатка, как меня позвал отец. Он слез с «шайтан-арбы», завязал фартук и укоризненно покачал головой: «Что же ты в маму стрелял?! Разве можно стрелять в маму, которая тебе подарит братика?» Папа сунул мне в руку конец веревки кузнечного горна. Я понял, что ничего страшного не произошло, и молча принялся раздувать мехи.

Папа взял из печи докрасна раскаленный кусок металла, положил его на наковальню и стал пробивать дырку. Маленький, с горошину, шарик скатился с наковальни на пень, а с пня прямо мне в чарыки. Чарыки впопыхах я надел неправильно: левый на правую ногу, а правый на левую. Шарик прилип к моей ступне. Я закричал от боли. Папа быстро стащил с моих ног чарыки и, подняв меня на руки, положил на скамью. Когда я опомнился, надо мной уже сгрудилось несколько человек. Один обмахивал меня полотенцем, другой дул на рану... Кто-то сказал: «Да этот мальчик герой, он совсем не плачет, а ржет, как жеребенок!» Хотя нога у меня очень болела, я перестал плакать. Но тело дрожало, и слезы сами по себе градом катились из глаз. Какой-то старик приложил к моей ране кусок обгоревшего войлока и перевязал ногу тряпкой. Один из папиных приятелей сунул мне в руку большой леденец и розовый пряник, по форме отдаленно

напоминающий коня. Когда я совсем успокоился, папа сказал мне: «Настоящий кузнец в огне закаляется!» — и погладил по голове.

К вечеру папа закрыл кузницу, посадил меня на спину, и мы отправились домой.

Мама, узнав о том, что я обжег себе ногу, чуть не лишилась чувств. Да так и не вспомнив, зачем она меня послала к отцу, стала ругать себя за то, что отпустила меня одного в кузницу. Похоронившая восьмерых детей, мама не доверяла меня никому и потому не отпускала от себя ни на шаг. Теперь она даже забыла, что утром я напугал ее. Отец с матерью, удивляясь, говорили о ловкости и смелости такого маленького существа, как я, который один сумел сходить в кузницу. Словно все беды и несчастья, какие только есть в мире, поджидали меня на моем пути, а я, ловко увернувшись от них, добрался до отца.

После этого в глазах родителей — «слава аллаху!» — я заметно вырос и уже вполне самостоятельно мог выходить на улицу, но с условием далеко от дома не забредать. Правда, еще ни разу я не возвращался с улицы веселым. В первый же день моей самостоятельной прогулки я свалился в канаву. На узком мостике через канаву лежала связка стеблей кукурузы; пытаясь сбить ее ногами в воду, я поскользнулся и полетел вниз. Кто-то из прохожих вытащил меня. Со слезами на глазах я возвратился домой со своей первой прогулки. Мама была напугана больше, чем я; она подвела меня к очагу, побрызгала мне в лицо водой, даже забыв снять с меня мокрую, прилипшую к телу рубашку; потом подожгла кусок тряпки и, повертев ею несколько раз вокруг моей головы, выбросила — так она меня лечила от испуга. После этого случая мне долгое время не разрешали выходить на улицу. А однажды я сидел на пороге дома и лепил из глины разные фигурки, как вдруг со стороны базарчика показалось несколько всадников. Это были казаки. Я никогда раньше не видел их. Заглядевшись на синие фуражки с красными околышами, из-под которых торчали длинные чубы, на их необычную одежду, я и не заметил, как далеко ушел от дома. Когда я огляделся — вокруг было поле. Я сразу повернул назад, но вскоре убедился, что ни дома, ни даже своей улицы мне не отыскать. Я сел на развилке дорог и заплакал. На мое счастье, подъехала арба. Сойдя с лошади, арбакеш обо всем расспросил меня. Оказалось, что он знал моего отца; посадив на арбу, он отвез меня домой. Об этом случае я матери не рассказал — знал, что она перестанет пускать меня на улицу. Но арбакеш все рассказал моему отцу, и мама, узнав о моих

злоключениях от папы, страшно обеспокоилась:

— Боже ты мой, повезло тебе на этот раз! Что бы мы делали, если бы казак взял тебя за ногу и ударил бы об землю? Или увез бы тебя с собой! Запомни, если увидишь русского, беги домой. Лучше не попадайся ему на глаза!

А папа похвалил меня:

— Молодец! Да ты, я вижу, смелый парень. Взрослый и то робеет при виде казака.

И то, что я не испугался казаков, и то, что я уже мог самостоятельно ходить в кузницу, радовало моего отца. После этого мне позволялось свободно ходить на прогулки и даже заходить на соседние улицы. Если ребята не принимали меня в свой круг, я наблюдал за их игрой со стороны и, когда мне надоедало это занятие, спокойно возвращался к себе домой.

Пришел месяц рамазан. По утрам нас будила барабанная дробь или звуки сурная, чем-то напоминающие мне блеяние козы. Я представлял себе уразу как что-то интересное и загадочное. Несколько раз я поднимался рано, до восхода солнца, вместе со взрослыми пробовал соблюдать пост. Но самым интересным для меня оказались базаршабы — ночные базары. Отец однажды водил меня на такой базар.

От перекрестка и до самой площади во всех ларьках и будках горело бесчисленное множество керосиновых ламп и свечей. Народу видимо-невидимо. Крик, шум, смех, песни неслись отовсюду. «Хлеб горячий! Горячий хлеб!», «Самса горячая! Полезна и питательна! Особенно на завтрак! Бери у меня, глотай не жуя!» — зазывали продавцы. Между ними, рассыпая на земле искры, сновали ребяташки с бенгальскими огнями. Взлетела из-за деревьев к небу ракета и, взорвавшись, рассыпалась на множество огоньков, похожих на яркие звезды.

Папа повел меня в чайхану. Там тоже было много народу. Большая лампа, висевшая прямо над головой, ярко горела. Мы прошли мимо сури — низких деревянных настилов, на которых сидели люди, и поднялись на айван. Кто-то подхватил меня под мышки и посадил на ковер. Рядом со мной освободили место моему отцу. То ли под сури, то ли над ней кто-то очень тонким, но звонким голосом пел песню. Я стал озираться по сторонам. Папа толкнул меня в бок и указал на небольшой ящик с огромной трубой, по форме напоминающей цветок повилики, оттуда доносилась песня. Я много раз слышал о заводном ящике, который поет, но видеть его мне раньше не приходилось. Раскрыв рот

от удивления, я долго глядел на граммофон. Когда песня кончилась, чей-то голос из трубы произнес: «Молодец, Хамрокул-кары!» Мне показалось, что в этом желтом ящике было заперто много-много маленьких человечков.

А потом вдруг совсем рядом раздался какой-то треск. От испуга я прижался к отцу, но он успокоил меня: «Не бойся, сынок, это ракета!» Я посмотрел в ту сторону, где была толпа. По кругу, как лягушка, прыгал огненный шар. После каждого треска он подпрыгивал выше человеческого роста. Многие, как и я, испуганно шарахались в стороны, а толпа весело смеялась. Тут заговорили о ракетах, фейерверках, и один бородатый старик рассказал такой случай. Был в Ходженте знаменитый мушакбоз. Пригласили его на свадьбу к одному баю устроить фейерверк, так этот самый мушакбоз, привязав к поясному платку четыре ракеты, взлетел выше тополей. Хорошо, люди поймали его за веревку, привязанную к ноге, да спустили на землю. Все слушали старика и удивленно качали головами.

Снова завели граммофон. В другом углу чайханы завертелась волчком ракета, извергая дым и пламя. Потом началось представление, которое называлось «Буваковок».

Маленький человечек с узкими глазами, вероятно киргиз, появился из-за камышовой циновки. Он положил на сури три бурдюка с кумысом, расстелил коврик и, удобно расположившись, пощелкивая пальцем по косе, стал расхваливать свой товар. Из-за той же циновки верхом на белом ишаке выехал высокий человек с большим животом, с длинной бородой, расчесанной на две стороны. Это и был Буваковок. Проезжая мимо киргиза, он спросил: «Сколько стоит твой кумыс?» Киргиз, расхваливая свой товар, ответил: «Одна коса две таньги!» Буваковок недовольно покачал головой и предложил за десять кос одну таньгу. Киргиз не согласился и даже накричал на него. Люди стали смеяться над продавцом кумыса. Буваковок сошел с ишака, подошел к киргизу, развязал один бурдюк и попробовал кумыс. Потом подошел ко второму бурдюку, проделал то же самое. Киргиз, схватив развязанные бурдюки, крепко зажал им горловины, чтобы кумыс не выливался. А Буваковок тем временем оттащил в сторону третий бурдюк и снова наполнил кумысом косу. После каждой осушенной чаши он приговаривал: «Десять кос одна таньга! Согласен?» Киргиз топал ногами, кричал, но отпустить развязанные бурдюки не мог. Люди же весело смеялись.

Теперь за меня не беспокоились. Я целыми днями бегал по

соседним улицам, играл с мальчишками в разные игры и возвращался домой поздно вечером весь вывалянный в пыли, с порванной рубахой и штанами. Но мама не ругала меня. Она радовалась, что я начал проявлять самостоятельность. И вот, когда я нашел себе хороших друзей на нашей улице, мои родители решили вдруг переехать из этой махалли.

Однажды папа на своей «шайтан-арбе» уехал в Коканд. Возвращаясь вечером из города, он повстречал сестру деда Алима — старуху лет восьмидесяти. Папа промчался на велосипеде мимо нее на большой скорости. Когда старуха увидела, что какое-то человекоподобное существо летит по воздуху, не касаясь ногами земли, она от страха упала в обморок. Собрались люди. Старуху на носилках унесли домой. Папа очень переживал за нее и несколько дней не выходил на улицу. Через три дня сестра деда Алима умерла. Отец от переживаний совсем похудел, а мама целыми днями плакала. Через неделю Алим-бува прислал человека и передал: «Пусть уста не переживает! Он не виновен в том, что произошло, просто пришел смертный час моей сестры. Такова, значит, воля божья! Но пусть он больше не ездит на своей «шайтан-арбе».

На следующий же день папа поехал в Коканд и там продал свою «шайтан-арбу». Повстречав деда Алима, папа принес ему свои извинения, а чтобы искупить вину, сделал старику два кетменя и один топор. Но дед Алим, видно, не понял благих намерений моего отца и заплатил ему за все.

На этом вроде бы все успокоилось, и нелепый случай с «шайтан-арбой» стал забываться. Но прошла еще одна неделя, и произошло такое, после которого нам пришлось переехать в другой кишлак.

Отправившись утром в кузницу, папа повстречал в переулке женщину в парандже. К ее подолу со спины прилип куст верблюжьей колючки. Папа хотел снять эту колючку и наступил на куст ногой. Колючка отстала, дернув за подол,— женщина обернулась, взглянула на папу и пошла себе дальше. Это была старшая дочь Алима-бува, недавно вышедшая замуж. Дома она рассказала отцу, что Абдукаххар-уста заигрывал с ней и дергал за паранджу.

Рано утром голос деда Алима гремел на весь квартал:

— Эй, шайтан-арба! Эй, пришелец! Выходи! Выходи, и я покажу тебе, как заигрывать с чужими женами!

Мы ни разу не слышали, чтобы он так шумел. Ведь Алим-бува был



очень тихим и спокойным стариком. Отец испуганно смотрел на мать. Она, растерянная и бледная, боялась выйти из дома. Папа вышел со двора на улицу. Я последовал за ним. Я совсем не узнал деда Алима. Передо мной стоял совершенно другой человек. Старик стоял, вытащив руку из рукава чапана, словно готовился к кулачному бою. Прежде всегда добрый и ласковый, он звал меня «дитя мое», а теперь из его уст лилась такая брань, какую я отроду не слышал. Выпученные глаза готовы были выскочить из орбит. Лицо старика казалось бледнее его седой бороды. Он весь дрожал от негодования. Как только вышел мой отец, на него посыпались оскорбления. То и дело слышалось: «Пришлая собака...» Все, что ему с преувеличениями рассказала дочь, в его воображении обрело еще большие размеры, и он выложил это моему отцу. Папа стоял, виновато склонив голову, и только повторял:

— Алим-бува, послушайте меня!

Но старик не давал ему и рта раскрыть, а все грозился, ругался, махал перед его лицом руками.

— Сейчас же собирай вещи, пришлая собака! Убирайся из моего дома!..

Дед Алим кинулся во двор и, пройдя мимо застывшей в испуге матери, вошел в дом.

Мой папа, все повторяя: «Отец, послушайте меня!», кинулся за ним.

Старик вытащил из дома наши одеяла и швырнул их на улицу в пыль. На шум сбежались соседи. Никто не пытался мешать деду Алиму. А кто-то даже крикнул:

— Ничего хорошего нельзя было ожидать от человека, который ездил на шайтан-арбе! Бей его!

Дед Алим, проходя мимо отца, размахивая руками, сказал:

— Ты думал, моя дочь шлюха? Пришлая собака! Не жить мне со своей женой, если я еще взгляну на твою рожу!

Он ушел к себе, на свою половину двора. Но и оттуда еще долго доносилась его грозная брань.

Папа поднял с земли одеяла и занес в дом. Мама с растрепанными волосами стояла у стены и плакала. Папа, пытаясь успокоить ее, рассказал о том, что произошло на самом деле.

— Сейчас старик в гневе и слушать не хочет меня. Он поклялся, что не будет разговаривать со мной. Но потом он поймет свою ошибку, и ему станет стыдно...

— Как вам не совестно заигрывать с чужими женами! Как не

совестно! — всхлипывала мама.

Папа сердито посмотрел на нее, но ничего не сказал и вышел на улицу.

Вернулся он поздно ночью. Как я йотом узнал, папа нашел нам дом в махалле Кошарык и приехал за нами на арбе, запряженной ишаком. Погрузив свой скарб на арбу, мы в ту же ночь переехали в Кошарык.

### «МОЛЧУН»

Махалля Кошарык была значительно дальше от базара. Улица, на которой мы сняли дом, упиралась в рощицу, где протекали два больших арыка. Место это матери очень понравилось: посреди двора росло большое тутовое дерево, старенький светлый домик с пристроенным к нему айваном стоял в глубине.

Ближе к вечерней молитве я вышел на улицу. С шумом и криками по ней носились ребята. Они играли в новую для меня игру. Играющие разбиваются на две команды и, взявшись за руки, выстраиваются в цепи на расстоянии тридцати шагов друг от друга. Старший одной команды, обращаясь к другой, кричит: «Тополь белый, тополь синий, кто из нас тут самый сильный?» Старший второй команды отвечает: «Такой-то!» Избранник должен разбежаться и со всей силы ударить по цепи. Если он прорывал ее, то забирал в свою команду одного пленного, если нет — сам оставался у противника. Я тоже присоединился к одной из играющих сторон. Играли мы долго. Ни одна из команд так и не пополнила своих рядов. Я с нетерпением ждал, когда назовут мое имя. Я бы постарался порвать цепь и привести одного пленного. Но никто так и не назвал меня.

Я совсем забыл, что ребята не знали моего имени.

Когда надоело играть в эту игру, долговязый парень, больше всех кричавший на ребят, подошел ко мне и, оглядев с головы до ног, сказал:

— Пришелец!

— Сам ты пришелец! — ответил я и стал пятиться. Мальчишка подскочил и дал мне подзатыльник. Я не хотел отвечать тем же — их было много, и могло кончиться для меня плачевно. Ребята так и носились вокруг меня, как воробьи, завидевшие змею. В это время высокий худой старик в белом чапане, следивший за нами, сказал:

— Оставьте в покое его, ребята! Не трогайте! Ведь он не сам захотел стать пришельцем, бог за грехи его так наказал.

Ребята сразу же разошлись. И если раньше я слышал от Алима-бува слова «пришлая собака», звучавшие для меня как оскорбление, то не думал, что обычное слово «пришелец» вызывает отвращение. Эти слова старика очень сильно ранили мою душу. Я ушел к себе во двор. Ничего об этом родителям не рассказал. Я схоронил все это в душе. С этого дня мне стали безразличными все мальчишки нашей махалли, и мне расхотелось выходить на улицу.

Вскоре мама родила мне сестренку. И даже это не обременяло меня, хотя я целыми днями носился по дому, помогая матери. После родов она захворала. Правда, соседи не оставляли нас без внимания: женщины пекли лепешки, стирали наше белье. Зато все остальные дела по хозяйству легли на меня. Каждый день по два раза я подметал двор и комнаты, ходил за дровами, помогал отцу готовить обед, мыл посуду, носил воду, стирал пеленки Ульмасой.

Болезнь у мамы была какая-то странная: ее мучила сильная жажда, потом судорогой сводило руки, и она лежала, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Папа хотел привести знахаря, но мать не согласилась. «Это оттого, что во дворе у нас нечистый дух поселился»,— сказала она. Как-то мама лежала, глядя в окно, и увидела, что через проем в дувале у тутового дерева пролезла к нам во двор черная коза и вдруг на глазах исчезла. По ее мнению, это был джинн. Вот отсюда и все ее болезни, считала мать. Отец купил Коран, подложил ей под подушку. Но и это не помогало. Приступы участились. Кто-то из отцовских друзей посоветовал ему сходить к Учармахсуму. Его молитва вмиг ее вылечит, говорили ему. Учармахсум славился на всю округу как великий знахарь. Ходили слухи, что его молитва изгоняет все болезни, раскрывает тайны и что он силой одних только заклинаний отпирает любые замки. Учармахсумом, крылатым, прозвали его за то, что он вмиг появлялся там, куда его приглашали.

И у нас он появился неожиданно. Учармахсум словно влетел в комнату, такой он был худой и маленький, сел неподалеку от матери, лицо которой было укрыто платком, и, покачиваясь из стороны в сторону, стал читать молитву. У Учармахсума были круглые светлые глаза, из-за редкой бороды и темного рябого лица нельзя было установить его возраст, однако во рту у него не было ни одного зуба. После этого он приходил к нам еще несколько раз. В те дни, когда он был занят, я бегал к нему домой и приносил матери бумажки, исписанные разными молитвами. Мама опускала эти бумажки в пиалу с

водой, держала их там, пока не растворились чернила, и пила.

А как-то Учармахсум пришел к нам со своими девятью учениками, знавшими наизусть Коран. Они сели по обе стороны от мамы и стали читать сорокакратную молитву — это был какой-то особый вид лечения от болезни, после которого больному становилось либо лучше, либо хуже. Через две недели мама поправилась.

После того как мама почувствовала себя лучше, к нам в гости пришли соседки. По обычаю, каждая принесла с собой что смогла. Они быстро приготовили плов. Большинство гостей были веселые, жизнерадостные женщины. Одна из них, толстая женщина, взяла маму за руку и, как цыганка, стала гадать:

*О святые! О пророки!  
Мы погрязли во грехе.  
Я про все ее пороки  
прочитаю по руке...*

Женщины смеялись, слушая ее. Но больше всех смеялась мама. Я ни разу не видел, чтобы она так заразительно хохотала.

Другая женщина, чуть помоложе толстухи, рассмешила всех, давая мужчинам махалли прозвища. Мадамин-растеряха — он всегда терялся при виде женщин; Гани-шатун, этот был высокий и сухопарый и, когда ходил, шатался из стороны в сторону; Нурмат-неуравновешенный... Она ловко изображала, кто как ходит, как разговаривает. Женщина дала папе прозвище «корноухий». Ну и смеялись все! А мама удивилась — столько лет прожив с отцом, она и не знала, что у паны ухо с щербиной.

Когда женщины утихли, толстая женщина, та, что гадала маме, заметила меня, подозвала к себе и, погладив по голове, сказала:

— Мама твоя поправилась, ты не сиди с женщинами, иди погуляй!

Я промолчал. Я никому не говорил, что не люблю махаллинских ребят за то, что они обзывают меня пришельцем.

— На базарную площадь цирк приехал. Ты был в цирке? — спросила она.

Я молчал. Тогда в разговор вмешалась молодая женщина, та, что давала всем мужчинам прозвища:

— Отвечай же! Что у тебя, языка нет?

Я совсем растерялся. Толстуха схватила меня за уши и потерлась головой о мой лоб.

— Будешь говорить или нет?

Мама, вероятно, забыла, как сама не пускала меня на улицу, когда мы жили у Алима-бува, что я целыми днями нянчил сестренку да помогал маме по хозяйству и никто из взрослых со мной почти не разговаривал. Она сказала:

— Он у нас «молчун»!

Толстуха взяла меня крепко за руку:

— Будешь говорить или нет, а не то я упрячу тебя под подол! — Она привстала с места, как бы собираясь привести в исполнение свою угрозу.

Я вырвался и убежал. Женщины смеялись и говорили обо мне. До самого их ухода я просидел на пороге дома.

Через несколько дней к нам в гости приехали мамины подруги из соседнего кишлака. Они тоже заметили, что я все время молчу, и одна из них сказала: «Хороший мальчик у Абдукаххара, да жаль, немой!» После ухода гостей мама об этом рассказала папе.

Наступила осень. У папы прибавилось работы, и он взял меня к себе в помощники. «Поработаешь, пока найду себе ученика», — сказал он. Я каждый день вставал рано и вместе с отцом отправлялся в кузницу. Он поставил меня раздувать мехи. Работа была несложная: дергай за веревку вниз, потом отпускай, дергай — отпускай.

Никому до меня дела нет, разговаривать ни с кем не надо. Хоть и скучно, но я был рад этому: по крайней мере, никто не дразнил меня «пришельцем».

Однажды к нам в кузницу пришел высокий, в ковровой тюбетейке каратегинец Додарходжа. И с ним, точно в такой же тюбетейке, пестром чапане, босой подросток, который оказался его младшим братом. Звали его Куляля. Додарходжа вот уже двенадцать лет работал на маслобойне у Артыка-аксакала, и Куляля вместе с братом ходил по кишлакам, продавая масло, кунжут, халву. Додарходже недавно удалось на время устроить Кулялю учеником к жестянщику, но там ему не понравилось. Додарходжа сказал: «Абдукаххар-уста, обучите моего брата ремеслу кузнеца. Большого от вас не требую. Век вам буду благодарен». Отец принял Кулялю к себе учеником и даже пообещал платить ему за работу. Куляля, сияющий от восторга, взял из моих рук веревку. Но я не испытывал никакой радости: опять мне придется сидеть дома с сестренкой и мамой, которая будет пытаться выудить из меня хоть одно слово. Я стал сторониться людей и искать уединения. Это всерьез

обеспокоило моих родителей. Мама настояла на том, чтобы пана сводил меня к Учармахсуму. Учармах сум долго читал молитву и дал мне на кончике пальца лизнуть своей слюны. После этого я стал избегать даже своих родителей. Я ни с кем не разговаривал потому, что когда начинал что-нибудь говорить и задумывался над этим, то забывал то, о чем собирался сказать.

### «ЗИНГЕР-БАЙ»

Однажды Куляля прибежал из кузницы и, задыхаясь от бега, сказал маме:

— Апа, Абдукаххар-уста просит дать семь с половиной таньга. Он хочет купить «Зингера».

Мама, даже не поинтересовавшись тем, что такое «Зингер», ушла в дом и вынесла небольшой узелок с деньгами. Считать она не умела и потому, ни слова не говоря, протянула его Куляле. «Наверное, «Зингер» что-нибудь интересное», — подумал я и побежал за ним.

На перекрестке, прямо против кузницы отца, была торговая лавка с небольшой террасой. Сейчас там было много народу, и на сандале — низком деревянном столике. — стояла какая-то большая, черная и блестящая вещь, чем-то похожая на жука. Все смотрели на нее с тревогой и удивлением. Те, кто посмелее, осторожно прикасались к машине. Из лавки, вслед за городским человеком в пиджаке с отложным воротником, вышел папа. Куляля одним прыжком очутился на айване и протянул ему деньги. Отсчитав семь с половиной таньга, папа отдал их горожанину, а тот, присев на край сандала, стал что-то писать, разложив на коленях бумагу.

Гомон не смолкал. Обсуждая покупку, люди говорили разное: Машина, что шьет шапки!

— Вай, гнусавый, государство не такое глупое, чтобы дать тебе машину, что шьет шапки!

— Говорят, эта машина и косоворотки шьет, и пиджаки!

— Верно, стоит только ручку покрутить, а ткань там, внутри машины!

Горожанин протянул папе исписанную бумагу, взял несколько разноцветных лоскутков, лежащих на сандале, прострочил их на машине и, чтобы показать, насколько крепко они сшиты, изо всех сил стал тянуть, стараясь порвать. Ткань лопнула, но не по шву — шов

остался целым. Все ахнули. «Вот это да!» — воскликнул кто-то из толпы. Один из тех, кто посмелее, подошел поближе.

— Вот здорово! Скажите, а на ней подпругу сшить можно?

— Все можно! Даже кошму можно залатать! — ответил горожанин и, повернувшись к толпе, рассказал об условиях торга.

Машина стояла сорок восемь таньга. Но если заплатить за нее семь с половиной таньга, то можно ее купить с рассрочкой на шесть месяцев.

Отец взял машину и подал ее Куляле. Толпа оживилась, загудела, как улей. Люди толкали друг друга, лезли вперед, стараясь взглянуть уже не на машину, а на ее владельца. Они смотрели на моего папу с завистью. Куляля взвалил машину на плечо, и мы с ним пошли домой. За нами бежала толпа любопытных мальчишек.

Весть о том, что уста Абдукаххар приобрел «Зингера», мигом облетела махаллю. И через какой-то час к нам началось паломничество. Приходили люди чуть ли не со всего кишлака. Среди них была и та толстуха, что укоряла меня за молчание. Она немного разбиралась в швейной машине и тут же, на глазах у всех, из старой скатерти сшила мне рубашку. Я же, как герой, надел ее и вышел на улицу. Ребята кружились вокруг меня и, забыв о том, что недавно обзывали меня «пришельцем», стали упрашивать: «Покажи нам своего «Зингера»!»

Вне себя от радости я побежал домой и затараторил:

— Ребята просят показать им моего «Зингера»!

Толстуха, что учила шить мою маму, взглянула на меня.

— Вай, да у тебя, смотрю, язык появился! — сказала она.

Мама не поняла, видно, отчего я так возбужден, и радостно заметила:

— Спасибо Учармахсуму! Это он своими молитвами выгнал из него беса...

Смущенный, я снял с себя рубашку. А когда через некоторое время вышел на улицу, ребят уже не было.

Спустя два дня махаллю облетела весть: «Надирхон из Кайку-вата тоже купил себе «Зингера».

Там Надирхон-тура, здесь уста Абдукаххар!..

Так мой папа стал известным человеком в махалле. С того дня его прозвали «Зингер-баем». Об этом я узнал от махаллинских ребят.

Радость была недолговечной. Вечером папа приходил с работы, и мама принималась рассказывать ему о новых слухах, ходивших по кишлаку: «не творит намаз», «как приехал в махаллю, ни разу 170 не

приносил жертву злым духам», «людей сторонится», «чем покупать «Зингера», лучше сделал бы обрезание своему единственному сыну!» Слухи с каждым днем все росли. Наконец Куляля принес с базара весть о том, что «Зингер-бай» когда-то на «шайтан-арбе» убил человека.

Родители тяжело переживали все это. Мама плакала. А папа, хоть и скребли у него на душе кошки, как мог старался утешить ее. По словам папы, Алим-бува не требовал возмездия за смерть сестры, ибо он считал ее смерть «волею божьей».

Но все же в слухах была доля истины. И мои родители решили исправиться, устроив той по случаю моего обрезания. Целый пуд риса ушло на плов. Видно, папа с мамой не ожидали такого наплыва гостей и очень удивились, когда на той собралась вся махалля во главе с имамом. «Слава аллаху!» — вздохнули они. За угощением зашел разговор о швейной машине, и имам нашей махалли будто бы сказал, что в одежде, сшитой на «Зингере», нельзя ходить в мечеть.

После ухода гостей папа завернул швейную машину в мешковину и засунул под тандыр. А сам стал по три раза на день ходить в мечеть молиться.

И на этом вроде все успокоились, если бы не новая тревога.

Как-то под утро мама проснулась от плача Ульмасой. Взглянула в окно и видит: перед паласом, закрывающим проход на улицу, стоит какой-то человек; заметив, что мама проснулась, он перемахнул через дувал. А однажды утром мы обнаружили куски глины, отвалившиеся от дувала, под большим тутовым деревом. Хотя в доме у нас ничего такого, что можно было бы украсть, не было, все же стало как-то тревожно. Несколько ночей папа ходил по двору с топором.

— Больших баев закон охраняет, — сказал папа, — Когда в дом Миракила-хлопкоторговца залезли воры, досталось всем, начиная от мингбаши. Даже следователи из города приезжали. А если Зингер-бая обворуют, никто пальцем о палец не ударит!

Папа откуда-то притащил большой черный револьвер. Он был такой тяжелый, что я с трудом удерживал его двумя руками. Револьвер, видно, был неисправный; ночью, закрыв наглухо окна и двери, при свете керосиновой лампы папа починил его, смазал маслом и стал на ночь класть револьвер под подушку. Мама теперь боялась другого: вдруг кто-нибудь проведает про отцов револьвер — и опять начнутся неприятности. И когда приходилось к слову, она говорила не «револьвер», а «машина-кушик» — «граммофон». Папа даже отругал ее:



— Не смей говорить так! Не дай бог, еще пустят слух, что я купил «машина-кушик»!

Как-никак, а благодаря «Зингеру» авторитет мой среди ребят вырос. Они стали принимать меня в свои игры, и вместе с ними я с шумом и криками носился по улицам кишлака.

Но произошли события, после которых мои родители решили переехать из Яйпана в Коканд.

Поздней осенью из Коканда приехал к нам в гости дядя Абдурахман. Дядю я не помнил, хотя когда-то мне и доводилось его видеть. С длинной, клинышком, бородкой, он был очень похож на моего отца. Только чуть повыше ростом и крепче телосложением. Он все время дергал носом и при этом машинально проводил под ним указательным пальцем.

Дядя Абдурахман собирался выдать свою дочь Савринисо замуж за Азима, который был у него в подмастерьях. Он приехал к нам в надежде на яйпанском базаре подешевле купить рис и масло, а заодно сообщить о том, что началась война с Германией. И он предложил нам переехать в город.

С начала войны, оказывается, уже прошло полтора месяца. Об этом и сам дядя узнал только в минувшую пятницу. Элликбаши, останавливая всех шедших на базар, говорил: «Если есть что железное в доме — лом и всякий хлам,— приносите во двор мечети, царскому правительству пригодится». Дядя тогда спросил: «Что же будет делать царское правительство с этим хламом и что оно, как старьевщик, собирает всякие железки?» Элликбаши объяснил, что началась война с Германией и что из собранного лома будут отливать пули.

Хотя мы и не представляли себе, что такое война, но от дядиных слов: «Нам теперь всем лучше быть вместе»—в сердце вкралась тревога.

В базарный день папа с дядей купили рис, масло, и в тот же вечер дядя собрался в обратный путь. Перед отъездом он сказал моей матери:

— На свадьбе, видать, тебе придется хозяйничать. Моя жена, бедняжка, совсем слегла... Вот я и спешу, чтобы она перед смертью хоть свадьбу дочери увидела...

Через несколько дней, погрузив вещи и папины инструменты на арбу, мы поехали в Коканд.

## ГУРИЯ

В Коканд мы приехали в полдень. На улицах народу видимо-невидимо, как в Яйпане в базарные или праздничные дни. Навстречу попадались легкие повозки, запряженные лошадьми с колокольчиками; большие арбы, крытые тентом; люди верхом на ишаках или арбы, запряженные ишаками. По обе стороны улицы в ряд расположились лавки, ларьки, мастерские: отовсюду слышен грохот — стучат о наковальни медники и кузнецы. По улице шел нарядный мальчишка и играл на губной гармошке. Когда мы проезжали по одной из улиц, послышался жуткий вой, как будто целый двор женщин зарыдал в один голос, придя на поминки. Я испугался, а папа сказал: «Не бойся, сынок, это завод Мираббибая народ на работу скликает».

Дом моего дяди находился в махалле Кипчакарык. Зеленый уютный дворик, скрытый от солнца густой кроной деревьев, располагался в низине. Говорили, что на этом месте раньше протекала речка, которую засыпали и стали строить дома. Огромная развесистая ива укрывала тенью чуть ли не половину двора. Нас встретила старушка, одетая во все белое, и худенькая, бледная девушка с пугливыми черными глазами. Она была в желтом платье и красной жилетке. Старушка оказалась матерью папы, моей бабушкой, а девушка — ее звали Савринисо — моей двоюродной сестрой, дочерью дяди. Бабушка обняла папу, а Савринисо, положив голову на грудь моей маме, расплакалась, потом вытерла рукавом слезы и тогда обняла и поцеловала меня. Бабушка и Савринисо повели нас через небольшую постройку, в которой был тандыр и очаг, в темную комнату. Там лежала тяжелобольная жена моего дяди. Она была такая худая и бледная, что, глядя на нее, мне стало страшно. Савринисо взяла меня за руку, и мы вышли во двор. Она повела меня к расположенному в другом конце двора красивому, видно, недавно построенному дому и, усадив на ступеньки, ведущие на террасу, достала из кармана две конфеты. «Скоро Гаффарджан из школы придет. Вместе будете играть», — сказала Савринисо и исчезла в доме. Через некоторое время она появилась, неся в руках большой кусок халвы.

Пришел из школы Гаффарджан. Я сразу догадался, что это он, хотя ни разу до этого его не видел. Не обращая на меня внимания, он швырнул учебники на сури и, подбежав к дереву, стал что-то искать в дупле. Савринисо подошла и что-то шепнула ему на ухо. Гаффарджан стал хныкать. Савринисо что-то еще сказала ему, тогда он сел на землю,

застучал пятками по земле и заплакал. Савринисо вернулась ко мне. Гаффарджан все продолжал орать, только плакал он не беспрерывно, временами он отвлекался чем-нибудь, видимо, позабыв обиду, а когда вспоминал, начинал орать пуще прежнего.

Из дома вышла бабушка и, увидев плачущего внука, подбежала к нему и, глядя по головке, спросила, кто его обидел.

— Я попросила его позвать папу, а он в рев пустился,— сказала Савринисо.

Бабушка прикрикнула на нее:

— Что, не могла соседского мальчишку послать!

Затем она достала что-то из длинного рукава платья и, лаская своего внука, глядя его по головке, отправила гулять на улицу.

Савринисо полила двор и приготовила на сури место для гостей. Не зная, чем заняться, я вышел на улицу. На мосту, у поворота на большую дорогу, стояли мальчишки. Я подошел к ним. Они не чурались меня. Мы разговорились. Только почему-то, когда я говорил, они все смеялись и называли меня кишлачным. Потом я понял: оказывается, я все время окал, а они акали. Например, если хлеб я называл «нон», то они — «нан»; если слово «мальчик» я говорил «бола», то они — «бала». Это я понял потом, а тогда никак не мог разобраться, почему они дразнят меня кишлачным. Я ждал, что Гаффарджан сейчас скажет им: «Этот мальчик наш родственник!» А он даже не позвал меня с собой, когда ребята собрались пойти играть на соседнюю улицу.

Я вернулся во двор. Дядя уже был дома. Савринисо возилась возле очага. Все остальные сидели на сури и о чем-то оживленно беседовали. Речь велась о предстоящей свадьбе.

— Мать ее, бедняжка, все ждет, не может спокойно умереть,— сказала бабушка дрожащим голосом.— Как ни зайду к ней: «Свадьбу когда сыграете? Пока жива, хочу свадьбу дочери увидеть!»... Да я и сама все дряхлею. В свое время ко многим на свадьбы ходила. Хоть и не знаю, кто что принесет в подарок, но надежды у меня немалые. То, что собственными руками отдавала, хочу собственными руками и заполучить.

Легли спать поздно. Савринисо спала рядом с больной матерью. Бабушка с Гаффарджаном и дядей расположились в новом доме. А нам постелили во дворе на сури. Папа с мамой долго не могли заснуть. Лежали и о чем-то шептались. И мне не спалось. Я прислушался:

— Не лежит у нее душа к Азиму,— сказала мама, вздохнув,—

утром прильнула она ко мне на кухне и долго плакала.

Я понял, что речь идет о Савринисо.

Пана рассердился и стал ей выговаривать;

— В своем ли ты уме! Когда-нибудь ты слышала, чтобы девушка вышла замуж за любимого? Или слышала, чтобы какая-нибудь девушка не вышла за нелюбимого? И невесты такой не сыскать, которая бы, уходя из родительского дома, не плакала!..

На следующее утро к дяде Абдурахману пришли в гости две мои тетушки. Мама вдруг набралась смелости и при них, обращаясь к дяде, сказала:

— Савринисо только шестнадцать лет исполнилось, может, повременить с ее замужеством, хотя бы годик-другой?

Смелость моей мамы пришлась отцу по душе. Он хотел что-то добавить в ее поддержку, но дядя, не дав ему заговорить, закричал:

— А ты сама во сколько лет замуж вышла? Четырнадцати не было! Зачем же ты хочешь Саври старой девой оставить?

— Абдурахман уже решил все, и нечего теперь другим добавлять что-либо по этому поводу,— проворчала бабка.

Свадьбу назначили на пятницу, на восьмое число следующего месяца. Утром в проулке Савринисо с плачем бросилась моему папе в ноги, прося защитить ее. Папа как мог успокоил племянницу. «От судьбы никуда не уйдешь! Раз на роду тебе это написано. Не ты первая замуж выходишь, доченька!» — сказал он.

Мне захотелось посмотреть на этого Азима, который был причиной мучений и страданий бедной Савринисо, и я отправился в кузницу дяди. Азим оказался крепким, невысокого роста, широкоплечим парнем с узким лбом и большими глазами. По словам отца, он считался хорошим молотобойцем. Азим был заикой, но, несмотря на это, любил шутить, острить. Когда Куляля, сраженный его остротой, не растерялся и сказал: «Пока вы произнесете мое имя, моя мать сможет родить еще одного Кулялю», Азим не обиделся, а, наоборот, схватившись за живот, долго хохотал.

Когда дядя был у нас в Яйпане, он обещал до нашего приезда подыскать нам какой-нибудь домишко, но ничего подходящего пока не присмотрел. И потому до того, как мы снимем дом и найдем помещение для кузницы, мои родители решили пожить у дяди, тем более надо было готовиться к свадьбе Савринисо. Папа все эти дни помогал брату. Я стал скучать от безделья. Мальчишки не водились со мной, а

Гаффарджан, возвратившись из школы, только и знал что дуть в дудку, до тошноты надоедая всем. Потом убежал на улицу и на болоте убивал лягушек. Единственным человеком, который уделял мне внимание, когда находилось свободное время, была Савринисо.

Как-то отпросившись у бабушки, она взяла меня с собой к тете, что жила за угольным базаром. Тетя дала мне и своей дочери Мукар-рам деньги и отправила нас вдвоем на Гишткуприк покупать мороженое. Гишткуприк был за базаром, где продавали уголь. По дороге туда мы видели верблюдов, груженных тяжелыми мешками с углем. Но особенно мое внимание привлекали бакалейные лавки, полные разных съедобных вещей в красивых блестящих обертках. Видели прокаженных, сидевших по обе стороны моста с деревянными тарелочками для подаваний; гадалок, разложивших перед собой разноцветные камешки, и не заметили, как подошли к мороженщику. Маленький старичок поскреб ложкой в металлической посудине и, положив на блюдца мороженое, воткнул в белые горочки ложки. Мы с удовольствием ели мороженое, слизывая его с кончика ложечки и подолгу обсасывая ее.

Когда мы вернулись обратно, я заметил, что лицо Савринисо опухло, глаза ее были красными. Наверное, плакала, подумал я. Она старалась казаться веселой, слушая мой рассказ о том, как мы ходили за мороженым, смеялась, будто я ей рассказывал действительно что-то смешное.

Теперь в дом дяди стали чаще приходиться женщины — близкие и дальние родственницы. Пришли и две мои тетки. Посовещались о чем-то с бабушкой и ушли втроем, накинув на головы паранджи. О чем они говорили, я узнал в тот же день вечером, уже находясь в постели. Мама рассказала папе, что женщины ходили к Банди-ишану воровать, расположить Савринисо к Азиму. После этого, как я понял, Савринисо должна была пить воду из старого кувшина, горлышко которого было заткнуто ватой, и есть пищу только из бабушкиных рук. И еще ей не разрешалось перешагивать через порог дома, где были зарыты замороженные вещи.

Приближался день свадьбы, Савринисо ходила с опухшими глазами. Сядет рядом со мной, обнимет меня и плачет.

А когда наступил новый месяц, мы с Гаффарджаном стали обходить родственников — приглашать их на свадьбу. Сходили даже к старшей сестре моего отца. Она жила далеко, в Айимкишлаке. Тетя обрадовалась

и насыпала нам в тубетейку грецких орехов. Мы с Гаффарджаном поделили их пополам. Вернувшись домой, я свои орехи отдал Савринисо. Она поцеловала меня в щеку и, присев на пороге нового дома, сняла с ноги кавуш и стала каблуком колоть орехи. Одно ядрышко себе в рот положит, а два — мне. Когда мы перекололи все орехи, Савринисо обняла меня, и мы сидели молча. Я положил го-

лову ей на колени, и она, качаясь из стороны в сторону, запела какую-то грустную песню. На лицо мне упала теплая слеза. Со стороны станции слышались гудки паровозов. Савринисо была задумчивой и грустной. Она тихо сказала:

— Поезд меня зовет!.. Зови!.. Громче зови, паровоз!.. Увези меня в далекие края!

Вдруг совсем рядом, над самым ухом, мы услышали громopodobный голос дяди.

— Куда он тебя увезет?! — крикнул он и схватил Савринисо за руку, но она вырвалась и убежала в комнату.

Я едва успел отскочить в сторону. Дядя бросился за ней. Из дома послышался крик Савринисо: «Пана! Паночка! Не надо! Не бейте меня!» — умоляла она. Савринисо кричала и звала на помощь, потом послышались стоны, и наконец все стихло. И тут я услышал голос бабушки:

— Хватит, сынок, меру надо знать! Отругай, припугни, но нельзя же так избивать!

Я стоял иод окном и дрожал от страха. Из комнаты вышла мама. Заметив, что я чем-то напуган, подбежала ко мне. Она побрызгала мне в лицо водой из кувшина и спросила, что случилось. Не успел я рассказать ей о том, что произошло, из дома вышел дядя и, сделав знак маме, чтобы она вошла к Савринисо, надел слетевший с ноги кавуш и вышел на улицу.

Я вошел следом за мамой. Савринисо, бледная, с закрытыми глазами, лежала в углу комнаты у ниши. Мама дрожащими руками вытаскивала из ниши одеяло, расстелила его и перенесла тяжело дышавшую Савринисо на постель. От побоев на руках и лице ее виднелись синяки. Савринисо чуть слышно стонала.

— Не беспокойся, не умрет, заживет все до вечера,— сказала бабушка, поправляя сползавший с головы платок.— Смотри подружке ничего не говори!..

К вечеру Савринисо стало совсем плохо. Она вся горела. Мама ни на

шаг не отходила от нее. В комнату меня не пускали. Я стоял под окном, изредка заглядывая в приоткрывающуюся дверь, почему-то надеясь, что Савринисо позовет меня. Мне казалось, что сейчас она встанет, засмеется и скажет: «Вот как здорово я вас всех обманула!»

Вечером пришли с работы папа с дядей. Папа вошел в комнату, наклонился к Савринисо и тихонько дотронулся до ее плеча — она чуть приоткрыла глаза, но при слабом свете керосиновой лампы не узнала его. Видно, у нее и сил-то не было вглядываться в моего папу. Она снова закрыла глаза. Папа вышел во двор. На пороге, виновато склонив голову, сидел дядя. Спросил: «Ну, как она?» Папа прошел мимо него, ничего не ответив.

Савринисо металась в жару, бредила. Никто из взрослых ночью не спал. Все ходили на цыпочках, разговаривали шепотом, боясь, как бы не почувствовала недоброе мать Савринисо. Ближе к утру дядя под каким-то предлогом отнес на руках свою больную жену в дом Абдура-Заканожника. Никому не хотелось, чтобы мать и дочь хоронили в один день. Савринисо, словно догоравшая свеча, медленно угасала на наших глазах. Она смотрела на всех таким жадным взглядом, словно хотела запомнить нас. Вскоре ее не стало.

Когда труп обмыли и положили на носилки, среди женщин, пришедших на поминки, прошел слух, будто правый бок у девочки весь в синяках,— видно, сильно ударились обо что-то. Кто понял, а кто и не понял, отчего у нее бок в синяках, но казан с догадками так и остался закрытым — слухи дальше не поползли.

Потом носилки с телом, завернутым в саван, подняли и понесли. Мой дядя вдруг покачнулся и без чувств рухнул на землю. Его унесли домой. Он заболел и не встал на ноги ни на седьмой, ни на двадцатый день поминок.

Через несколько дней после похорон Савринисо из дома Абдураззака-сапожника перенесли жену дяди. После долгих подготовок бабушка сказала ей, что внезапно умерла Савринисо и ничем нельзя было помочь бедной девочке, такова, значит, воля божья.

Больная, от которой остались кожа да кости, широко раскрыла глаза и, высунув побелевший язык, облизала сухие губы. Она ни слова не произнесла, только я заметил, как две слезинки скатились по ее лицу. Мать Савринисо не кричала, не плакала, у нее не было сил для этого.

Бабушка стала утешать ее:

— Доченька, бедняжка, девочкой от нас ушла. На том свете станет гурией...

Проходили дни. И снова черная туча не обошла стороной дом дяди. Слух, который распустила обмывавшая труп женщина, обошел кишлак и теперь мог дойти до миршаббаша — начальника полицейского управления. Я слышал, как отец говорил уста Хамиджану:

— Если эти разговоры дойдут до миршаббаша, плохо дело обернется. Законы у русских строгие. Когда в Яйпане на мясника наехала арба, из города приезжало около двадцати следователей. Два дня не позволяли убрать труп с дороги. Всех поочередно допрашивали.

Уста Хамиджан оказался из робкого десятка. Услышав такой разговор, он, как испуганный петух, вытянул шею и заморгал глазами. Папа и уста Хамиджан ничего не говорили о своем беспокойстве больному дяде. Они пригласили на совет уста Арокула и уста Юнуса. Бабушка и тут успевала сунуть свой нос, никому не давая высказаться:

— Смотрите, стараясь скрыть дело, не проболтайтесь сами кому-нибудь. Бог даст, все будет в порядке. Эти сплетни дальше нашей махалли не пойдут, у моего сына врагов тут нет.

И все же необходимо было найти человека, который хорошо знает законы. И такой человек нашелся. Им оказался Темирбай-бакалейщик из нашей махалли. Он три года назад судился с кем-то и даже дошел до высшего судебного разбирательства — съезда судей. Уста Хамиджан поговорил с ним. Оказывается, Темирбай-бакалейщик уже был в курсе дела и не заставил себя долго ждать с ответом. «Раз нет истца, никакой речи о суде быть не может! Никто не захочет заниматься таким делом!» — сказал он.

Истца, конечно, не было.

Через сорок дней после похорон Савринисо пропал Азим-заика. Где только не искали его! Кто-то из наших знакомых сказал, что встречал Азима в махалле Шалдирамак. Он катил впереди себя тачку, в которой лежало ватное одеяло, подушка и какие-то вещи. Знакомый спросил его:

— Далеко путь держишь, Азимбай?

На что тот ответил:

— Эх, лучше не спрашивайте! Видите, до чего докатился я!

После этого никто его не видел.

Вез Савринисо двор наш опустел, стал скучным и тихим. Я часто вспоминал ее: то как она колола мне орехи; то как лежала в углу у ниши



и тихо стонала; то как несли ее в саване на носилках и они раскачивались из стороны в сторону, а мне слышалась мелодия песни, которую часто напевала Савринисо.

Как-то я сидел на мостике через речку, свесив вниз ноги. Ко мне подсел Гаффарджан.

— В прошлом году папа возил меня в Шахимардан. По дороге туда есть высокая гора, и если, проезжая мимо нее, крикнуть: «Эй- эй-эй, сорок девушек!», из горы отвечают гурии: «Эй-эй-эй!» Савринисо тоже теперь с ними, бабушка мне так сказала. Скоро мы снова поедem в Шахимардан, папа обещал свозить.

«Вот бы и мне туда попасть,— подумалось мне,— я бы обязательно позвал гурий, и они б ответили мне хором голосов, и среди них я узнал бы голос Савринисо».

Дядя вскоре понравился. И мама выплакала у папы согласие переехать куда-нибудь в другое место из дома его родных. Я страшно был рад этому, потому что в последнее время я почему-то стал бояться дядю, его длинной, клинышком, бороды, почерневших, сморщенных рук и даже его старых кавушей.

Мы перебрались в двор Ак-домлы. Мама обещала изредка навещать дядю и его больную жену. А пока все хозяйские дела в доме легли на дочь Абдуразака-сапожника, Амину.

## **ВСЕВЫШНИЙ**

Мы стали жить у Ак-домлы. Половина лба и вся шея у него были покрыты белыми пятнами — следами болезни, которую называют ложной проказой. За эти белые пятна и прозвали его «Ак» — «белый». А почтительное «домла» — «учитель, ученый» — добавилось потому, что он умел читать молитвы и заклинания: в квартале нашем безоговорочно верили в их силу.

Двор Ак-домлы был большой и запущенный. Часть дома он перестроил для себя и отгородил дувалом, а в обветшалой пристройке в дальнем конце двора до нашего приезда было помещение, где жили двое сумасшедших, которых Ак-домла лечил молитвами.

Теперь в этой маленькой пристройке, где раньше жили закованные в цепи и привязанные к балке сумасшедшие, поселились мы.

Сумасшедших, перед тем как мы переехали, перевели в другой конец двора, в конюшню.

На второй день после нашего приезда, днем, когда папа ушел в кузницу, я услышал со стороны конюшни какой-то страшный, ни на что не похожий рев и побежал смотреть, что там делается.

Возле конюшни стоял молодой, дюжий парень и, высоко взмахивая палкой, бил ею по очереди двух людей, привязанных к столбу. А хозяин нашего двора, Ак-домла, сидел на корточках на маленьком коврикe и, низко, к самым коленям, опустив голову, покачивался в такт молитве. Потом поднимал голову и изо всей силы дул в сторону сумасшедших, изгоняя вселившихся в них злых духов.

Один из сумасшедших стоял, покорно подставив спину, и даже не вздрагивал, когда палка со всего маху обрушивалась ему на плечи. А второй при каждом ударе ревел громче верблюда.

Это продолжалось до тех пор, пока палка не обломилась. Ак-домла, допев молитву, провел руками по лицу, встал, отряхнул коврик от пыли, сложил его пополам, взял его под мышку и не спеша пошел домой.

Потом я узнал, что Ак-домла каждое утро, после возвращения из мечети, заставляет бить этих сумасшедших, и в это время молится и дует на них. Но тогда, увидев это в первый раз, я очень испугался. И еще больше испугался, когда, обернувшись, увидел маму. Она стояла сзади меня молча, совсем бледная.

Вечером, когда папа вернулся из кузницы, мама рассказала ему о том, что мы видели, и стала просить, чтобы мы переехали отсюда. Но папа, как ни искал, все никак не мог найти другого дома.

А тут задули осенние кокандские ветры с их то кошачьим, то волчьим завыванием. Перед нашей пристройкой не было ничего — ни террасы, ни навеса, дверь открывалась прямо во двор, и стоило чуть приотворить ее, как внутрь врвался ветер, такой сильный, что он готов был сорвать с земли и унести все четыре стены.

Через несколько дней, несмотря на крики сумасшедшего и на сквозняки в нашем дырявом доме, мама, сначала так торопившая папу с переездом, вдруг раздумала и стала говорить:

— Хорошо, переезжаем здесь, а там — как будет угодно аллаху.

И даже меня подговаривала:

— Скажи папе, что не надо переезжать отсюда, что нам и здесь хорошо.

Я сначала не мог понять, почему она так стала вдруг говорить. А потом узнал почему: дядя, папин брат, от которого мы уехали, все еще

не выздоровел, и его жена по-прежнему сильно болела, и бабушка — папина мать — решила жить не у дяди, а у нас.

Бабка уже перешла бы к нам, ее никто не мог бы остановить, но ей не хотелось перебираться глядя на зиму в такой маленький, неудобный и холодный дом, и она ждала, когда мы переедем в дом получше.

Когда выпал и стаял снег, а потом выпал еще, мы все-таки переехали к Мукиму-бува из нашей же махалли. У деда Мукима был маленький дворик; в одной половине этого дворика — низкая и темная комната, а в другой половине — пристройка, в которой мы поселились. Папа вкопал посреди дворика два столба и отгородил нашу часть двора плетенкой из камыша.

У Мукима-бува не осталось ни одного черного волоса: он был весь седой. С утра он заходил к себе в ткацкую и работал там до самого вечера, а иногда и ночью. Он ткал холсты, и оттуда, из ткацкой, доносились постукивания станка: така-тук, така-тук — да изредка негромкий голос самого деда Мукима: «Слава аллаху!»

Жена деда Мукима, Тохта-хола, была очень похожа на своего мужа — такая же седая и такая же тихая, как он. Когда мы переехали, она в первый же день пришла и принесла нам плов. Мы были не кокандские, а приезжие, из кишлака, а она считала людей, которые живут не там, где они родились, бездомными и жалела, что аллах обошел их счастьем. Но я слышал, как она говорила маме, что зато после смерти, на том свете, все слезы, пролитые бездомными на чужбине, жемчугом посыплутся им в подол.

Но тетушка Тохта подружилась с мамой не только потому, что жалела бездомных, их сближало общее горе: у мамы из всех родившихся у нее детей остались только я и моя сестренка Ульмасой, и у Тохты-хола теперь только две уже замужние дочери, а пять дочерей и четверо сыновей умерли маленькими. Тохта-хола, вспоминая свою судьбу, сочувствовала моей маме, но для разговоров у нее оставалось мало времени: дед Муким с утра до ночи постукивал своим ткацким станком, а Тохта-хола целыми днями и вечерами все пряла и пряла пряжу. И только когда наступили самые холодные дни зимы, она стала чаще заходить к нам, чтобы погреться у нашего сандала, в котором жарко и душисто горели угли, выжженные из пахучей арчи.

Однажды поздно вечером к нам пришел дядя с Гаффарджаном, вздохнул и сказал слова, которых все в нашей семье давно ожидали: «Аллах забрал то, что должно было возвратиться к нему».

Значит, тетя, так долго болевшая и такая слабая, что у нее последнее время не было сил ни глубоко вздохнуть, ни заплакать, умерла...

Дядя и отец ушли, а Гаффарджан улегся и заснул. Он, видно, свыкся с тем, что его мать так давно болеет и должна умереть, что даже не плакал сегодня, когда она умерла,— сразу заснул.

Утром мама тоже ушла туда, в дом к дяде, и осталась там. Днем папа принес нам с Гаффарджаном откуда-то обед, а вечером привел к нам в дом бабушку, постелил ей постель около сандала, а сам снова ушел.

Мы с Гаффарджаном думали тоже накрыться теплым одеялом, лежавшим на сандале, но бабушка, как только легла, стянула все одеяло с сандала на себя. Я постелил нам с Гаффарджаном отдельно, и мы с ним заснули, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Ночью Гаффарджан проснулся и попросил пить. Из темноты донесся недовольный голос бабки: «Умри, несчастный! Кто тебе сейчас принесет воды?! Лежи с открытым ртом, и пить расхочется!» Я пожалел Гаффарджана, встал и принес ему воды.

Мама всю неделю была в доме дяди, но каждый день приходила, чтобы сварить бабушке плов. У бабушки был свой собственный маленький казанчик, немного побольше тюбетейки, и мама варила ей плов в этом казанчике. Бабушка выкладывала плов в миску и съедала все без остатка, сама, одна, никого не приглашала. Я заметил, что Гаффарджан даже не обращает внимания на это. По его лицу было видно, что он уже привык к тому, как ест бабушка.

Так они с Гаффарджаном остались жить у нас. Бабушка каждый день утром и вечером заставляла нас учить молитвы и ни за что не выпускала на улицу. Она рассказывала мне и Гаффарджану о загробных муках, о дне Страшного суда, об ангелах, о шайтанах и о разных других жителях потустороннего мира.

Я по-своему представлял все то, что она рассказывала. Ангелы мне казались большими бабочками. Гурии были похожи на мою двоюродную сестру Савринисо, но только они были с крыльями и летами. Шайтан был черный человек с копытами и с красным петушиным гребнем на голове. Духи — завернутые с головы до ног в белую материю покойники, но только они не лежали, а ходили. Джинны были тоже похожи на мертвых людей, но все время прыгали на одной ноге. А бесы виделись мне большими черными жуками с человеческими лицами...

В один из вечеров бабушка долго рассказывала нам, что в какой из дней сотворил аллах. У меня так и не осталось в памяти, что в какой

день он сделал. Но когда я вспоминал эти дни, мне казалось, что суббота похожа на пеструю паранджу, воскресенье — темно-красного, вторник — черного, среда — серого, четверг — желтого, а пятница — голубого цвета.

Гаффарджан раньше учился в школе при мечети, но, когда его мать умерла, дядя не велел ему ходить в школу. На двадцатый день после ее смерти бабушка вдруг вспомнила о школе и велела Гаффарджану снова ходить туда.

Дядя, хотя и отдал его в духовную школу, не собирался делать из него муллу. Он просто хотел, чтобы Гаффарджана не было полдня дома и бабушка отдыхала бы от него.

Школа была всего шагах в четырехстах от нас, но у дяди было так заведено, что кто-нибудь должен водить Гаффарджана туда. Раньше, когда была жива его старшая сестра Савринисо, это делала она или Азим-заика, а теперь заставляли меня.

Каждое утро бабка кричала на Гаффарджана и проклинала меня. Гаффарджан собирался в школу, хныча и обливаясь слезами, но, как только мы выходили из дома, надувал щеки и всю дорогу дул в дудку. Один раз, когда мы, опоздав к началу уроков, вошли во двор мечети, Гаффарджан испуганно остановился. По двору, заложив за спину руки, шел одетый в зеленый халат старик с белой острой бородкой.

— Это наш учитель Абдувахаб,— сказал Гаффарджан,— сейчас он меня побьет.

Старик с белой бородкой поманил нас пальцем, и, хотя Гаффарджан очень боялся, он опрометью побежал к нему. Потом старик подозвал и меня: я тоже подошел. Наверное, он побил бы Гаффарджана за то, что тот опоздал на урок, но, кажется, не захотел этого делать при мне.

— Почему ты опоздал? — спросил он Гаффарджана. И когда

Гаффарджан стал объяснять, что у него умерла мать, погладил его по голове.

Обрадованный, что ему на этот раз не досталось, Гаффарджан юркнул в школу, а старик заговорил со мною и сразу по моему говору понял, что я кишлачный. Он стал спрашивать, из какого я кишлака, а я, стыдясь объяснить ему, что мы бездомные, чувствовал, как у меня горят щеки. Видя, что я стесняюсь ему ответить, старик не стал ничего больше спрашивать, и я выбежал со двора мечети.

Когда я пришел за Гаффарджаном, чтобы вести его домой, он спросил, о чем говорил со мной старик, и, услышав, что я ничего не

ответил, сказал про старика, что он любит мальчиков из кишлаков и одного, которого зовут Мелибай, даже учит без денег.

Я шел домой вместе с Гаффарджаном и всю дорогу жалел, что не сказал старику про себя, из какого я кишлака. Может быть, он и меня стал бы учить без денег? Но пойти и сказать ему об этом постеснялся. А когда мы вернулись домой и бабка, как всегда, принялась ругать нас, я стал жалеть, что я не такой болтливый и шумный, как Гаффарджан, я бы тоже надоел бабушке, она пожаловалась бы папе и заставила его отправить меня в школу.

Мама уже давно вернулась из дома дяди, а бабушка все продолжала жить у нас. Как-то, отведя Гаффарджана в школу и вернувшись домой, я увидел, что мама стоит над очагом, вытирает лицо подолом и молча плачет. А бабушка сидит у сандала, крест-накрест закинув концы своего платка назад через плечи, совсем как летучая мышь, и, согнувшись, быстро-быстро перебирает четки. Как только я вошел, бабка сильным и страшным голосом, совсем не подходившим к ее хилому виду, закричала на маму:

— Иди почисти снег! Не плачь, говорю тебе! Пусть твои слезы сожгут твою голову!

Мама продолжала вытирать слезы.

— Как только снег перестанет идти, я сейчас же почищу,— сказала она.

Но бабка опять закричала:

— Откуда тебе знать, когда перестанет идти снег?! Это божье, а не твое дело!

Ссора между бабкой и мамой вышла из-за пиалушки чая. За неделю до этого дядя принес в подарок бабушке пачку хорошего чая, про который говорили, что фунт его стоит дорого. Бабушка спрятала этот чай себе под подушку и пила его только сама. Сегодня чай кончился. Бабушка заварила последнюю щепотку и, чтобы похвастаться перед мамой, какой хороший чай она пьет, и заодно уколоть тем, что дядя внимательнее к ней, чем папа, дала маме пиалушку чая. Когда мама выпила свою пиалушку, бабушка спросила:

— Ну, каков чай?

Мама уже много раз слышала, как бабушка хвалила свой чай, говорила, какой он вкусный и душистый, и, желая угодить бабке, похвалив и аромат и вкус чая, добавила, что он еще и очень сытный. Сказала, что чай ей показался таким сытным, как будто она съела це-

люю косу пшеничной похлебки. Захотела угодить ей, а попала в беду!

— То-то оно и видно, что мой сын из захудалой семьи тебя взял,— сказала бабка.— Что ты понимаешь в хорошем чае, если сравниваешь его с похлебкой!

Но это было только началом неприятностей. Бабка разошлась и стала бранить маму за то, как она содержит наш дом.

— Ты не из тех бережливых жен, которые своими стараниями способны удвоить заработки мужа,— придиралась она к маме.— Откуда у тебя в доме может быть недостаток, когда ты, если разбилось стекло от лампы, сразу покупаешь новое, вместо того чтобы заклеить старое бумагой и еще долго им пользоваться? Не жить мне на этом свете, если я не женю его еще раз, если не разведу тебя с ним.

Но бабке показалось мало и этого, и она начала проклинать не только маму, но и меня, и мою сестренку Ульмасой...

Сразу же после этой ссоры все, что можно было в доме сварить, прожевать и проглотить, бабушка сгребла и спрятала в свой сундук и заперла его на ключ. Даже пачку дешевого чая спрятала вместе с ключом под подушку и давала нам по одной щепотке.

С этого дня бабушка придиралась ко всему, что бы ни делала мама. Если мама ничего не отвечала ей, бабка все равно несколько раз на дню принималась ругать ее. Если мама вдруг, не выдержав, отвечала ей, бабка проклинала ее всеми, какие знала, проклятиями, а потом жаловалась папе и требовала, чтобы он побил ее.

Папа не хотел обижать маму. Иногда для вида он слушался свою мать, а иногда не слушался. Тогда бабка, разозлившись, начинала громко плакать и упрекать папу:

— Когда мать довольна — сам аллах доволен тобой! Жена другая найдется, а мать — никогда!

Я старался как можно меньше оставаться около бабушки. И днем, когда отводил Гаффарджана в школу, и вечером, после того как приводил его, я все чаще подолгу сидел у Тохты-хола. Тохта-хола клала передо мной пригоршню урюку, пряла свою пряжу и разговаривала со мной.

Однажды под вечер из Джарбулака приехал мамин брат, с которым она не виделась четыре года. Папа вернулся из кузницы и, поздравившись с гостем, дал нам с Гаффарджаном деньги и послал нас за мясом — он знал, что дома не было мяса. Но бабка поймала нас с Гаффарджаном по дороге и отняла деньги. Потом отозвала в сторону папу

и сказала ему:

— За эти деньги вон какой большой кусок мяса продадут! А зачем нам нужно мясо? Сварим кашу да поедим ее с кислым молоком. Это тоже неплохо, зачем еще мясо?

Мама услышала это, и, кажется, ее брат тоже услышал.

Бабка и перед обедом и после обеда все время сидела надутая, а потом, наверное, решив до конца испортить настроение и всем нам, и гостю, стала приставать к Гаффарджану:

— Сколько страниц ты прочел сегодня в школе, Гаффарджан?

Гаффарджан сказал, что они в школе сегодня ничего не читали.

— Что же вы делали в школе, если не читали? Чем же занимается ваш учитель? Что это за человек? Чтоб у него кровь изо рта пошла! Чтоб аллах сделал его слепым!

Бабка бранилась. Гаффарджан ревел. Настроение у всех было так испорчено, что гость встал и собрался уходить. Когда он ушел, мама вышла из комнаты и долго плакала.

Стали ложиться спать. Бабушка решила объяснить, почему она так плохо встретила маминого брата. Сначала она сказала папе, что брат мамы все равно для него никогда братом не будет, все равно он чужой человек, а чужой человек ничего хорошего в дом не принесет. Потом она сказала маме, что у ее брата нехорошее лицо. Мама ничего не ответила. Папа тоже молчал. Бабушка рассердилась на то, что они оба молчат. Она ждала, что мама в ответ на ее слова скажет: «Хорошо, мой брат больше не придет сюда», а папа станет поддакивать. Она рассердилась и стала громко рыдать, приговаривая, что моя мама совсем взяла в руки ее сына и повелевает им, как ей вздумается. Нарывшись так, что совсем потеряла голос, бабушка сказала отцу, что раз так — она уйдет от него к дяде. Но папа не отпустил ее.

У мамы, наверное, лопнуло терпение, и она через несколько дней после этого выбрала минуту, когда не было бабушки, и, плача, стала говорить пане:

— Опять мне по ночам мерещатся страшные черные козы. Это не к добру. Все-таки, когда мы жили у Ак-домлы, там было лучше. Это ничего, что там рядом сумасшедшие, зато он мулла, он не даст, чтобы в нас вселились нечистые духи. Когда мы там жили, мне черные козы не снились.

Но папа выругал маму:

— Не будь такой глупой. И потом, нам нельзя туда ехать. Ак-



домла, говорят, сам лежит больной...

Еще полгода назад я, как ни старался, не мог представить себе ни лица, ни фигуры того, о ком люди кругом меня постоянно говорили: «так захотел аллах» или «так угодно аллаху»...

Моего детского воображения никак не хватало на то, чтобы представить, какой же он из себя, этот бог, который на кого-то ниспосылал болезни, а кого-то избавлял от болезни, который сам давал людям детей и сам же их потом забирал, наделял мужчин и женщин временной жизнью и отнимал у них эту жизнь, а нас с папой, мамон и сестрой Ульмасой сделал скитальцами, бездомными, переезжающими из одного чужого дома в другой.

Но с тех пор как у нас поселилась бабушка, при слове «бог» у меня перед глазами появлялась бабка, сидящая у нашего сандала согнувшись и перекинув крест-накрест за плечи концы своего черного платка так, что походила на летучую мышь.

Папа очень страдал. Его сердце разрывалось надвое. Он не смел спорить с тем, что, «когда мать тобой довольна,— сам аллах доволен тобой», но и не мог равнодушно смотреть на мамины слезы.

Как раз в это время работы в кузнице было немного, но папа стал все позже и позже приходить домой.

Одни раз вечером, наслушавшись криков бабки и капризов Гаффарджана, я убежал на улицу. Сначала просто стоял во дворе, хотя было холодно и шел снег, а потом побежал в кузницу. Кузница уже не работала, но мастера и подмастерья все собрались вокруг папы. Пана сидел посередине под тусклой висячей лампой и читал вслух книгу. Я присел в темном уголке, и меня никто не заметил.

Я раньше не знал, что мой папа грамотный, узнал только сейчас, здесь, в кузнице. Книга была интересная, в ней описывались приключения каких-то разбойников.

Папа кончил читать, и сидевшие в кузнице люди заговорили о своих делах, а я вернулся домой и рассказал маме о том, что видел и слышал. Мама, оказывается, знала, что папа грамотный, и рассказала мне, как он научился читать. Папа в молодости очень любил книги, хотя и не умел читать. Но однажды ему приснилось, что пророк Хызр дал ему прочесть несколько строк из какой-то книги, а потом вырвал из книги весь этот лист и заставил папу съесть его. А наутро папа проснулся грамотным.

Я попробовал пересказать маме ту историю про разбойников. Она с

интересом слушала меня, даже переспрашивала, а когда папа вернулся, почтительно, но с обидой в голосе сказала ему:

— Я все думала, почему вы стали поздно приходить домой?.. Оказывается, вы нашли себе забаву.

Мама так произнесла эти слова, что даже мне стало понятно, в чем она упрекает папу: «Отраву, которую наливает нам в пиалы твоя мать, мне приходится пить одной». Я понял маму, а папа прикинулся непонятливым. Он сказал, что подолгу сидит в кузнице, потому что беспокоится, все ждет работы, а хорошей работы все нет и нет. И добавил, что в кишлаке жить было лучше.

Мама даже вскрикнула от радости:

— Давайте уедем отсюда в кишлак! В городе, кроме воды, все покупаем! В кишлаке не так было!

Бабка, узнав об этом разговоре, подняла крик на весь двор и грозила избить маму.

— Таковую, как ты, аллах создал, чтобы разлучить мать с сыном! Ты приворожила моего сына к себе, проклятая! — кричала она.

Но одного крика ей было мало; она решила проклясть мою маму самым страшным проклятием — сидя на венике. Сложив руки ладонями наружу, она села на веник и начала свои проклятия. Сложит руки, проклянет, потом разнимет, отдышится, снова сложит и снова начинает проклинать. И каждый раз мама так рыдала, словно эти проклятия вот сейчас же, тут же настигнут и ее и нас с Ульмасой.

Она рыдала и прижимала нас к себе. А папа, хотя ему было тяжело на все это смотреть, стоял молча и не сказал своей матери ни одного слова.

Наша жизнь во дворе деда Мукима началась горем и кончилась горем. Моя сестра Ульмасой вдруг заболела, и отец и мама перестали говорить о переезде в кишлак. Даже бабка немного притихла. Уже давно перепуганная болезнями и смертями своих детей, мама теперь, когда заболела Ульмасой, не знала, что делать и куда деть свою тревогу. Она совсем извелась и стала сквозь слезы покрикивать и на папу, и даже на бабушку. Этого никогда не бывало с ней раньше.

Бабка твердила, что Ульмасой заболела оттого, что наша мама злосчастная, что на маме лежит заклятье, но все-таки, несмотря на это, пошла за табибом, чтобы он попробовал вылечить Ульмасой.

Знахарь пришел вечером, отстегал Ульмасой тонким прутиком, выводя из нее наружу болезнь, потом зарезал у нас во дворе черную

куруцу и измазал Ульмасой куриной кровью.

В нашей махалле жил Банди-ишан. Он славился тем, что хорошо читал молитвы, и к нему во двор, чтобы послушать утреннее чтение, всегда приходило много Женщин, надеявшихся, что молитвы благочестивого человека помогут им в их семейных делах.

Мама стала каждое утро носить туда Ульмасой... Ульмасой умерла на руках у мамы, пока мама слушала молитвы. Мама принесла ее домой уже холодную. Когда я вошел во двор, мама, обхватив голову руками, стояла, прислонившись к косяку, а рядом стоял дядя и утешал ее.

Днем соседки унесли с нашего двора носилки, на которых лежала моя сестра. В доме стало тихо-тихо, как на кладбище. Не слышно было ни бабки, ни капризов Гаффарджана.

Мама больше не заговаривала о переезде в кишлак. Но, оказывается, папа сам все время думал об этом, и, когда кончились холода, на заборах заворковали горлинки, а иод заборами начали квакать лягушки, папа пришел и сказал:

— Есть еще на свете добрые люди. Скоро переедем в кишлак Кудаш. Там и дом для нас есть, и кузница будет!

У дяди был знакомый, Туракул-нерекушчик. Оказывается, этот человек, узнав, что папа хочет переехать куда-нибудь в кишлак, обещал найти для нас дом и сарай под кузницу. Там, в Кудаше, им нужен был кузнец. Папа успел побывать там.

Как только бабушка узнала о нашем переезде и поняла, что ей теперь уже ничего не переменить, она забрала от нас Гаффарджана и ушла обратно к дяде.

За день до нашего отъезда мама, взяв меня с собой, пошла прощаться с бабушкой.

Мама была рада, что мы уезжаем, но, прощаясь с бабушкой, чтобы соблюсти приличия, сказала надломленным голосом:

— Почему вы с нами не едете?

И хотя я знал, что это говорится просто так, из приличия, но все-таки не удержался и толкнул маму в бок: боялся, а вдруг мама еще раз повторит эти слова и бабка в самом деле поедет с нами!

Урюк отцвел, и мы переехали из Коканда в Кудаш.

## **ТУРАКУЛ-ПЕРЕКУПЩИК**

Улицы в Яйпане широкие, лавок и мастерских много, на базарной

площади даже карусель есть; на деревьях клетки с перепелками висят, и везде слышно, как целыми днями поют птицы. И хотя улицы в Кудаше были узкие и кривые, кишлак этот мне понравился больше, чем Яйпан. По обе стороны дороги, за полуобвалившимися дувалами, дружно цвели деревья. Мне показалось, что кишлак похож на большой цветущий сад. Куляля на ходу спрыгнул с арбы, подбежал к урючине и, пригнув ветку, нарвал зеленых плодов урюка. Он угостил ими нас. Плоды были маленькие, не больше семени хлопчатника, но, когда я попробовал, от них исходил нежный аромат, будто кто-то нарочно взял и запер в эти зеленоватые плоды весну.

На улице ни души,— должно быть, все в поле. Стоит такая тишина, что слышно, как щебечут птицы, скрипит колесами наша арба, стучит копытами лошадь да звенят удила. Проехав под большим развесистым карагачем мост, заросший дерном, арба повернула налево, к песчаному берегу арыка, и остановилась под старым тополем, на ветках которого оглушительно чирикали воробьи.

Тут и был двор Туракула-перекупщика, у которого мы должны были теперь жить. Самого хозяина дома не оказалось, и нас встретил сосед, которого Гуракул успел предупредить.

Дом, в котором мы поселились, прежде был конюшней, потом его перегородили, в темной комнате пробили окно, а в другой части, выходящей па улицу, пробили дверь, и папа решил использовать это помещение под кузницу.

Пока мы сгружали свои вещи, откуда-то появился Додарходжа, брат Куляли. Оказывается, еще зимой он ушел от Артыка-аксакала, переехал в Кудаш, где устроился работать на маслобойню. Услышав от людей, что в кишлак едет кузнец, он разыскал нас. Додарходжа помогал нам выгружаться. Затем папа с Додарходжой построила очаг и дымоход, установили наковальню и укрепили мехи; в жилой комнате на пол постелили солому.

Вечером к нам заглянул высокий худой старик. Это и был Туракул-перекупщик. Ходил он, осторожно щупая ногами землю, словно боялся упасть и рассыпаться на части, брезгливо морщился и говорил в нос, рот его был все время полуоткрыт. Войдя в кузницу, он поздоровался с отцом и, больше ни слова не сказав, ушел к себе. Через несколько минут старик пришел к нам с подносом, на котором лежали две лепешки и стоял чайник чая. Сидел он у нас недолго. А перед уходом достал откуда-то кошелек, к завязкам которого были пришиты две бусинки от

сглазу, и, стараясь, чтобы никто не видел, согнулся и стал отсчитывать деньги; он протянул отцу несколько синих бумажек:

— Знаю, вы очень нуждаетесь! Вот, получите задаток за восемьдесят серпов. Большого от вас за эти деньги не требую!

Папа, обрадованный, не пересчитав денег, сунул их за пояс.

Когда Туракул ушел, Додарходжа покачал головой:

— Зря вы у него взяли деньги, уста Абдукаххар. Смотрите, чтобы он не обманул вас! Этот человек суший дьявол. Он и с мертвого семь шкур сдерет!

Папа только усмехнулся его словам.

Но Додарходжа знал, что говорил. Туракул приходил к нам каждый день или через день но утрам и вечерам, все так же брезгливо морщась, и говорил: «Абдукаххар, если есть у вас мелкие деньги, дайте немного в долг» или «Пусть Куляля отнесет ко мне домой то-то и то-то, потом с вами сочтемся». Так как он всегда просил какую-нибудь мелочь, отказать было неудобно, ну а после того, как он получал то, что ему надо, просить обратно было неловко. Кажется, папе надоело все это, и он, съездив в город, купил на все деньги угля и железа, хотя всего этого у него хватало, только для того, чтобы избавиться от заказа Туракула. Потом стоило появиться старику, как папа начинал сетовать на то, что у нас нет денег. И вправду, после этого Туракул перестал просить у нас чего-нибудь по мелочам, но нашел другой ход. Еще чаще, чем прежде, захаживая в кузницу, он требовал срочно сделать ему то топорик, то кетмень. Папа давно уже потерял всякое терпение, но отказывать Туракулу не смел. А Куляля, улыбаясь, напоминал нам: «С мертвого семь шкур сдерет!..»

Папа, чтобы скорее выполнить заказ Туракула и сделать ему восемьдесят серпов, а заодно наделать их побольше и для себя, пока дехкане не приступили к уборке ячменя, трудился в поте лица с рассвета до позднего вечера. Когда папе с Кулялей становилось тяжело работать, я помогал им качать мехи. Так целыми днями я сидел в кузнице.

Папа, получая от старика задаток за восемьдесят серпов, рассчитывал на то, что Туракул будет забирать часть их, оставляя нам два-три серпа для продажи. Но Туракул каждый вечер забирал все, что было сделано за день.

Дехканин на базаре в эти дни спрашивал только серпы — надо было срочно косить ячмень, клевер, пшеницу. Так что к папе шли

только с таким заказом. Когда Туракул как-то вечером пришел за своими серпами, папа осторожно выразил недовольство.

— Весь ваш задаток ушел на уголь и железо, если один-два серпа не оставите мне для продажи, семье моей нечего будет есть.

Туракул удивленно вытаращил глаза и прогундосил:

— Может быть, мне еще пять-шесть таньга дать вам?

— Нет уж, благодарю,— сказал папа,— дайте мне лучше возможность рассчитаться с вами... Один-два серпа оставляйте мне для продажи, и этого будет достаточно.

Туракул крепко перевязал рогожку с серпами веревкой и недовольно проворчал:

— Что же тогда получится?.. Когда это я в таком случае получу свои восемьдесят серпов и когда их продам? Если что мне и достанется от продажи серпов, так это только в сезон, а в другое время никакой мне пользы продавать их. Сами подумайте, где же справедливость! Я вам синеньких бумажек вон сколько отсчитал, не задумываясь вы их взяли. Базар мне синенькими не платит. Перепадает, когда аллаху это угодно. А мне больше ничего и не надо.

Папа попробовал отшутиться:

— Может быть, мне вернуть ваши синенькие бумажки?

Туракул рассердился:

— Вы отказываетесь от данного обещания? Уговор дороже всяких денег. Хорошо! Если вы отказываетесь от обещания, мы с вами будем разговаривать по-другому!

Папа смолчал. Но это молчание было страшнее открытого гнева.

Может быть, потом Туракул пожалел о том, что так грубо разговаривал с папой, ведь недаром говорят: «Не трогай голодного, не трогай раздетого». Туракул все же стал оставлять нам по одному серпу.

После этого папа с Кулялей стали работать и по ночам, чтобы хоть что-нибудь подработать себе. Куляля продавал оставшиеся серпы на базаре. Однако старик, поймав его как-то, отобрал у него два серпа и надавал пощечин. С плачем возвратился Куляля домой. Папа ничего не сказал Туракулу, но по выражению его лица я понял, что папа не простит старику этого. Гнев отца был поистине страшным.

Вечером к нам пришел Додарходжа, расспросил у Куляли о том, что произошло, и, взяв за руку упавшегося брата, потащил его к Туракулу. Додарходжа настойчиво постучал в дверь. Туракул подал голос и через некоторое время сам открыл калитку. Увидев Додарход-

жу, он испуганно застыл на месте. Додарходжа толкнул брата в шею, и тот упал на колени перед Туракулом.

— Бей, подлец! — сказал Додарходжа, указывая на брата.— Убей его!

Туракул с беспокойством оглянулся по сторонам и невольно крикнул:

— Уста Абдукаххар!

Хотя папа и слышал, как Туракул звал его на помощь, но вида не подал и из комнаты не вышел.

Схватив старика за ворот чапана, Додарходжа потрянул его так, что Туракул перекувыркнулся в воздухе и шлепнулся на спину. Он с трудом поднялся на ноги и закричал что есть мочи:

— Уста Абдукаххар! Эй, мусульмане! Есть хоть кто-нибудь?!

Тут прибежал на помощь мой папа и, схватив Додарходжу за руки, потащил его к калитке. Туракул поспешно забежал к себе и изнутри запер дверь на замок. А папа, ругая Додарходжу, повел его на улицу.

Два дня не выходил Туракул из дома, а на третий день папу вызвал к себе староста кишлака, отругал его и сказал: «Как же вы позволили избивать старого человека? На сей раз прощаем, но впредь будьте осмотрительнее, а не то мы на вас найдем управу». Папа хотел объяснить все старосте, но тот даже не стал слушать его. Потом мы узнали, что Додарходжу в сопровождении караульщика выслали из Кудаша.

Староста кишлака простил папу, но простил ли его Туракул, мы не знали. Обеспокоенный тем, что произошло, папа решил не рисковать и найти другой дом, куда б мы могли переехать. Но никто не хотел давать приюта пришельцу, который позволил избивать пожилого человека.

В пятницу, собрав накопившиеся за последние дни серпы, папа сам поехал продавать их на базар в Яйпан. Он надеялся найти нам в Яйпане какой-нибудь домишко.

Куляля сидел целый день в кузнице. Я же, выйдя со двора, пошел бродить по пыльным улицам кишлака. Заглянул в чужой сад и нарвал там урюка. А потом сел на мосту, свесив вниз ноги, и ел урюк. Откуда-то изнутри у меня вырвался стон, и я сочинил печальную песню, слова которой были, примерно, такими: «Куда бы я ни приехал, везде чужой. Мальчишкй меня в игру не принимают». Напевая, я задремал, а когда открыл глаза, надо мной стоял мальчик намного выше меня ростом,

который ножом стругал большую зеленую ветку черешни, сплошь усыпанную крупными ягодами. Спросонок я подумал, что это пришел хозяин сада, где я без разрешения нарвал урюк, и что он хочет меня отлупить, и протянул ему несколько урючин. Ни слова не говоря, мальчик взял урюк из моей руки и стал есть. Меня он не тронул, а узнав, что я сын кузнеца Абдукаххара, угостил меня целой горстью спелой черешни. Мы разговорились. Мальчика звали Халиком. Разговаривая, мы поднялись вверх по берегу речки. Халик, оказывается, давно мечтал поточить свой нож, но, так как денег ему брат не давал, он не мог этого сделать. Я пообещал ему поговорить с Кулялей и поточить нож. Когда мы переулками вышли к саду Туракула, Халик бросил ветку черешни под высокий дувал, как раз в том месте, где протекал арык, и, заметив мое удивление, сказал: «Хайри возьмет». Хайри оказалась женой Туракула. Я ее ни разу не видел и даже не подозревал, что у Туракула есть жена. Уходя из дома, старик всегда запирает калитку на замок, а когда возвращался — закрывал на цепочку изнутри. Да и голоса ее никто не слышал. Арык, в который мы с Халиком бросили ветку черешни, протекал через двор Туракула, и Хайри, сделав запруду, вылавливала все, что ей переправляли.

Что делала жена Туракула там. взаперти, одна, мы представить себе не могли. Ведь она никуда не выходила. В тот же день, когда я познакомился с Халиком, я подошел к запертой калитке и прислушался. Было так тихо, что я слышал, как журчит вода в арыке, и блеет где-то в саду ягненок, и покрикивает какая-то птица. Я только хотел отойти, как за стеной послышались чьи-то шаги и какой-то звон. Взобравшись на высокое дерево, я заглянул через дувал — посреди двора, позванивая бусами и монетами, вплетенными в косички, маленькая девочка в длинном не по возрасту белом платье играла в мяч.

Я уговорил Кулялю поточить Халику нож, пообещав, что, если он это сделает, я раскрою ему одну тайну. И я рассказал ему о том, кого видел на соседнем дворе. Вечером из Яйпана возвратился папа. И как раз в тот момент, когда Куляля рассказывал моему папе об увиденном мной, из дома Туракула послышался крик. Мы выбежали на улицу, где уже успели собраться и другие соседи — женщины, старики, дети. Кто-то из мужчин постучал в дверь. Хайри все кричала, и голос ее охрип от крика. Мужчина снова постучал в дверь и позвал Туракула. Ответа не последовало, только слышно было, как визжала и хрипела Хайри. Тогда один здоровенный мужчина из толпы стал ногами бить в дверь, но, так



как она не поддавалась, мужчина крикнул:

— Туракул-бува, перестаньте, а не то мы взломаем дверь!

За стеной послышались шаги, загремел засов, и дверь широко распахнулась — на пороге, тяжело дыша и дрожа от гнева, появился старик. Не знаю как, но папа оказался в первом ряду стоящих. Старик сразу же накинулся на него:

— А-а, ты снова привел людей избивать меня? — И он бросился на папу с кулаками.

Папа отступил назад.

— Я не приводил людей. У каждого есть уши. Ведь вы можете убить чужого ребенка.

Тут в разговор вмешались соседи, стали что-то говорить старику, но Туракул их не слушал, а кричал моему отцу:

— Тебе-то что? Я же не твою жену избиваю. А если есть у тебя дочь, положи ее ко мне в постель, тогда и приходи! — Потом повернулся к толпе и спросил: — Кто тот смельчак, который хотел ворваться в мой дом?

Старик все шумел и всех подряд осыпал бранью. Тогда здоровенный мужчина, тот, что стучал к нему в дверь, подошел к Туракулу и, схватив его за пояс, приподнял над землей и отшвырнул в сторону. Туракул упал, ударившись головой о землю, и растянулся, как труп. Кто-то подбежал к нему и помог подняться на ноги. Держась за правый бок и за голову, Туракул вышел на улицу и что есть мочи стал кричать:

— Когда наконец мы избавимся от этого пришельца! Таджикибай-амин, да будешь ли ты следить за своим народом? Таджикибай-амин!..

Туракул шел по улице и всю дорогу орал. Чем дальше он удалялся от нашего дома, тем громче становились его крики.

Все притихли. Потом кто-то крикнул: «Бежим!» — и сам первый побежал. Люди расходились: кто веселый, кто грустный. Женщины ушли в дом Туракула. Папа подошел к мужчине, который кинул Туракула через себя, и, как бы упрекая, сказал:

— Зря вы так с ним. Теперь, вот увидите, мне одному влетит!

Но мужчина успокоил моего папу:

— Не бойтесь, уста Абдукаххар. Если вас вызовут к старосте, я тоже с вами пойду!

Поздно вечером Таджикибай-амин снова вызвал к себе моего отца. Папа сразу же дал знать об этом соседям. Во время скандала народу было много, а к старосте согласились пойти только восемь человек.

Одна из женщин, побывавшая у Туракула в доме, рассказала маме, из-за чего вспыхнула эта ссора. Оказывается, Туракул нашел во дворе несколько сломанных веток черешни и стал допытываться у жены, кто ее угостил. Хайри сказала ему, что ветки с черешнями она выловила в арыке. Но старик, не поверив, стал избивать ее.

Папа вернулся скоро. Староста даже не стал разговаривать с ним, никого из свидетелей не выслушал, а отцу сказал: «Немедленно убирайтесь из кишлака!» Папа, когда был в Яйпане, взял несколько таньга взаймы у своего старого знакомого кузнеца Турдыали. И теперь, имея деньги, тут же у старосты возвратил сидевшему с перевязанной головой Туракулу оставшийся от задатка долг и полностью рассчитался с ним.

Турдыали жил в Бувайди. В Яйпан, где его и повстречал папа, он приезжал по какому-то делу. Так вот, этот самый Турдыали расхвалил моему отцу свой кишлак, что он большой и что в нем много дворов, а кузнецов почти нет.

И тогда мои родители надумали переехать не в Яйпан, а в Бувайди. На следующий день, погрузив все свои вещи на арбу, мы отправились в путь. Папа, пока он отыщет нам дом и помещение для кузницы, решил нас оставить у дяди. Подъезжая к Коканду, я вдруг представил себе бабушку, дядю, и меня охватила тревога. Я тайком всплакнул.

## **АРБУЗНАЯ КОРКА**

Оставив меня и маму у дяди, папа с Кулялей отправились в Бувайди.

Мама ходила на кладбище, на могилку Ульмасой, поплакать.

Дядя все никак не мог прийти в себя после болезни и тяжелой работы почти не делал. Он только точил ножи да изготовлял клещи, половники, серпы и всякие нужные в хозяйстве мелочи.

Бабушка же мечтала о хадже — паломничестве в святую Мекку — и каждый день, запираясь в своей комнате, читала молитвы. Гаффарджан все ходил в школу, играл на своей дудке и изредка, когда его заставляла бабушка, читал вместе с ней молитвы.

На наше счастье, мы недолго пробыли в доме дяди. Через три дня папа забрал нас.

Кишлак Бувайди оказался большим. Его главная улица начиналась с крутого торгового ряда, где были расположены чайхана,

мануфактурные лавки и лавки кустарей-ремесленников. А дальше, по обе стороны широкой улицы, до самого конца ее тянулось бесчисленное множество больших и малых ларьков, где продавались кондитерские изделия, парикмахерских, пекарен, чайхан. В стороне особняком стоял хлебный базар. В конце улицы находился караван-сарай Ишанабува. В базарные дни дехкане близлежащих кишлаков, собираясь в Бувайди на торг, оставляли своих лошадей, ишаков в этом караван-сараяе.

По левую сторону караван-сарая была новая постройка с террасой, перед которой через речку был перекинут мостик; по правую же сторону, там, где речка, огибая караван-сарай, текла в сторону кишлака, сооружен деревянный помост для того, чтобы усталые путники могли отдохнуть. Там всегда прохладно — большие развесистые ивы, как шатер, укрывали отдыхающих от солнечных лучей.

Дом, куда мы переехали, находился напротив караван-сарая, во дворе мечети. Маленький, почти игрушечный дворик пришелся по душе моей матери. Перед домом была терраса, выходящая прямо на улицу. Первая комната имела выход на террасу, а дверь второй комнаты, поменьше, полутемной, с небольшим отверстием в потолке для дымохода, откуда с трудом пробивался луч света, выходила во двор мечети и в сад. Садик был маленький — всего три плодовых дерева, несколько кустов винограда и клумба с цветами.

Мы все очень были рады новому дому.

Папа вскоре навел порядок в кузнице.

Сезон на серпы уже прошел, а до сезона на кетмени еще оставалось много времени. Папа терпеть не мог подковывать лошадей, но голод, говорят, не тетка, и он сделал специальное приспособление, что-то вроде стойла, и стал подковывать лошадей. Работа спорилась, видно потому, что кишлак был большой, и мы зажили хорошо. Однако случилась беда: из-за недосмотра хозяина лошадь лягнула папу. Сорок дней он не мог работать.

Куляля один с работой не справлялся. Да и что он мог делать? Только точить ножи да закаливать в огне тяпки. Мы с Кулялей забавлялись разными играми: то, нанося быстрые удары по проволоке, лежащей на наковальне, старались накалить ее; то играли в орехи; то в альчики, предварительно залив в них свинец так, чтобы они вставали на ребро; то лепили из глины шарики, похожие на грецкий орех, или, завернув кусочек спичечной серы в вагу, делали пистоны. Любопытные

соседские мальчишки целыми днями вертелись возле нас.

Не знаю, у кого Куляля научился этому, но однажды он показал всем удивительный фокус: налил в выеденную половинку арбуза пиалу воды, бросил в нее горящую бумагу и накрыл эту бумагу пиалой. Пиала с шумом втянула в себя воду. А ребята удивленно переглядывались — как могла бумага гореть в воде, а пиала обратно выпить всю воду? Кое-кто из ребят даже побледнел от испуга. Куляля показал этот фокус один раз. Как его потом ни уговаривали, он не повторил фокуса, а половинку арбуза выкинул в арык. На следующий день перед кузницей собралось вдвое больше ребят, кто-то даже притащил арбуз. Куляля принял приношение, но показал новый фокус. Он вытащил из замка, висевшего на двери, ключ, положил его на доску, пробормотал какое-то заклинание и дунул на него. Ключ вдруг пополз, словно кто-то оживил его. Все рты раскрыли от удивления. Ключ сдвинулся на целый вершок. И потом, стоило Куляле указать в какую-либо сторону пальцем и сказать «суф», ключ двигался в том направлении, куда ему указывали. Ребята, притихшие от страха и удивления, поглядывали на Кулялю, как на колдуна. Никому и в голову не приходило искать секрет этого фокуса. Никто из них не заметил большого магнита, который Куляля двигал другой рукой под тонкой дощечкой.

Я рассказал папе о фокусах Куляли, и он отругал его. Но слух о том, что Куляля умеет творить чудеса, уже облетел махаллю и вскоре весь кишлак. Фокус с ключом людей навел на мысль, что Куляля при помощи заклинания может открыть любой замок.

Если ученик способен на такое, то на что же способен сам мастер!

О Куляле быстро забыли, и все заговорили о моем папе. И чем сильнее он опровергал ложные слухи, тем больше верили в них люди.

Даже мама обиженно сказала как-то:

— Сколько, оказывается, знаний у вас, а скрывали. Сколько детей земле предали...

Папа, нахмутив брови, отшутился:

— Мои заклинания на меня самого не действуют.

Однажды, когда пана уехал в гости к своему другу Алилайлаку, к нам пришел мальчик с большим узлом. Следом за ним вошла женщина в желтой бархатной парандже. Мальчик отдал узел маме и убежал на улицу. Женщина откинула с лица покрывало и горячо, словно старая знакомая, поздоровалась с мамой. Ее вид и то, как она красиво говорила, произвели на маму сильное впечатление. Она внимательно

слушала гостью. Женщина была одета в атласное платье, на груди, увешанной бусами, красовалась брошь, в ушах — дорогие серьги, на голове повязан шелковый платок, расшитый цветами. Мама расстелила на айване палас, одеяло и пригласила гостью к дастархану. Женщина, сняв лакированные кавуши, поднялась на айван, села на одеяло и, нахмутив черные покрашенные сурьмой брови, кокетливо сказала:

— Садитесь, пожалуйста, не надо беспокоиться! — Она, как веером, стала обмахиваться широким рукавом платья, — Давно собиралась к вам заглянуть, да будь оно проклято, это хозяйство, все никак не могла выбраться из дома!

Мама принесла чай. Женщина потянула маму за подол и усадила рядом с собой.

Гостья оказалась дочерью Нарбуты-бая, крупного торговца зерном из махалли Шайхулислам. Разорившись, отец выдал дочь за Чилан-кары четвертой женой. Чилан-кары первые два года носил ее на руках, а вот уже восемь месяцев как охладел к ней. К кому она только не обращалась, начиная от святых шейхов в Шаппаше до знахарей в Гишткуприке. Какая-то гадалка нагадала ей: «Колдунья охладила к тебе мужа». Женщина давно уже подозревала третью жену Чилан-кары, свою соперницу, и теперь была уверена, что это она отвадила от нее мужа разными приворотными средствами. Вот женщина и пришла к нам сделать отворот и избавиться от ворожбы своей соперницы при помощи заклинания. Она стала плакать и уговаривать маму помочь ей, гладила ее руку и чуть было не встала на колени. Мама, ничего не понимая, все повторяла:

— Но ведь мой муж простой кузнец!

Женщина не переставала плакать.

— Милая, да быть мне его рабой, если даже он кузнец. Мадали-духовник тоже был веретенщиком.

И женщина снова горько заплакала.

Вечером, когда вернулся папа, мама стала умолять его исполнить просьбу одной слабой, беззащитной женщины. Услышав просьбу матери, папа сначала только улыбался, а потом серьезно сказал: «Если все, что я буду делать, останется между нами и если женщина готова молчать, я согласен. Передай ей, чтобы она принесла с собой небольшой новый кувшин, которого еще ни разу не касалась вода».

Получив папино согласие, женщина пришла к нам через два дня с кувшином. Папа прочитал заклинание, сделал отворот от порчи,

поколдовал над этим кувшином и сказал, чтобы женщина вскипятила мужу чай в нем.

Спустя несколько дней к нам явилась горбатая старушка. Не успев переступить порог, она бросилась на колени и стала молиться аллаху за моего отца и, обливаясь слезами, проклинать свою невестку.

- Проклятая женщина взяла в руки моего сына, слова сказать ему не дает. Он-то, глупец, теперь слушать никого не хочет, кроме нее.

Будет сидеть голодным, пока жена не подсядет обедать. Уже три года живут, а он ее ни разу пальцем не тронул. Да поможет вам бог во всех ваших делах — скажите своему мужу, пусть он поможет открыть рот моему сыну, а то, бедняга, так и уйдет из этого мира, не испытав силу власти.

Снова пришлось маме уговаривать отца. Папа исполнил просьбу и этой старушки. Чтобы развязать язык ее сыну, он дал женщине щепотку чая для заварки, предварительно прочитав над ней молитву.

Так к нам зачастили женщины со всей махалли. Если вначале папа соглашался заниматься знахарством уступая маме, то теперь папу никто не уговаривал. Женщины приходили к нему, минуя мечеть, и, пройдя маленький дворик, через узенькую дверь попадали в «обитель святых духов», так стала называться маленькая полутемная комнатка, в которой папа занимался ворожкой.

Стояли последние дни уразы. Время близилось к вечеру, как вдруг мы услышали доносящиеся с улицы шум и крики. Папа выбежал первым. Я — следом за ним. В нашей махалле жил высокий худой наркоман по прозвищу Абид-упрямец, так вот этот самый Абид-упрямец, избивая жену, гнал ее по улице. Пробежав мимо нашей двери, женщина метнулась вправо в чью-то открытую калитку. Папа преградил путь Абиду-упрямцу, который пытался догнать свою жену.

— Не надо, Абид-ака, ураза ведь сейчас, да и до вечернего разговенья немного времени осталось, грех сейчас избивать женщину,— сказал отец.

Абид-упрямец остановился, посмотрел на папу так, будто собирался его съесть, и вдруг начал всю браниться:

— ...Пришелец! Бродяга! Ты об уразе не говори, ведь сам поста не соблюдаешь. Кузнецом себя считаешь, а я за все время, что ты у нас в кишлаке поселился, ни разу не слышал, как молотком по наковальне стучишь!..

Папа ничего не ответил, повернулся и ушел домой. Потом кое- что

выяснилось. Оказывается, об отцовской «обители святых» распустили слух. Правда это или нет, но говорили, будто папа домогался женщины, которая приходила к нему вымолить ребенка. Об этом моей маме рассказала жена Али-лайлака. Да и сам Али-лайлак вскоре принес неприятную весть: махаллинские парни, в парандже, собирались снарядить к папе под видом женщины кого-то из мужчин и, разыграв сцену, будто бы папа приставал к ней, выволочь его во двор и там избить.

Хотя мама и не очень верила слухам, но все же забеспокоилась и стала ревновать папу.

Папа почти каждый день перед сном читал маме книги, в которых описывались великие битвы. Это были очень интересные книги с картинками. А как-то ему в руки попала книга, которая называлась «Китоби бахри дураар» — «Книга о жемчужном море». Там было написано: «У человека на каждом плече сидит по ангелу. Ангел, сидящий на правом плече, ведет счет всем полезным делам человека. А сидящий на левом плече — засчитывает его грехи».

Мама тихонько вставила:

— Если бы на ваше левое плечо аллах посадил двух ангелов, и то было бы мало.

Папа удивленно посмотрел на нее:

— Почему же? Ведь я не ворую, добра чужого не беру! Только молиться в мечеть не хожу, но то сам бог простит.

Мама заплакала:

— Я беременна... А что меня ожидает — не знаю. Покинул наш дом добрый ангел. Нечисть поселилась у нас.

Мама высказала папе свои опасения по поводу слухов, ходивших по кишлаку. Папа сначала смеялся, потом, не выдержав ее болтовни, ударил маму по плечу книгой и крикнул:

— Что я тебе, знахарь или заклинатель? А кто уговаривал меня помогать бедным, беззащитным женщинам?

Он, видно, потом пожалел, что ударил маму, и, чтобы смягчить свою вину, добавил: «Откуда я мог знать, что столько шума поднимется из-за выеденной половинки арбуза!»

Папа стал доказывать ей, стараясь успокоить, что все сказанное женой Али-лайлака — враки и сплетни, а подозрения мамы — вздор и нелепость. Мама, кажется, поверила ему.

Через несколько дней произошел случай, которого папа давно

ждал. К нему в «обитель» пришел мужчина в парандже. Папа встретил эту «женщину» длинными молитвами и нарочно читал самые длинные аяты из Корана, чтобы вывести «ее» из терпения, и в конце, прочитав заклинание, проводил до дверей.

Об этом он, смеясь, рассказал Али-лайлаку в кузнице.

Папа прекратил свою деятельность заклинателя и врачевателя. Приходившим женщинам он говорил, что молитвы обременили его большой тяжестью. Однако желающих пойти к папе на заклинание не убавлялось.

## **ВАЛИХОН-СУФИЙ**

Осень пришла рано, холодная, ветреная. Работа у папы спорилась. Несмотря на то, что перед кузницей был навес, приходилось работать в помещении, закрывая двери, при свете керосиновой лампы. Осенью сохнет и лопается кожа на руках, особенно на больших пальцах, и появляются такие трещины, что свободно можно засунуть головку спички. Одним из лечений от этого недуга была черная жевательная смолка. Ее надо было топить на огне и прикладывать к ране.

Однажды вечером, после очередного чтения книги, прикладывая черную смолу к большому пальцу, папа задумался и вдруг сказал: «Отдам Абдуллу в школу. Хватит того, что я мучаюсь!» Я испугался, потому что слышал, что в школе мулла лупит по рукам прутиком, ставит коленями на горох, а особенно провинившимся вставляет ноги в специальные деревянные колодки и палкой бьет по пяткам. Рассказывали, как на улице мясник говорил упирившемуся козлу: «Э, скотина, иди же, не упирайся, я ведь тебя не в школу веду, а на бойню».

Я думал, что папа о школе упомянул сгоряча, пройдет время, и он забудет о сказанном. Потому что папа хотел, чтобы я, как и он, стал кузнецом. Сколько помню себя, игрушками мне служили кузнечные инструменты. И даже, когда, играя в кузнеца, я ломал какую-нибудь нужную вещь, мне это прощалось.

Папа уходил в кузницу еще до восхода солнца. Я приходил ему помогать попозже. Когда на следующее утро я пришел в кузницу, папа дождался меня с приношением для учителя — на подносе лежали шесть лепешек, полфунта халвы. И мы с папой отправились в школу. Школа была рядом с мечетью. Встретил нас служитель этой мечети Валихон-суфий. Он был в тюбетейке, какую носили совершившие хадж



в Мекку, и папа, передавая ему меня, сказал: «Отдаю Абдуллу в ваше полное распоряжение». Валихон-суфий, мой первый учитель, благословил меня словами: «Да будет ваш сын муллой!»

Помещение, в котором занималось тридцать ребят, было тесным и темным. Мы сидели вокруг муллы в несколько рядов и каждый ученик зубрил свой урок. В такие минуты келья напоминала клетку, в которую посадили стайку воробьев. И когда кто-нибудь уставал и прекращал зубрежку, Валихон вытягивал длинную, как у общипанного петуха, голую морщинистую красную шею и смешно таращил на нас глаза. Если это не помогало, он засучивал длинный рукав своего чапана и брал в руки палку. Сразу же галдеж усиливался — ребята снова принимались за зубрежку.

Через две недели, когда я слегка изучил алфавит, мулла наконец сказал мне:

— В субботу перейдешь на хафтияк.

Я очень обрадовался. Папа в тот же день купил мне новую книжку, по которой я теперь должен был заниматься. Мама тоже радовалась за меня и сшила для моего хафтияка мешочек.

В субботу, завернув в дастархан четыре лепешки, целый фунт халвы, два больших куса наввата, я отправился в школу. Это был мой первый день занятий по учебнику. Хотя я до этой книги изучал буквы на дощечке, какую давали каждому ученику, но почему-то думал, что никакой связи между учебником и этими буквами нет, и, не глядя в книгу, стал повторять сказанные учителем слова, хотя ничего не понимал:

— Апаламза аль хевамиза хам альхам доль пишти альхамду<sup>1</sup>.

Эту строку я зубрил целый день. Да и на следующее утро, пристроившись у окна и глядя в потолок, я зубрил первую строку из хафтияка, как вдруг увидел, что под окном стоит папа. Он кивком вызвал меня к себе. Заметив моего отца, следом вышел и домла.

— Ну-ка, прочти мне еще разок! — сказал папа.

Я повторил то, что второй день с таким усердием зубрил. Папа выслушал меня и засмеялся.

— Апаламза аль? — переспросил он и глянул на учителя: — Что он говорит, таксыр?

Домла попросил меня несколько раз повторить первый урок, а сам

---

<sup>1</sup> Первая строка из хафтияка, на которой упражнялись для правильной постановки речи.

внимательно слушал, моргая глазами, и бодро ответил:

— Очень способный ваш сынок!

Папа снова засмеялся:

— Не знаю, способный мой сын или нет, но были ли вы способным в свое время?

Домла даже растерялся.

— А-а... что такое? Ошибся, что ли? Обучаю тому, что сам знаю, ничего страшного нет, если забыл что...

— Нет, таксыр, скажите, что не поняли этого в свое время. Вам и сейчас не поздно это знать: читается не «апаламза аль», ведь над алифом стоит знак,— значит будет читаться «ал»!

Папа растолковал стоявшему с растерянным видом Валихону первую строку из хафтияка и, взяв меня за руку, повел домой. А домла стал кричать вслед: «У меня учится сын Чилана-кары, сын Абдурахмана-хаджи...» Он еще что-то долго кричал, но мы его уже не слышали.

Придя в кузницу, папа сунул мне веревку от кузнечного горна.

— Не расстраивайся, сынок, я тебя сам буду учить,— сказал он и стал всю ругать домлу и тут же рассказал о происшедшем двум дехканам, которые сидели в кузнице в ожидании заказа.

Папа сдержал свое слово. Каждый вечер, читая книгу, он подзывал меня к себе и читал слова, водя по ним пальцем. Я же старался запомнить их и днем исписывал этими словами стены и двери. Таким образом я выучился читать не по буквам, а по словам, которые заучивал на память. И где бы я потом ни встречал уже знакомые мне слова, я сразу же узнавал их. Я знал такие слова, как «мул», «торговец», «пророк», «битва».

Валихон-суфий несколько дней ходил обиженным на папу, но, вероятно, поняв, что, если об этом случае узнают люди, он лишится своего хлеба, решил помириться с отцом.

— Абдукаххар-уста, вы, оказывается, все равно сына в помощники себе готовили, так могли бы его просто из школы забрать. Ну, что было, то прошло, я вас только прошу, чтобы все это между нами осталось,— сказал он.

Валихон-суфий долго сетовал на свою трудную и горькую жизнь. Он ругал себя за то, что в свое время, когда отец его был состоятельным, не выучился как следует, жаловался, что почти весь доход мечети забирает имам, а остальное — попечитель мечети и что ему пере-

падают лишь крохи. Правда, кое-какой доход давала работа муэдзина и содержание школы,— если теперь школа развалится, он на свои скромные доходы не проживет. Папа пообещал Валихону молчать и никому не рассказывать об их ссоре.

Но слух о том, почему уста Абдукаххар забрал своего сына из школы, давно облетел кишлак. Ведь я и сам успел уже об этом рассказать ребятам, с которыми учился. Не прошло и месяца, как из школы Валихона забрали почти половину мальчишек. Валихон через несколько дней снова заглянул к отцу пожаловаться на свою судьбу, но на этот раз заодно и попугать его.

— Кого на свете много, так это кляузников. Вчера несколько человек пожаловались имаму: «Кузнец во время намаза стучит своим молотком так, что не слышно ваших молитв». Я их отругал, а имаму уговорил не гневаться.

Валихон, видно, хотел припугнуть моего отца: мол, если замолчишь — хорошо, а нет — так мы найдем на тебя управу и выселим из кишлака. Папа рассердился.

— Ремесло кузнеца осталось нам от святого Дауда. Это полезное дело. Вы разве не знаете о том, что великий пророк Али, состязаясь с гяуром, тянул железную цепь весом в семьдесят батманов и перетянул неверного в мусульманскую веру?

Валихон опешил.

— Знаю. А как же, знаю! — сказал он.

— Тогда вы, вероятно, знаете, что ту цепь весом в семьдесят батманов, которой великий пророк Али перетянул в мусульманскую веру гяура, выковал кузнец!

Валихон, стараясь показать себя мудрым и всезнающим, сказал:

— О великий аллах! Вы только подумайте, какое совпадение, как раз об этом я и говорил вчера имаму. Работайте спокойно, стучите себе молотком на здоровье, пока я рядом с вами... Со мной ведь не пропадешь: с одной стороны у меня мингбаши, с другой — юзбаши... Юзбаши каждый праздник навещает меня, дарит подарки, вот и эту тубетейку, что на мне, он подарил...

За этой показной заботой об отце с упоминанием юзбаши, мингбаши и других высокопоставленных людей скрывалось все то же желание припугнуть папу и как-нибудь спасти разваливающуюся на глазах школу.

Недельки через две после того, как у нас побывал Валихон, школа

прекратила свое существование. Часть ребят стали ходить в школу за базаром, а другая к учительнице в соседнюю махаллю. Это еще больше озлобило Валихона, и домла начал копать яму под папу.

Несмотря на то, что сентябрь пришел холодный, с сильными ветрами, в октябре погода разгулялась и установились ясные, теплые дни. Чтобы не упустить хорошей для вспашки погоды, дехкане шли в кузницу с новыми заказами. Надо было срочно делать кетмени. Работы папе хватало. Приходилось трудиться даже по воскресным и базарным дням. И тогда Валихон-суфий собрал после намаза нескольких человек и стал подстрекать их: «Этот пришелец сам не ходит в мечеть, да еще отговаривает других верующих. Надо его выселить из кишлака!» Но как Валихон ни старался настроить верующих против отца, этого сделать ему не удалось. Они и слушать его не хотели, потому что кузнец нужен был не только дехканам, но и тем святошам, что не пропускают молитв и с утра до вечера только и знают, что перебирают четки,— ведь и они едят то, что дает земля. Когда Али-лайлак рассказал об этом папе, он только усмехнулся. Но Али-лайлак не мог больше терпеть этого негодяя. Так как Валихон не переставал мутить воду и распускать всякого рода слухи, Али-лайлак как-то после намаза отвел его в сторону и, сунув огромный свой кулак ему под нос, сказал: «Если не оставишь в покое Абдукаххара, вырву тебе глотку, запомни!» Валихон отделался легким испугом. Правда, он тут же пошел к юзбаши и пожаловался: «Али-лайлак из-за какого-то бродяги- кузнеца хочет избить меня». Юзбаши передал это мингбаши, а тот приказал наказать Али-лайлака шестнадцатью ударами плетью за угрозу служителю мечети.

На следующий день после наказания Али-лайлак пригласил своих друзей в гости. На угощение собралось девятнадцать человек. За дастархаиом речь зашла о Валихоне. от которого никому не было покоя. Вот и Али-лайлак пострадал ни за что. Узнав, что Валихон- суфий хочет выжить из кишлака кузнеца, гости страшно возмутились. Кто-то сказал, что служитель мечети подхалим и проходимец, каких свет не видывал. Долго спорили о том, как проучить Валихона. Предложений было много,— одни предлагали устроить ему темную: заманить Валихона в комнату и, накрыв одеялом, сбрить ему бороду и усы; другие предложили подложить ему в пищу ящерицу и заразить его ложной проказой, ведь больной проказой не может быть суфием; кто-то предложил накормить его ослиными мозгами и тем самым свести с ума, а были и такие, что настаивали сделать Валихону «светильник»,

после чего суфий вряд ли остался бы в кишлаке.

Все это было сказано под горячую руку, тем более что там сидел и сам пострадавший из-за Валихона, Али-лайлак.

Вскоре произошел еще один случай, который вовсе развязал язык Валихону.

Однажды один из самых богатых баев кишлака, здоровый, с круглым лицом юзбаши, заглянул к нам в кузницу и, заметив у стены соломорезку, похлопал по ней рукой и приказал папе:

— Эй, уста, занеси вот эту соломорезку ко мне во двор!

Тон, каким разговаривал с ним юзбаши, и особенно его обращение на «ты», задела моего отца. Я вдруг увидел, как сердито нахмурились его брови, и папа крикнул вдогонку уходящему юзбаши.

— Пошлите за ней человека, пусть заплатит и, если надо, заберет!

Я испугался: знал ли папа, что это тот самый юзбаши, который подарил Валихону тубетейку и который по праздникам навещал его? Может быть, папа не знал этого?

Юзбаши остановился, обернулся и, словно не веря своим ушам, посмотрел на папу; короткая морщинистая шея у него побагровела, и он, вероятно, хотел что-то сказать, но передумал и, резко повернувшись, зашагал прочь.

Лучше бы он сразу возмутился. А то он схоронил обиду в душе. Вечером, сидя в чайхане в окружении друзей, юзбаши стал всячески бранить моего отца.

— Хуже нет, когда чужая собака взбесится! — сказал он.

И после того как юзбаши рассказал о случае с соломорезкой, Валихон добавил:

— В мечеть совсем не ходит, молитв не читает, разве можно назвать его мусульманином!

Как могло все это остаться незамеченным, раз об этом говорили два почтенных в кишлаке человека — юзбаши и суфий?

Старик кондитер решил поддакнуть этим двум и сказал, что видел кузнеца, возвращающегося из города на пролетке.

— Этот кузнец не хуже губернатора, с пролетки не слезает, — заметил он.

Много нашлось таких, которые не упустили случая подлизаться к юзбаши. Один сказал: «Кузнец продает инструменты только своим людям»; другой напомнил о деятельности папы в «обители святых»; «Грязью оброс наш кишлак из-за этого пришельца», — добавил третий.

Об этом разговоре сообщил нам один из папиных приятелей, который сам все это слышал.

— Юзбаши и волк и лиса нашего кишлака. С ним лучше не связываться. Все же вам надо было отнести соломорезку к нему домой,— сказал он.

А Валихону сам бог велел чернить папу. Он стал придирается к папе по всякому поводу. Гостил у нас мой двоюродный брат из Джарбулака. Он у кого-то научился рисовать скорпионов. Так вот этот мой брат взял и разрисовал этими насекомыми всю загородку, которой был обнесен пруд во дворе мечети. Увидев это, Валихон ворвался к нам в кузницу и визгливым голосом запричитал: «Кто вернет душу скорпиону во время всемирного потопа?» А однажды из кельи имама пропала ступа для толчения маковых зерен, в тот день Валихон видел, как Куляля заходил во двор мечети. После пропажи он, не долго думая, вбежал в кузницу и, поймав Кулялю, стал избивать его на наших глазах, обвиняя в воровстве.

Отцу надоели эти скандалы по пустякам, и он послал одного из своих приятелей, по имени Парпивой, к Валихону передать, что примет любые условия суфия и готов помириться с ним.

Суфий не согласился.

— Если я не выживу этого нолугяура из кишлака, что бы мне в могиле стоймя стоять! — поклялся он.

Полугяур хуже, чем гяур, ибо гяура — неверного — создал сам бог, а полугяуром человек становился, искушенный шайтаном.

И тогда папины приятели решили проучить Валихона и лишить его суфийской должности.

Из всех наказаний было выбрано одно — накормить Валихона мозгами осла и тем самым свести его с ума; если же сделать ему темную и сбрить бороду, этот негодяй может кричать азан с минарета и в таком виде, а «светильник» делать было рискованно.

Папа с Али-лайлаком купили на базаре хромого осла и увели его далеко в поле, зарезали и привезли в жестяной коробке мозги. Мама, брезгливо морщась, испекла самсу. Парпивой, затащив Валихона в чайхану, угостил его самсой с ослиными мозгами и свежей зеленью. Ничего не подозревавший суфий с удовольствием съел пирожки, запив их двумя чайниками чая.

Задумывая это дело, папа не трусил, но, узнав, что Валихон съел самсу, он побледнел. До вечера ничего не мог делать, все валилось у

него из рук. Мне казалось, папа ждал, что сейчас суфий вместо призыва на молитву закричит с минарета по-ослиному. И мы с Кулялей тоже ждали этого.

Но нет, суфий прокричал не запинаясь, правда, чуть хрипловатым голосом. Папа то и дело посматривал в сторону мечети. В его взгляде было и облегчение, и недовольство тем, что задумка не удалась.

Не ошибся Валихон и на утренней молитве. Вечером к нам зашел Али-лайлак со своими приятелями. Они поинтересовались Валихоном. Папа улыбнулся и покачал головой.

Прошла еще неделя. Папа каждый день прислушивался к азану и, вконец расстроенный, сказал:

— Не ошибается, каналья!

И тогда Парпивой со своими тремя дружками разработал новый план мести. Ни слова не сказав папе, они сделали Валихону-суфию «светильник». В полночь поймали Валихона на темной улице, запихали ему в рот тюбетейку, крепко привязали вниз головой к столбу, подпиравшему крышу торгового ряда, и, стянув со святоши штаны, воткнули ему куда полагается свечку и скрылись...

В таком положении Валихон провисел до рассвета. Проходивший мимо рано утром чайханщик успел выдернуть почти догоревшую свечку и, отвязав обессиленного от страха и мучений Валихона, отвел его домой.

Приятель папы, сделавшие Валихону «светильник», были уверены, что суфий не вынесет позора и уедет из кишлака. Но папа и Али-лайлак вскоре впали в тревогу. Хорошо, если Валихон уедет. А если — нет? Этот толстокожий сможет вынести любой позор и будет ходить по кишлаку и говорить каждому: «Меня довели до этого Али-лайлак и кузнец Абдукаххар». Возьмет еще и пожалуется юзбаши или мингбаши.

И папа, посоветовавшись с приятелями, решил переехать в другую махаллю.

## **ЗАВОД, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ**

Дом, куда переехать, искали долго. На наше счастье, Валихон все еще болел и не выходил на улицу. К тому же произошел случай, после которого он совсем прикусил язык.

В соседней махалле, во дворе Алима-саркара, жили русские. Ходили они в красивых синих фуражках, и все называли их господами

землемерами. Многие видели, как русские господа, установив в арыке высокий полосатый столбик, измеряли воду или забивали в землю колышки с черными номерками. Часто, громыхая тележкой, они проезжали мимо нас в город. Однажды у тележки сломалась передняя ось, и один из русских вместе с женой приехал к отцу в кузницу. Папа подставил под передние колеса козлы, и они вдвоем с русским вытащили ось. Землемер, сколько мог, помогал папе. Барыня подошла ко мне и стала что-то спрашивать. На ее вопросы отвечал больше папа, так как он немного понимал по-русски. Барыня, кажется, захотела посмотреть, как мы живем, папа сказал об этом мне, и я повел ее к нам домой.

Много повидавшая и перестрадавшая за свой короткий век, мама с приближением родов все больше впадала в отчаяние и очень переживала за еще неродившегося ребенка. Она плакала целыми днями и даже ночью, уткнувшись лицом в подушку. Барыня поздоровалась с мамой за руку, потом оглядела нашу комнату и присела к сандалу. Разговаривали они с помощью жестов и мимики. Мама, указывая на свой большой живот, снова заплакала. Барыня стала успокаивать ее и что-то говорить. Потом достала какую-то трубочку и снова подошла к маме. А мама, не дыша, с волнением смотрела на нее. Барыня приложила трубочку к ее животу, послушала, снова сказала что-то утешительное — наверное, что все, мол, будет хорошо и пусть она зря не волнуется. После ухода гостя папа сказал, что барыня, должно быть, фотографировала маму, а мама думала, что она посмотрела ее живот в трубочку и потому сказала: «Якши».

Когда мы вернулись в кузницу, папа уже починил ось. Барыня стала что-то рассказывать мужу, то улыбаясь, то огорченно качая головой. Землемер поговорил с папой. Я, как ни прислушивался, ничего понять не мог. В разговоре часто упоминалось слово «больница».

Русские посоветовали папе отвезти маму рожать в только что открывшуюся в Коканде больницу.

И снова махаллю облетели слухи: «У кузнеца, оказывается, есть друзья и среди русских»; «К кузнецу домой заходила сама барыня!»

Авторитет наш в махалле заметно вырос. По этому поводу папа устроил угощение, на которое пришел Али-лайлак со своими приятелями. Мне казалось, что папа не боится теперь не только Валихона, но и кое-кого поважнее.

Папа твердо решил последовать совету русских. А мама, после того



как у нас побывала барыня, ходила радостная и сразу же согласилась лечь в больницу.

Несмотря на то что работы у папы было много и заказы не переставали поступать, он через несколько дней съездил в Коканд разузнать подробнее о больнице и тамошних условиях. Больница оказалась рядом с Кумир-базаром, недалеко от тетиного дома. Правда, ничего определенного о ней ни тетя, ни ее муж рассказать не могли. Но дядя Мумин слышал как-то, что жена сапожника из соседней махалли — русская и работает в больнице переводчицей. Папа сходил к этому сапожнику домой. По расчетам отца, двадцати пяти рублей как раз хватало на все расходы, связанные с родами.

Папа, недолго думая, занял у Али-лайлака и его приятелей нужную сумму, и мы всей семьей выехали в Коканд.

Остановились мы у тети. На другой день навестить нас пришли дядя с бабушкой. Узнав, зачем мы приехали в Коканд, бабушка подняла страшный крик:

— Почему это мой внук должен родиться у русских? Вай, кто же будет моему внуку читать молитву на ухо?

Как бедный мой папа ни пытался втолковать бабушке, в чем дело, она его не слушала. Тогда он не выдержал:

— Что вы прицепились к русским? Я, что ли, их сотворил?

Дядя тут же примирил их.

— Успокойтесь, мама, Абдукаххар сам прочтет молитву на ухо ребенку,— сказал он.

И как эта мысль раньше не приходила в голову отцу!

Папа переговорил по этому поводу с женщиной-доктором, и та согласилась.

В субботу к нам пришла эта женщина-доктор и осмотрела маму, а в понедельник мы отвезли ее в больницу. Два дня и две ночи просидел папа у дверей больницы. Я носил ему в узелке еду, чай, лепешки. На третий день рано утром к нему вышла светловолосая голубоглазая молодая женщина и радостно сказала:

— Уста Абдукаххар! Мальчик!

Папа вскочил с места и кинулся в открытую дверь. Я побежал следом за ним. Женщина, сообщившая папе новость, повела нас в комнату, где находилась мама. Она лежала на блестящей металлической кровати, закутанная белыми простынями, из которых выглядывала одна голова. Женщина подвела нас к маленькой кровати, стоя-

щей слева от мамы, и приподняла простынку. Сердито нахмутив брови, в кровати спал мой братик. Папа взял малыша на руки и прочитал ему на ухо молитву.

Через три дня после рождения братика мы вместе со своими родственниками отправились в больницу проведать маму. Кроме папы, дяди, тети, с нами были две мои двоюродные сестры — Ульмасой и Мукаррамхон. Мама обрадовалась нашему приходу. Я никогда не видел ее такой веселой. Она радостно улыбалась и рассказывала о больнице с превеликим удовольствием.

— Я боялась вначале, а когда боишься, схватки прекращаются. Но они ничего такого стеснительного для меня не делали. Бедняжки марджи купали меня в белом корыте, как маленькую. Мне было смешно. Они тоже смеялись.

— Не говори марджа, а говори барыня! — поправил ее папа.

— Нет, барыней зовут доктора, а остальные все марджи! Так мне жена сапожника сказала. Я тоже, оказывается, марджа. Ну и смеялась я.

Мы тут же решили дать моему братику имя. Тетя предложила назвать его Купайсин (то есть «пусть множится») или Тургун («пусть долго живет»), но пана не согласился:

— Оставь, все равно от всех эти предосторожностей толку мало. Назовем его лучше Умарали.

Так звали одного из дружков Али-лайлака, здоровенного, крепкого парня.

Через неделю после родов доктор разрешила забрать маму домой.

— Везите ее на пролетке, пусть еще недельку полежит дома,— сказала она папе.

И папа повез нас из Коканда в Бувайди на пролетке, но у въезда в кишлак мы сошли с нее и целую версту до самого дома шли пешком: папа считал, что проезжать мимо базарчика — значит дать повод для новых сплетен и к тому же злить больших людей кишлака,

ведь все могли подумать, что у нас завелись лишние деньги. Скажут еще: «Уста Абдукаххар не хуже губернатора, с пролетки не слезает».

Соседки, не ожидая, пока мальчику исполнится хотя бы месяц, стали навещать маму. Я понимал: очень уж им не терпелось посмотреть на ребенка, родившегося в больнице. Они все старались найти на нем хоть какие-нибудь признаки русского «происхождения», ведь он родился у русских на руках. Ко всему этому, мама в своих рассказах о больнице здорово преувеличивала виденное. Она говорила: «Купали

меня в машине, машиной осматривали меня, машиной заставляли рожать, на машине готовили обед».

Одна из пришедших к нам в гости старух схватилась за воротник платья:

— О аллах! Слышала я, что существует хлопковый завод, а теперь, оказывается, появился завод, который делает людей!

Весть о том, что моя мама рожала на заводе, который делает людей, быстро облетела кишлак, как в свое время в Яйпане — весть о покупке нами «Зингера».

## ТЕШИКТАШ

И то, что Валихон-суфий болел и не мог сплетничать, и то, что нас навещали русские господа и приходила барыня,— подняло наш авторитет в кишлаке, и папа спокойно работал.

Зимой у кузнеца всегда хватает забот. Когда много работаешь кетменем, стачивается лезвие, и кетмень приходит в негодность. Дехканин с весны до осени изработывал до пяти-шести кетменей. Новый кетмень стоил денег, а починка, наставка лезвия обходилась в два раза дешевле. Дехканину невыгодно было покупать новый кетмень, и потому он предпочитал починить старые.

Папа работал быстро, за день он успевал наставить до шестнадцати кетменей. Так как восстановленные кетмени не отличались друг от друга, а каждый хотел получить обратно именно свой инструмент, папа делал на них пометки. В отличие от кузнеца Турдыали, который помечал кетмени разными знаками, папа стальным наконечником царапал на кетмене имя владельца. Дехканин радовался этому, хотя и не умел читать.

А потом сильные ветры принесли с собой холода. Выпал мелкий, похожий на сахар снег. Неожиданно ударили морозы, от обильного снегопада согнулись ветки деревьев; на лету замерзавшие дикие горюшки со стуком падали на землю. Куляля от холода не мог спать в кузнице и вместе с батраками Чилана-кары ночевал у него в хлеву. Днем, накрепко закрыв двери кузницы, чтобы не ушло тепло, мы работали при свете керосиновой лампы.

Однажды, когда папа, Куляля и я, закрыв наглухо двери кузницы, работали, с улицы послышался крик. Мы выбежали во двор. По другую сторону замерзшей речки, посреди дороги, на снегу лежала молодая

женщина. Мимо нее с криками: «Держи! Лови!» — промчалась толпа, догоняя черную собаку с поджатым хвостом. К женщине подошли люди. Один из собравшихся узнал ее.

— Ие, да ведь это жена Бабара! — сказал он и, развязав желтый поясной платок, накинул его на лицо женщины, лежавшей без сознания. Мальчишки не смогли бы донести ее на руках до дома, а взрослые мужчины были чужие. Кто-то из ребят сбегал за ее мужем. Кровь, каплями стекавшая с голени женщины, окрасила снег, он в этом месте подтаял, из образовавшейся ямки поднимался пар.

Через некоторое время прибежал напуганный Бабар и унес жену домой. А мы, мальчишки, подхватив ее вещи — кто разбитый кувшин, кто чапан, кто кавуши, слетевшие с ног, побежали за ним. Бабар жил у Хатама-чайханщика и работал его помощником. Бабар осторожно положил жену около сандала. Она уже успела прийти в себя, стала стонать и плакать. Откуда-то появившаяся старушка подошла к ней, развязала поясной платок у Бабара и, разорвав его надвое, сказала:

— Надо паутину приложить к ране, она тогда быстрее заживет. Ну чего ты встал, иди!

Бабар принес длинную палку с привязанным на конце веником и с его помощью собрал с потолка паутину. Старуха приложила собранную паутину к ране и туго перевязала ногу платком. Женщина наконец открыла глаза и дрожащим голосом спросила:

— Кажется, собака была бешеной?

Старушка стала успокаивать ее.

— Ничего страшного, что бешеная. Муж отвезет тебя в Тешикташ, два раза перейдешь через речку вброд, и все пройдет,— сказала она и принялась рассказывать об этом удивительном кишлаке, хотя сама там сроду не была.— Тешикташ от нас далеко, дальше, чем кишлак Бачкыр. И там протекает речка, из которой пьют воду облака. Говорят, тамошние люди охотятся за облаками. Когда облако спускается к воде, охотники стреляют в него и откалывают себе по большому куску...

— Повезу, бог даст, повезу! — сказал Бабар.

Через десять дней Бабар отвез жену к своей тете в Алкар. С того дня и самого его не стало видно. Объявился он в один из воскресных дней. Бабар пришел к нам в кузницу с коромыслом через плечо. В горшочках у него было кислое молоко, сметана, творог. Бабар спешил на базар и забежал к нам погреться и заодно поделиться новостями. Он заметно

похудел, длинное, вытянутое лицо сморщилось, глаза ввалились, был он грязный и весь какой-то потрепанный. По всему было видно, что бедному Бабару некогда следить за собой. Куляля разложил небольшой костер, расстелил перед гостем дастархан, принес чай, разломил две лепешки. Бабар сказал, что его жена до сих пор чувствует себя неважно, по ночам не спит, а все стонет и плачет. Поэтому он, чтобы скорее повезти ее в Тешикташ, решил накопить денег. У дехкан, которые имели коров в Алкаре, не было времени сходить на базар в Бувайди, и Бабар носил продавать их кислое молоко, сметану, творог; делал для них покупки на базаре, а за это они ему кое-что платили. Он уже скопил немного денег. Около восьми таньга. Если бы у него было еще пять-шесть таньга, он, ни на минуту не задерживаясь, отправился бы в Тешикташ.

Бабар согрелся, попил чаю и, прочитав молитву над дастарханом, взял свое коромысло и отправился на базар.

Вечером, часов около шести, когда базар уже закрывался, кто-то из знакомых сказал нам, что Бабара поймали на базаре за воровство. Мы не поверили этому слуху, потому что это никак не укладывалось в нашем сознании, и папа послал меня разузнать, что же на самом деле произошло.

Народу на базаре почти уже не было. Несколько человек стояли возле бывшей лавки медника. Тут же вертелись мальчишки. Торговец табаком, по имени Кудрат-хромец, что-то рассказывал собравшимся, он был в курсе происшедшего. Все внимательно слушали его, ибо знали, что этот человек с утра до позднего вечера слоняется по базару и, конечно, многое знает.

Оказывается, Бабар, продав два последних горшочка кислого молока, стоял под деревом в ожидании покупателя, который должен был принести пустую посуду, как со стороны хлебного ряда послышались крики: «Держи! Лови! Украли!» У продавца риса, когда тот расплачивался с покупателем, какой-то человек выхватил из рук деньги и убежал. А другой, вероятно, сообщник вора, отвлек внимание продавца и направил его в противоположную сторону, а не в ту, куда побежал похититель. Ничего не соображавший от волнения продавец риса подбежал и вцепился в Бабара. Возмущенный Бабар поднял продавца риса над головой и кинул его через себя. Продавец, поднявшись с земли, с криком снова бросился на Бабара, уже не сомневаясь в том, что это он украл у него деньги. Бабар ударом кулака сбил

продавца на землю. Неосведомленная толпа, увидев, что молодой человек избивает почтенного старца, набросилась на Бабара. Ему скрутили руки и вызвали караульщика, который запер его в пустую лавку медника.

Старосту кишлака привел сам продавец риса. Староста, не вдаваясь в подробности и не задавая лишних вопросов, хлестнул плеткой по плечу Бабара.

— Где деньги? — спросил он.

Вконец растерявшийся Бабар извлек из внутреннего кармана чапана горсть монет, вырученных от продажи кислого молока, и протянул старосте. Староста отдал деньги продавцу риса.

— А где остальные? — вдруг завопил продавец.

Бабар же, подумав, что с него спрашивают деньги за два последних проданных горшка кислого молока, извиняющимся тоном сказал:

— Скоро принесут, пусть бог меня накажет, если вру...

Староста, которому надоело стоять на холоде, подмигнул караульщику и строго наказал:

— Постой тут с ним немного. Если он позовет своего сообщника — хорошо, нет — выведи его в поле и расстреляй!

У Бабара от испуга расширились глаза.

— Не расстреливайте меня, дяденька! Не надо! Не расстреливайте... Бедный и несчастный я. Жену мою бешеная собака покусала. Очень сильно покусала, если не верите, пошлите ко мне домой людей. Жена моя дома сидит и плачет... Хочу ее в Тешикташ свозить. Не расстреливайте меня, а лучше прикажите что-нибудь выполнить, я обязательно выполню. У Хатама-чайханщика можете спросить, я не увиливаю от работы... Жена меня дома ждет...

Староста ушел. Продавец риса пересчитал деньги, отобранные у Бабара. Видно, сумма почти сошлась, и он протянул караульщику несколько монет на чай.

— Если остальные получим, еще подкину! — сказал он.

Караульщик потянул Бабара за руку:

— Скажешь, где твой сообщник, или мне расстрелять тебя?

Бабар никак не мог понять, чего от него хотят.

— Нет у меня никакого приятеля, все это из Алкара я один тащил.

Выведенный из терпения караульщик, толкая Бабара впереди себя, повел его в поле, как будто бы на расстрел. Толпа мальчишек бежала за ними всю дорогу. А Бабар шел и умолял караульщика:

— Милый, дорогой ака, не расстреливайте меня, ради бога. Жену собака бешеная покусала, она дома сидит и плачет.

Караульщик повел Бабара за караван-сарай. Дети и даже взрослые увязались за ними. Караульщик поставил Бабара к стене, отошел на несколько шагов, поднял винтовку и щелкнул затвором.

— В последний раз спрашиваю, скажешь или нет? — сказал он.

Но так как Бабар молчал, он прицелился и выстрелил поперх него. Бабар стоял, широко раскрыв рот и глаза, и даже не шелохнулся от выстрела. Караульщик повернулся к толпе и сказал:

— Клянусь аллахом, впервые встречаю такого упрямого вора, выстрелил я почти над его головой, а он и глазом не моргнул!

Караульщик снова отвел Бабара в пустую лавку медника.

Вот что мы услышали на следующий день. Правда, не поверили этим слухам, но караульщик сам подтвердил это.

Приведя в лавку Бабара, караульщик поговорил с ним и, выяснив, что тот ни в чем не виноват, отправился вечером к старосте, чтобы получить разрешение отпустить Бабара. Старосты дома не оказалось. Он был в гостях у мингбаши, к которому из города приехали друзья. Когда караульщик пришел к мингбаши, веселье было в самом разгаре; забыв о деле, он остался вместе с остальными слугами пировать. Под утро, возвращаясь с пирушки, караульщик вспомнил, зачем приходил к мингбаши, и, разыскав старосту, напомнил ему о Бабаре.

— Ие, да я совсем забыл о нем! — воскликнул староста.

Они пришли на базар и, войдя в темную лавку, зажгли спичку: съезжившись от холода, Бабар сидел в углу. Староста крикнул ему:

— Что же ты не ушел, дверь ведь не была запертой?

— Вы же сами приказали посадить меня сюда. А вы же как- никак государственный человек... — ответил Бабар, стуча зубами.

Староста распахнул дверь. Бабар вышел на улицу и побежал. Споткнувшись, упал. С трудом поднялся на ноги и снова побежал. Никто не знал, почему Бабар не пришел к Хатаму-чайханщику и не догадался постучать в любую дверь и попросить ночлега. А может, он торопился к жене, которая ждала его.

Ранние прохожие увидели под одиноким тополем сидящего на корточках человека. Он сидел без движения, хотя над ним на ветвях тополя таял снег и капли падали ему на голову и плечи. Это был Бабар. Один из них подошел к нему и тронул за плечо.

— Что ты тут сидишь?

Бабар повалился на бок. Оказывается, он умер, окоченев от холода.

Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, но однажды к нам приехал дехканин из Алкара чинить кетмень. Папа поинтересовался у него, что стало с женой Бабара.

— Бедняжка после смерти мужа сошла с ума. Умерла в страшных мучениях, искусав себя,— сказал дехканин, тяжело вздохнув.

Этот человек не знал, что жену Бабара покусала бешеная собака.

## ЛЮБИМЕЦ БЕЛОГО ЦАРЯ

Только через два месяца Валихон оправился от болезни. Прошла зима, а потом и весна. Валихона мы не видели. Видимо, он прослышал, что к нам захаживают русские господа, и оставил нас в покое. Хотя после «светильника» Валихон долго болел, он никому не жаловался, потому что знал — сам мингбаши кланяется русским.

К тому же летом в кишлаке среди населения началось беспокойство.

Если о войне с Германией мы узнали два месяца спустя после ее начала, в Яйпане, да и то случайно, то о том, что белый царь набирает из мусульман мардикеров для окопных работ, узнали чуть ли не через три дня.

Забирали мужчин от девятнадцати до тридцати одного года.

Бувайдинской волости надлежало дать белому царю пять тысяч двенадцать человек.

Несмотря на то что работы у дехкан в эти дни было много, вечерами на улицах собирались толпы людей. А в чайханах даже стало тесновато от народа. Только и слышно, как люди причитают: «О боже, спаси ты своих рабов! Устыди ты тирана ненасытного!»

Раз в неделю пана ездил в Коканд покупать уголь и железо для кузницы. Многие дехкане, не выдавшие ни разу в своей жизни города, считали, что папа знает обо всем на свете. Перед нашей кузницей всегда толпился народ.

— Взятых в мардикеры людей пропускают через завод, после чего у них синеют глаза. Впустят в одни ворота, да как загудят в трубу, так человек с синими глазами из другого выхода иноверцем выскакивает,— рассказывал один из дехкан.

— А когда мардикер умирает, его труп кладут в сундук и стоймя закапывают в могилу! — вторил другой.



— В горах Кафы охотился один человек и вдруг видит: вверх на гору катится большой круглый камень. Охотник подобрал этот камень и отнес губернатору. А губернатор, недолго думая, отправил тот камень в подарок белому царю. Когда царь приказал расколоть диковинный подарок, то в нем обнаружили белый палец. Расхохотался царь и велел изрубить этот палец на мелкие части.

Чего только нельзя было слышать за день.

В нашем кишлаке только и слышно было, как плачут и причитают люди. Все ждут, вот-вот объявят список людей забираемых в мардикеры.

Но список никак не объявляли. Старейшины кишлака — мингбаши, Чилан-кары, имам большой мечети Шарафитдин-махсум, юзбаши, Абдурахман-хлопкоторговец — все совещались и совещались. Никого из старейшин на улице не увидишь. Люди и дома их не могут застать.

А кишлак облетела новая весть: «В список мардикеров попали все, но юзбаши дал телеграмму в Ташкент с просьбой оставить чайрикеров — издольщиков для работы на хлопковых полях, а вместо них юзбаши, оказывается, обещал купить мардикеров из города». Еще не успели объявить список, как многие дехкане пошли с поклоном к мингбаши — просить оставить их в кишлаке. «Возьмите моего мужа, моего сына чайрикером, до самой смерти будет вам верой и правдой служить, рабом вашим будет», — умоляли юзбаши женщины. Только и слышны были в кишлаке плач, крики, проклятия.

А до кишлака доходили новые вести. «В Ходженте народ смуту поднял. А в Ташкенте все наотрез отказались идти в мардикеры, заявили об этом в какое-то высокое учреждение. В таком-то кишлаке народ поджег дом мингбаши; в таком-то избили до смерти старосту...»

Наконец старейшины кишлака, пригласив из всех махаллей эликбаши, имамов и других видных людей, начали держать совет. А потом перед всем народом от имени совета выступил имам большой мечети Шарафитдин-махсум. Он сказал: «В мардикеры пойдут только те, кто хочет идти... Остальные должны найти себе замену...» Эти слова, самые радостные за последние дни, молнией облетели весь кишлак, превратив траур в праздник. Однако радость оказалась короткой. После того как объявили точную дату отправления мардикеров, каждого стал мучить вопрос: «Кто же пойдет в мардикеры вместо не желающего идти? Кого кем будут заменять?»

Жил в нашей махалле глуповатый парень Рузы, по прозвищу

«царский дурак». Рассказывали, что когда-то в Бувайди приезжал именитый господин, который, расщедрившись, дал Рузы полтаньга и похлопал его по плечу. С тех пор и закрепилось за ним прозвище «царский дурак». А придурковатость его заключалась в том, что он резал всех собак, которые ему попадались. Он всегда напевал одну и ту же песенку:

*Может, яблочка ты хочешь?  
Иль айвы ты взять не прочь?!  
Ну, скажи мне, чья ты дочь?*

Так вот этот самый Рузы был пока единственным, кто изъявил желание пойти в мардикеры. Чилан-кары успел купить его за семьдесят пять рублей и уговорил пойти вместо своего младшего брата. Через несколько дней цена на мардикеров поднялась до ста рублей, потом до двухсот и даже в некоторых случаях доходила до трехсот. Кто-то, говорят, запросил даже семьсот рублей.

Старейшины снова собрали всех именитых людей кишлака на совет и создали специальную комиссию. Эта комиссия должна была заниматься набором мардикеров. Обратившись от имени комиссии к народу, юзбаши сказал: «У многих нет денег, чтобы нанять кого-либо, вместо себя, а кто деньги нашел — человека не может найти. Наша комиссия и должна помочь в решении этого вопроса». Люди радовались каждой хорошей вести и даже не спали по ночам. Кто-то пустил слух, что юзбаши скоро повысят в должности.

Комиссия назначила по два человека в каждую махаллю для сбора денег на мардикеров. А в другие волости и в город были посланы специальные представители для покупки мардикеров на собранные у народа деньги.

В нашей махалле собрать деньги было поручено элликбаши и Валихону-суфию. Они оба пришли к папе в кузницу. Работы у папы было мало, и он целыми днями вместе с Кулялей точил ножи.

Валихон был удивительно приветлив: расспросил о житье-бытье, а обратившись ко мне, сказал: «Помогаешь отцу, беглец?»

Новый элликбаши, не подозревавший о том, что папа хорошо знает законы, сразу выложил суть дела.

— Ну, уста Абдукаххар, выкладывайте деньги или придется вам в мардикеры подаваться! Есть такие, что по пятьсот рублей дают, а с вас

и трехсот хватит, как-никак ремесленник вы...

Папа его слова обратил в шутку:

— Белый царь сказал: стучи своим молотком, и никто тебя пальцем не тронет!

Валихон улыбнулся.

— Так мы то же самое говорим,— сказал он с улыбкой,— Заплатите мардикерские деньги и занимайтесь спокойно своим делом.

Пана ответил:

— Мардикерские деньги, вероятно, собирают с тех, кого занесли в список и кто вместо себя хочет послать другого? Меня в списках нет. Я простой ремесленник. И потом, у меня семья, которую надо кормить.

Элликбаши удивленно посмотрел на суфия. Суфий на элликбаши. Давно копивший злобу на папу, Валихон с трудом сдерживал свой гнев и, стараясь скрыть волнение, сказал:

— Вы все время держитесь в стороне от всех, уста Абдукаххар! У народа горе, а вы тут лишние разговоры заводите. У нас нет в списках вот уже восемь месяцев прикованного к постели Адыла-бува, однако он дал сто рублей. Мадраим-хромец тоже не захотел отставать от других, хотя его тоже нет в списках. Вдова покойного Нарбуты и та наскребла что могла! Неужели вы хуже этого больного старика, несчастного хромца и бедной вдовы? Эх, лучше не надо никаких ваших денег!

Валихон отбросил в сторону попавший под руку брусочек.

Спорить с ними было бесполезно, все равно что тянуть изо рта собаки кость. И папа сдался.

— У меня всего пятьдесят рублей. Летом работы совсем нет, а осенью, в самый ее разгар, угля и железа днем с огнем не сыщешь.

У Валихона глаза полезли на лоб.

— Хорошо, можете денег не давать! Скажите, что отрекаетесь от кишлака! Отрекитесь от кишлака, и нам ни копейки от вас не нужно!

Отречься от кишлака — все равно что лечь живым в могилу. После долгого торга папа согласился дать двести пятьдесят рублей. Пятьдесят сейчас наличными, а остальные двести папа обещал внести в течение трех дней.

Он обратился к Чилану-кары, который каждой весной давал аванс и ссуду дехканам. Если раньше долги возвращались с десятипроцентной надбавкой, то с появлением мардикерских денег проценты выросли на двадцать, тридцать и даже на сорок процентов со ста. Так как пана был своим, махаллинским кузнецом, Чилан-кары дал папе двести рублей

при условии, что папа вернет ему двести пятьдесят.

Папа отнес деньги эликбаши, который, получив от отца двести пятьдесят, дал расписку на двадцать рублей. Когда папа поинтересовался: «Почему так?», эликбаши ответил: «Если правительство узнает, что вы даете такие большие деньги, оно подумает, что народ разбогател, и обложит его еще большими налогами».

Папа был озабочен: не было ни денег, ни работы.

Как-то вечером мы с папой сидели в переулке на супа и смотрели, как ребята играют в орехи. Пришел Али-лайлак. Настроение у него было плохое, ему пришлось продать своего единственного вола, кормильца, чтобы заплатить мардикерские деньги.

— Это все подлеца юзбаши проделки,— сказал Али-лайлак с гневом.— Царское правительство, оказывается, говорило, чтобы в мардикеры шли не все, а этот негодяй деньги на мардикеров со всех собирает, он просто наживается на нашем горе и кровь людскую ведрами пьет. Весь кишлак опутал налогами!

Многие из папиных приятелей, которые были не в состоянии заплатить больших денег, сами отправились в мардикеры. Один из них, Эрмат, хотел продать свой участок земли, так юзбаши согласился купить его за полцены.

— Не мужики, а бабы! — ругался Али-лайлак.— Из кукурузной муки, хотя она и похожа на пшеничную, теста не замесишь! Об этом и мингбаши хорошо знает, и юзбаши. Потому-то без зазрения совести что хотят, то и творят! Все мы тряпки! Будь мы мужчины, разве не накликали бы на голову юзбаши тысячу бед! Растопить бы полведра золота и залить его ненасытную утробу!

В народе росло недовольство.

Спустя несколько дней, вечером, когда наша семья была в сборе и сидела дома, с улицы послышались два выстрела. Потом еще несколько, и началась пальба. Мы с Кулялей бросились было на улицу, но папа вернул нас, отругав как следует. Подойдя к воротам, он закрыл их на засов. Выстрелы стали слышаться все реже. Только теперь кто-то кричал о помощи: «Караул! Помогите! Юзбаши ограбили!»

До позднего вечера слышались то одиночные выстрелы, то крики, то кто-то пел песню, и вдруг все стихло. До утра стояла такая тишина, будто кишлак вымер. Папа рано утром сходил в мечеть и узнал о ночном происшествии. Воры залезли к юзбаши, разрезали хозяина дома соломорезкой на три части и, облив керосином, подожгли. Расска-

зывали, что, когда воры залезли в дом, свояченица юзбаши, сестра его жены, спряталась на чердаке и записала на подоле своего платья имена грабителей. Парень по имени Уммат высыпал якобы перед юзбаши целую шапку золота и заставил его глотать монеты. Тот бедняга, сколько смог, проглотил. Тогда Уммат стал пихать ему в рот золото насильно.

Днем мы с Кулялей, воспользовавшись тем, что папы не было дома, по крышам домов добрались до базарного ряда. Сверху хорошо была видна дорога на Коканд и двор юзбаши, его зеленая терраса за густым виноградником. На площади и прилегавших к ней улицах было полным-полно народу. Мне показалось, что тут собралось все население Бувайди. Караульщики бегали взад-вперед, суетились, кричали на кого-то, размахивали плетками.

А спустя некоторое время на кокандской дороге показались всадники. Толпа загудела, пришла в движение. Слышались чьи-то голоса, выкрики. Впереди ехали трое всадников в белых мундирах с золотыми погонами. Справа от них ехал мингбаши, слева — какие-то именитые люди в больших чалмах. Строй замыкали солдаты. Проехав мимо толпы, всадники повернули к дому юзбаши и, не слезая с лошадей, въехали во двор. Толпа молчала. Люди боялись выпрямиться, так и стояли, согнувшись в поклоне. Мы с Кулялей наблюдали за всем этим с крыши.

Потом по рядам прокатилось: «Идут! Идут!» И снова все согнулось. Это продолжалось до самой вечерней молитвы. Сколько раз люди сгибались и сколько разгибались, трудно было сказать. Наконец забежали охранники и объявили о выходе именитых господ. Из ворот выехали те трое, в белых мундирах с золотыми погонами, в сопровождении именитых людей кишлака. Следом за ними солдаты вывели со двора человек двадцать, которых подозревали в убийстве юзбаши, и новели под конвоем в Коканд.

Говорили, что один из господ во время допроса сказал: «Юзбаши был любимцем белого царя!» И сразу же прошел слух, что арестованных будет допрашивать сам царь.

Папа с Али-лайлаком, узнав о приезде господ из города и боясь, что Валихон вдруг наговорит на них, уехали в соседний кишлак. Вернулись они поздно ночью.

## **ТЕНЬ ИШАНА**

Когда господа угнали в город людей, которых подозревали в убийстве юзбаши, в кишлаке наступила тишина. Ни единого голоса, ни оха, ни вздоха не было слышно. А если кто и проливал слезы, то тайком, чтобы никто не видел.

Среди угнанных солдатами людей оказался и один парень из кишлака Учкуприк, по имени Мадраим, который попал в число арестованных случайно. А получилось так, что, когда солдаты гнали арестованных через кишлак Учкуприк, этот парень, зазевавшись на дехкан, оказался на мосту. Шедшие впереди солдаты не обратили на него внимания, а замыкавшие подумали, что один из арестованных хочет бежать, и прикладами загнали его в толпу. Возражать солдатам было бесполезно, и Мадраим пошел с ними до Коканда. В тюрьме его занесли в список, а может быть, кто-нибудь из арестованных нарочно записал парня, чтобы не было скучно сидеть: у Мадраима был неплохой голос, к тому же он сам сочинял песни и сам же их исполнял:

*Птицы, летящие в небе высоко,  
передайте родным: их сын далеко,  
ни в чем не повинный, головы не склоняет,  
если ж виновен, пусть меня меч покарает!*

Через пять месяцев, когда выяснилась невиновность Мадраима, над ним посмеялись и отпустили. Мадраиму удалось побеседовать в тюрьме с двумя мардикерами, убежавшими из далеких краев. Они называли те места «холодным адом». Южане мерзнут там, как мухи. Многим поотрезали отмороженные уши, носы, руки, ноги. А сколько умерших от голода и болезней так и остались лежать на дорогах, становясь добычей диких животных. Словом, слухи что ни день становились все ужаснее.

Шел крупными хлопьями снег. Мы сидели в кузнице. Вдруг со стороны базара послышались крики. Папа послал меня разузнать, что там происходит. Под крышей торгового ряда собрались почти все женщины кишлака. Женщины кричали, дети плакали, и стоял такой невообразимый шум, что ничего нельзя было разобрать. Из толпы доносились проклятия: «Будь проклят мингбаши! Чтоб сгореть тебе вместе со своим домом! Чтоб дети твои с голоду посдыхали!» Имам большой мечети Шарафитдин-махсум поднялся на супа и обратился к

женщинам:

— Мусульмане! Не верьте лжецам, вселяющим в вас смуту. Наш полуцарь, его величество Куропаткин, самолично присматривает за вашими братьями, отцами и детьми, ушедшими в мардикеры. Наши земляки под покровительством аллаха и под защитой его величества государя нашего спокойно трудятся, зарабатывая свой хлеб насущный. Даст бог, мы скоро с ними увидимся. Аминь!

Все подняли руки к лицу для благословения. Женщины, молчавшие все это время, опять зашумели, снова послышался плач детей, ругань, проклятия.

Никогда не носивший своей формы и сабли, мингбаши появился вдруг перед толпой разодетый, в сопровождении трех вооруженных джигитов. Женщины кричали ему:

— Чтоб сгореть тебе вместе с домом, верни мне мужа!

— О, будь проклят вместе со своим отродьем! Верни мне сына!

Толпа никак не могла успокоиться. На нее не действовали грозные окрики солдат и свист плеток. Одна из женщин, несмотря на то что с ее головы слетела паранджа, пробралась сквозь толку к супа и поставила своего маленького сына у ног мингбаши:

— Возьми! Сам корми его, проклятый!

Еще несколько женщин последовали примеру первой. Казалось, крики и шум, поднимаясь к небу, заполнили все вокруг. Мингбаши отступил на несколько шагов назад. Джигиты взяли детей на руки и стали насильно отдавать их матерям, те не брали. Джигиты ставили их на землю или всовывали другим женщинам. Дети плакали, женщины рыдали.

Мингбаши не возмущался сыпавшимися на него проклятьями, ведь за каждой женщиной стояли десятки, сотни мужчин. Наоборот, он старался призвать их к порядку добрым, ласковым словом. Мингбаши поднял руку, призывая к тишине.

— Женщины! Послушайте меня! Не верьте смутьянам! Вы же знаете, что ваши родные ушли в мардикеры всего на какие-то пять-шесть месяцев и все как один до весны вернутся в кишлак.

— Все до одного умрут там! — крикнул кто-то из толпы.

— Не умрут...— сказал мингбаши,— Все мы мусульмане и не желаем друг другу зла. Я хочу предостеречь и предупредить вас, что лучше не шутить с царским правительством. Недавно один андижанский ишан пытался шутить с ним! Вы спросите, что из этого вышло, тех,

кто видел собственными глазами. А если нет таких, я сам могу вам рассказать. Ишан пытался шутить с царским правительством, и из-за этой злой шутки одиннадцать человек пострадало — всех повесили!

Стоявшая впереди толпы маленькая сгорбленная старушка заплакала и запричитала:

— Правду он говорит. Было такое!

Мингбаши сошел с супа, взял старушку за руку и помог подняться на возвышение.

— Расскажи им, мать, пусть послушают.

Старушка испуганно посмотрела на мингбаши и, обернувшись к толпе, начала рассказывать:

— Правду я говорю... Одиннадцать человек повесили... И чтобы все видели, согнали на площадь женщин, стариков, детей — всех от мала до велика. И тогда у моего бедного Кенджабая сердечный припадок случился.

Только что возмущавшаяся вместе с толпой и требовавшая возвращения мардикеров, старушка не знала, кому она сослужила добрую службу своим рассказом.

Выступление муллы Шарафитдина и мингбаши и то, что их доводы во многом совпадали, успокоило женщин, а случай, рассказанный старушкой об андижанском ишане, подействовал на них магически.

Женщины потихоньку исчезли с площади. Большими хлопьями падал снег. Женщины, собравшись по двое, по трое в узких улочках и переулках, плакали.

Вернувшись домой, я рассказал отцу о том, что видел.

Говорили, что Мадраима, распустившего слух о мардикерах-дезертирах, сидевших в тюрьме, снова арестовали и увезли в город.

## КАНУН

В начале марта кто-то привез из Коканда весть о том, что свергли белого царя и объявлена свобода. Все страшно обрадовались этому, хотя никто толком не понимал, что же будет дальше. И кишлак наш стал жить в ожидании чего-то необычного. Всем казалось, что после таких событий скорее вернуться домой те, кого забрали на тыловые работы. И если это случится, можно ожидать и других благодеяний.

Проходили недели одна за другой, а от мардикеров никаких вестей. Наоборот, прошел слух, что снова набирают в мардикеры. Гудевший,



как растревоженный пчелиный улей, кишлак снова притих. В конце апреля пришла радостная весть: «Мардикерам дали свободу!» Хотя никто не верил этому, все же родные и близкие мардикеров и даже просто чужие люди вышли на базарную площадь, к Учкунрику, к станции Багдад встречать джигитов, которые живыми и невредимыми должны были вернуться из «холодного ада». И никто не мог толковать, что мардикеры едут издалека и что за неделю им не добраться домой.

Спустя еще несколько дней кишлак облетела неприятная весть. Один из высокопоставленных кокандских чиновников якобы сказал: «Приедут только те, кого с почестями посадило в поезд царское правительство. А те, кто сбежал раньше времени, могут и вовсе не приехать». Народ прекрасно понимал, что он этим хотел сказать: мол, если приедет — хорошо, а нет — так и не ждите.

Так как в свое время сбор денег на мардикеров заметно прохудил карманы дехкан, зимой они не смогли как следует подготовиться к весенней вспашке и посеву.

Многие хозяйства надеялись на ушедших в мардикеры, но те не возвращались. Прошла весна, а высевать было нечего. Все знали, чем это может кончиться. Потому дехкане, имеющие в запасе зерно, и лабазники перестали продавать семена на базаре. К тому же народ с недоверием относился к бумажным деньгам, ходившим после свержения царя. «Что можно ожидать от нового правительства, которое нескольких пудов серебра не нашло на монеты, а вместо этого всучивает бумагу».

Али-лайлак не находил себе места от злости.

— Ты только подумай, нашел же время этот подлец белый царь слететь с трона, и угораздило его это сделать в самый разгар весны. А Чилан-кары и Эгамбердыбай, не зная, чем все это кончится, припрятали все свои денежки, никому копейки не дадут!

Цены подскочили. Дороговизна росла не по дням, а по часам. Вскоре на деньги невозможно стало купить даже хлеба.

В голод дехканин кое-как перебивается старыми запасами.

Трудней приходится ремесленнику. Из-за дороговизны нельзя купить ни угля, ни железа. К тому же никто не шел в кузницу с заказами. Папа сидел без работы. И хоть бы какой-нибудь дехканин заглянул поточить нож.

Отец на всякий случай кузницу держал открытой. А мы с Кулялей с

точильным станком за плечами бродили по улицам кишлака в поисках работы. Иногда нам везло. Куляля точил нож, а я крутил точильное колесо, а если мне становилось трудно, хозяин из жалости ко мне крутил колесо сам. За свою работу мы денег не брали, а получали натурой, лишь бы было что-нибудь съестное.

Мама каждый день поутру стелила перед нами дастархан, и мы пили чай, заваренный на высушенных листьях тутовника или кожеуре джиды. А однажды мама не выдержала, заплакала и упрекнула папу:

— Бессердечный вы, ничто не беспокоит! Сами-то вон как располнели...

Папа грустно улыбнулся:

— Лишь бы я один так полнел. Пусть бог убережет вас от такого ожирения.

Ведь мама не понимала, что папа опухал от голода.

Как-то папа привел домой черную стельную корову. Я узнал, что он выменял ее на револьвер, приобретенный им в пору, когда он еще был Зингер-баем. В придачу пана смастерил хозяину коровы три кочерги.

Почти каждый день в дома сельчан забирались воры и крали все, что попадалось под руку. Все чаще в разговорах на улице слышались слова «грабеж», «взлом». А на кокандской дороге объявились разбойники.

Пуще всего на свете мы берегли свою корову. Так дотянули до лета. Папа с Кулялей теперь ходили по окрестным полям, где росло много тутовых деревьев, и собирали тутовник. Эти приторносладкие плоды быстро надоели нам, и порой, даже когда подводило от голода живот, не хотелось смотреть на них. Мама стала выжимать сок из тутовых плодов и варить патоку. А я и на патоку не мог смотреть. При одном упоминании о ней меня начинало тошнить. Да и мой маленький брат Умарали, завидев косу с патокой, начинал громко реветь. Иногда Умарали шалил и не слушался меня, тогда я пугал его словами: «Сейчас вот накормлю тебя патокой».

Пришла осень. Появились фрукты. Но голод не отступал. Я часто слышал, как взрослые говорили: «бедняга, умер, опухнув от голода», «отдал свою дочь в город», «жмых ели». Мне казалось, что песня:

*Что дешевле девушки?*

*Ты прикинь на денежки:*

*нынче вся тебе цена —*

*платье, что наденешь ты...—*

появилась именно в эти голодные дни.

К счастью, отелилась наша корова. Теперь у нас на дастархане появилась сметана, творог, кислое молоко, сыр... Иногда мы выменивали молоко на зерно. Жить стало полегче. Папа шутя говорил маме: «Держи корову крепче за хвост. Она нас, бедняжка, от нужды спасла!..»

В кузнице я уже не помогал, а все свободное время пас на лугу корову. Каждое утро мама завязывала мне в узелок кукурузную лепешку, и до вечера я пропадал на лугу. Кроме меня, там пасли своих коров еще несколько мальчишек. Мы часто тайком друг от друга сосали молоко у чужих коров.

В начале мая стали возвращаться домой мардикеры.

Их приезд совпал с эпидемией холеры в кишлаке.

В старом доме в конце нашей улицы жил многодетный старик Абдурахман. Он давно женил трех своих сыновей, пятерых дочерей выдал замуж — восемь семей, полный двор внуков и правнуков, целая махалля жила в одном доме. В течение одной недели из этого дома похоронили троих. Потом умер племянник старика, тот, что жил на базарной площади. Не успели справить поминки по нему, как умер сам Абдурахман. В кишлаке было беспокойно, как в загоне для овец, куда забрался волк. В мечетях полным-полно народу — все молились. Даже пана стал ходить в мечеть. Люди во всем видели плохие предзнаменования. Стали резать петухов, кричавших до рассвета, стрелять собак, царапавших когтями землю. Кто-то забыл перевернуть вверх дном носилки, возвращенные с кладбища,— люди чуть не растерзали того человека. А кто-то будто бы сказал: «У первого покойника, вынесенного со двора Абдурахмана, были скрещены ноги. Он весь род за собой потянет...» И тогда все близкие и дальние родственники Абдурахмана собрались на кладбище, чтобы раскопать могилу и поправить ноги покойнику. Мы, мальчишки, чтобы лучше все видеть, залезли на деревья. Из толпы, собравшейся у могилы, слышался плач. Сделав дело, люди быстро разошлись.

Не прошло четырех-пяти дней, как папа, вернувшись домой, сказал: «Кажется, и вправду в кишлаке холера. Она унесла даже Исамиддина-элликбаши».

Смерть, как коршун, парила над кишлаком, выскивая жертву, и каждый день уносила по одной, а то и по две жизни.

Все чего-то ждали, никто из дома носа не высовывал. Умер наш сосед, чайханщик Хатам. Не нашлось никого, кто бы прочитал над ним заупокойную молитву, отнес носилки на кладбище, и труп пролежал до вечера.

И вот возвращение мардикеров как раз совпало с этими тревожными днями.

Каждый день отовсюду слышался плач — одни проливали слезы оттого, что умер кто-то от голода и болезни, а другие — от радости, что возвратился кто-то из близких.

До конца сентября опустели многие дома в кишлаке. Год был урожайным на фрукты. Ветви деревьев ломались от плодов, но никто их не трогал. Люди не ели их, боясь заболеть холерой.

Наконец земля насытилась трупами, и болезнь отступила. Осенью голод чувствовался меньше. Все постепенно приходили в себя, набирались сил. Большинство мардикеров вернулись. А по тем, кто не вернулся, стали справлять поминки.

Приехавшие из далеких кишлаков люди привезли с собой новые, никому не понятные слова: «ЛЕНИН», «БОЛЬШЕВИК». Что означали эти слова, мы узнали от неродного сына моей тети, Саидакбархона, приехавшего погостить к нам из Джарбулака.

Саидакбархон рассказал о том, что видел и слышал в городе, и мы просидели, слушая его, до поздней ночи. Мама несколько раз сердито посмотрела в мою сторону — гнала спать, назавтра мне надо было вставать рано. Но Саидакбархон рассказывал такие интересные вещи, что я досидел до конца, отгоняя с глаз сон, тихонько слюнявя веки.

Рассказывая о Ленине, Саидакбархон хвалил его за то, что он будто бы знает семьдесят два языка и что он сверг белого царя и приостановил войну с Германией, что его слова даже подействовали на германского царя, но, правда, Саидакбархон смеялся над тем, что Ленин хочет равноправия между людьми.

— Сразу видно, наивный он человек. Чуть подрос, уже в тень бога копые мечет. Пророк Намруд тоже так поступал, в самого бога стрелы пускал. А что из этого вышло? По велению бога один богатый, другой бедный, разве можно сравнять все пальцы на руке?

Несмотря на проливной дождь, Саидакбархон спозаранку ушел в соседний кишлак Вачкыр.

Дождь прекратился после полудня. Сквозь лохматые рваные облака проглянуло солнце. Вышли на улицу люди. Перед кузницей собралось

несколько человек. Говорили обо всем: о погоде, о дороговизне. Папа сказал собравшимся, что Ленин хочет равноправия между богатыми и бедными. Али-лайлак задумчиво почесал затылок и спросил:

— Хорошо! А как он это собирается сделать? Богатых бедными сделать или бедных богатыми?

В разговор вмешался уста Нугман:

— Если бедного сделать богатым, баю плохо. Бая сделать бедняком, опять баю плохо. Видно, этот Ленин из бедняков-то сам! Наверное, он немало от богачей горя хлебнул?

И это желание Ленина уравниать богатых и бедных всем пришлось по душе.

Я все чаще слышал в разговорах взрослых слово «революция», сам, конечно, не понимая его смысла. Было ясно одно — народ постепенно стал понимать, что к чему. Баи стали бояться бедняков. И если случай с убийством юзбаши принес нашему кишлаку когда-то дурную славу, то теперь это же прославило Бувайди среди других кишлаков. А люди, которых угнали в город солдаты, стали называться героями. И если раньше папа помалкивал, когда кто-нибудь заводил разговор о соломорезке, которой на три части разрубили юзбаши, теперь он даже хвастался тем, что соломорезку сделал он.

Люди ждали чего-то волнующего. Чувствовалось, что эти разговоры и все происходящее вокруг — канун какого-то большого события.

Лето прошло в заботах и волнениях. Вести в кишлак приходили разные. Папа съездил в Коканд. Он почувствовал, что в городе беспокойно, все живут в ожидании чего-то, но открыто высказываться никто не решается.

Поздней осенью мы узнали, что в Ташкент приехал «правая рука Ленина» — Большевик. Не прошло и месяца, как Большевик оказался в Коканде. Никому не сиделось дома. Люди выходили на улицу, собирались в чайханах. И никто в кишлаке толком не мог объяснить, что же все-таки происходит. Старейшины кишлака куда-то исчезли. Чилан-кары съездил в Коканд и после приезда распространил слух о том, что будто начнут строить «мусульманабад» — город мусульман. «Эргаша из Бачкыра на белом коне с почестями увезли в Коканд», — сказал кто-то.

Бачкыр — соседний кишлак, а Эргаш был известным на всю округу вором, успевшим даже побывать в Сибири за свои темные дела. Потому

все были страшно удивлены этим известием.

— Как? Главой мусульманабада будет Эргаш?

Прошло еще несколько дней, и в городе начались бои. Горели в Коканде дома, и отсвет их пламени был виден у нас в Бувайди. Каждый день вечером люди взбирались на крыши и смотрели на пожар. А потом мы узнали, что Эргаш вместе со своими джигитами бежал из Коканда.

Когда все улеглось, спустя дней десять после пожара папа съездил в Коканд проведать бабушку и дядю. В городе почти все сгорело — торговые ряды, крытый базар, дома, но среди народа царило спокойствие.

Папа обо всем виденном рассказал собравшимся у кузницы друзьям.

— Однако,— сказал папа, улыбаясь,— хорошие русские люди приехали теперь в Коканд. Встретишься с ним в узком проходе, так он тебе вежливо дорогу уступит. А если бы в этой войне победил Эргаш, не знаю, что с нами было бы...

Али-лайлак спросил папу:

— Болишбека не видел? Что он, интересно, за человек?

— Не видел,— ответил папа.— Но мне кажется, что Болишбек — это не один человек.

Через несколько дней в наш кишлак нагрянула банда Эргаша-курбаши. Его джигиты остановились в караван-сараях Ишана-бува, а сам курбаши расположился в доме мингбаши.

Папа отвез меня с мамой и братом к своему другу в кишлак Толлик. Он боялся, что Валихон-суфий не упустит случая отомстить ему за все. Стоило Валихону сказать Эргашу-курбаши, что папа дружил с русскими в синих фуражках, трудно представить, что с нами случилось бы.

## **ЛЮДИ, НЕ СОБЛЮДАЮЩИЕ ПОСТА**

Эргаш вместе со своими джигитами покинул Бувайди в тот же вечер. Эту весть нам принес Али-лайлак. На другой день мы вернулись к себе.

На всякий случай, чтобы быть подальше от глаз Валихона, пана подыскал нам новый дом в другой махалле, за кладбищем. И мы переехали туда. Маленький пятачок двора, окруженный высоким дувалом, напоминал высохшее дно хауза. Часть двора занимал айван. Мы привязали к столбу, подпиравшему крышу, нашу корову и телку. Когда

закрыли небольшое окошко, выходящее на айван, в комнате стало совсем темно. Мама даже воскликнула: «Не комната, а могила!»

Папа стал искать помещение для кузницы, но долго не мог найти. Мы втроем — папа, Куляля и я — бродили по полям с точильным станком, точили серпы, ножи, за что нам платили продуктами.

Наступила ураза, но никто в нашей семье не стал соблюдать поста.

Однажды мама на завтрак сварила пшеничную похлебку. Едва мы сели завтракать, подперев калитку палкой, как с улицы послышался топот и шум: через дувал к нам во двор перелезло несколько человек. Непрошенные гости кинулись в комнату и выволокли пану с Кулялей во двор, где, зло сверкая глазами, их ожидал Валихон-суфий. «Чтоб тебе самому страдать за свои нечестивые дела, ноганец!» - крикнул он и ударил папу толстой палкой по голове. От испуга закричал мой маленький брат Умарали. А мама, в растерянности накинув на голову скатерть вместо платка, стояла в дверях и приговаривала: «Болеем мы, все до одного болеем»,— и, подталкивая меня, говорила:

«Ну скажи им, что мы болеем!»

Похлебку, которую приготовила мама, налили в два горшочка и подвесили папе и Куляле на шею. Их повели на базарную площадь. Сквозь гомон толпы и плач детей доносился голос Валихона, который кричал: «Чтоб тебе самому страдать за свои грехи!» Проходя мимо нашей кузницы, я заметил Али-лайлака. Он встал и пошел следом за нами. Папу и Кулялю привели в чайхану. Собрался народ. Валихон-суфий взобрался на сури и обратился к собравшимся:

— Мусульмане, вы видите тех, из-за которых пострадали сотни людей нашего кишлака! За их грехи аллах ниспослал на нас такую страшную кару!..

Валихон, призвав на помощь все свое красноречие, свалил на головы «двух нечестивцев» все беды и напасти. Он закончил свою речь словами: «Бей вероотступников, тех, кто не соблюдает пост и не чтит законов шариата!» Несколько человек вышли из толпы и угрожающе подошли к папе и Куляле. Я закричал от страха, боясь, что они сейчас станут избивать папу. Али-лайлак обнял меня за плечи и успокоил. Кто-то принес воды в пиале и побрызгал мне в лицо. Папу и Кулялю никто не тронул. Али-лайлак что-то сказал тем, которые собирались побить Кулялю и папу, и они отступили.

Папу с Кулялей заперли в сарай. Все стали расходиться, и я побежал домой рассказать о происшедшем на базаре маме. Мама все еще стояла

в дверях, с накинутой на голову скатертью, и каждому прохожему говорила: «Больной он был... и все мы болеем...»

Папу с Кулялей выпустили вечером. Их судили именитые люди кишлака. Грех Куляли, поскольку тот был еще несовершеннолетним, тоже взвалили на папу и наложили на него большой денежный штраф. Надо было срочно уплатить его, и папа на следующее утро занялся поисками денег. Дома, кроме коровы и телки, ничего не было. Оставив телку про черный день, папа продал на базаре корову и все свои кузнечные инструменты. У нас осталась только крыша над головой, и та не своя. Зато штраф был уплачен. Папа сказал, что поедет в город и попытается устроиться к кому-нибудь в подмастерья.

Несколько дней спустя мы узнали, что на одной из станций Наманганской железной дороги произошел бой. Оказывается, когда Эргаш-курбаши грабил эту маленькую станцию, со стороны Коканда прибыл полк солдат. Бой продолжался почти целый день. После того как перестрелка кончилась, мингбаши вызвал глашатая и велел объявить, чтобы над всеми лавками, магазинами, домами были вывешены белые флаги. В тот день ни у кого в доме не осталось ни одной белой тряпочки — в ход шли платки, холсты, старые чалмы. Флаги вывешивали над калитками и даже развешивали на деревьях.

А на следующий день прошел слух, что «на базарную площадь приедет сам Болишбек». Весь народ кишлака, от мала до велика, повалил на базарную площадь. Мальчишки сидели на деревьях, на крышах. Вечером в кишлак въехали всадники, человек пятьдесят. За плечами у каждого винтовка, на боку сабля, а на одежде вроде бы на солдат и не похожи. Невысокий коренастый мужчина в рубашке на выпуск, перепоясанный широким ремнем, на котором висел револьвер, поднялся на сури и обратился к собравшимся с длинной речью. О чем он рассказывал, я не понял. Только запомнил, что он часто употреблял слова: «Ленин», «кровопийцы-богачи».

Когда он кончил говорить, из толпы крикнули:

— Скажи, друг, а когда Болишбек-ака к нам приедет?

Выступивший стал что-то объяснять, но до меня долетали только отдельные слова. Вдруг я собственными глазами увидел, как он, ударив себя в грудь кулаком, сказал:

— Я мусульманский Болишбек!

Всадники вскочили на своих коней. Тут рядом с мусульманским Болишбеком я увидел своего папу. Он о чем-то горячо ему рассказывал.



Болишбек познакомил моего папу со своими приятелями, что-то сказал им. Затем сел на коня и поскакал мимо караван-сарая Ишана-бува в кишлак Толлик.

В толпе я быстро потерял папу и Кулялю из виду, но, когда вернулся домой, они, довольные встречей с Болишбеком, сидели и пили чай. Мама тоже была радостной. Папа за дастарханом рассказал, что поведал мусульманскому Болишбеку о том, как с ним обошлись Валихон и другие богачи, сказал, что ему, рабочему человеку, теперь трудно без инструментов, без работы. Болишбек выслушал его и приказал своим товарищам: «Пойдите и заставьте того, кто взял деньги у уста Абдукаххара, немедленно вернуть их ему. Иначе плохо будет тому человеку — я наполню его порохом через нос и подожгу...» Эти слова Болишбека мигом облетели весь кишлак.

Как оказалось, деньги, полученные от паны, суфий поделил между своими дружками. Валихону пришлось сидеть на улице, расстелив платок, собирая с дружков деньги. Вечером он их принес отцу.

Наутро вместо белых флагов над кишлаком затрепетали красные полотнища. Так как красной ткани не хватило, все белое срочно перекрашивалось в красный цвет. В лавках не осталось красной краски.

Папа радовался тому, что получил обратно деньги. Но он не подумал о том, что, если вдруг в кишлак вернется Эргаш-курбаши, Валихон не забудет выместить злобу.

Али-лайлак посоветовал папе немедля уехать из Бувайди. У него в кишлаке Аккурган жил родственник. Али-лайлак согласился поехать вместе с папой в этот кишлак и помочь ему там устроиться.

## **МУХАММАДЖАН-КАРЫ**

Аккурган был скорее похож на большой инжировый сад, чем на кишлак. Во дворе дома, где мы поселились, росло два инжирных дерева, и, несмотря на голод, никто не тронул их плодов, они висели на ветках, и сок желтыми янтарными каплями стекал с них на землю. Куляля узнал от кого-то, что хозяин этого дома и вся его семья умерли в прошлое лето от холеры. Пана отругал Кулялю,— если об этом прольшит мама, она начнет плакать и сетовать на свою горькую судьбу.

Посреди небольшого двора была разбита клумба. Все цветы на солнце без воды высохли. В доме были две большие светлые комнаты, в углу двора хлев. Мама, привязав теленка в хлеву, вышла и радостно,

словно сбылась ее давняя мечта, сказала папе: «Давайте отсюда никуда больше не уезжать. Будьте впредь осторожны, ни с кем не спорьте, не пропускайте намаз».

Кузница была рядом с домом, на перекрестке трех дорог, напротив какого-то мазара, купол которого был украшен козлиной головой с рогами и бородой.

В кишлаке стояла тишина. Даже мухи не летали. Я оставался дома помогать маме по хозяйству, а папа и Куляля с точильным станком обходили соседние поля. Возвращались они поздно вечером и приносили в мешках зерно и муку.

Как-то вечером папа сказал, что в большой мечети открылась школа «усули джадид» — новометодная школа, где за три месяца обучают ребят грамоте.

На следующий день утром папа повел меня в новую школу. Когда мы подошли к мечети, навстречу нам вышел невысокого роста полноватый человек с короткой бородой и немножко раскосыми глазами. Он поздоровался с папой и, протянув мне руку, зажал мою ладонь в теплой пухлой своей ладони. От его внимания ко мне я вдруг почувствовал себя взрослым и радостно заулыбался. До этого никто из взрослых не здоровался со мной за руку. Это, оказывается, был Мухаммаджан-кары — учитель новой школы.

При слове «школа» мне сразу вспоминалась маленькая полутемная келья, Валихон-суфий с красной и длинной, как у общипанного петуха, шеей, чирикание ребят, зубривших свои уроки. Насколько Мухаммаджан не был похож на Валихона, настолько новая школа отличалась от старой. В большой просторной комнате стояли в ряд восемь парт, за которыми сидели ученики. Так как у нас дома из продуктов ничего не было, пана принес с собой немного денег. Но домла не взял их и даже обиделся на папу. Папа ушел. Мухаммаджан-кары посадил меня за парту и стал расспрашивать. Я рассказал ему о школе Валихон-суфия; о том, как пана забрал меня домой и учил грамоте сам, не по буквам, а по словам; назвал книги, которые читал мне папа. Перед тем как объявить перерыв, учитель представил меня ребятам. «Очень способный мальчик, в школу не ходил, а уже умеет читать. Дружите с ним»,— сказал он. Мальчишки смотрели на меня с завистью. Все ушли на перемену, а меня домла попросил остаться.

— С завтрашнего дня я дам тебе книгу, тетрадь и карандаш, будешь учиться письму,— сказал он,— Ты чуть-чуть картавишь, но это

можно исправить, стоит только поупражняться. Ну-ка, повтори за мной скороговорку!

Я повторил за учителем скороговорку, но сбился. Попробовал еще и опять сбился. И вправду, язык у меня не поворачивался быстро говорить слова, но почему-то этого до сих пор не замечали мои родители. А может, просто не обращали внимания. Чтобы на следующий день сказать скороговорку Мухаммаджану-кары быстро и хорошо, я упражнялся дома целый вечер. Мама была недовольна первым заданием, полученным мною в новой школе. Но, узнав, почему я ее зубрю, одну и ту же фразу, она начала благословлять нового учителя и даже научила этой скороговорке моего младшего брата Умарали. Утром, отправляясь в школу, я заметил, что папа, надевая сапоги, тоже оттачивает язык этой скороговоркой.

В школе хотя я и не смог быстро выговорить скороговорку, но повторил ее несколько раз не запинаясь. Мухаммаджан-кары научил меня новой скороговорке. А затем предложил мне почитать книгу «Устои аввал» — «Первый учитель» — и кое-что из нее переписать в тетрадь. Вот когда я обрадовался, что прежде занимался с напой, читая вместе с ним книги, запоминая слова и записывая их на стенах. Теперь я мог легко прочитать учебник.

Не прошло и двух месяцев, как я прочитал «Гулыпани дилаф-гор» — «Страждущий цветник», «Болалар богчаси» — «Сад детей», «Ажоибул махлукот» — «Удивительный мир животных» — и уже понемногу одолевал книги Абдуллы Авлони, Тавалло, Суфизаде, Сидки, Завки, а из собрания сочинений Махмуда Бехбуди я даже переписал себе в тетрадь все письма.

Успевающие ученики получали от учителя специальные задания: например, Сатывалды занимался по книге Физули, Хатам — по книге Хаджихафиза, а Турсункул — по книге Бедиля. Давая им новое задание, Мухаммаджан-кары подзывал меня и усаживал рядом с собой.

Со слов учителя я понял, что мы, шестеро успевающих, с осени должны будем учить географию и историю. Но узнать, что это за науки, нам в ту осень было не суждено.

Наша школа помещалась в одной из трех комнат мечети, в другой жил Мухаммаджан-кары, а третью занимали два брата, Кутбитдин и Хуснитдин, недавно приехавшие в наш кишлак. Это были дети известного Сайфитдина-хаджи из Бурмангита. Сначала оба брата учились в Коканде в медресе Бузрук-хаджи, потом некоторое время обучались в

Бухаре, но наступили беспокойные времена, и они, забросив учебу, приехали в Аккурган. Братья были высокие, худые, с пушком над верхней губой; поверх длинных холщовых рубах они носили чапаны, головы обвязывали маленькой, похожей на инжир чалмой. Разговаривали оба тоненькими голосами, растягивая слова, будто читали Коран. Мечеть они произносили «месчеть», мальчишек — вместо «бала» называли «валад». Почему-то они отказывались жить в Бурмангите, в доме отца, который им перешел в наследство, а теснились в маленькой келье. Братья только и ждали случая, чтобы изгнать Мухаммаджана-кары из мечети. Кутбитдин мечтал занять должность суфия, а Хуснитдин — учителя школы. Мы, мальчишки, слышали, как они за глаза плохое говорили о Мухаммаджане-кары. Однажды, когда домла призывал к молитве, Кутбитдин, указывая на свои часы, сказал сидевшим рядом старикам: «На полчаса раньше назначенного аллахом времени к молитве призывает!» А Хуснитдин но секрету сказал отцу одного из наших мальчишек, будто суфий заглядывается на женщин, которые ходят к хаузу за водой. Кутбитдин как-то поинтересовался у нас, учит ли домла молитвам из Корана. После всех этих разговоров Мухаммаджан-кары стал перед азаном всякий раз спрашивать у Кутбитдина время, а спускаясь к хаузу на омовение, покрывать голову платком и после уроков оставлял нас учить молитвы. Братья не находили себе места оттого, что Мухаммаджан-кары безропотно «исправляется» на глазах, и искали повода, чтобы поссориться с ним.

Как-то в полдень, сидя в классе, мы услышали со двора мечети крики Кутбитдина и тихий ровный голос домлы. Я сидел у окна и видел, что там происходит.

— Не надо зря надрывать горло,— спокойно сказал домла Кутбитдину.— Господь бог наделил человека языком, и надо уметь пользоваться этим даром всевышнего.

Кутбитдин, засучив длинные рукава своего халата, махал перед носом учителя руками и что-то доказывал.

— Куда мы поедем, когда в этом кишлаке мечеть есть и школа! Мы на своем веку достаточно трудностей испытали, надо и по-человечески пожить. А вы заняли наше место. Разве вам недостаточно тех денег, что получаете за свои труды, переписывая заявления и письма прихожан?

Домла покачал головой:

— Я приехал сюда не за хлебом насущным. Отец мой вполне со-

стоятельный человек. Я приехал сюда сеять семена знаний среди людей.

Кутбитдин ехидно улыбнулся и сказал:

— Скажите лучше, что приехали сеять семена джадидизма. Скажите, что хотите сделать всех большевиками!

— Невежда! Джадид — это новый, усугубил джадид — новый метод, разве это святотатство?

Но Кутбитдин не слушал его.

— Ваш новый метод, ваша голова с чалмой, все ваши знания не стоят и одного камня святой Бухары!

Домла, ведя разговор, поглядывал на окна нашего класса, будто чувствовал нашу поддержку. Его глаза, и без того раскосые, совсем скозились от волнения. Но он, не меняя тона, сказал:

— Конечно, каждый кирпич святой Бухары — это знания, каждый камень — мудрость, но кошка, попавшая в сокровищницу, на золото не смотрит, а ловит мышь!

Мухаммаджан-кары повернулся и быстрыми шагами направился к нам, Кутбитдин только и успел крикнуть вслед ему:

— Неудобные богу слова!

Спустя четыре дня после этой стычки в школу пришел долговязый незнакомец, перепоясанный патронташем. Это был помощник главаря банды. Домла пригласил его зайти в свою келью, а когда они снова вошли в класс, я заметил, что домла выглядит бледным и растерянным. Помощник курбаши приказал нам сломать все до одной парты, а доски сложить в конце двора и сжечь их.

Сказав это, он ушел.

В тот вечер призыв к молитве своим тоненьким голосом кричал Кутбитдин.

Домла освободил занимаемую им комнату. Мы помогли ему перенести книги и все вещи в небольшую каморку неподалеку от мечети.

Я пришел домой и рассказал об этом папе. Но ему было не до меня. В тот день заболел мой младший брат Умарали.

## **ДВЕ СМЕРТИ НА ОДНУ ГОЛОВУ**

Умарали с каждым днем становилось все хуже и хуже. Папа считал, что его болезнь от дурного глаза.

Умарали был крупным ребенком, озорным и не по возрасту смыш-

ленным. Папа каждый день, перед тем как уйти на работу, брал Умарали на руки, играл с ним и с удовольствием слушал его щебетанье. Мама, чтобы уберечь моего младшего брата от дурного глаза, пришила к его чапану и рубашкам черные бусинки-талисманы и по несколько раз в день окуривала малыша целебными травами.

В ту злосчастную субботу папа вышел из мечети с утренней молитвы и только направился в кузницу, как увидел, что Умарали дерется с соседским мальчишкой, который был намного старше его. Мой брат повалил мальчишку на землю и стал лупить его, оседлав, как коня. Вышедшие из мечети люди тоже видели это и удивились тому, как такой малыш смог справиться с мальчишкой намного выше и старше себя. Папа был уверен, что это они тогда и сглазили Умарали.

К вечеру брат заболел. Его сильно знобило. Не спадал жар и на следующий день. Умарали стонал и метался в постели. Иногда он просыпался и искал взглядом маму. А на маму было жалко смотреть: она вся исстрадавалась, глядя, как мучается Умарали. Мне казалось, что мама боится остановиться: она, как безумная, все время металась по комнате. Папа, хоть и пытался утешить ее, сам не находил себе места: он то зажигал целебную траву, то уходил на улицу, подолгу задерживался там, искал совета у добрых людей, пытаюсь найти успокоение и обрести надежду на исцеление Умарали.

Пришел к нам мулла в большой чалме и долго читал молитву. Он сказал пане, что надо зарезать какую-нибудь скотину, сделать приношение святым.

На следующий день пришла какая-то женщина изгонять игрой на бубне злых духов из Умарали.

Моему брату от этого лучше не становилось. Жар не спадал, и он метался в бреду, временами засыпая от усталости. Просыпаясь, широко раскрывал глаза и, словно пугаясь чего-то, бросался в объятия то к маме, то к отцу.

А потом пришел табиб, пощупал у Умарали пульс и приказал папе приготовить шашлык из свежей баранины. Куляля обежал весь кишлак и с трудом нашел небольшой кусок мяса. Папа разрезал баранину на несколько кусочков и приготовил шашлык. Он посадил Умарали на колени и, взяв кусочек мяса, стал капать стекавший с мяса сок ему в рот. Все это время стонавший Умарали замолчал. Я обрадовался. Но папа вдруг встрепенулся, шлепнул себя по лбу и громко зарыдал. Мама, кажется, сразу не поняла, в чем дело. Она подбежала к отцу и выхватила

из его рук Умарали. Через мгновение я уже слышал ее крик. Я стоял, боясь пошевелиться, обняв столб, подпиравший айван.

Папа все шлепал себя по лицу и беззвучно рыдал, какими только можно словами проклиная святого Шахимардана и остальных святых.

На крик и плач сбежались соседи. Какая-то старушка пыталась успокоить отца, который все продолжал сыпать проклятиями.

— Хай-хай, сынок! Все от бога всемогущего, не надо так говорить, а то гяуром станешь!..

Папа, как безумный, кинулся к полке, на которой лежал Коран, и, схватив его обеими руками, с размаху бросил на землю.

— Вот гяур!..— крикнул он и, не удовлетворившись этим, нхнул ногой Коран так, что пестрый переплет полетел в одну сторону, а сам Коран в другую,— Вот гяур!..

Старушка с криком бросилась к святой книге и накрыла ее своим телом.

Папа же, выхватив нож, воткнувший в столбик террасы, со всех ног побежал в хлев, выволок оттуда теленка, поднял его за ноги и, повалив на землю, полоснул по горлу ножом.

— Вот гяур!.. Мясо собакам брошу!..

Теленок в предсмертной агонии вскочил на ноги и, качая свернутой набок головой, побежал, ударился о дувал, упал и затих. Весь двор, дувал и сам папа были забрызганы кровью.

Только тут я заметил, что во дворе у нас много людей — мужчин, женщин, детей. Мужчины кинулись к папе, который, словно обезумев, все еще продолжал поносить святых, и усадили его в сторонке.

Женщины взяли из объятий мамы, лежавшей без сознания, Умарали и унесли его в комнату. Кто-то подал маме в пиале воду...

К вечеру Умарали унесли на носилках. Я сидел рядом с мамой, которая все еще не приходила в себя. Женщины плакали в голос.

Мама очнулась только на другой день.

Папа, с трудом сдерживая подступавшее к горлу рыдание, успокаивал маму, говорил, что от судьбы никуда не уйти.

Через неделю после похорон Умарали, когда в доме все немного успокоились, я ходил в школу проведать Мухаммаджана-кары. Школу нашу перевели в другое помещение, в чью-то заброшенную конюшню за мечетью. Занимались теперь только по хафтияку, читали Коран и каждый день после занятий водили ребят в мечеть молиться.

Новый учитель ввел новые законы — за каждую провинность

лупил ученика. Как-то, читая Коран, я ошибся, не так прочитал слово, за что сразу же был награжден пощечиной. От досады я ущипнул проклятое слово в книге и прорвал страницу. Учитель заметил это и наказал меня вторично.

Всю осень до наступления холодов мы занимались во дворе, а потом перебрались в конюшню — разжигали небольшой костер и рассаживались вокруг. Учитель заставлял нас читать Коран громко, хором.

До зимы я вызубрил треть Корана.

А в один из весенних вечеров папа подъехал к дому на арбе и с тревогой в голосе сказал:

— Эргаш-курбаши, говорят, правительству бросил вызов и предложил выбрать место, где бы они могли помериться силой. И правительство дало согласие сразиться с ним в Аккургане. Не сегодня-завтра здесь начнется война. Если мы не уедем в Коканд, плохо нам придется. Ну-ка, собирайтесь, пока не поздно, надо скорей бежать.

Мама заплакала.

— Куда я пойду, не проведя поминки по Умарали? И долго ли еще буду оставлять могилы своих детей без присмотра! Будь проклято ремесло кузнеца!

У меня тоже испортилось настроение, я всплакнул. Мне казалось, что, если мы сейчас уедем в город, Умарали встанет из могилы и будет глядеть нам вслед. Куляля тоже плакал.

Папа успокоил всех:

— Ну кто такой Эргаш? Какой-то несчастный вор, бежавший из Сибири. Ведь он долго не сможет сражаться с правительственными войсками, если у него нет оружия, патронов. Всыпят ему разок, он и побежит. Тогда мы и вернемся в кишлак. На всякий случай нужно забрать с собой «Зингера», эти не постесняются грабить и дома бедняков.

Так как в доме, кроме «Зингера», ничего стоящего не было, мы сели в арбу, прихватив с собой швейную машину, и отправились в Коканд.

Мама спрятала «Зингера» под паранджу, чтобы никто ее не видел.

Но настоящую причину поспешного отъезда папы из Аккургана мы узнали в городе. В кишлаке все было спокойно. Эргаш-курбаши обосновался в Бачкыре, где и готовился дать бой правительственным войскам. А папе приказал приехать к нему помогать делать оружие. Об этом папу известил помощник Эргаша и дал два дня срока для переезда в Бачкыр. В среду он обещал прислать арбу.



Поняв, что теперь вряд ли мы вернемся в Аккурган, мама начала плакать, рвать на голове волосы. Ей казалось, что Умарали в день поминания встанет из могилки и будет печально смотреть на дорогу, по которой мы уехали в Коканд. И это было бы равносильно второй его смерти.

Папа, чтобы не загружать арбу, ничего с собой не взял, даже свои инструменты он оставил в Аккургане.

## **СРЕДИ РАЗВАЛИН КОКАНДА**

В Коканд мы въехали рано утром. Мама сразу начала плакать и причитать, у нее не было желания жить в доме дяди. Она толкала меня в бок и шептала: «И ты плачь, скажи, что не хочешь ехать к ним». Плакать мне не пришлось, папа и так согласился с ней. Он решил остановиться у своей сестры, которая жила в махалле Кумир-базар.

От Дегреза до Кумир-базара мы ехали мимо развалин. По обе стороны широкой улицы стояли сгоревшие лавки, разрушенные домики. От крытых торговых рядов и магазинов на площади Чорсу и следа не осталось. Люди занимались торговлей возле уцелевшей соборной мечети. И напротив, на базарной площади, продавали старье, посуду, какие-то железки, полуобгоревшие доски, старые одеяла. Много было нищих...

Мама, хоть и согласилась остановиться у тети, однако всю дорогу твердила:

— Уста Мумин сам обременен семьей. Разве не совестно быть нахлебником у людей в такое голодное время! Ничего у нас нет — ни кузницы, ни работы...

Папа успокоил ее. Он сказал, что кузнец никогда не пропадет с голоду, для него работа всегда найдется.

Махалля Кумир-базар тоже сгорела — кругом разрушенные дувалы, у мечети Мадрасаихон обвалился портал, у многих домов нет дверей — чернеют только полуобгоревшие дверные рамы. К счастью, дом тети не пострадал. Он стоял в глубине улицы.

Мама, как только вошла во двор, обняла тетю и заплакала. Не удержалась и тетя, а глядя на них, стали плакать и ее дочери. Папа прочитал молитву из Корана, и все угомонились. Потом отец что-то сказал маме и ушел на улицу.

В обед тетя сварила целый казан супа из лошадиных костей.

— А мы раньше и не знали, что из конины вкусная шурпа получается,— сказала она.— Живем мы теперь хорошо. Правительство велело нам объединиться, а объединившимся хлебные карточки дадут. Вот мы и объединились. Каждый день по одной или полторы буханки хлеба стали получать.

Принесли шурпу. Тетя разбила молотком четверть сухой черствой булки и несколько кусков положила на дастархан. Остальное она убрала. Мы ели суп, размачивая в нем сухари.

После обеда мама с тетей, завернув оставшийся хлеб в узелок, отправились проведать бабушку. Ульмасой, старшая дочь тети, повела меня, Кулялю и двух своих сестер осматривать город. Ходили мы на Балтакуприк, Гишткуприк, а дальше побоялись идти. Ульмасой сказала, что в те районы часто навевываются басмачи. Правда, стоит им услышать заводской гудок, который служил сигналом сбора для красноармейцев, они быстро исчезали.

Когда мы вернулись обратно, Ульмасой предложила сходить во двор мечети Мадрасаихон. Там голодным раздавали еду. Я впервые видел такое скопление народа — женщин, стариков, худых и оборванных детей. У каждого в руке миска. Ульмасой сказала, что она со своими сестренками ходит сюда обедать каждый день. Она откуда-то раздобыла большую глиняную чашу. В углу у дувала сердитого вида дядька, разливавший из огромного чугунного котла похлебку, пересчитал нас и налил пять половников супа. Мы уселись в сторонке и поочередно, запрокидывая чашу, ели похлёбку через край.

Когда мы, пообедав, пришли обратно, мама с тетей уже были дома. Я заметил, что у мамы покраснели и опухли веки. Причину этого я узнал, когда возвратился папа. Моя бабка, вместо того чтобы приветливо встретить маму, успокоить и утешить ее добрыми словами, стала ворчать:

— Что можно было ожидать от ребенка, рожденного в больнице?!

Вечером вернулся с работы уста Мумин, муж моей тети. Оказалось, что уста Мумин вступил в члены профсоюза. Дядя посоветовал папе тоже вступить в этот союз. Член профсоюза работал в своей кузнице, государство давало ему уголь, железо, а то, что кузнец изготавливал, он должен был сдавать государству, за что получал хорошую зарплату, хлебную карточку и три аршина ситца в месяц. У папы не было ни кузницы, ни инструментов. Идти ему к кому-нибудь в подмастерья не

позволяла гордость.

У уста Мумина семья из пяти человек, да нас четверо. Хотя наше присутствие не обременяло их, но в народе говорят: «Гостю почет день, другой, а потом собирайся домой!» Папа уходил на поиски работы рано утром, а появлялся поздно вечером усталый, злой. Мама начинала пилить его:

— Хоть бы Кулялю куда-нибудь пристроили!

Куляля и так, как мог, помогал уста Мумину, но хлебной карточки у него не было. Я думаю, что папе не хотелось терять своего ученика.

Через неделю нас разыскал Додарходжа — старший брат Куляли.

С тех пор как его выслали из Кудаша за драку с перекупщиком, он некоторое время работал в Коканде грузчиком, потом в Тухлимергане, затем в Ганджираване на маслобойне, а когда война кончилась и в городе наступило спокойствие, Додарходжа отправился в Коканд искать своего брата. Отсюда поехал в Бувайди, не найдя нас там, опять вернулся в город, да так и остался здесь работать водоносом. Он был рад тому, что наконец разыскал брата. Додарходжа сказал нам, что собирается уехать в Каратегин. Не скрывая своей радости, он говорил о происходящих переменах и, не отговори мы его, тотчас же отправился бы в Кудаш на розыски старосты и Туракула, с которыми давно мечтал свести личные счета.

Папа, недолго думая, продал «Зингера» и половину вырученных денег отдал Куляле. Уста Мумин, уста Хамиджан, уста Адокул и дядя подарили Куляле по инструменту, необходимому в кузнечном ремесле, и благословили его словами: «Да поможет тебе святой Дауд, покровитель всех кузнецов!» Братья были вне себя от восторга.

Дорога в Каратегин лежала через горный перевал, и Додарходжа с Кулялей решили на рассвете двинуться в путь. Уста Мумин принес им с работы бумагу, чтобы они смогли доехать на поезде хотя бы до Хаваса. На поезд без специальной бумаги не сажали. Утром на станцию провожать Кулялю и его брата отправились дядя с папой. Я тоже пошел с ними. Долго сидели в зале ожидания. Наконец уста Мумин поговорил с кем-то из начальников и достал братьям билеты. Ни разу в жизни не ездившие в поезде, они поспешно полезли в красный вагон и прильнули к окну. Когда поезд тронулся, я увидел на глазах у Куляли слезы.

Через три-четыре дня после отъезда Куляли пана нашел нам комнату в Кипчакарыке. Так как у нас ничего не было, тетя дала нам

одеяла, подушки, кто-то из знакомых подарил посуду, и мы переехали в новое жилье, которое оказалось поблизости от дядиного дома. Это была бывшая гостиная торговца мануфактурой Мухаммадраджаба. Комната была чистая и светлая, раньше в ней жили русские — стены побеленные, пол деревянный, а под потолком висела керосиновая лампа.

Папа уходил на работу рано. Днем, урвав время, приносил нам буханку хлеба и немного еды в котелке. Возвращался он поздно вечером. От нечего делать я целыми днями бродил по двору. Иногда я отправлялся в гости к двоюродному брату Гаффарджану. Я его до сих пор не любил, но вместе все же было веселей: мы с ним играли в разные игры. Но произошли два таких случая, после которых я перестал с Гаффарджаном водиться.

Как-то он повел меня на железнодорожную станцию. На том месте, куда мы пришли, видно, раньше были лавки и магазины. Указав мне на небольшую горку, Гаффарджан сказал, что она меловая, стоит только немного раскопать сверху землю. Горка уже была подрыта с одной стороны. Мы спустились в эту яму и стали копать. Я быстро набрал несколько кусочков мела и только собрался вылезти из ямы, как откуда-то появился мужчина в фуражке с блестящим черным козырьком. На боку у него висел револьвер. Одет он был в черные брюки-галифе и рубашку навыпуск. Испугавшись, что он сейчас отругает нас, я выкинул мел и, отряхнув руки, встал. «А-а, милиционер!» — пренебрежительно сказал Гаффарджан и, не обращая внимания на мужчину, продолжал заниматься своим делом. Милиционер, а это был он, присел с краю ямы и заговорил с нами. Он поинтересовался, откуда мы, кто наши родители. Гаффарджан сказал, что он сын кузнеца Абдурахмана из махалли Кипчакарык. Я назвал имя моего папы, но где он работает, не смог ответить. Милиционер, подхватив меня под мышки, вытащил из ямы и, усадив рядом с собой, стал расспрашивать.

— Почему папа не купит тебе хорошей одежды? — спросил он.

Только теперь я заметил, что одет намного хуже Гаффарджана.

— У папы нет денег, — ответил я.

Кажется, он не поверил тому, что у меня есть родители, и все пытался выяснить, откуда же я. Я обернулся, чтобы призвать Гаффарджана в свидетели, а его и след простыл.

— Я сейчас тебя в одно хорошее место отведу, — сказал милиционер, — Там досыта накормят тебя, обуют, оденут, учиться бу-

дешь...

Я заплакал.

— Не пойду я никуда! Не хочу учиться! Я уже учился в школе!..— кричал и упирался я.

Но милиционер и не думал меня отпускать. Я попытался бежать, но он так крепко схватил меня за локоть, что, не в силах вырваться из его рук, я, плача, пошел с ним.

Мы долго шагали по каким-то тихим полуразрушенным улицам и подошли к огороженному деревянным забором двору, где у входа стояли навытяжку двое мальчишек с палками на плечах. Они держали палки так, как будто это были винтовки. Первое, что я подумал, увидев их,— не вырваться мне оттуда, если войду в эти ворота.

По двору с шумом и криками носились мальчишки. Мы прошли мимо ребят и вошли в двухэтажное здание. Милиционер передал меня пожилой женщине-татарке, которая сидела рядом с маленьким мальчиком на ступеньке лестницы и пыталась успокоить его, а сам ушел. Мальчишка плакал и, утирая рукавом слезы, повторял:

— Не хочу учиться в школе для голодных детей!..

Женщина гладила его по головке и ласково говорила:

— Кто тебе сказал, что это школа для голодных детей? Это же детский приют!

Но и это не успокоило мальчишку, и он все плакал. Я стоял рядом и тоже плакал.

Потом женщина куда-то увела мальчика, и я остался один. Когда чуть стемнело, я незаметно вышел во двор, перелез через забор и побежал домой.

Дома все были обеспокоены моим отсутствием. Но ни папа, ни мама не ругали меня, а когда я рассказывал им о том, как милиционер отвел меня в детский приют, они улыбались.

С Гаффарджаном я не виделся целую неделю, да и видеть его не хотелось. Я подружился с другим мальчиком. Звали его Мамаджаном. Отец Мамаджана, Кулмат, был красноармейцем и хорошо знал моего папу.

Мамаджан повел меня в магазин за старой мечетью. Там давали кукурузу. Он познакомил меня еще с другими ребятами из нашей махалли. В магазине я встретил и Гаффарджана. Когда, получив кукурузу, мы возвращались домой, Гаффарджан вдруг сказал, что он женился. Никто из ребят не поверил ему. «Как же ты прокормишь свою

жену?» — смеялись над ним мальчишки. А Гаффарджан важно вышагивал впереди нас и все твердил:

— Я женился! У меня дома жена есть!

Один из мальчишек, который, видно, позавидовал ему, сказал :

— Он сам, что ли, женился? Его папа женил!

— Всех же папа женит. Ничего тут нет удивительного.

— А жена это твоя собственность? Что хочешь можешь с ней делать? Даже отлупить? — спросил кто-то из ребят.

— Могу!.. — сказал Гаффарджан хвастливо. Я не только отлупить, а даже убить могу!

Мальчишки, не веря ему, стали поддразнивать:

— Хвастаешься!.. Хвастун!.. Хвастун!..

И Гаффарджан тут же позвал нас домой, обещая на наших глазах отлупить свою жену. Гаффарджан вошел во двор, а мы расположились на своих наблюдательных пунктах: кто сидел на дереве, кто на заборе, я смотрел через щель в калитке. Посреди двора старшая дочь Абдураззака-сапожника, Амина, мыла голову. Она из кувшина лила воду себе на волосы, намазанные кислым молоком. Гаффарджан подошел к ней сзади и ударил рукой по голове. Амина от неожиданности вздрогнула, вытаращила глаза и, бросившись на обидчика, вцепилась ногтями ему в лицо. Гаффарджан поднял ногу, чтобы пнуть ее, но Амина ловко поймала его за кавуши, и он грохнулся со всего размаха на спину. Но тут же вскочил и, разозлившись, схватил Амину за волосы. Вот была драка... Вот была потасовка... Мы от страха, что на шум сбегутся взрослые, пустились врассыпную.

Придя домой, я рассказал о драке Амины и Гаффарджана маме.

Она посмеялась и предупредила:

— Не рассказывай никому об этом. Стыдно будет!

Как потом я узнал, мой дядя после смерти своей жены женился на вдове Абдураззака-сапожника, Нисобуви, а его старшую дочь сосватал сыну.

Мне ужасно не нравились глупые проделки Гаффарджана: то он убежал, оставив меня с милиционером, то подрался с Аминой. После всего этого я перестал дружить с ним. Я не любил их дом, потому что с ним у меня были связаны плохие воспоминания: почему- то перед глазами появлялись носилки с телом Савринисо, ее больная мать, Азимзаика, катящий впереди себя тачку. А Гаффарджан почему-то представлялся мне маленьким старичком с длинной до земли бородой.

Наступила теплая осень. Однажды вечером папа принес домой две дыни. На голове у него была, как тогда ее называли мальчишки, «центр шапка» с красной звездой и заостренным верхом. Он был в черной рубашке и огромных солдатских сапогах. Я даже вскрикнул от радости. А мама просто онемела. Папа сел, достал из кармана нож и разрезал одну из дынь.

— Когда я каждый день приносил тебе еду, ты не удивлялась и даже не интересовалась, откуда я беру все это. А теперь, глядя на шапку, удивляешься!

Мама заплакала:

— Что мы будем делать, если вы уйдете на войну?

— Я никуда не уйду. Война идет здесь, в городе. Ты разве не слышишь, что только и говорят о том, что басмачи напали то на Ходабазар, то на Бакачорси, то на Дегрез... Если и пойдем куда, так не дальше окрестностей. Вот если бы в Яйпан, Кудаш или Бувайди пойти!.. Если пойдем в Аккурган, я тебя с собой возьму, а то на могилке бедняжки Умарали никто и не всплакнул до сих пор...

Мама перестала плакать. Она вдруг вскочила и, накинув на голову паранджу, выбежала на улицу.

— Куда ты? — только и успел крикнуть папа.

Я выскочил следом за ней. Она, убыстряя шаг, направилась по берегу речки к дядиному дому и исчезла за калиткой. Я постоял на мосту и, не дождавшись ее, поплелся домой. Мама возвратилась не одна. Она привела с собой дядю Абдурахмана. Не успев переступить порог, дядя набросился на отца:

— Ты что?! В своем ли уме! Что, если шальная пуля в тебя угодит? Вставай и немедленно иди сдай свою шапку!

Папа молчал, словно набрал в рот воды. Дядя постоял, поругался немного и ушел. Я думал, что папа начнет ругать маму за то, что она привела дядю, но он ничего не сказал. Мама печально смотрела на папу, и из глаз ее катились горькие слезы.

Поздно вечером дядя снова пришел к нам, на этот раз с уста Хамиджаном. Они сели по обе стороны от папы, и папа рассказал им о том, что уже днем говорил маме. Уста Хамиджан тоже возмущался тем, что папа записался в красноармейцы.

Он сказал:

— А что делать с солдатом, как не посылать его на войну?! Просто так кормить?! В Ашхабад, говорят, англичане пришли, каждый день

туда солдат отправляют. Я собственными ушами слышал, как они, шагая на станцию, пели песню:

*Разве может быть такое,  
чтобы не было покоя?!  
Мы прогоним англичан,  
не видать им Туркестан!*

Не знаю, то ли на папу подействовала эта песенка, то ли ему не хотелось обижать маму, но он ни единым словом не возразил.

Прошла неделя, потом другая, а папа так и не сдал «центр шапку». И тогда дядя с мамой решили вместе сходить на Урду, в штаб красноармейцев, и плачем и уговорами забрать папу обратно. Раза два мы ходили туда, но, так и не узнав, куда войти и к кому обратиться, ни с чем возвращались домой. В эти дни басмачи чаще стали налетать на окрестные кишлаки, несколько раз была сильная перестрелка. Папа, хоть и участвовал в этих боях, нам ничего не рассказывал.

Тем временем стали формироваться конные отряды и пехотные части. На весь город прославились начальники и командиры: Саттихон, братья Хасан и Хусан Эрматовы, Султан Абдурахманов, кузнец Кузивой Рахманов из нашей махалли, Нишан Ризаев, выучившийся на командира в Ташкенте и участвовавший в ашхабадской войне, и другие. Дядя после этого перестал ругать папу.

В начале осени меня отдали в новую школу, которая открылась в Каландархане. А маму папа устроил на шелкомотальную фабрику «Мандалак». Маме, вся жизнь которой прошла в четырех стенах, на фабрике очень понравилось.

— Одни женщины там работают, и работа не тяжелая, только радуешься ей.

Маме дали карточки на хлеб, на керосин и на рыбу.

В первый же день, когда я пошел в новую школу, молодой учитель, которого звали Мелибай-домла, разучил с нами песню. Мы даже записали ее в тетради.

*Вставай, поднимайся, трудящийся люд,  
твоя наступила нора.  
Сегодня твои палачи не уйдут  
от сабли и от топора...*



Я вспомнил, что где-то уже видел нашего молодого учителя. Он, оказывается, когда-то учился в школе, в которую ходил Гаффарджан.

В новой школе я проучился всего месяц. Однажды, когда мы сидели на уроке, со стороны Шайхулислама послышались выстрелы. Занятия прервали, и нас отпустили домой. Все преподаватели, похватав винтовки, которые стояли у стены в учительской, выбежали на улицу.

Не надо было мне рассказывать об этом маме. Она стала плакать и уговаривать папу, чтобы он забрал меня из этой школы.

— Зачем единственного сына в такую беспокойную школу отдали?! Там все учителя солдаты, оказывается! Что будет, если на школу нападут басмачи?

Папа не стал возражать ей. Через несколько дней он отвел меня в школу, которая называлась «Истикбал» — «Будущее». Школа занимала огромное здание — бывший байский дом. Ребятам в ней учились много. Только из нашей махаллы там учились: сын красноармейца Кулмата — Мамаджан, сын Темирбая-кондитера — Пулатджан, сын Расула-сапожника — Салимджан, сын Рузимата, торговца маслом, — Хусан, сын татарина Хандана — Хасан и мой двоюродный братец Гаффарджан.

Хакимджан-домла, так звали директора нашей школы, высокий, красивый мужчина с гладко зачесанными черными волосами, преподавал нам естествознание; Пулатджан-домла преподавал арифметику и географию; Абдувосе Каюми — математику и пение; Абдулладжан Каримов — физвоспитание; Насыр Закири — родной язык; русская женщина по фамилии Карпова — русский язык; кроме перечисленных учителей, были еще два преподавателя-татарина. Все учителя ходили в военных гимнастерках.

В конце зимы нашу школу посетили старики. Хакимджан-домла принял делегацию аксакалов в своем кабинете. Через некоторое время, проводив их, он зашел к нам в класс и сказал, что старики приходили узнавать: учимся ли мы в своей школе письму из Корана. И пригрозили: «Будете учить их Корану — хорошо, а нет — мы заберем своих детей из вашей школы». Стариков, оказывается, напугал поднятый в Ташкенте вопрос о новом правописании. Сторонники нового правописания считали, что их метод облегчает борьбу с неграмотностью, и предлагали, например, такие изменения: если слово в старом правописании пишется «мкѣбъ» — школа, «млм» — учитель, в новом

писать «мактаб», «муаллим», с гласными буквами. Это, конечно, влекло за собой изменение шрифта и противоречило письму Корана. Хакимджан-домла просил передать нашим родителям, что с завтрашнего дня будет введено чтение Корана.

Раньше уже многие ушли из школы. Узнав о том, что снова ввели чтение Корана, они все вернулись обратно. Каждую субботу и вторник мы изучали Коран. Этот урок у нас вел преподаватель родного языка Насыр Закири. Он не просто заставлял зубрить Коран наизусть, но и объяснял значение каждой фразы.

Еще учась в Аккургане, я почти до половины выучил Коран; правда, не мог разъяснить прочитанного, и, может быть, поэтому каждое слово в Коране производило на меня сильное впечатление. Когда я читал такую фразу: «Сабъа самовотун тибоко», по телу пробегали мурашки, а это всего-навсего, оказывается, означало: «Семь слоев неба». Мне стало смешно оттого, что я разгадал тайну Корана, и теперь он потерял для меня свою загадочность.

Как-то после занятий долговязый парень в серой шинели, какую носили красноармейцы, собрал всех старшекласников и рассказал о Коммунистическом союзе молодежи, членов которого Ленин называл своими детьми. Парень раздал всем анкеты с вопросами. Мы тут же заполнили их и сдали ему.

Спустя несколько дней один из наших преподавателей повел тех, кто заполнил анкеты, к большому серому двухэтажному зданию в старом городе. Его построили на месте сгоревших во время пожара торговых лавок и магазинов.

Мы поднялись на второй этаж. В светлом просторном зале было много ребят и из других школ. Молодой парнишка, видно, член союза молодежи, вышел на середину зала и стал рассказывать о басмачах, о войне, о голоде и объяснил собравшимся задачи, стоящие перед коммунистической молодежью. Он раздал нам жестяные коробочки и красные повязки. Нам надо было накануне Первомайского праздника пройтись по базарам, чайханам, собирая в эти коробочки пожертвования в пользу голодающих.

Город я знал плохо и поэтому увязался за Мамаджаном. Мы пошли с ним на площадь Чорсу, где всегда было многолюдно и оживленно. Мамаджан затащил меня в чайхану рядом с соборной мечетью. Слово «пожертвование» совсем вылетело у нас из головы, и мы никак не могли его вспомнить. Но, слава богу, Мамаджан не растерялся и, держа

коробочку в вытянутой руке, жалобным голосом сказал: «Дайте деньги голодным!» Люди бросали в наши жестянки монеты, а один седобородый старик, долго роясь в своем кармане, сказал:

— Надо говорить «не дайте деньги голодным», а «окажите помощь голодающим»!

Так мы обошли всю площадь Чорсу. Потом стали обходить базары, и к вечеру, когда наши жестянки были полны, мы отнесли собранные деньги нашему представителю в то серое двухэтажное здание. Он нам дал новые коробочки, а эти убрал в стол.

Майские праздники народ гулял четыре дня. Мы с Мамаджаном за эти дни собрали много денег. Так как мы свои задачи выполняли хорошо, нам разрешили собирать пожертвования только в базарные и праздничные дни.

Однажды Хакимджан-домла послал шестерых из нашего класса в педучилище. Я много хорошего слышал об этом училище. Когда его ученики, чеканя шаг, проходили по улице с песней, любо было на них смотреть. Они пели:

*Мы народ трудовой,—  
дети семьи людской.  
Скажите, почему же баи  
держали нас под пятой?*

На длинной, во всю ширину здания, террасе собрали членов союза молодежи. Рыжеволосый парень с голубыми глазами, Хаджи- курбан Касыми, сидел за столом, покрытым красным сукном, и вручал каждому удостоверение и на троих выдавал по одному свистку. Мы — я, Мамаджан и Шарифхан — тоже получили свисток.

Я раскрыл синенькую книжечку и прочитал:

«Дано сие удостоверение Абдулло Каххори в связи с тем, что упомянутый товарищ является представителем Коммунистического союза молодежи г. Коканда для ведения учета трудовой молодежи.

Сие удостоверение подписью и печатью.

Председатель. Секретарь».

После того как всем раздали удостоверения и свистки, нам объяснили наши задачи.

Трое комсомольцев образовали бригаду, один назначался командиром. Бригада должна была обойти дома в своей махалле и

взять на учет ребят от четырнадцати до восемнадцати лет, которые работали батраками; второе — обойти все чайханы, где собираются кухнарщики, и сообщить о них в милицию; и третье — если где выдавали девушку рано замуж, немедленно доложить в штаб, а в случае оказания нам сопротивления свистком вызвать на помощь милиционера. Когда заговорили о раннем замужестве, мне сразу вспомнилась Амина, я тут же хотел рассказать о ней, но, побоявшись родителей и дяди, промолчал<sup>2</sup>.

На руках у нас повязки, один свисток на троих, и мне теперь казалось, что нет никого сильнее нас в городе.

Обходить дома надо было начинать в пятницу. Не знаю, как повезло другим бригадам, но мы не встретили ни одной девушки, рано выданной замуж. А батрака, обойдя несколько кварталов, нашли только в Исфаре. Зато чайхан, где собирались кухнарщики, хватало, только у большой мечети мы взяли на учет пять чайхан.

Прошли слухи о том, что нашу школу превращают в интернат. Гаффарджан, сын Темирбая-кондитера Пулатджан, сын Ак-домлы Абиджан ушли в другую школу. Исчез куда-то и мой лучший друг Мамаджан. Даже не спросив разрешения своих родителей, я остался в школе-интернате. Пришел к нам дядя и поругался с моим отцом: «Неужели ты не в силах воспитать единственного сына, что отдаешь его на воспитание государству!» Мама встала на сторону дяди, но папа убедил их: «Я могу не отдавать сына в интернат, но ведь, если он нужен будет государству, оно и так его возьмет!»

Директора нашей школы Хакимджана-домла перевели на работу в ревком, а вместо него назначили Абдувахаба-домла. Ребят всех одели в синюю форму. Новый директор установил в школе железную дисциплину — у входа в интернат поставили дежурных, мальчишек перестали выпускать на улицу, а чтобы наказывать провинившихся ребят, была создана специальная «контрольная комиссия». Мы теперь должны были называть друг друга на «вы», а обращаясь к учителю,

---

<sup>2</sup> Хорошо, что я тогда промолчал. Когда я напомнил об этом маме, она отругала меня: «Ты что?! Хотел поссорить нас с дядей?» Но я все же не забыл этой истории. Прошло около семи лет, и, начав свои первые шаги в литературе, я написал рассказ «Девочка в руках отчима». Он был напечатан в женском журнале «Новый путь». Спустя еще два года я написал на эту же тему рассказ «Человек без головы», его напечатали в журнале «Лицо земли». В нем я изменил имена своих героев. Гаффарджана назвал Фахритдином, Амину — Мехри.

В узбекском языке родной язык называется «она тили», буквально — материнский язык. Ученик спросил: «Почему говорят «материнский язык», а не «отцовский?»»

отдавать честь и величать его «афандим» — «мой господин»; ходить строем в столовую, не разговаривать во время еды, после непродолжительного послеобеденного отдыха заниматься уроками, разучивать походные песни. Сбор пожертвований, перепись трудовой молодежи — все это кануло в прошлое. Никто нам об этом и не напоминал. Даже на комсомольские собрания мы ходили с разрешения Абдувахаба-домла.

После того как нас приучили к дисциплине, мальчишкам, которые имели родителей, разрешили раз в неделю, в четверг, уходить домой.

В один из четвергов, придя домой, я застал своих родителей в хорошем настроении. Мама прямо зацеловала меня и, вытирая набравшие от радости слезы, сказала:

— Государство освободило твоего папу от военной службы и открыло ему новую кузницу. Сейчас, оказывается, государству больше серпы нужны, чем солдаты. И железо и уголь государство само для него купит. Дали ему и помощника, хорошего парня. Саид-али его зовут. Да, чуть не забыла, государство целый дом нам выделило. Папа специальную бумагу принес. Завтра переедем туда. Сейчас папа с Саидом приводят его в порядок...

И на другой день утром мы переехали. Наш новый дом стоял на перекрестке в махалле Миртахир. После того как мы выгрузили вещи, папа подозвал маму и шутливым тоном сказал:

— Не бойся, можешь поглубже забивать гвоздь в стену, теперь не придется выдергивать!

Кузница отца была напротив нашего дома.

Мы с мамой целый день приводили в порядок комнаты. Вечером я собрался уходить, но мама не отпустила меня: ей хотелось, чтобы хоть в первую ночь я переночевал в новом собственном доме. И я остался.

Утром я проспал в школу. Поспешно выскочив из дома, на повороте в махаллю Бакакурлок я повстречал однокашника Назира. И мы побежали вдвоем. Войдя во двор интерната, мы тихонько шмыгнули в здание. Я вошел первым. По коридору, заложив руки за спину, навстречу мне шел Абдувахаб-домла. Он поманил меня пальцем. Я подбежал к нему и, вытянувшись в струнку, отдал честь и не успел сказать «афандим», как он мне заехал по уху. От неожиданности я чуть не упал. Учитель кивком указал мне на классную дверь. Назир, испугавшись, вылетел из коридора во двор, но Абдувахаб-домла, оказывается, заметил его и передал дело о нем в «контрольную комиссию», которая приговорила Назира к такому наказанию: когда

ребята обедали в столовой, он сидел на стуле у стены с поднятыми вверх руками до тех пор, пока все не закончат обеда.

Начались каникулы. Столько свалилось забот, что в затылке некогда было почесать. Одна девушка, татарка, организовала из самых примерных ребят пионерский отряд. У этой организации тоже много было всяких задач. По воскресеньям они ходили в походы, на экскурсии, осматривали бывшие байские сады. В городе стало спокойнее, басмачи уже не нападали. Только изредка из далеких кишлаков приходили вести о них.

Потом в нашей школе появился молодой человек, который организовал у нас кружок художественной самодеятельности. Среди нас выискались таланты — певцы, декламаторы. Мы стали разучивать песни и декламировать стихи.

Члены нашего кружка приняли участие в концерте, который был дан в мусульманском театре старого города. В концерте мы выступали с тремя номерами — гимнастикой, походной песней и декламацией.

Когда концерт кончился, мы спустились в зал. А на сцену поднялся бородатый мужчина в черном пиджаке, фамилия его была Ахмадханов, потом выступал наш Хакимджан-домла. В своем выступлении Ахмадханов часто повторял слова «человечество», «тиран», «свобода Востока». А Хакимджан-домла говорил о просвещении, о революции, а заканчивая свою речь, сказал что-то об «изменнике Абдувахобе». Мы удивленно переглянулись. Мне показалось, что Хакимджан-домла по ошибке вместо слова «деспот» сказал «изменник». Мы все считали учителя Абдувахоба деспотом.

Когда мы вернулись в школу, весть о «предателе Абдувахобе» уже гуляла по интернату. В общежитии стоял невообразимый шум, мальчишки дрались, садились друг на друга верхом... Дежурный воспитатель ничего не мог сделать с ними. Хор голосов выводил:

*Живи свободно в этом мире,  
проснись ты ото сна!*

Появилось слово «анархист». Каждый считал себя анархистом и, чтобы доказать свою причастность к анархизму, творил бог знает какие дела. И тогда я, вспомнив, как получил от Абдувахоба-домла оплеуху, совершил один неразумный поступок, о котором упомянули на совещании учителей.

Абдувахаб-домла ушел от нас. Вместо него временно назначили директором преподавателя арифметики и географии Пулатджана-домла. Мы все очень любили этого учителя потому, что он все время улыбался.

Ребята, почувствовав свободу, стали меньше заниматься. Их настроение сказывалось и на преподавателях: они отменяли уроки, и мы слонялись по школьному двору без дела.

Один из мальчишек, брат которого учился в партийной школе, на уроке родного языка выступил против буквы «ф» и стал спорить с преподавателем. В перемену в расписании уроков, которое висело в коридоре, он переправил все буквы «ф» на «п». А на другом уроке он задал вопрос учителю: «Почему мы говорим «она тили», а не «ота тили»?<sup>3</sup> Этот вопрос, оказывается, поднимался на конференции лингвистов, которая проходила в Ташкенте, и выступивший на ней Фитрат сказал: «Нет ни у кого сомнений в том, что мы родились от матери, а то, что от своих отцов произошли, можно сомневаться». Об этом и рассказал нам учитель.

Прошло лето. Осенью, как-то вернувшись в один из четвергов домой, я застал маму расстроенной. Войдя в комнату, я увидел на стене развешанные на гвоздях три пятизарядные винтовки, несколько патронташей, а на полке, поблескивая металлом, лежало два револьвера. Я очень обрадовался.

Мама стала плакать и жаловаться на папу:

— Хорошо зарабатывал. Только начали как люди жить, и достаток в доме есть, вон и мука, и рис, и масло... Ты только подумай, сынок! Сдал твой отец кузницу и пошел служить в отряды Мелибая- амина! — сказала она и, успокаивая сама себя, добавила: — Правда, далеко он не станет уезжать. Будут, оказывается, ловить басмачей, которые Приходят в город для связи со своими. Да, кстати, ты помнишь в Аккургане нашего соседа? Талибом его звали? Так вот он приезжал от басмачей за патронами в город, и его чуть не поймали... Сбежал... Плохо только, что иногда в ближние кишлаки все же придется выезжать. Уехал на днях Мелибай-амин со своими джигитами в соседний кишлак, до сих пор не возвратился. А куда поехали, не сказали...

Почему-то вдруг я вспомнил Валихона-суфия.

---

<sup>3</sup> В узбекском языке родной язык называется «она тили», буквально — материнский язык. Ученик спросил: «Почему говорят «материнский язык», а не «отцовский?»»

— Может, в Бувайди поехали! Папа разыщет там Валихона и застрелит его из револьвера! Он ведь не давал житья нам! — сказала я.

— Да, пусть застрелит этого проклятого суфия! — сказала мама и, словно сама готова была расстрелять его, наставила на стену указательный палец.— Пусть и Туракула из Кудаша застрелит! Они нам немало горя доставили! А если в Яйпан попадет, пусть Алима-бува не трогает. Хотя он и ругал и из дома выгонял, хороший был человек...

Мелибая-амина, папиного командира, я встречал и раньше. Это был здоровенный мужчина. Жил он на другом конце нашей улицы, и я часто видел, как к нему приходили вооруженные люди. Мама слышала от папы, что Мелибай-амин сначала был нашим человеком у басмачей и выдавал их потихоньку государству, они об этом пронюхали и сожгли его дом. В отряде Мелибая-амина служили джигиты из разных кишлаков. Тут были и из Авганбага, из Яйпана, из Кырккетмана, Актепы, Найманчи и других кишлаков. Из городских в его отряде были только мой папа, арбакеш и музыкант. Мелибай-амин часто говорил: «Я сын Ленина. Ленин приедет скоро в Коканд. А если не сможет приехать, я сам за ним поеду и привезу!»

Мама поплакала и смирилась с новой «работой» папы. Даже когда он уходил в соседние кишлаки и пропадал по нескольку дней, она не волновалась. Но один трагический случай, который произошел зимой, встревожил не только маму, но и меня.

В этот день по городу прошел слух, что басмачи убили Насырмахсума, зарезали тринадцать красноармейцев. Басмачей, совершивших налет, было очень много.

Насыр-махсум был известным преподавателем в городе. Я слышал, что в Тарокчиликe он открыл школу для взрослых, и даже видел его бородатых учеников на первомайском параде, когда они шли под музыку духового оркестра.

На следующий день весь интернат строем отправился к соборной мечети. На улицах было много народу, а площадь представляла собой людское море: на траурный митинг пришли все городские школы, рабочие и просто жители. Люди шли с красными флагами, повязанными черными лентами. Гробы с красноармейцами были установлены на площади перед мечетью. Наш интернат оттеснили в сторону, ближе к домам. Откуда-то спереди доносился плач, крики.

Потом послышался чей-то громкий голос. Траурный митинг начался. Наступила такая тишина, что страстные речи выступающих



словно эхом относило далеко-далеко. Стоявший позади нас старый школьный учитель разговорился с нашим директором и рассказал о том, что случилось.

Красноармейцы во главе с Насыром-махсумом отправились в кишлак Чилгиджида провести выборы в сельские Советы. Выборы прошли успешно. Было угощение. Но кто-то в плов положил гашиш, и все, кто ел его, заснули. Тут нагрянули басмачи и всех красноармейцев вместе с Насыром-махсумом изрубили. Старик сказал, что больше всех басмачи издевались над красноармейцем Кулматом. Видно, Кулмат здорово насолил им в свое время. Сперва они отрезали ему язык и потом только отрубили голову. Я вспомнил, что отца Мамаджана звали Кулматом и что он был красноармейцем. Я посмотрел по сторонам, но Мамаджана не увидел. Когда митинг кончился, дали несколько залпов из винтовок.

В тот же вечер я отпросился у Пулатджана-домла навестить Мамаджана. Пулатджан-домла очень обрадовался моей инициативе и отпустил со мной еще пятерых ребят, с которыми я и отправился в Кипчакарык. Улица перед домом и двор были полны людей. Мы не смогли попасть даже во двор. Оттуда доносился плач, рыдания.

Мамаджана нигде не нашли. Простояв больше часа на улице, мы вернулись в интернат. На другой день я пошел к Мамаджану один. Народу уже было мало, но самого Мамаджана дома опять не оказалось. Мне сказали, что он уехал в свой родной кишлак Богдон. Так я его больше и не видел.

Мама похудела, потому что очень переживала за папу. Не помогали даже отцовы утешения. Она перестала ходить на работу. И только когда мама снова пошла на фабрику, настроение ее поднялось.

А однажды она меня радостно встретила у калитки:

— Кровопийца наконец обрел покой! Да чтоб ему гореть в аду на медленном огне! Никто еще не избегал божьего наказания!

Я ничего не понимал.

— Ты разве не слышал? И вправду, все вести прежде на нашей фабрике узнают. Только и разговоры теперь об этом. Эргаша-курбаши одна старушка топором зарубила. Говорят, он когда-то ее сына застрелил. Она пришла к нему с жалобой. Эргаш-курбаши велел пропустить к нему бедную, беззащитную женщину. А старушка, придя в комнату, вытащила из-под паранджи топор и стукнула курбаши по голове. Когда вбежали его джигиты, она все била курбаши по голове,

приговаривая: «Вот тебе моя жалоба!»

Я не очень-то поверил этой истории. Но был рад тому, что мама успокоилась. Ей казалось, что со смертью Эргаша исчезли с лица земли все басмачи.

Добрые вести все чаще радовали нас. Мы слышали, что такой-то курбаши попал в руки, такой-то сам сдался в плен вместе со своим отрядом... Но были разговоры и о том, что басмачи ограбили где-то кишлак, сожгли сельсовет. И еще прошел слух, что в Восточную Бухару прибыл один из турецких шахов Анварбек.

Весной наш интернат реорганизовали в «Школу коммуны», и мы переехали в большое светлое здание, бывший байский дом. Во дворе школы был большой фруктовый сад. Директором к нам назначили только что демобилизовавшегося из Красной Армии молодого парня по фамилии Бисиров. Из Ташкента приехали два новых учителя и два воспитателя.

Школу пришлось подремонтировать своими силами. Бисиров-домла каждый день оставался после занятий и с нами приводил в порядок классы. Мы убирали во дворе, сажали цветы и деревья. При школе открылся клуб. На собранные нами пожертвования купили книги для библиотеки. С каким-то особым вдохновением мы готовились к празднику.

А накануне Первого мая нам всем выдали новенькие формы. И когда на следующий день в новых ботинках и новых формах мы вышли строем на улицу, прохожие, невольно любуясь, глазели на нас завороженно. А на площади, где всегда проходил парад, нас встретили восторженными аплодисментами. Пройдя сквозь толпу любопытных, мы остановились невдалеке от трибуны.

Через некоторое время на площадь вступили студенты педучилища. Они пели:

*Грядет революция ало,  
сердца сотрясая в скалы.  
Над гнетом тиранов она  
победой в веках засияла.*

*Живи, революция, здравствуй!  
Пусть свет твой над нами не гаснет,  
пусть тот добивается! прав,*

*кто был униженью подвластен.*

*Над нами простерла ты крылья,  
дала нам простор в изобилье,  
и мы посвящаем тебе  
и думы свои и усилья!*

Отряд студентов обошел трибуну и, потоптавшись, по команде замер на месте. На протяжении всего митинга мы не отрывали от них глаз. Не только я, любой мальчишка мечтал скорее стать взрослым и шагать в ногу со студентами, сотрясая город песней.

Вскоре прошел слух о том, что наша школа станет филиалом педучилища. Все лето только и было разговору об этом, а когда до начала занятий оставалась неделя, нам сообщили, что педучилище отберет из нашей школы самых лучших учеников. И через два дня Пулатджан-домла, построив по росту пятьдесят человек, повел нас в педучилище. Оно находилось теперь в здании бывшей женской гимназии, которая была рядом с церковью. Там уже собрались ребята и из других школ. Нас всех собрали в классе. Один из ребят сказал: «Сейчас придет самый главный преподаватель педучилища Кары-Ниязи. Говорят, он способных ребят по глазам узнает». Все сидели тихо, широко раскрыв глаза, и ожидали своей участи. При слове «главный» я представил себе благообразного старика с длинной седой бородой, а Пулатджан-домла ввел в класс невысокого роста худенького черноволосого парня в костюме. Кары-Ниязи, заложив руки за спину, прошелся между рядами и, внезапно остановившись, указал пальцем на мальчишку, сидевшего в третьем ряду: «Ты!» Мальчик вскочил из-за парты и в сопровождении Пулатджана-домла вышел из класса. Кары-Ниязи ходил между рядов, изучая ребят, потом указал еще на одного из мальчишек. Тот тоже ушел. На третий раз его взгляд остановился на мне.

Более чем из ста ребят в педучилище отобрали пятьдесят шесть человек. Все мы стали учениками образцово-показательной школы при педучилище, от которой до самого училища был всего один шаг.

Мне показалось, что в эту неделю у меня начал ломаться голос. Я был вне себя от радости.

1965

## РАССКАЗЫ

### ПРОЗРЕНИЕ СЛЕПЫХ

*Не вы ли Умар-мулла?  
Не вас ли ждет кабанья стрела?*  
Песня

Ахмад-палван ожидал казни.

Низенький, коренастый палач, один вид которого предвещал смерть, подошел и рванул Ахмада-палвана за плечи. Обессиленный трехдневными мучениями, Ахмад не удержался на ногах и повалился навзничь, на связанные за спиною руки. Боли он не чувствовал: руки, трое суток туго стянутые веревками, одеревенели. Поднявшись, палван пошевелил ими и убедился, что нет ни вывиха, ни перелома. Это его утешило, несмотря на то, что ему надо было подставлять голову под нож палача.

Посреди двора, на супа, среди цветника, на пуховых подушках возлежал безобразный, одноглазый курбаши - главарь банды басмачей. Один из его людей растирал ему ноги.

Возле курбаши сидели приближенные - улем, лекарь. А позади примостился бай - хозяин дома.

Курбаши опять заревел на Ахмада-палвана.

- Эй, несчастный, только раз живут на свете... Укажи своих сообщников.

Улем закивал в знак согласия. Трусливые собачонки обычно лают из-за хозяйской спины, так и бай что-то выкрикивал из-за спины курбаши, поминутно поглядывая на своего покровителя.

Лекарь, считавший себя визирем курбаши, не спеша, внушительно увещевал Ахмада.

Вина Ахмада - велика. Он лишил курбаши его правой руки: убил эфенди Исхака.

Эфенди Исхак и сам бы умер от потери крови, но палван добил его. Зарубил самым обычным топором, каким рубят дрова.

В бою под Алкаром эфенди Исхака ранило пулей. Курбаши подхватил его и унес на своем коне. Ночью банда проезжала кишлак, где жил Ахмад-палван, и эфенди Исхак умолил курбаши оставить его здесь и спрятать в доме какого-нибудь бедняка, который не вызовет

подозрений красноармейцев, преследующих басмачей.

Таким бедняком оказался Ахмад-палван. Он взял к себе эфенди Исхака, но не успели басмачи покинуть кишлак, как тут же зарубил его топором.

- Мой бек,- медленно ронял Ахмад слова.- Я зарубил вашего эфенди за то, что вы сейчас хотите убить меня. Больше мне нечего добавить! Но очень хочется перед смертью совершить доброе дело. Не ради вас, а ради всевышнего. У меня два глаза. Если я лишусь их, вы ... прозреете. Я думаю, более богоугодного дела быть не может.

Курбаши воспринял это как издевательство. Брызгая слюной, изрыгая ругательства, он обрушился на пленника. Но как ни велика была ярость курбаши, подвергнуть Ахмада большому наказанию, чем смерть, он не мог.

- Не гневайтесь, мой бек,- Ахмад прервал поток ругани и, обращаясь к лекарю, продолжал: - Вы поймете меня. Я хочу исцелить курбаши.

Лекарь растерянно взглянул на бранившегося курбаши и что-то сказал ему. Бек замолчал. Присутствующие внимательно смотрели на новоявленного лекаря, Ахмада-палвана.

- Хаким, пусть бек соизволит закрыть здоровый глаз, а вы надавите пальцем на его веко,- попросил Ахмад.

Курбаши расхохотался. Потом повернулся к лекарю, закрыл здоровый глаз и велел ему приложить палец. Тот исполнил приказание.

- Что вы видите? - спросил Ахмад.

- Ничего,- ответил курбаши.

- Сильней надавите, хаким. Мой бек, не закрывайте глаз плотно, глядите вниз. Теперь видите огненный шарик?

- Вижу.

Лекарь тут же закрыл свой глаз и надавил на веко. Это же проделали улем и все остальные приближенные, сидевшие на возвышении.

Раздались голоса:

- И я вижу...

- Я тоже...

- Правильно, вы видите огонек потому, что у вас оба глаза здоровые...

Лекарь заволновался. Его интересовало не столько излечение курбаши, сколько тайна врачевания слепых. Если бы курбаши отказался от лечения, лекарь готов был сам ослепнуть, лишь бы

заставить Ахмада показать свое искусство. Он что-то сказал курбаши. Все притихли. Курбаши велел начинать лечение.

Ахмад потребовал яйцо, два финика, ползолотника тмина, пять незабудок и ложку меда. Хозяин был богатым человеком и быстро принес требуемое. Лекарь осмотрел снадобья и задумался. Улем волком смотрел на палвана. Ахмад велел сложить принесенное в медную посуду, налить туда одну пиалу воды и вскипятить. Ему повиновались.

- А теперь установите свечу на заборе,- приказал Ахмад,- против курбаши.

И это тоже было исполнено.

- Ты уже помог кому-нибудь прозреть? - спросил лекарь.

- Нет,- ответил Ахмад, с разрешения курбаши опускаясь на корточки.- Одного слепого исцелил мой учитель, но после этого сам ослеп и умер через одиннадцать дней. Имя учителя я назову после. Ему было восемьдесят три года.

Один из басмачей помешивал ложкой варево. Ахмад-палван издали наблюдал за тем, как готовилось зелье. Потом велел загасить огонь и найти камень, которого не касалась вода. Его приказания исполнялись быстрее, чем повеления самого курбаши.

Кто-то принес в поле халата целую грудку камней. Ахмад осмотрел каждый из них и заявил, что они непригодны. То же самое он сказал и о второй грудке. Принесли новые. Ахмад выбрал камень весом в семь-восемь фунтов, велел тщательно обтереть и обтесать с одной стороны. Когда камень стал похож на железный сошник, Ахмад велел обмазать его снадобьем.

Мазал лекарь, а Ахмад указывал ему, как это делать. Но лекарю никак не удавалось точно выполнить его указания. У курбаши лопнуло терпение, и он велел развязать пленнику руки. На Ахмада-палвана тотчас же со всех сторон уставились дула винтовок, а над головой навис блестящий клинок палача. Ахмад обмазал камень и положил его возле себя для сушки.

- А теперь мне нужно полпиалы человеческой крови...- Помолчав, Ахмад поднял голову.- Думаю, что тот, кто согласился отдать зрение, немного потеряет, если у него возьмут еще и полпиалы крови. Мой бек, прикажите отрубить мой палец...

Улем, не выдержав, встал и ушел. Лекарь взглянул на бека. Хозяин дома, склонившись к курбаши, толкал его в бок. Палач приготовил клинок. Ахмад-палван положил мизинец на пенек и закрыл глаза. Палач

со свистом опустил клинок, по земле покатился обрубок мизинца. На лбу Ахмеда выступили капельки пота. Когда из раны натекло полпиалы крови, лекарь быстро присыпал ее порошком и остановил кровь. Спустя некоторое время Ахмад-палван медленно открыл глаза и влил кровь в варево. Затем велел зажечь перед беком пук соломы и свечу на заборе. Пламя свечи заколыхалось от ветра. Повалил, закружился густой сизый дым от соломы. Когда Ахмад встал, на него опять навели ружья, а над головой навис клинок палача.

- Мой бек,- сказал палван, с разрешения курбаши приближаясь к супа,- я отдал палец, а теперь собираюсь отдать и зрение. Но у меня к вам просьба.

- Ты хочешь, чтоб я сохранил тебе жизнь?

- Нет, мой бек. Зачем бедняку жизнь, когда он ослепнет? Напротив, я прошу, чтобы вы не раздумали и не оставили меня в живых. Я боюсь, когда вы прозреете, а я лишусь зрения, вы не станете меня убивать.

- Убью!

- Я боюсь вашего милосердия, бек.

- Можешь не бояться.

- И все-таки я сомневаюсь. Я дрожу при мысли, что мое доброе дело перекроет мой дурной поступок. И тогда...

- Ладно. Что ты хочешь?

- Хочу, чтоб вы не раздумали меня убить, как только исцелитесь. Я хочу разозлить вас. Чтоб вы разгневались так, что дай я помимо зрения еще сто лет жизни вам, вы все равно бы убили меня. Хочу разгневать вас словами.

Лекарь с нетерпением ждал момента исцеления, поэтому понукал курбаши принять любое условие палвана. Курбаши согласился.

- Словами? - криво усмехнулся бек.- Хорошо, говори.

Ахмад-палван медленно повернулся спиной к курбаши и обратился к басмачам, стоявшим с поднятыми винтовками.

- Джигиты,- начал он,- не удивляйтесь, что я отдаю врагу свое зрение и палец. Оглянитесь лучше на себя, вы отдаете врагу своих отцов и детей, братьев и сестер, разоряете свои кишлаки. Вы стреляете в самих себя. Если, вы считаете мой поступок безумием, тогда мы все сумасшедшие. Разница лишь в том, что я знаю, для чего это делаю, а вы нет. Я открою вам глаза, даже если соскоблят мое мясо с костей, а кости перемелют железными жерновами... Я сейчас умру, но перед смертью хочу узнать, ради кого вы скитаетесь с оружием в руках? Сравниваете с

землей кишлаки? Ради кого обрекаете на мучения своих братьев? Ради кого вы стали басмачами? Неужели не скучаете по своим плугам?..

Хозяин дома, прятавшийся за спиной курбаши, нетерпеливо заерзал. Улем вытянул перед собою руки и что-то сказал курбаши. Тот хотел прервать палвана, но Ахмад продолжал, и каждое его слово было нацелено в сердца джигитов.

- Баи боятся лишиться богатства... А чего боитесь вы?

Палач саблей плашмя ударил Ахмада и заставил его замолчать. А курбаши, поднявшись стегнул Ахмада два раза плеткой и обрушил на него злобные ругательства.

- Мой бек, вы ведь сами разрешили...- склонился перед ним Ахмад.

- Не надо мне лекарств, увести его! - рявкнул курбаши.

Но лекарь настойчиво зашептал беку на ухо.

- Приступай к делу! - крикнул тот, недобро глядя на Ахмада. Палван попросил курбаши наклониться над густым дымом, а лекарю подал обмазанный снадобьем камень.

- Держите камень острием к глазу бека и, когда я скажу, начинайте его покачивать.

Курбаши наклонился над дымом.

- О повелитель правоверных, как бы он не повредил вашему глазу, забеспокоился хозяин дома.

- Какой вред, можно причинить незрячему глазу? - возразил палван.- Если опасаетесь за здоровый глаз, завяжите его.

То же самое посоветовал лекарь, курбаши снял тубетейку и завязал глаз шелковым платком.

Лекарь держал камень острием к слепому глазу курбаши, но никак не мог понять, как надо покачивать.

- Не так! - раздраженно говорил палван.

Курбаши чуть не задохнулся от дыма и, закашлявшись, крикнул:

- Хаким, передайте камень ему!

Вначале все напряженно следили за Ахмадом, ожидая, когда же он начнет слепнуть, но вскоре их внимание приковалось к свече, горевшей на заборе. Она как будто не участвовала в лечении, однако палван то и дело поглядывал на нее, боясь, чтоб не погасла.

- Вы, хаким, следите за свечой, если погаснет, скажите мне...

Сам он наклонился к курбаши и в густом чаду принялся раскачивать камень перед глазом курбаши. От его резких движений солома еще больше разгоралась, и дым повалил вовсю. Сквозь густой



дым едва виднелись головы курбаши и Ахмада-палвана.

От ветерка язычок пламени заколыхался, и люди напряженно смотрели, ожидая от нее чуда.

Ахмад-палван вдруг громко крикнул: "Свеча!" - и вонзил острие камня в висок курбаши. Десятник, сидевший справа от курбаши, тремя выстрелами из револьвера уложил Ахмада-палвана. Но в ту же минуту ударом приклада десятнику раскроили череп. Поднялась стрельба, продолжавшаяся до вечера. Потом вспыхнул большой пожар, над домом бая встали огромные столбы сизо-багрового дыма.

1934

## МАСТОН

Лошадь вдруг споткнулась, повалилась на бок и испустила дух. Что случилось, отчего пала лошадь — раздумывать над этим нет надобности; причины смерти выясняют для того, чтобы сохранить жизнь, а здесь, в бескрайней пустыне, спасти уже некого — других лошадей нет.

Молодая женщина, лицо которой не утратило свежести от тягот долгой дороги, попыталась было вытащить ногу из-под крупа павшей лошади, но вдруг вскрикнула, заметив ящерицу, что выскочила из-под ее паранджи, отлетевшей на несколько шагов. Второй седок, девушка без паранджи, при падении с лошади скатилась кубарем, но тотчас вскочила на ноги и поспешила на помощь спутнице. Га, опершись одной ногой о круп, потянула вторую ногу, вытащила ее, но лакированный ичиг остался под лошадью.

— А, пропади все пропадом! — сквозь слезы проговорила женщина.— Чтобы тебе пусто было с этой учебой, Мастон! Лучше бы я не расставалась с мужем!

Не обращая внимания на ее слова, Мастон приподняла морду лошади и заглянула в ее едва прикрытые глаза; их уже заволкло мутновато-серой пеленой. Мастон выпрямилась и посмотрела вдаль.

Степь, необозримая степь! Все вокруг колыхалось в знойном мареве. Жаркий ветер трепал подол ее платья, выпущенного из-под синего жакета, шевелил пряди волос, налипших на загорелую шею и виски. Мастон, словно только сейчас вспомнив о своей спутнице, резко обернулась к ней.

— Что ты сказала, Тургуной? — спросила она и присела перед женщиной на корточки.— Разве муж не доводил тебя до слез, и сколько раз? Разве он не издевался над тобой?.. А лошадь пала...

Тургуной вздрогнула, позабыв о боли в руке.

— Пала?!

— Да.

Мастон вытащила из-под лошади сумку и проверила провизию: еды хватит лишь на день, да и то если ехать верхом. Воды и вовсе нет, глиняный кувшинчик с водой разбился при падении.

Уложив на голове две короткие, но толстые косы, девушка оглядела свои крепкие яловые сапоги, словно собиралась идти вброд через реку. Продукты из сумки она переложила в скатерть, обвязала ее поясом вокруг талии.

Мастон знала, сколько примерно километров они проехали и сколько еще им предстоит пройти. Оазисов поблизости не было. Идти вперед не опаснее, чем повернуть обратно. Позади — кочующие пески и заросли иргая. А заблудишься в песках или в зарослях, и будешь там бродить до конца своих дней... Ну, а если еще ветер поднимется, заживо погребут тебя пески.

Мастон решила все забыть — и гибель лошади, и разбитый кувшин с водой, и то, что еды в обрез. Она взяла себя в руки. Надо идти, дорога дальняя. Обхватив плечи Тургуной, которая плакала, закрыв лицо ладонями, она заставила ее подняться.

— Не плачь, Тургуной, не плачь. От слез голова разболится... Обуй ичиги, кавуши. Уложи косы на голове и повяжи платком. До темноты надо выбраться из степи, а то, видишь, здесь ящерицы, их тут много. Ну, скорей!

Тургуной рыдала.

Солнце стояло в зените. Короткие тени двух женщин неровно скользили по камням и травам степи. Жег знойный ветер. Юркие ящерицы, завидев людей, стрелой исчезали в норах, в щелях под камнями; те, что похрабрее, отскочив в сторону, задирали головы и с любопытством глядели на путниц выпуклыми глазками, словно вопрошая: «Кто вы такие?» Мастон пыталась как-нибудь отвлечь Тургуной, — только бы она не замечала ящериц.

— Спой что-нибудь, Тургуной!

Мастон тряхнула плечом, поправляя ношу.

— Лошадь околела... А сколько там вещей осталось... а сами... в степи, и неизвестно, что с нами будет. Как ты можешь спокойно идти?..

— Что осталось, того не вернешь. Сколько не горюй, вещи не побегут за нами. А что с нами будет — это от нас самих зависит.

Солнце склонялось на запад, когда путницы выбрались из степи и стали подниматься на холм. Но взойти на холм куда трудней, чем идти степью. Мастон, словно лошадь с тяжелым возом, шагала, упираясь ногами в землю; Тургуной же еле шла, пригнувшись и упираясь ладонями на колени.

— Ой, Мастон, как хорошо было дома... И пусть бы муж измывался надо мной,— простонала Тургуной.

Мастон, шедшая впереди, остановилась на вершине холма, она сняла с пояса скатерть, вынула лепешку, разломилась ее, половину лепешки сунула обратно, а другую половину поделила на двоих и

протянула кусок Тургуной. Та подняла руку — потому только, что это был хлеб, ничто другое сейчас не заставило бы ее сделать это. Тургуной, не прожевав, в два приема проглотила лепешку и умоляюще взглянула на Мастон.

— Довольно. А то не хватит лепешек. Да и пить захочется... воды нет. Пока не доберемся вон до склона, воды не найдем. Без воды только верблюду протянет...

— К этой лепешке, видно, ящерица прикоснулась. А говорят, от этого еда вкуснее бывает. Может, так оно и случилось?

Мастон рассмеялась.

— А тебе приходилось есть пищу, которой коснулась ящерица?

— Нет, слышала только. Мою двоюродную сестру выдавали за торговца тюбетейками Абдуразака. Ему лет пятьдесят, а она молодая девушка... Было это лет десять назад... В ту пору только по воле родителей замуж выходили... Сестра и так и сяк, лишь бы избавиться от мужа... Вот и решила: заражусь-ка проказой... глядишь, он и прогонит меня. Слышала она, что, если съест ящерицу, на лице белые пятна выступают, как у прокаженных. Так и сделала, сварила ящерицу...

Мастон прервала ее рассказ и посмотрела на склон холма, а Тургуной захныкала. Но девушка, потянув ее за руку, велела встать.

— Рука у тебя, Мастон, как у парня — такая крепкая, — пройдя немного, сказала Тургуной. — Вот выйдешь замуж, будут у тебя неприятности из-за рук.

— А я, выходя замуж, не стану скрывать свои руки, — возразила девушка. — К тому же я не выйду за такого, которому не понравятся мои руки. Кто сказал тебе, что хорошая жизнь мужа и жены зависит от мягких или жестких рук... У тебя-то руки мягкие, как шелк, а вот...

— Если бы у меня отец был жив, ни одного дня бы не стала жить с этим оборотнем. Умер отец — и смелости нет. Ну, уйду от мужа, а куда? Пусть хотя бы слепым на оба глаза, хромым на обе ноги, а родись мужчиной... А уйду от мужа, некуда мне податься... В первую ночь свахи мне нашептывали: мол, не давайся, пока не пообещает золотого ожерелья. Наутро я пожалела, сижу, плакать хочется, жалко себя стало, а муж подходит: «Ха-ха-ха, обманул я тебя, не куплю золотого ожерелья!» А, пропади ты пропадом, думаю... Эх, Мастон, суждено нам маяться. Рожать — вот наша судьба, от стариков ли, от молодых, от любимых или нелюбимых — все едино. А ты еще девушка, у тебя надежда на счастье. Я тоже в девушках надеялась... А не встретишь

хорошего парня — и счастья не найдешь. И будешь век вековать, охать да ахать. Станешь ждать, что завтра будет лучше, чем сегодня, и не заметишь, как старость придет...

Слезы подступили ей к горлу, она умолкла. Она шла, пошатываясь, как пьяная. Мاستон подхватила ее под руку.

— Мы рождены, чтобы видеть светлую жизнь, Тургуной, как и мужчины,— сказала Мастон.— Мы не курицы, чтобы покорно высиживать яйца, какие ни подсунут. Человек ведь не курица, и любовь его не куриная... Почему мы должны иметь детей от старика или нелюбимого? Если ребенок не от любимого, пусть уж вовсе не рождается. Ты говоришь, что я девушка и потому надеюсь на счастье? Нет! Если бы я ждала счастья только потому, что я девушка, это было бы несчастьем. Получается, что я свою жизнь ставлю на карту: проиграла — пропала жизнь!.. Нет, Тургуной, по-моему, искать счастье у мужа — это уже начало несчастья. У нас женщины так привязываются к мужу, так ищут в нем свое счастье, что, когда умирает муж, им кажется, будто ключ от их счастья он унес с собой... Вот и плачут не оттого, что муж умер, а оттого, что потеряли надежду на счастье. Если муж при жизни отвернется от жены, она будет плакать не меньше, чем по покойнику. Многие женщины живут рабынями своих мужей, только бы не терять ключа от счастья, только бы не проливать слез. Вчера одна старуха так и сказала: «Сердце мужчины — камень, его смягчают только женские слезы».

Стемнело. Вдали над горами, темной громадой закрывшими полнеба, падали звезды, оставляя за собой огненные хвосты.

У Тургуной развалились кавуши, и в гору ей пришлось взбираться в одних ичигах. Хотя тропинка вилась вверх полого, женщина еле передвигала ноги, при каждом шаге с усилием упираясь руками в колени. Мастон взяла из рук Тургуной маленький узелок и пошла позади, потому что подруга ее каждую минуту могла упасть и скатиться вниз по склону. Но вот Тургуной совсем выбилась из сил, не смогла больше сделать ни шагу. Припав головой к плечу Мастон, она заплакала.

— Ноги не держат... умру я здесь, в степи...— произнесла она. Колени ее подкосились, и она мешком повалилась наземь. Упал не просто обессиленный человек, упал человек, примирившийся со смертью.

— Тургуной, если мы останемся здесь, волки нас разорвут,—

сказала Мاستон.

Жители долины называли гору Волчьей. Слышала об этом и Тургуной, но она не знала, что они находятся как раз на Волчьей горе. С трудом поднялась и побрела дальше. Мاستон поддерживала ее. Они направилась к гребню горы напрямик, не сворачивая на извилистые боковые тропинки.

Когда они одолели половину склона, с гребня послышалось протяжное: «Ку-ук!..» Тотчас позади спутниц раздалось в ответ: «Ку-ук!» И звук повторился еще раз где-то вдалеке. То кричали ночные «соловьи» Волчьей горы — филины. При первом вскрике Тургуной вздрогнула, а когда раздались ответные, ее охватил ужас. Она кинулась бежать.

— Ах, проклятый филин! — задыхаясь, проговорила она.

А Мاستон шла, прислушиваясь к другим звукам, несшимся издалека, — вою волков.

— Слышишь, — прошептала девушка, — волки... Кричат филины или не кричат, а если не доберемся вон до той вершины, погибнем. И потом — это вовсе не филин, а кукушка, не пугайся. Волков надо бояться, а не птиц.

Извилистая трона осталась позади, внизу. В темноте она смутно белела. Мاستон остановилась и, выпрямившись, поглядела вперед. До вершины оставалось несколько метров. Но Тургуной повалилась на землю и тотчас забылась тяжелым сном.

Мастон сидела возле нее, не сомкнув глаз до рассвета; лишь когда заалел горизонт, она вздремнула, но тут же проснулась от кашля Тургуной.

— Вставай, что так долго спишь? — легонько тронула Тургуной ее за плечо. — Вставай!

Мастон снова смежила веки, но Тургуной опять закашлялась. Когда Мاستон проснулась, Тургуной, припав головой к ее плечу, всхлипывала.

Мастон стала успокаивать подругу, поглаживала ее по голове.

— Не плачь, Тургуной, не плачь! Вон он, видишь? — Она показала на долину, что серела в тумане. — Мы теперь почти дома. Это наш колхоз, наш кишлак...

— Ой, ноги... Все тело болит...

— Ноги... Понимаю... Это с непривычки... Вот пойдем, и станет легче... Я спущусь вниз, погляжу, где вода, и мы позавтракаем.

Мастон стала спускаться по склону, но, дойдя до тропинки, услы-

шала крики Тургуной и вернулась. Тургуной показывала в сторону степи и кричала что есть мочи. Мاستон взглянула. В степи, возле горизонта, пауком ползла арба. Мастон вскрикнула от радости и захлопала в ладоши. Путницы стали спускаться. Тургуной, задыхаясь от кашля, останавливалась на каждом шагу. Они сели в тени уступа на камень и стали ждать арбу. Тургуной мучил кашель, но лицо ее просветлело, и она с аппетитом жевала лепешку. Вдруг она забеспокоилась: хорошо, если в арбе, кроме возницы, никого нет, а если там мужчины...

— Если там мужчины, я пропала...

— При слове «мужчина» тебе одно только на ум и приходит,— рассердилась Мастон.

— А то как же,— отозвалась Тургуной, вытирая нос подолом платья,— А что еще ожидать от них...

Мастон обычно соглашалась с Тургуной, верила ей во многом, а если думала иначе, не возражала. Но сейчас она никак не могла согласиться с подругой. Тургуной пыталась доказать Мастон, что мужчина и женщина при первом знакомстве могут говорить лишь об одном... Они долго спорили, так что арба оказалась уже совсем близко от них. Мастон вышла навстречу арбе. Возница, обернувшись к двум парням, сидевшим на арбе, показал кнутовищем на девушку.

Парни, вытянув шеи, поглядели на Мастон. Дорога стала неровной, арба накренилась. Все трое спрыгнули.

— Это ваша лошадь пала там? — спросил один из парней, махнув рукой в степь.

Мастон кивнула. Арба остановилась, и девушка пожала руку вознице и парням, в двух словах рассказала им о несчастье. Парни переглянулись.

— Мы выехали ночью, на рассвете проезжали там...— сказал один из них.— Лошадь изгрызли волки... А в сторонке валялась паранджа. Мы не знали, что и думать. Вам повезло... Вот молодцы!..

Тургуной, присевшая в сторонке на камень, тоскливо думала: «Вот кончат сейчас об этом, а что дальше... будут говорить?»

На арбе, поверх снопов клевера, лежала сбруя павшей лошади.

— А мы то о чем только не думали... Вот молодчины,— удивился возница.— Ну, садитесь, садитесь на арбу, сестрицы! Каждая небось сорока мужчинами смогла бы командовать!

Тургуной села на задке арбы, на клевере, прикрыв рот, исподлобья

поглядывая на попутчиков. Мاستон уступили место впереди. Повозка тронулась. Одолев подъем, арба, поскрипывая, поползла под гору. Когда спустились на ровное место, один из парней расстелил скатерть, разложил еду, другой вытащил из-под клевера две бутылки с холодным чаем и разлил по пиалам. Тургуной, как заяц, испуганно вздрагивала при каждом слове и движении мужчин и не дотрагивалась до еды, пока Мастон что-нибудь не протягивала ей.

Арба свернула на дорогу, которая шла между двух гор, и страшная Волчья гора пропала из виду. Потекла беседа, говорили о том о сем.

Собеседники Мастон все больше проникались уважением к ней. Сперва они называли ее попросту: сингил — «сестрица», а погодя уже почтительно: ана — «старшая сестра». А когда Мастон сказала, что она в прошлом году получила на трудодни триста двадцать девять рублей и сто пятьдесят шесть пудов пшеницы, один парень даже покраснел. Возница насмешливо вставил: «А наш Юлчибай тоже не сплоховал: он один заработал восемьдесят пудов пшеницы и сто девяносто рублей деньгами», — так что парня пот прошиб, и он стал оправдываться:

— Да нет... это наш... наш такбирчи...<sup>4</sup>

— Не такбирчи, а табельщик, — поправила его Мастон.

— Да, да, табельщик. Табельщик у нас негодный... Я всего заработал... хотя и были прогулы... а этот бездельник чуждый элемент... — пробормотал парень.

Арба ползла, поскрипывая, разговор шел, перескакивая с одного на другое. Тургуной не вступала в беседу, она сидела, покачиваясь, и скоро уснула, убедившись, что молодые люди не замышляют ничего предосудительного.

1934

---

<sup>4</sup> Игра слов: такбирчи — воздающий хвалу богу.



## ГОРОДСКОЙ САД

*О погибшая, опустошенная Родина...  
О погибшая Родина, каждый уголок которой в темницу превращен.  
«Рамузат»*

Кадакчи Хамракул занемог. Может быть, причиной тому был вчерашний поминальный плов или в жевательный табак дехканина, которому он чинил сегодня чайник, было что-нибудь подмешано... Хотя нет, ведь еще утром ему было как-то не по себе: неспроста же показалось, что чай отдает кукурузой.

Старого Хамракула знобило, даже поднять руку не было сил. Блюдце, в котором не хватало всего лишь одной скрепки, так и осталось непочиненным. Кое-как прибрав инструменты, Хамракул вышел на улицу. Голова была тяжелая, ноги не слушались — он весь горел. Хамракул никак не мог собраться с мыслями; как ни пытался сосредоточиться, перед глазами всякий раз вставало видение: пьет он горячий-негорячий чай, потом, закутавшись в одеяло, взлетает под потолок. Зовет имама своего квартала, чтобы тот прочел молитву, но вместо имама в комнату, покачиваясь, втекают носилки, на которых несут покойника на кладбище.

Испуганный видением, Хамракул пошел быстрее, только бы поскорей попасть домой. Вдруг кто-то окликнул его с противоположной стороны улицы. Хамракул хотел обернуться, но пошатнулся и едва устоял на ногах.

Человек, окликнувший Хамракула, был старый Уста-куллол — сторож Романовского сада. Собственно, фамилия его была Стукалов, но Хамракул не мог выговорить эту трудную русскую фамилию и звал друга на свой манер: Уста-куллол.

Хамракул познакомился с ним прошлой весной, когда старик принес ему починить цветочную вазу — память о погибшем сыне. Раньше они жили в Сибири. Сын работал на Ленских приисках и был расстрелян со многими другими рабочими. Почему это произошло, Хамракулу так и не удалось узнать,— едва Уста-куллол, бывало, заговорит об этом, как затрясется весь, начнет ругаться на чем свет стоит, и толку от него не добьешься.

Увидев, что приятель еле-еле стоит на ногах, Уста-куллол отвел его к себе в сад. Усадил старика на голубую скамью с чугунными ножками и

принес воды. Выпив воды, Хамракул как будто немножко пришел в себя, но ему почему-то невыносимо было слышать воробьев, чирикающих на ветвях карагача. Он заткнул уши пальцами и закрыл глаза. Посидев немного, он приоткрыл глаза в предчувствии, что увидит что-то страшное...

Он увидел своего друга. Уста-кулол кричал и ругался, как кричал, когда рассказывал о смерти сына. Увидел он также, как юный офицерик, похожий на девушку, подпрыгнул и ударил Уста-кулола в грудь. Старик упал. Еще не пришедшего в себя Хамракула тоже ударили. Он упал со скамейки, поднялся. Второй удар пришелся ему по шее.

Пронзительный свисток...

— Городовой!!!

Откуда-то появилась жена Уста-кулола и упала офицеру в ноги.

Потом двое городских повели Хамракула и Уста-кулола из парка в околоток, находившийся напротив церкви. Собралась толпа. Старуха Уста-кулола шла за ними и голосила. Уста-кулол обернулся к жене.

— Не плачь, старая! Чего убиваешься. Всего и делов-то: из одной тюрьмы в другую переводят...

Двери околотка затворились.

Призывая православных к вечерне, тяжело и протяжно гудели церковные колокола. Волны этого звона плыли над домами. Город был погружен в дремоту, хотя солнце еще не село.

Через неделю в газете «Туркестанский край» появилось следующее сообщение: «23 сентября в Романовском саду, находящемся в русской части города, имел место следующий безобразный случай. Один из сартов, нарушив установленный порядок, осмелился войти в парк, являющийся местом отдыха господ чиновников, и учинил беспорядок...»

1935

## ВОРЫ (Из прошлого)

*Смерть коня — радость для собаки.*

Пословица

Старуха, поднявшись чуть свет замесить тесто, решила первым делом заглянуть в хлев и проведать вола. Хлев был пуст. В стене, выходящей на улицу, зиял пролом.

Для дехканина пусть уж лучше дом сгорит, только бы не потерять вола. Одна-две копны соломы, десяток-полтора жердей, арба камыша — дом готов, а чтобы купить вола — сколько долгих лет надо жить впроголодь!

В кишлаке привыкли к женским воплям: одну бьет муж, у другой дом идет с молотка. Все же на крики старухи народ сбежался довольно быстро.

Старик Кабылбобо — босой, полуодетый, с обнаженной головой — стоял у входа в хлев и вздрагивал всем телом. Колени его подгибались, широко раскрытые глаза перебегали с предмета на предмет, но ничего не видели.

Женщины громко проклинали вора, заливались лаем собаки, кудахтали куры. Кто-то старался доказать окружающим, что через такую узкую дыру в стене вола не протащишь.

Подошел сосед Кабылбобо — безносый эликбаши. Войдя в хлев, он внимательно оглядел пролом и столб, к которому привязывали вола, зачем-то покачал его, все осмотрел и, наконец, сказал гнусавым голосом:

— Никуда ваш вол не денется, найдется!

Тщательное обследование, которое произвел в хлеву эликбаши, и особенно его слова вселили в Кабылбобо надежду.

Старик заплакал.

— Да пошлет вам аллах здоровье... Вол-то был пегий...

Горячо споря о том, как, когда и каким орудием вор проломил стену, в какую сторону увел вола и на каком базаре нужно его теперь искать, люди стали расходиться. Шум утих. Жена Кабылбобо перестала плакать, и в глазах ее, устремленных на эликбаши, затеплилась надежда...

Эликбаши еще раз пошел осмотреть пролом. Сложив руки на

грудь, Кабылбобо, плача, последовал за ним.

— Да не плачь же ты! Говорю тебе, не плачь! — гнусашил элликбаши.— Если твой вол не ушел за пределы земель белого царя, он непременно найдется.

Элликбаши говорил так уверенно, словно стоит только выйти на улицу — и вол тут же отыщется. «Этому человеку — помоги ему аллах! — ведь надо что-нибудь дать за такие труды. Даром ведь и кошка на солнце не выходит. А разве мало денег потратил он на то, чтобы стать элликбаши? Одному только мингбаши он принес в дар семьсот снопов клевера и годовалого жеребенка. И к тому же он ведь не получает от казны жалованья!» Кабылбобо потряс своим кошельком и вручил элликбаши все, что там было. Приняв подношение, тот обещал немедленно доложить о случившемся амину.

Вечером Кабылбобо собрался к амину. Сухая ложка, говорят, рот дерет. Сколько же денег нести амину? Для того, кто дает, и одного много, а для того, кто берет, и десяти мало. Посоветовавшись со старухой, Кабылбобо решил: этот расход последний, притом такой расход, от которого зависит возвращение дорогой пропажи. Разве можно тут скупиться?

Когда Кабылбобо предстал перед амином, тот зычно рыгнул, а затем загоготал так, что затрясся жирный подбородок.

- Что, корова пропала?
- Нет... не корова... вол... пегий вол...
- Вол?! Да ну?! Гм... пегий вол... так-так...
- Вол у меня единственный...

Амин воткнул в ноздрю полмизинца и снова затрясся от смеха.

- А был у тебя этот вол? Какой, говоришь?
- Пегий...
- И хороший, говоришь, вол?
- Хороший... очень хороший...
- А разве хороший пойдет, если его чужие поведут?
- Вол у меня единственный... Пегий...
- Постой, а сам он не вернется? Впрочем, ведь никто не приказывал ему возвращаться, если его уведут... А плакать-то зачем? А?! Нельзя плакать!

Кабылбобо замер, уставившись в землю.

— Объявить розыск, что ли,— сказал амин, очищая мизинец о подошву сапога,— а кто потом отблагодарит меня за это? Что я получу,

если найду пропажу?

Эти слова амина Кабылбобо воспринял так, словно тот уже нашел его вола.

— Не обессудьте,— сказал он, протягивая деньги.— Я перед вами в большом долгу...

— Ну что ж!.. Раз так, я тотчас доложу приставу. Он сам займется этим делом.

Прошла неделя. Старуха уже несколько раз ходила погадать к ворожке, «силой молитвы открывающей замки», снесла ей полмешка джиды, три больших чашки кукурузы и два мотка ниток.

На восьмой день Кабылбобо снова пошел к амину. У того даже волосы стали дыбом от гнева.

— Тебе что же, вола на дом доставить, что ли? Надлежит самому ходить и заявлять о себе: бедняк, приходящий с просьбой к начальству, показывает тем самым, что уважает его.

Кабылбобо посоветовался с друзьями: что же нести приставу, кроме денег? Ведь известно — пока дойдешь до него самого, спина от поклонов переломится.

Три курицы, одна из них наседка,— все скромное хозяйство Кабылбобо. Сотню яиц собрали соседи. Однако с этим подношением дальше толмача пройти не удалось. Толмач взял все, что принес старик, и обещал тотчас же «растолковать» дело приставу.

Кабылбобо стал терять надежду. Уж не напрасны ли все его хлопоты? Кто не знает, каковы эти чиновники...

Хорошо «уразумевший» дело пристав взял себе двух лучших кур и три рубля, но, к счастью, не сказал, что «доложит обо всем хакиму», а велел опять обратиться к амину. Амин был краток: «Ступай к эликбаши»!

Увидев Кабылбобо, эликбаши вспылил:

— Скажи сам, кого подозреваешь! Я ведь не святой, откуда мне знать, кто украл твоего вола. Да и вола-то небось давным-давно уже прирезали. Чем плакаться тут, сходил бы лучше к кожевникам и поглядел на шкуры. Впрочем... если шкура вола попала к кожевникам, она уже давно стала кожей. А из этой самой кожи сделали кавуши и теперь продают их на базаре...

— О господи, горе-то какое! Бедная моя головушка,— прошептал несчастный старик.

— Да что ты в самом деле, ребенок малый, что ли? Взрослый

человек, а плачешь. Есть о чем убиваться! Если бы этот вол был единственный во всем свете — дело другое. Бог даст, пропажа твоя возместится... Так уж и быть, скажу своему тестю — он одолжит тебе одного из своих волов. Разве вол — это плата за кровь человека?!

На следующий день элликбаши, позвав Кабылбобо, отправился с ним к своему тестю — торговцу хлопком Эгамберды. Купец посо-чувствовал старику и на время пахоты дал ему не одного, а даже двух волов, но... с одним «маленьким» условием. О том, что это за условие, Кабылбобо узнает осенью...

1936

## БОЛЬНАЯ

*Небо высоко, земля жестка.*

Пословица

У Сатывалды заболела жена. Пригласили муллу прочесть над ней молитву — не помогло. Позвали знахаря; он пустил кровь. У больной потемнело в глазах и закружилась голова... Заговаривал болезнь заклинатель. Приходила какая-то женщина, стегала больную ветками тальника, смазывала кровью только что зарезанной курицы...

Все это, конечно, стоило денег. Ведь так оно всегда: где толсто — там тянется, где тонко — рвется.

В городе есть лечебница. Что знает о ней Сатывалды? В прохладном тихом парке прячется за деревьями высокое и красивое белое здание. На светло-серых дверях со стеклянными ручками — кнопка для звонка. Когда его хозяина, Абдугани-бая, торговавшего хлопковой шелухой и жмыхом, чуть не до смерти придавило в амбаре мешками, он почему-то поехал не в эту лечебницу, а в Сим. При слове "лечебница" перед глазами Сатывалды возникал извозчик и четвертной с портретом белого царя...

Больной день ото дня становилось хуже. Сам толком не зная зачем, Сатывалды пошел к хозяину и рассказал ему о своем несчастье. Абдугани-бай выслушал его и очень огорчился. Казалось, будь это в его власти, он немедля поставил бы женщину на ноги.

— А ты что-нибудь пожертвовал блаженному Бахаутдину? А блаженному Гавсулазаму? — участливо спросил он батрака.

От больной уже нельзя было отходить, и, чтобы хоть как-нибудь свести концы с концами, Сатывалды обучался плести корзины.

И вот с утра до вечера сидит он на солнцепеке, окруженный ворохами прутьев, и плетет корзины. Его четырехлетняя дочка, присев подле больной матери, платком сгоняет с ее лица вялых, назойливых мух. Иногда девочка засыпает, положив голову на руки, крепко сжимающие платок. Вокруг тишина... Только жужжат мухи, стонет больная, да откуда-то издалека доносится дребезжащий голос нищего: "Подайте милостыню ради аллаха... Подаяние отвращает несчастья... Пророк божий да исцелит немощных и больных..."

Как-то ночью больная почувствовала себя особенно плохо. Каждый ее стон, точно петля, стягивал горло Сатывалды. Он позвал старуху

соседку. Та пришла, поправила у больной растрепавшиеся волосы, легонько погладила ее, а потом села и... всхлипнула.

— Молитва, которую прочитает на рассвете безгрешное дитя, дойдет до бога, — сказала она. — Надо разбудить вашу девочку!

Девочка спросонок было расплакалась, но, испугавшись хмуро глядевшего отца и стонов матери, торопливо зашептала за старухой:

— Боже милостивый, исцеление дарующий... Прошло несколько дней. Состояние больной стало совсем безнадежным. Чтобы в сердце умирающей не осталось неисполненных желаний, надо было совершить над ней "чилёсин". У лавочника, скупающего корзины, Сатывалды занял на расходы двадцать таньга. После чилёсина больной как будто полегчало. В эту ночь она даже открыла глаза, подозвала девочку и прошептала:

— Бог услышал молитву моей доченьки. Мне теперь лучше, отец, не будите девочку на рассвете.

Она снова закрыла глаза и уже больше их не открывала. На рассвете она умерла.

Когда Сатывалды взял на руки девочку, чтобы уложить ее подальше от покойной, девочка проснулась и, не раскрывая глаз, привычно залепетала:

— Боже милостивый, исцеление дарующий...

1936



## ГРАНАТ

*Вокруг обилье плодов, а ты голодаешь, дитя!  
Арыки полны воды, а ты умираешь от жажды, дитя!  
Из прошлого*

Турабджан, открывая калитку, так волновался, что зацепил рукавом яхтака за железную щеколду и разорвал рукав до самого локтя.

Жена сидела на террасе и толкла в ступе джугару. Увидев в руках мужа сверток, она бросила деревянный пестик на мешок и порывисто поднялась ему навстречу. Тяжелый пестик опрокинул мешок, джугара рассыпалась.

Турабджан спрятал сверток за спину и сказал:

— Попроси хорошенько, тогда отдам! Что ты дашь мне за это?

— Все, что хочешь, полжизни отдам!..

Турабджан передал сверток жене. Присев на ступеньке терраски, она стала вскрывать его, торопливыми пальцами разворачивая бумагу, и вдруг замерла: большие черные глаза неподвижно уставились на содержимое свертка. Потом она медленно подняла голову и посмотрела на мужа, Турабджан улыбнулся, увидев слезы в ее глазах.

— Да ты знаешь, что это такое?— весело заговорил он.— Соты! Чистый мед! Сожмешь зубами вот так— сам потечет в рот. А это — воск. Он совсем не поганый, его можно сосать, можно и жевать.

Жена, закусив зубами конец рукава, сидела молча, глядя куда-то мимо свертка, в одну точку.

— Аллах, она не верит!— воскликнул Турабджан, наклонясь к свертку.— На вот, попробуй! Попробуй сначала, а потом скажешь...

Но жена с отвращением отвернулась, а Турабджан даже покраснел от досады. Точно в таком же положении очутился он, когда однажды, купив дыню, отправился навестить больного друга: эту дыню он увидел потом в коровьей кормушке.

Бродивший по двору хромым кот медленно вошел на терраску, подошел к зернам джугары, понюхал их и, подняв желтые глаза на Турабджана, жалобно мяукнул: «Мя-а-у!»

— Встань, собери зерно!— сказал Турабджан жене.— Видишь, кот обнюхивает!

Та, поднимаясь, всхлипнула и зарыдала во весь голос.

— Провалиться бы ему сквозь землю... что это за несчастье! Почему

меня не тянет на соль, на мед, как всех?

Турабджан снял с головы тубетейку и хотел стряхнуть с нее пыль, но увидел разорванный рукав и нахмурился; яхтак был почти новый, всего несколько раз стиранный.

— Если уж ты беременна, знай хоть меру,— сказал он и снова надел тубетейку, так и забыв стряхнуть с нее пыль.— Гранат, гранат... А ты знаешь, сколько стоит фунт гранатов? С самой зари таскаешь воду, колешь дрова, мечешься по всему дому, а на руки в месяц попадает всего тридцать пять таньга. У меня братьев-благодетелей нет...

Оба умолкли. Жена натолкла в ступе джугару на кашу и, пересыпая ее в таз, проворчала:

— Будто я прошу гранат из упрямства...

— Знаю!— вскипел Турабджан.— А что мне делать? Прикажешь убить хозяина и ограбить его или заложить себя ростовщику?

Жена занялась стряпней. Ее сильно обидели слова мужа: «Если уж ты беременна, знай хоть меру». Она разводила огонь в очаге, а на глаза навертывались слезы. Через час обед был готов. Гуджу, почерневшую от варки в старом котле, не убелило даже кислое молоко. Турабджан быстро опорожнил две миски, а жена не съела еще и половины своей. Ее медлительность почему-то напоминала Турабджану хромого кота, а вспомнив про кота, он подумал о порванном рукаве и совсем расстроился. Его хмурый взгляд словно говорил жене: «Только напрасно переводишь джугару и кислое молоко». И потому, как ни отвратительна была ей давно опротивевшая гуджа, она сделала над собой усилие и доела ее. Но тут же, бледная, встала и выбежала за угол дома, а когда вернулась, глаза ее были красны.

— Ты назвала несчастьем еще не родившегося ребенка!— возмущенно проговорил Турабджан.

Жена молча убрала скатерть. Потом, наливая воду в котел, еле слышно сказала:

— За деньги, истраченные на мед, можно было купить не один гранат.

— Как же, как же!— язвительно отозвался Турабджан.— А я вот меду принес!

— Конечно, можно было! Вы нарочно вместо граната принесли эти поганые соты, собаки бы их лизали!

В такие минуты умолкает разум и язык отнимается. А когда язык начинает ворочаться, он бьет сильнее, чем кулаком.

— И хорошо сделал!— крикнул Турабджан, весь дрожа.— И пусть тебе все нутро сожжет! Мне-то какое дело?!

Как подействовали эти слова на жену, о том могут судить только женщины в положении. А Турабджан сказать-то сказал эти слова, но когда взглянул на жену, сам испугался. Гнев его сразу прошел, и не будь он так самолюбив, он сейчас же подошел бы к ней, погладил бы ее по голове и сказал: «Не надо, не плачь, я это со злости сказал».

— Сама доводишь до этого,— проворчал он после длительного молчания.— Зря меду купил... Да его теперь нет даже верховому, а мы с тобой пешие! Это друг хозяина привез ему в подарок немного, так я... выпросил у него чуточку. Думал, вот удача — жена обрадуется!.. Ты сколько раз в жизни ела мед?

Турабджан говорил уже в примирительном тоне, без всякого раздражения, но жена его не слышала. Вернее, слышать-то слышала, да не улавливала смысла, воспринимала его речь как обычное недовольное бурчание. И все-то три года их жизни он вот так же недовольно бурчит себе под нос, и бывает трудно его понять. Но сегодня он ясно выговорил шесть слов: «И пусть тебе все нутро сожжет!» Единственным ее желанием было — съесть гранат, и вот муж, ее единственная опора в жизни, оказывается неспособным исполнить даже это ее маленькое желание.

Жена ушла в дом. Много времени спустя в окне появился мутный свет.

Вошел в дом и Турабджан. Жена сидела у окошка, облокотившись на согнутое колено, подперев рукой подбородок, и неотрывно глядела в черновато-серую мглу неба. Турабджан остановился посреди комнаты, не зная, что делать. В нише, потрескивая, горела пятилинейная лампа, вокруг нее кружилась ночная бабочка. Что-то громко треснуло в потолке, в стене чиркнула ящерица,— и снова мертвая тишина. В ушах Турабджана зазвенело от нее. Он тоже присел к окну и стал смотреть в небо, на мигающие звезды.

Вдруг над высокими тополями в саду казия взвился красный комок огня; оставляя за собой светящийся след, он полетел еще выше и, словно ударившись в небо, лопнул и рассыпался искрами.

— Фейерверк,— сказал Турабджан.— Мулладжанказий бешик-той сегодня справляет.

Жена не промолвила ни слова, даже не пошевелинулась.

— Из города много гостей понаехало,— продолжал Турабджан.

Жена опять промолчала. Она ни разу не была в саду казия, но много слышала о нем. Не сад, а сплошная гранатовая роща, на деревьях несметное количество гранатов, с чайник величиной каждый...

— Один фейерверк сколько стоит,— рассуждал как бы про себя Турабджан.— Если выпустят сто фейерверков... то по одной таньге — это будет сто таньга. В десять да еще в десять раз больше того, что казий платит мне за месяц работы.

Оба молчали долго. Наконец Турабджан широко зевнул и стал снимать яхтак.

— На-ка, зашей,— сказал он, бросая яхтак жене.— Держи! Та взяла яхтак и положила возле себя.

— Живей!— сказал Турабджан, видя, что жена вовсе не собирается сейчас же зашивать его.— Бери в руки, тебе говорю!

— Зачем кричите? Зашью... Приспичило...

— Хочешь срывать обиду на мне?— Турабджан схватил яхтак и опять надел.— Если обижаться на каждую мелочь, лучше не жить. Бедность ведь...

— Будь она проклята эта бедность!— тихо сказала жена. Она произнесла эти слова, сетуя на бедность, а Турабджан понял их как упрек, и у него снова закипело в груди.

— А что,— сказал он хмурясь,— разве я скрывал от тебя свою бедность? Разве наряжался в день свадьбы в чужой халат и чужие ичиги, подобно Эркабаю?.. Еще не поздно, можешь выйти за человека с деньгами.

— Ну, что же, продайте свою жену баю... за пару гранатов. Эти слова как ножом ударили Турабджана в сердце.

— А-а, продать?.. Баю?..— заговорил он тихим голосом, но этот голос был страшен.— Значит, я никогда не приносил тебе гранатов?

— Никогда!— зло бросила жена, отворачивая от него пылающее лицо.

— А те гранаты, которые ты ела в прошлый базарный день, любовник, что ли, тебе покупал?

— Любовник покупал!

Впоследствии Турабджан так и не мог вспомнить: то ли он толкнул жену в плечо, а потом поднялся, то ли сразу вскочил и ударил жену. Он увидел перед собой только ее побледневшее лицо и широко раскрытые, испуганные глаза.

— Не надо... не надо...— в ужасе шептала она. Турабджан кинулся к

двери, и, немного спустя, за ним хлопнула во дворе калитка.

Жена плакала долго и безутешно. Упрекая себя за то, что она так несправедливо обидела мужа, она даже пожелала себе смерти. Потом, устав от слез, вышла во двор.

Ночь, во тьме где-то остервенело лают собаки. Вышла за калитку, оглядела улицу. Чайханы давно закрыты. Только вдали, на гузаре, мерцает одинокий маленький огонек.

Вернулась в дом. Легла. Много ли, мало ли времени прошло,— за крышей захлопал крыльями петух и звонко прокричал: «Кук-каре-ку-у!»

И тотчас же вслед за тем заскрипела калитка.

Не успела жена подняться с постели, как вошел Турабджан с узлом за спиной. Он бросил его на пол, и по всей комнате раскатились гранаты — крупные, с чайник величиной. Жена с изумлением взглянула на мужа и, увидев его бледное лицо, страшно перепугалась.

Опустившись на кошму, Турабджан обхватил широкой ладонью лоб и закрыл глаза. Жена кинулась к нему, положила руки ему на плечи.

— Где вы были?— спросила она, задыхаясь от волнения.— Что вы сделали?

Турабджан молчал. Его трясло, как в лихорадке. Открыв глаза, он с тоской посмотрел на жену, и губы его скривила болезненная улыбка. А из груди вырвалось — мучительно, тяжело, с каким-то надрывом:

— Не я... бедность... будь она проклята!

1936

## УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ

Товарищ Бакиджан Бакаев — преподаватель изящной словесности, как он себя именует,— войдя в хлев, ощутил крайнее раздражение: опять клещи в ушах у коровы! Но куда больше, чем клещи, рассердила его сама корова: не дает очистить уши. Трясет головой, фыркает...

— Скотина! Скотина, а не корова! — сказал он, хлопнув дверью хлева, и пошел по двору. Супруга Бакаева Мукаррам наливала в самовар воду.

— Скотина! — снова сказал Бакаев. Мукаррам покосилась,— Животина проклятая!.. Нужно продать эту корову, а на вырученные деньги купить свинью!

— В городе свиней держать нельзя,— сказала Мукаррам, накладывая в самовар уголь.

— Почему? Разве запрещено? Кто это сказал? Разве я это говорил? Ну, правильно, нельзя... Конечно, нельзя.

— Вы в дом зайдите, там Хамида пришла.

Шестнадцатилетняя Хамида, тоненькая, жизнерадостная девушка, увидев зятя, обрадованно вскрикнула:

- Ой! Вы, оказывается, дома! Знала бы — тетрадь принесла... ой, как жаль!

Настроение товарища Бакаева несколько прояснилось. Из мыслей его ушла прочь и корова со своими зелеными-презелеными клещами в ухе, и страшноватый призрак свиньи, которая с хрюканьем разрушает мордой арык.

— Я слышал, ты из техникума на рабфак перешла, это правда? — спросил он.— Гм-м... Что ж, правильно поступила. По-моему, это я тебе посоветовал на рабфак идти? А? Гм-м... Уф-ф, опять изжога... На рабфаке хорошо... Я там как-то был. Там еще на двери канцелярии написано «Практикум». Да-да. Это неправильно! Практикум, максимум, минимум — это все латинские слова. Я, по крайней мере, так полагаю.

Хамида потупилась. Помолчали немного.

— Бакиджан-ака,— смущенно сказала девушка,— я вас, знаете, о чем хотела спросить — вот мы в классе читали «Спать хочется» Чехова и хотим устроить суд над девочкой, которая задушила ребенка... Потерпевшей, ну, матерью ребенка, будет Рахима, обвинителем - Шарифджан. И судьи будут! А я хочу потребовать оправдания этой девочки! Правда же, она не виновата, это все хозяева, которые ее так

эксплуатировали! Она же сама маленькая! Вот... Так я и написала. Правильно, как вы думаете? Чехов так ведь и хотел сказать? Товарищ Бакаев подумал и спросил:

— Кто вам преподает изящную словесность? Хакимов? Глупый человек! Над собой не работает. Я ему говорю, что знак вопроса ставится после частицы «ли», а он, представь себе, смеется! Но дело даже не в этом...

Мукаррам вошла с самоваром. Хамида поспешно вскочила, взяла самовар и поставила его на стол. Она хотела было попенять зятю на то, что он позволяет беременной жене поднимать самовар, но застеснялась и промолчала. Товарищ Бакаев, оказывается, просто умирал от жажды — он тут же выпил одну за другой четыре пиалы чая и вспотел.

— Уф-ф, чай особенно хорошо идет после пельменей...— сказал он, вытирая пот.— О-о, опять борода выросла!.. Не будь на свете парикмахеров, люди давно уже превратились бы в обезьян. Вы знаете, как обезьяна стала человеком? Очень просто: облысела. Да, да, об этом у Энгельса сказано...

— Вы мне не ответили про девочку, Бакиджан-ака,— сказала Хамида.— Правильно я Чехова понимаю?

Товарищ Бакаев попросил еще чаю.

— Чехов? Гм-м... Видишь ли, говоря о буржуазном реализме, нужно... нужно сначала... гм-м... обратить внимание на его объект... То есть, нужно понять объективную действительность... гм... изображенную буржуазными реалистами... Гм-м, несомненно, Чехов... от начала до конца... по сути своей, да, относится к раннему буржуазному реализму... Э, Мукаррам, ты положила подкладыш в куриное гнездо? Надо сейчас же положить, не то курица бродягой станет!.. Прости господи, да есть ли животное глупее курицы, а? Положишь подкладыш — несется! И почему она несется, если положить подкладыш? Или вот — почему петух на заре кричит? А? Кто это может понять? Интересная психология! Хамида, вы биологию изучаете?

Хамида неохотно рассказала, что они проходят по биологии, потом ей пришлось вкратце объяснить, что предстоит изучить до конца учебного года, и тут она свернула на свою речь в суде: в защиту девочки она приведет доводы из области биологии... Разговор вернулся к Чехову.

— Гм-м...— сказал Бакаев, — у меня есть свои мысли о Чехове. Пусть другие говорят, что хотят, но, по-моему, его мировоззрение... его

мировоззрение отличается от мировоззрения Пушкина и Лермонтова. Да, да, отличается, хотя они писатели одной страны, одного класса, одной эпохи.

— Но Пушкин и Лермонтов не жили в одно время с Чеховым,— сказала Хамида,— у нас в библиотеке фотография висит, там Чехов снят с Горьким. Он, кажется, в девятьсот четвертом году умер? Товарищ Бакаев почувствовал неловкость.

— Вы о каком Чехове говорите?.. Налей чаю!.. Об этом Чехове?.. Правильно, этот умер в первой половине девятьсот четвертого года. Дай мне другой платок, этот луком пахнет!.. Я говорю о том Чехове, который был представителем раннего гм-м... буржуазного реализма.

— «Спать хочется» какого Чехова? — спросила Хамида.

— Конечно, этого Чехова! Эта вещь была впервые напечатана в журнале «Современник»...

Тут товарищ Бакаев начал длиннейшую речь. Хамида, однако, потеряла нить на третьем слове. Какой-то знаменитый критик Дендинг писал какому-то писателю Шлеппингу: «Когда ты станешь нуждаться в помощнике, подрастет твой сын и станет тебе помощником». А драматург по имени Стендинг писал критику по имени Демпинг: «Если всех животных создал бог, где был его вкус, когда он создавал барана?» Тут голова Хамиды отяжелела: она дважды тихонько зевнула, почти не раскрывая рта.

Было уже темно, когда, попрощавшись с сестрой и зятем, Хамида вышла на улицу. Она подумала, что мнения зятя о девочке из «Спать хочется» она так и не узнала. Она попыталась вспомнить, что он говорил, но в голове у нее загудело: практикум,— максимум, минимум... Дендинг, Шлеппинг, Стендинг, Демпинг...

1937



## ДЖАНФИГАН

Вы, может быть, знаете Джанфигана. Ну, тот самый, помните, все приставал к прохожим, просил посоветовать, о какую бы стену ему разбить голову. Однажды подпалил себе бороду и все ругал того, кто выдумал эти проклятые спички.

А вчера вечером слышим, у него во дворе плачет женщина.

Что бы это означало? Ведь известно, что Джанфиган давно уже не бил жену. Более того: известно, что однажды он даже высказался в чайхане следующим образом:

— Только подлец может бить женщину. Если у тебя руки чешутся, найди молодчика, который тоже не прочь подраться, и лупцуйте друг друга сколько влезет.

Войдя во двор к Джанфигану, мы увидели такую сцену: посреди двора пылает костер, а около него бегают плачущая Малохат — жена Джанфигана.

— Что случилось, Малохат? — спросили мы ее.

— Разве вы не видите? Облил керосином все мои вещи и поджег. За шесть лет хоть бы пару чулок купил! Все сама заработала. А он — вот спалил! В одном комбинезоне осталась...

Джанфиган крикнул, высунувшись в окно:

— Давай, давай рассказывай. Ты ведь всегда правду говоришь, это я вру.

Он выбежал из дома и с жаром заговорил — чувствовалось, что ему необходимо немедленно восстановить истину. Джанфиган жаловался на великую несправедливость, упоминал о какой-то статье уголовного кодекса, рассказывал о святом, предостерегавшем своего сына против женского коварства.

Оказывается, вчера вечером жена заявила ему, что жить с ним больше не желает, и потребовала развода.

Ссоры, как известно, бывают разные. Иногда они возникают из-за такой ерунды, что ни муж, ни жена не могут потом вспомнить, с чего же все началось. Понимая, что здесь именно тот случай, мы решили примирить супругов и не допустить, чтобы они, переступив порог загса, отправились в «отдел смерти и разводов». Мы попросили их подробно рассказать о причине ссоры. Из печальной истории, которую поведали нам супруги, другой на моем месте, наверное, сделал бы целый роман, я же расскажу только самое существенное.

Лет шесть тому назад Джанфиган был кучером в каком-то учреждении. Потом его выгнали: решил подработать «налево» и попался. После этого он заведовал овощным ларьком, но бросил и эту работу, слишком уж овощи дешевы: «Рубля не накинешь, а на копейке не разживешься».

Джанфиган устроился на завод, но и там ему не понравилось — никаких доходов, кроме зарплаты. Чем только он ни занимался, уйдя с завода: и цветы продавал, и мясником был, и штукатуром, и даже торговал на базаре дынями, разрезанными на куски,— все ему было не по душе.

Когда Джанфигана первый раз прогнали с работы, Малохат, несмотря на возражения мужа, устроилась в райсовет уборщицей. Вскоре она научилась грамоте, а через полтора года стала уже иногда говорить на собрании докладчику: «Товарищ, у меня к вам вопрос». Шофер райсовета Мария Тищенко была прямо в восторге от ловкости и понятливости Малохат. Как-то после работы она зазвала Малохат к себе домой и уговорила ее поступить на курсы шоферов.

Джанфиган неодобрительно отнесся к затее жены, но препятствовать ей не стал: «Пусть потешится, мечтать никому не запрещено». Окончив курсы, Малохат стала водить грузовик. Муж и тут не стал возражать: «Ну ездит и пусть ездит. Не она же в конце концов автомобиль выдумала». Малохат несколько раз получала премии. Джанфиган оставался равнодушным: «Тоже мне, деньги! Коня с верблюдом не купишь!»

Так шло до того памятного вечера, когда Джанфиган подпалил себе бороду и намеревался разmozжить голову о стену. В тот вечер он был в парке культуры и на доске Почета увидел огромный портрет своей жены. Джанфиган растерялся. Противоположные чувства боролись в нем: любовь и ненависть, зависть и страх. Придя домой, Джанфиган сначала расцеловал жену, потом начал скандалить. Это была их первая крупная ссора.

— Ну, а сейчас из-за чего вы поссорились? — спросил один из нас, когда мы выслушали этот невеселый рассказ.

— Да как же с ним не ссориться? — ответила Малохат,— Не одно, так другое... Ведь чего только не выдумает! Теперь, говорит, на тебя все смотреть будут. Влюбится еще какой-нибудь. У меня и в мыслях не было...

— Конечно, у тебя и в мыслях не было...

— А то было?

— Если бы у тебя не было никаких мыслей, зачем бы тебе зоб вырезать? А? Ну, скажи-ка вот при всех, скажи.

Действительно, у Малохат был раньше зоб с небольшую пиалу, и она прошлой весной вырезала его. Это послужило тогда причиной новой грандиозной ссоры, которая затянулась на целую неделю.

— А разве плохо, что я его вырезала? — смущенно спросила Малохат.— И как вам не стыдно так говорить? Все-таки я ваша жена.

— Да, да, а то для меня ты его вырезала! Еще чего! По мне ты и так хороша была!

— А зачем же вы тогда попрекали меня этим злосчастливым зобом? Сколько я из-за него слез пролила!

Джанфиган засмеялся.

— Попрекал... Бывало, конечно... Только чего же плакать...

Оказывается, после того как Джанфиган увидел жену на доске Почета, он решил, что теперь она его все равно бросит, и совсем перестал работать.

Малохат уговаривала мужа поступить на работу, ссорилась с ним, плакала. Наконец Джанфиган решил взяться за ум и поступил на хлебозавод. Однако и там он продержался не больше месяца — прогнали за прогулы. Некоторое время ему удавалось скрывать это от жены, потом пришлось покаяться и дать слово работать честно. А третьего дня смотрит — опять он без дела шатается.

Малохат пошла к нему на работу, и ей рассказали там, какую штуку выкинул ее муженек. Он, оказывается, проработал недели две, надоело ему, и отправился Джанфиган в поликлинику за бюллетенем. А чтобы наверняка получить его, недолго думая, воды из кальяна напился. Доктор, не будь дурак, промыл ему желудок и говорит: «Ты что это? Ослеп? Табак есть вздумал!»

Дошло до начальства, пришлось уйти. Ну, конечно, дома опять скандал.

— А почему же вы все-таки так поступили? — спросили мы Джанфигана.

— Нечистый попутал,— ответил он, чертя палочкой по земле.

— Сами вы любого нечистого попутаете! Ведь надо же — воды из кальяна напился! — возмущенно сказала Малохат.

Помолчали. Джанфиган все чертил на земле. Наконец перестал, поднял голову и выпрямился.

— Вот мое слово. Разводиться я не хочу. Вручишь мне бумажку о разводе — пожалеешь. При свидетелях говорю тебе — намылю веревку...

Джанфиган зарыдал. Малохат, должно быть, никогда не видевшая мужа в таком состоянии, смутилась.

— Поймите,— мягко сказала она,— не зарплата ваша мне нужна, я хочу, чтобы вы работали, как все люди. Ведь соседям в глаза совестно смотреть!

Джанфиган стал уверять жену, что это в последний раз, что он возьмется за ум, и призывал нас поручиться за него. Мы выполнили его просьбу, но, прямо скажем, без особой уверенности. Были все основания опасаться, что придется краснеть перед этой женщиной.

Выйдя от супругов, мы зашли в чайхану. Немного погодя туда пришел Джанфиган и спросил нас:

— Ну, как думаете, успокоилась она или опять приставать будет? Не успели мы ответить, как в чайхану заглянула Малохат. Джанфиган весь как-то съезжился и пошел ей навстречу.

На следующее утро мы узнали ошеломляющую новость: Джанфиган не пустил к себе в дом приятелей-бездельников.

1939

## ДЕВУШКИ

*Ржут жеребята —  
конями стали.  
Плачут невестки —  
чужими для родных стали.  
Из старинной песни*

Пусть скажет какой-нибудь беспристрастный человек: отыщешь ли во всем Узбекистане другого такого парня, как Нурматджан? Ну, если и отыщешь, едва ли он станет вертеться перед зеркалом, как, бывало, наш Нурматджан, да еще рассуждать: «Какую бы мне взять жену?»

Вы только поглядите на него: право, тысячу раз пожалеешь, что у него две руки. А без одной руки фигура у него была бы ни дать ни взять — кальян для курения.

А знали бы вы, как изменились в последнее время его понятия. «Это раньше, говорит, я ничего не смыслил. Конечно, хорошо, если жена где-нибудь служит и приносит мужу жалованье. Особенно если она не очень-то на виду: где-нибудь в мастерской или в учреждении, где работают женщины. Красота — вещь хорошая, но она как фарфоровое блюдо: совсем недурно, если на нем еще и казы».

В домово́й книге Нурматджан теперь значится не как Ташходжаев, а просто — Ташев. А не всякий осмелится исказить имя такого выдающегося человека, как ишан Ташходжи. Ведь это был не какой-нибудь захудалый человечиска: из пятнадцати его коней только два могли поднять хозяина.

Правда, есть у Нурматджана один недостаток — бедноват. Может, он и не был таким, достанься ему отцовское добро. Но ведь от имущества отца остались рожки да ножки, и Нурматджану самому пришлось думать о хлебе насущном. Пойти на какую-нибудь недостойную его черную работу Нурматджан, разумеется, не мог, а подходящей должности не попадалось. Тогда он и решил: как-нибудь перебьюсь дня три-четыре, а там, глядишь, подвернется что-нибудь приличное...

И вот уже пятнадцать лет он так думает, особенно по средам, в день исполнения желаний.

Оно и понятно, может ли такой человек не обидеться, если его заденут. Если даже подумает о нем кто неуважительно, и то ему очень

тяжело. Так что дочерям Ядгора следовало бы знать это.

А с дочерьми Ядгора вот какое дело: в свое время Ядгор обещал отцу Нурматджана, Ташходжи, обеих своих дочерей: Каромат и Адолят. Каромат тогда было десять лет, Адолят — три. А через полгода Ядгор зарезался в суде. Почему в суде, почему зарезался — так и осталось тайной. Потом, после свержения царя Николая, имам Ташходжи уехал в Бухару, сынок только его и видел. Обе девушки, обещанные ишану, по наследству должны были перейти к Нурматджану. А тут оглянуться не успели, Каромат подросла — невеста! Нурматджан стал было хлопотать о свадьбе, да вмешался женотдел, и все расстроилось: девушка, видите ли, не любит его. Нурматджан не стал особенно огорчаться: если девушка связалась с этими бесстыдницами, тем хуже для нее, он умывает руки. Нурматджан оставил Каромат в покое и все свои надежды возложил на младшую сестру. Оно и к лучшему, потому что теперь эта Каромат — директор завода и под началом у нее больше тысячи мужчин, в том числе и собственный муж.

Когда старшая сестра вышла замуж, младшей было только одиннадцать лет, и по новым порядкам, чтобы жениться на ней, надо было ждать еще лет пять-шесть. Нурматджан полагал, что вдова Ядгора, посрамленная недостойным поведением своей старшей дочери, стыдится на глаза ему показываться, и был вполне спокоен за Адолят.

Полгода спустя он услышал, что девушка поступила в интернат, а потом вместе с подругами уехала учиться в Самарканд.

Сначала Нурматджан был несколько озадачен, что старуха не посоветовалась с ним в таком важном деле, но, поразмыслив, понял, что она поступила совершенно правильно: очень мудро избавить Адолят от тлетворного влияния старшей сестры; к тому же в Самарканде много святынь, там Адолят лучше будет помнить об обете, данном ее отцом.

Эти соображения помогли Нурматджану спокойно ждать Адолят еще шесть лет. Правда, иногда у него возникали сомнения, но он твердо решил, что, если Адолят не вернется такой же, как уехала, он ей кишки выпустит.

Когда девушка должна была вот-вот вернуться, Нурматджан узнал неприятную новость: Адолят уехала в Ташкент и будет там еще пять лет учиться на химика!

Нурматджан хорошо знал, что такое химики. Они из камней могут золото делать. Если Адолят станет химиком, ей незачем работать в мастерской или в учреждении,— сиди себе дома и делай золото.

Конечно, с другой стороны: пять лет... девушка молодая... опять же химиком будет... как бы не увел ее какой-нибудь молодец. Всякому интересно заполучить жену, которая, сидя дома, будет запросто делать золото. Допускать этого нельзя!

Что же предпринять? Не очень-то приятно, но ничего не поделаешь — придется повидать старуху. Надо ей сказать: «Адолят приедет сюда, а пока что давайте устроим плов и оповестим о сговоре весь квартал».

С таким намерением Нурматджан отправился в среду вечером к вдове Ядгора.

Встретив старуху на мосту, он немного растерялся.

— А... тетушка,— сказал он поспешно.— Адолятхон должна бы приехать... А мы бы плов устроили...

— А, это ты, Нурматджан? Почему ты в совхоз не поехал? Там рабочих набирают...

— А разве Адолят в совхозе?

— Адолят? Нет, Адолят в Ташкенте. Я недавно к ней ездила. Такого хорошего мальчика родила...

Нурматджан открыл рот и захлопал глазами.

— Как, почему родила?

— Ну, а почему бы ей не родить?

— Она что же, замуж вышла? — сообразил наконец Нурматджан.— Как же вы, с вашими седыми волосами, могли допустить такое?

— А что же тут плохого?

— Но ведь обе ваши дочери были обещаны...

Старуха с трудом удержалась от смеха.

— Ах, ты вот о чем. Так они твоему отцу были обещаны. А потом ведь нынешнюю девушку насильно не выдашь, надо, чтобы она тебя полюбила.

— Подождите, тетушка. Правда, девушки были обещаны моему отцу, но ведь у него нет других наследников, кроме меня. А потом, зачем мне добиваться любви Адолят? Исполнение обета — ваша забота. Каромат тогда по-своему поступила, я промолчал. И сейчас ничего не скажу, делайте как знаете, могила — каждому своя.

Тут уж старуха не выдержала, рассмеялась.

— Что же теперь делать, Нурматджан? — сказала она, вытирая выступившие от смеха слезы, — Так вышло. Видно, так тому и быть. Ты уж не жалуйся отцу, когда видишь его во сне. Я тебе такую девушку высватаю. Приемным зятем моим будешь!

— Не нужна мне ваша девушка!

— Это почему же?

— Мне и Адолят хороша!

— Ну? Тогда делать нечего, придется написать ей, чтобы на развод подавала... Ну, будь здоров, сынок, до свиданья.

Когда старуха была уже довольно далеко, Нурматджан крикнул ей вдогонку:

— Тетушка, когда же мне зайти к вам, узнать?

Старуха не расслышала. Она шла и рассуждала сама с собой: «Подумать только, ведь в старое время Адолят пришлось бы выйти замуж за этакое пугало. А сказать ей — не поверит, умереть мне, не поверит».



## СИНИЙ КОНВЕРТ

Гвардии сержант Иркабай Мирзаев сидел у окна в госпитальной палате и задумчиво смотрел на улицу. Мимо окна прошел человек с полной корзиной персиков. Персики были крупные, спелые, с пушистой желтовато-красной кожицей. Иркабаю страшно захотелось попробовать вкусный плод, и он с сожалением посмотрел вслед обладателю полной корзины персиков. «Эх, подбросил бы штуки четыре!» Он живо представил себе, как осторожно снимает с персика мягкую, бархатистую кожицу, как кладет в рот сочный, мясистый плод и глотает слегка терпкий, сладкий сок.

На другой день опять тот же самый человек прошел мимо окна с персиками. Весь долгий день Иркабаю мерещились персики и персиковые сады. Даже ночью приснилось, будто он гуляет с девушкой в благоухающем саду, а она говорит: «Смотри, какие замечательные персики. Что медлишь? Срывай скорее!..»

Уже пять с половиной месяцев Иркабай находился в госпитале. С некоторых пор он начал испытывать ужасную скуку. Скука переходила в тоску. С товарищами по палате давно обо всем переговорено, его никто не навещает, а выйти самому... но куда же пойти? Знакомых в городе нет.

Хотелось поскорее вернуться на фронт. Там его товарищи, каждый день приносят интересные новости... Кроме того, со всех концов страны бойцам посылают письма, подарки. Мирзаев только за один месяц, перед ранением, получил три письма и две посылки от совершенно незнакомых людей.

Как-то на Западном фронте, когда Иркабай был еще рядовым бойцом, командир отделения подошел к нему с маленькой посылочкой и сказал: «На, тебе, чернобровый, черноглазый парень!» Иркабай был удивлен словами командира, но, взглянув на посылку, увидел, эти слова были написаны на ней, как адрес: «Западный фронт. Вручить чернобровому, черноглазому парню, убившему более десяти фашистов».

В посылке было граммов двести хорошего табаку, маленький батистовый платочек красивой расцветки и коротенькая записка, вложенная в синий конверт: «Товарищ красноармеец! Табак курите вместе с товарищами, а платочек сохраните — востребую после войны. Латифа Гулямова».

Иркабая так взволновала записка, что в тот же день он написал Латифе сразу два письма. Одно из них состояло из самых изысканных приветствий и благодарностей, а в другом он намекнул на чувства, о которых можно говорить девушке только на ушко. Прошло месяца два,— ответа на письма не было. Тем временем разыгрались крупные бои. Часть, в которой находился Иркабай Мирзаев, стала гвардейской, и сам он стал гвардии сержантом. Он снова написал Латифе, но ответа не получил. Осталось предположить, что Иркабай своими намеками сильно обидел девушку.

Вскоре Иркабай был тяжело ранен и больше месяца лежал в прифронтовом эвакуогоспитале. Для окончательного излечения его эвакуировали в глубокий тыл, и он попал в тот самый город, где проживала Латифа. Вспомнив о девушке, Иркабай решил: «Как только встану, обязательно пойду навестить ее». Но когда он поднялся с койки, получив возможность передвигаться с помощью костыля, решимость оставила его. «На что мне надеяться? — думал он.— Письма мои она оставила без ответа, платочек обещала востребовать только после войны, а это значит, что она предупреждала: пока не разделаешься со всеми фашистами, не показывайся мне на глаза...»

В последнее время Иркабай перестал было и думать о Латифе, но странный сон о персиковом саде и девушке, чем-то смутно напоминавший о Латифе, снова всколыхнул мысли о ней. Разве обязательно при встрече говорить: «Я — Иркабай Мирзаев!» — можно назваться, к примеру говоря, товарищем Мирзаева и передать фронтовой привет от него. Кажется, она у меня хорошая девушка, с ней будет приятно поговорить, может быть, удастся погулять в городском саду или сходить в кино.

Так думал гвардии сержант Иркабай Мирзаев и, решив, не откладывая, выполнить свое намерение, в первое же воскресенье собрался в гости к Латифе. Принарядившись, он посмотрел в зеркало и остался доволен собой: выданное из госпитального склада обмундирование ладно сидело на его стройной фигуре, побледневшее после долгого лежания в палате лицо теперь снова приобрело юношеский — розоватый оттенок, а пришитая к гимнастерке ленточка двух тяжелых ранений объясняла и даже делала почетными легкое прихрамывание на левую ногу и стандартный, белого некрашеного дерева костыль в правой руке.

Разыскав дом, где жила Латифа, Иркабай с волнением постучался в

калитку. В голове мелькнула неприятная мысль: «А что если Латифа — старая женщина, которая, подобно виноградине, потеряв сок, превратилась в кишмиш?» И когда в калитке перед ним показалась сморщенная старуха, он так растерялся, что не смог слова сказать.

Старушка, моргая подслеповатыми глазами, несколько секунд молча разглядывала сержанта и вдруг, обняв за шею, поцеловала в обе щеки.

— Ах ты, голубчик, красавец мой,— заговорила она с Иркабаем, как с самым дорогим человеком,— Что это у тебя с ногами? Заходи, заходи скорей. Сюда, мой милый...— Шаркая ногами, она торопливо пошла к низенькому крылечку.— Эй, доченька, где ты там, ставь самовар. Выдька, посмотри: вот, приехал боец с фронта...

Сердце Иркабая вздрогнуло при мысли, что сейчас он увидит Латифу.

На крыльцо вышла девушка лет семнадцати, в полосатом стрельчатого узора платье, с длинными черными косами, уложенными в несколько рядов вокруг головы. Она только поздоровалась с фронтовиком и убежала в дом хлопотать по хозяйству. Иркабай с горечью подумал, провожая ее глазами: «Такую красавицу я отпугнул своими дурацкими письмами!»

— И таким парнем, как ты, война все еще не дает устроить свой угол и исполнить свои желания,— между тем говорила старушка, растилая для Иркабая одеяло на супа,— Ох, времечко. А все из-за сумасшедшего Гитлера,— гореть бы ему в огне на том свете... А Латифа, наверно, тоже с вами, сынок?

Из дома вышла девушка со скатертью в руках. Услышав последние слова матери, она улыбнулась:

— Вот с этого бы и начинали, мама... Вы с какого фронта? — обратилась она к Иркабаю,— Сестра на Центральном.

— Как?! — удивленно воскликнул Иркабай,— Латифа на фронте? Почему она там?

— Медсестрой пошла. Уехала отсюда в мае прошлого года.

— Вот оно как!

— Да, сынок, так...— снова заговорила старушка.— Сколько я говорила ей: не можешь ты ездить на коне, не умеешь стрелять из пушки,— что будешь делать на фронте? Нет, не послушалась. Храбрая уж очень. Только и думала о войне. Писала письма красноармейцам и командирам, посылала подарки. Вот уж больше года прошло, как

уехала, а письма все идут и идут для нее со всех фронтов. Доченька, сколько ты переслала ей писем. Да, помню: сто два письма.

Иркабай даже испугался: «Три моих... и еще девяносто девять!»

— И все с фронта?

— Ас теми, кто в тылу, она и знаться-то не хотела. Уж такая... Иди, принеси, доченька, ее карточку, пусть братец посмотрит... Некоторые письма дочка прочитала мне. Так рады, так благодарят ее красноармейцы и командиры... Два письма написаны каким-то озорным парнем... Да уж ладно, пусть живет долго.

Иркабай густо покраснел.

Девушка принесла несколько фотографий.

Снималась еще здесь,— сказала она, протягивая Иркабаю одну из карточек.

С фотографии застенчиво, чуть, потупясь, смотрела молоденькая девушка. «А ну вас, молчите»,— словно говорила ее смущенная улыбка, предупреждая всякие похвалы ее красоте.

— Посмотрите, сынок,— сказала старушка на другую карточку.— Это она снималась в Москве.

«Как идет ей военная форма!..» — У Иркабая даже зарябило в глазах. Здесь Латифа была совсем другая. Она стояла с гордо вскинутой головой, глаза ее задорно поблескивали, и весь ее вид как бы говорил: «Эй, парень, поберегись!»

Иркабай задумался. Машинально он перевернул карточку и увидел фронтовой адрес Латифы.

— Вы узнали ее? — спросила старушка.

— Мамаша! — дрогнувшим голосом обратился к ней Иркабай.— Дайте мне карточку. Одна из посылок Латифы досталась моему близкому другу. Он раненый, лежит в госпитале, а ему очень хотелось познакомиться...

— Как его зовут?

Иркабай растерялся.

— Из тех писем, которые вы получили,— стал он объяснять,— три письма — от него. Но он не тот озорной парень, о котором вы говорили... Он...— Иркабай совсем запутался и замолчал.

— Хорошо, возьмите,— сказала сестра Латифы и улыбнулась, как будто разгадав, кто этот «он».

Иркабай положил карточку в нагрудный карман и встал. Как ни уговаривала его хозяйка остаться пить чай, он распрощался и ушел,

боясь выдать себя.

Вернувшись в госпиталь, Иркабай до самого вечера составлял письмо. Написав его, наконец, набело, он взял синий конверт — точно такой, в каком прислала ему свое письмо Латифа, и сделал на нем четкая надпись:

«Действующая армия. ППМ 19640-Б. Вручить чернобровой и черноглазой Латифе Гулямовой, если она вынесла с поля сражения более десяти раненых».

На этот раз Иркабай сумел многое сказать в своем письме девушке, но пересказывать здесь его содержание было бы, пожалуй, нескромно.

1943

## СТАРЫЙ АСРОРКУЛ

Хайдар-ака крепко дружил с ультарминцем Асроркулом.

Еще в тот год, когда белый царь силой стал забирать народ на тыловые работы, однажды вечером Хайдар-ата зашел к кузнецу Уста Мумину и увидел, что меха раздувает незнакомый человек. Хайдар-ата спросил: «Кто такой?» Ему ответили: «Беглый».

А месяца за три-четыре до этого случая в кишлаке прошел слух, что в Ультарме были беспорядки, из города приехали солдаты и угнали много людей, которых будто бы станет допрашивать чуть ли не сам губернатор. И вот этот незнакомый человек оказался как раз одним из тех, которые тогда убежали от солдат; это мельник по имени Асроркул.

Известно, что, когда толпа возмущенных людей настолько распалится, что готова идти на решительные действия, достаточно иногда лишь слова, чтобы вызвать взрыв. Как раз в такую минуту Асроркул, растолкав народ, вышел вперед и крикнул: «Эй, слушайте, люди: у белого царя дом разваливается, так пускай он набирает себе покорных рабов из своих людей, а мы никуда не пойдём!»

Толпа ринулась к дому волостного управителя. Волостной сбежал. Из города нагрянули солдаты... С тех пор вот и скрывался Асроркул, перебираясь из одного кишлака в другой.

Асроркул обосновался в кузнице Уста Мумина и помогал ему в работе.

Хотя и в те времена Асроркулу было уже лет тридцать пять, он еще не успел обзавестись семьей. В Ультарме он жил на скудный доход, который приносила ему маленькая мельница о двух поставах, доставшаяся в наследство от отца.

На новом месте Асроркул крепко подружился с Хайдаром-ата, стал по вечерам заходить к нему потолковать о том о сем. При этом Асроркул всегда вспоминал о своей мельнице и так сокрушался о ней, что Хайдар-ата однажды нарочно отправился в Ультарму, чтобы все разузнать. Оказалось, что сельский управитель, амин, захватил мельницу Асроркула в свои лапы, ссылаясь на то, что она, мол, «перешла в казну».

Прошло несколько месяцев. Однажды Хайдар-ата, приехавший по своим делам в город, услышал: «Белому царю дали по шапке». «Ну, если так, надо скорей ехать обратно, обрадовать Асроркула»,— решил Хайдар-ата и поспешил к себе в кишлак, а Асроркула уже и след

простыл: он уже, оказывается, узнал обо всем и умчался в Ультарму. Недели через две, однако, он прибрел обратно разочарованный.

— Ну, как? — спросил его Хайдар-ата.

— Царь-то слетел,— ответил Асроркул,— а вот амин сидит себе как ни в чем не бывало.

И вот прогнали царских аминов в Петрограде, Ташкенте, Коканде, но Асроркул все равно не смог вернуться в свою Ультарму. Кишлак стал к тому времени настоящим гнездом басмачей. Тогда Асроркул махнул рукой на Ультарму и на мельницу и при посредничестве Хайдара-ата женился на одной здешней вдове. Жена родила ему сына. Уста Мумин был грамотей, он поглядел в какую-то книгу и нарек младенца Едгором, пояснив отцу: «Пускай это будет тебе память о том времени, когда ты скитался, как беглый, у себя же на родине».

Вот так и прожил здесь Асроркул вплоть до того самого года, когда приезжал в Узбекистан Михаил Иванович Калинин. А потом житье стало мирное, и Асроркул перебрался вместе с семейством в свою Ультарму. Мельница его к тому времени развалилась, но он ее восстановил. С этой мельницей он и вступил в колхоз.

Хоть и немалый путь был до Ультармы от кишлака, где жил Хайдар-ата, однако приятели часто виделись друг с другом. Сын Асроркула, тот самый Едгорбай, отслужил уже в Красной Армии и хотел было свататься к племяннице Хайдара-ата, как вдруг началась война, и свадьбу пришлось отложить.

Однажды в кишлак пришло от Асроркула письмо, адресованное Хайдару-ата. Письмо было какое-то странное, не поймешь: не то Асроркул недоволен чем-то, не то еще что-нибудь такое... В общем что-то не так. И вот Хайдар-ата отправился в путь, решив, во что бы то ни стало увидеться с другом.

В Ультарму Хайдар-ата добрался уже в сумерках. Асроркула дома не оказалось (он ушел в чайхану), и гостя встретили его жена и младший сын хозяина — Абрар. Старушка, несмотря на позднее время, сейчас же принялась готовить ужин. Хайдар-ата справился у нее насчет Едгорбая:

— Ну как, пишет что-нибудь сын?

Старухе, видно, только этого вопроса и не доставало: слезы ручьем полились у нее из глаз.

— Друг-то ваш, ну просто горе мне с ним: не показывает мне писем сына, да и только. Да и Абрару тоже не показывает. А если нет писем, все равно ничего не говорит. Сам-то он к старости совсем из ума выжил,

заделался, видите ли, чайханщиком. Абрар мой чуть ли не сгорел со стыда. Подумайте сами: ну что скажут люди, «сын не сумел прокормить отца, голодом заморил», не так ли? Уж и председателю говорила, сама в сельсовет ходила — ничего не помогает. Старик-то мой, знаете, что сказал: «Кто против того, чтобы я был чайханщиком, тот мне враг, в район сообщу». Вышел у него насчет этого крупный разговор с председателем, он и на председателя пожаловался в районе.

— А в чайханщики-то годится он, что ли?

— Такой бедовый... Даже без палки стал ходить.

Как раз тут и Асроркул, легок на помине, явился домой. Хайдар-ата с трудом его узнал. До того бодрый он стал, такая уверенность у него появилась в походке, что просто удивительно: ну, ни дать ни взять седобородый юноша. Однако похудел он сильно, да и загорел. Он, видимо, и сам это знал, потому что предупредил вопрос Хайдара-ата:

— Ну что, похудел я, загорел, а?

— Да нет, ничего, все в порядке. Ты как сушеный виноград... Ну как, есть письма от Едгора?

— Чуть не в каждом письме о тебе справляется... А ну, сынок, наладь-ка нам чилим покурить!

Раньше Асроркул не курил табака. Только было раскрыл рот Хайдар-ата, чтобы спросить его об этом, как вдруг увидел старуху, которая, стоя за спиной Абрара, выбиравшего раскаленные угли из очага, делала руками гостю знаки, чтобы он попросил показать письма сына.

Хайдар-ата едва заметно кивнул ей головой.

— Так... Да, не берет пуля твоего Едгора. Нет ли у тебя какого-нибудь письма, почитаем, что он пишет.

— В чайхане все письма лежат.

Старуха не удержалась и заговорила: видно, терпение у нее лопнуло:

— Да покажи хоть одно письмо, бесстыжие твои глаза! Всех уж ты измучил.

— Какое письмо ни напишет сын: хорошее ли, плохое ли — ты все равно плачешь. Что толку тебе их показывать?

— Что я, у тебя слезы в долг беру?

Старуха заплакала. Асроркул вскипел.

— Опять! Нет, давно уже ты меня выводишь из себя. Будь это в прежнее время, я бы тебе все ребра пересчитал.



— На, бей, ломай ребра! Не бойся, жаловаться не побегу!

— Я не боюсь, просто зазорно мне бить женщину.

Асроркул так затянулся чилимом, что табак вспыхнул. По выражению лица старика чувствовалось, что он вот-вот обидит старуху. Хайдар-ата решил маленько его утихомирить.

— Брось, не обижай, видишь — тоска ее заела.

Старик еще больше раскипятился:

— Если тоска ее заела, значит и мозги ей заело? Когда в дом к тебе воры лезут, ты ведь не станешь прятать сына в сундук да соседей звать. Каждому свое дитя дорого.

— Хорошо, что хоть ты понимаешь, что дорого свое дитя! — снова вмешалась старуха.— Пойми: тоскую я по сыну, а раз тоскую, так и плачу.

— Ну и реви, от этого иногда легче бывает. Но уж реви, как все ревут, вот в чем дело.

— А как все ревут, скажи?

— Другие ревут, когда им делать нечего, а ты реवेशь без перерыва. Ни за собой не смотришь, ни за домом. Посмотри только вон на лампу да на стекло!.. В кишлаке ни у кого мухи не увидишь, а у нас даже ночью житья нет от них.

— У меня все из рук валится, понимаешь ты!

— Очень хорошо!.. Вот как, дескать, я люблю Едгорбая. Так, что ли? Иди сюда, садись. На вот тебе пиалу, пригодится на слезы... Значит, ты его так сильно любишь?.. Абрар, сынок, я там засунул газету в дупло айвового дерева, принеси-ка ее сюда. Очень хорошо... Ну, так вот, если ты так любишь его, то послушай, что я тебе прочитаю:

«...За истекшее время, то есть за два года войны, потери СССР составили: орудий — 35 000, самолетов — 23 000». Понимаешь? Ты забудь о другом, пойми только: если пушек столько потеряно, то сколько всего потеряно? Как ты думаешь: из этих пушек за день сколько вылетело снарядов? А кто доставляет столько снарядов? Разве не отцы и матери, братья, сестры и жены таких вот солдат, как наш Едгорбай? На солдат, вроде нашего Едгорбая, враг сразу по сто — двести самолетов напускает. А кто строит много больших самолетов, которые сбивают немецкие? Опять же отцы, матери, братья, не так ли? Я думаю, что они тоже любят своих, тоже скучают по ним. Или не скучают, по-твоему? Нет, тоже скучают, да не так скучают, как ты! Они рук не опускают, они все терпят! Это верно, что ты самолета не можешь

построить, кетменем не можешь махать, но все же, если захочешь, так и ты работать сумеешь. У тебя есть огонь в сердце, так вот разжигай его, пускай все горит: и сухое и мокрое. Враг хочет нас всего лишить, да немало уже и лишил. Если есть еще сердце, которое не горит, так и оно загорится, когда ты напомним об этом. Так поджигай его, жги! Вот тогда больше станет немцев, которые будут плакать о своих детях, лучше тогда будет.

У Асроркула даже голос изменился. Он вскочил с места и, схватив чилим, подошел к очагу. Хайдар-ата понял, что у старика слезы подступили к горлу. Он внимательно посмотрел на старуху, чтобы знать, заметила ли она это. Старуха заметила. Она молча глотала слезы. Тем временем Асроркул выкурил свой чилим и позвал старуху:

— Ну ладно уж, иди сюда, выкладывай свой плов! — и затем добавил язвительно: — Или уж мне самому, что ли? Вид у тебя такой, что, пожалуй, если я тебе не положу плов в рот и не заставлю жевать, так сама ты и не справишься!

Старуха бросила быстрый взгляд на Хайдара-ата. Взгляд этот говорил: «Ну, слава богу, шутит».

Асроркул опять сел на свое место. Жилы на висках у него набухли, дышал он тяжело и неровно.

— Что с тобой? — спросил Хайдар-ата.

— Ничего... Табак, верно, ударил в голову.

Хайдар-ата хмыкнул что-то и промолчал. Теперь он уже по-другому истолковал слова старухи о том, что муж не показывает писем Едгорбая.

За пловом разговор возобновил сам Асроркул.

— Тут с фронта приехал один джигит, раненый, Сыдыкджаном его зовут. В прошлую пятницу зашел он в чайхану и порассказал немало о том, что видел на войне.

Старуха спросила с нетерпением:

— Что же он говорит?

— Ешь, ешь, я расскажу. Налей-ка мне чаю... говорил Сыдыкджан об одном солдате, о том, как его убили. После сильного боя они, значит, отстали как-то от своих, а было их тринадцать человек. Двое суток бродили они по лесам и вот выходят к какому-то хутору. Кто там: немцы ли, свои ли — никак не узнаешь. «Ну, тут мы вдвоем,— говорит Сыдыкджан,— решили пойти вперед разузнать что и как. Со мной пошел Агабеков, молодой джигит, красивый он был, просто

замечательный». Он еще в походе показывал Сыдыкджану письмо от своей жены, карточку ее и сына своего, да все печалился. «Ну вот, идет мы это по полю,— говорит Сыдыкджан,— выходим на большак, глядим, на обочине валяется машина перевернутая, а около нее копошатся трое в серых мундирах. Мы сейчас же залегли». Дальше, значит, Сыдыкджан налаживает автомат и уже хочет стрелять, а тот боец хватя его за руку: «Постой, постой, говорит, он письмо читает. От жены, наверно, от детей». «Я,— говорит Сыдыкджан,— не послушал его, дал очередь, только замешкался малость, тут и пошла пальба. Все же я всех троих уложил, а потом обернулся, а друг-то мой лежит весь в крови».

Старуха сильно расстроилась из-за того, что джигит пропал зря. Сначала она выругала немцев, а потом высказала упрек и по адресу убитого:

— Эх, джигит! Да ведь тебя с семейством как раз враги и разлучили, зачем же ты хватаешь того за руку, кто хочет их застрелить! Письмо читает, скажи на милость! В могилу надо врагов загонять... Сам себе навредил, да и только.

— Вот Сыдыкджан как раз это самое хотел сказать, да не сказал. Бедняга-то, джигит тот, перед смертью сам признался: «Коли любишь свою семью, так лучше не думай о ней»,— вот что он сказал. «Эти его слова,— говорит Сыдыкджан,— потом у бойцов стали вроде пословицы». Так вот, нельзя на войне так себя распускать, да не только на войне — и здесь то же самое. Надо ум иметь и понятие, чтобы держать себя в руках. Если у кого голова не управляет сердцем, так замычи тебе теленок, а он уж охает, потому что раз теленок мычит, значит, он плачет по-своему... Абрар, сынок, полей-ка на руки воды!

Когда старуха готовила постель, она опять сделала знак Хайдару-ата, чтобы тот попросил письмо Едгора. Хайдар-ата, тоже жестами, дал ей понять, что письма в чайхане и что он завтра их сам принесет.

Утром Асроркул поднялся чуть свет и ушел, наказав старухе, чтобы Хайдар-ата был к полудню у мельницы.

Мельница стояла на берегу бурной речки Шухсай. Хайдар-ата решил воспользоваться прогулкой, чтобы осмотреть окрестности, а потом пошел через базар, хотя для этого ему пришлось сделать изрядный крюк.

Как раз около базарчика, во дворе сельской школы, весной того года, когда началась война, оба друга смотрели кино, видели на экране Ленина и слышали его... По выходным дням автомобиль с кино-

передвижкой приезжал сюда из города и показывал картины. Сейчас на киноплощадке Хайдар-ата увидел груды сухого янтака. «Что ж, разве могут теперь здесь быть картины? — подумал старик. — Да и где сейчас та молодежь, которая шутила, смеялась и вверх дном переворачивала весь кишлак в тот вечер, когда здесь шло кино?»

Погрузившись в раздумье, Хайдар-ата незаметно для себя подошел к мельнице. Скрытая среди деревьев на берегу речки, она глухо гудела где-то внизу. Хайдар-ата стал оглядываться вокруг, ища глазами чайхану, как вдруг увидел молодую женщину, которая гнала вверх шесть ишаков, груженных мешками с мукой.

Она уже добралась до поворота дороги, как вдруг один из ишаков заартачился и встал как вкопанный. Женщина и била его, и толкала, но все попусту. Хайдар-ата подошел к ней. Увидев его, женщина сконфузилась и опять стала шлепать ишака, приговаривая: «Ах ты, холера тебе в бок, бензин, что ли, у тебя кончился!» Потом она взглянула на старика и добавила: «У нас ведь в колхозе две машины были, не то чтобы одна...» Хайдар-ата помог ей сломить упрямство ишака и спросил, где находится колхозная чайхана. Женщина показала ему в сторону мельницы, немного выше ее по течению реки.

Чайхану Асроркул расположил очень живописно. Она стояла на высоте двухэтажного дома над уровнем речки, которая шумно катила свои воды где-то далеко внизу. Здесь, в тени огромной чинары и двух карагачей, были размещены несколько супа, на каждой из которой могли сидеть по четыре-пять человек. Между супа были разбиты цветники.

Хайдар-ата понюхал кустик душистого райхона и стал отламывать для себя веточку. В это время кто-то закричал: «Эй, эй, что ты делаешь!» Хайдар-ата оглянулся. В беседке стоял улыбающийся Асроркул.

— Однако молодец ты все-таки, Асроркул,— сказал Хайдар-ата, засовывая сорванную веточку райхона себе под тюрбетейку.— Ты в жизни никогда не притрагивался даже к самоварному крану, а такую чайхану отхватил, что самым завзятым чайханщикам в пример можно поставить. Но где же у тебя чаевники?

— Чаевники мои приходят вечером, сейчас все в поле... Иди сюда, присаживайся.

— Я не потому пришел, что ты наказал старухе, я явился сам по себе. Хотел у тебя спросить о двух вещах. Первое дело такое: с чего ты

вдруг вздумал стать чайханщиком да еще разругался из-за этого с председателем? А теперь вот осмотрел я чайхану и не ошибусь, если скажу, что ты полюбил это дело.

— Понравилась тебе чайхана?

— Понравилась.

Асроркул вдруг увидел мальчика, ехавшего верхом на лошади по другой стороне речки, и замахал ему руками. Мальчик в ответ отрицательно махнул рукой. Хайдар-ата заметил, что Асроркул нервничает.

— Это что за мальчик?

— Помощник мой. Я его послал в Бешсерка. Один тамошний джигит, Абдумаджидом его зовут, с фронта вернулся раненый. Вот уже дней пятнадцать как я бьюсь и никак не могу затащить его сюда. Два раза я за ним посылал, да, видишь ты, жена не согласилась пустить его: «Слаб он еще, говорит, того гляди, надорвется». Он в армию ушел на двадцать шестой день после женитьбы... Не знаю, какую причину она нашла сегодня.

Хайдар-ата с недоумением спросил:

— А что ты с ним хочешь делать? Разговор, что ли, у тебя к нему есть какой?

— Да нет, у него ко мне есть разговор, а у меня к моим чаевникам... Ты помнишь, как мы заставляли покойного Уста Мумина читать нам по ночам старинную книгу о прошлых войнах. И ведь как занятно нам было слушать всякие рассказы. Так разве не интереснее послушать сейчас рассказы о нынешней войне, от которой весь мир ходуном ходит? Каждый такой джигит, который побывал на фронте, это, брат, тебе целая книга. Поэтому я, как только услышу, ч\*го кто-нибудь в нашем районе приехал с фронта, сейчас же тащу ^го сюда.

Тем временем мальчик переехал через мост, привязал лошадь на берегу сая, а сам поднялся наверх. Он поздоровался с Хайдаром-ата и протянул Асроркулу записку. Асроркул вслух прочитал ее:

— «Уважаемый Асроркул-ата! Я вчера хотел приехать сам, но из города нагрянули гости. Сегодня мы хотим поехать в Карашаар. Будем завтра вечером вместе с гостями в вашем распоряжении.

Ваш сын Абдумаджид».

Асроркул чуть не задохнулся от досады, читая записку.

— Нельзя разве было ему сразу сюда приехать вместе с гостями? Он и завтра меня надует. Ну, что за дела у него в Карашааре? Нет, видно,

если я сам к нему не поеду, ничего не выйдет. Ты, сынок, займись-ка газетами и журналами и приготовь все к вечеру. Хайдар, давай съездим вместе, часа за полтора доедем туда.

Хайдар-ата ехать отказался, и Асроркул отправился сам. Переехав через мост, он выбрался на большую дорогу, огрел лошадь камчой и скрылся в низине между буграми. Хайдар-ата молча наблюдал за желтоватой пылью, медленно клубившейся по дороге вслед за всадником. Мальчик сказал:

— По правде говоря, вам стоило съездить, папаша, Бешсерка тоже местечко неплохое.

— Ты сам оттуда?

— Нет, я здешний, ультарминец.

— Родители есть?

— Есть. Отец командир, сейчас на фронте.

— Учишься?

— Кончится война, поеду в Москву учиться на агронома. Сейчас помогаю пока вот старику: читаю вслух колхозникам газеты, книжки. Вы ведь, Хайдар-ата, товарищ нашего старика, а? Старик о вас как-то говорил на собрании.

Хайдар-ата смутился: что бы это мог Асроркул говорить о нем? У мальчика спрашивать было неловко.

— Асроркул разве умеет говорить на собраниях?

— Ого! — сказал мальчик. — Прошлый год председатель списки составлял на стариков, которые годятся для легкой работы, а Асрорбобо не записал. Вот он тогда собрал всех стариков, которых в список не включили, и давай с ними собрание проводить. На этом, значит, собрании он в первый раз и стал говорить речь. Да с чего начал: сейчас, дескать, если валяется где-нибудь на задворках ржавое колесо от трактора, и то человека зло берет. А у нас, если председатель сказал, что мы на работу не годимся, так выходит — мы все должны сидеть на месте, как куры какие-нибудь в пыли, так, что ли? После речи Асрорбобо на том же собрании старики взяли шефство над комсомольскими бригадами. А сам Асрорбобо сперва наладил эту вот чайхану, а потом еще много сделал. На районном слете передовых бригад секретарь райкома его здорово похвалил: у нас в районе, мол, Асроркулата самый видный агитатор, — вот что он сказал.

В этот момент пришел младший сын Асроркула Абрар, спросил, где отец, и сказал, что в дом к ним приехали гости. По его словам,

выходило, что гости эти как раз и были Абдумаджид с людьми, приехавшими к нему из города. Хайдар-ата поплелся обратно. В крытом проходе двора он встретил жену Асроркула, которая спросила у него, где муж. Поведение ее показалось Хайдару-ата странным, и он пристально посмотрел ей в глаза. Старуха была бледна как полотно, глаза у ней припухли и покраснели, губы дрожали. Хайдар-ата остановился.

— Асроркул уехал в Бешсерка. Но что тут случилось?

Старуха, закрывая губы углом кисейной косынки, уставилась в землю и с трудом проговорила:

— Абдумаджид приехал...

— Ну и что?

— Не говорите старику...

— Что не говорить?

Старуха только горько заплакала в ответ. Хайдар-ата, убедившись, что от нее ничего не добьешься, поспешно направился во двор. Там, на супа, сидели трое гостей; они поднялись с места и шепотом, как будто рядом лежал тяжелобольной, поздоровались с Хайдаром- ата. Старик обратил внимание на молодого джигита в военной форме: лицо его было красно от смущения.

— Вы Абдумаджид? — сказал Хайдар-ата.— Вы написали письмо Асроркулу, что приедете завтра, и он отправился вас искать. Он хочет, чтобы вы выступили перед колхозниками.

— Вот как? Зря он себя утруждает. Мы ехали в Карашаар, и гости мои предложили заехать по дороге к старику, повидаться.

Хайдар-ата взглянул на старуху, сидевшую у калитки. Абдумаджид покраснел еще больше и тихо сказал:

— Дал я тут маху большого, не сообразил.

— А что?

— Они, оказывается, не знают, что Едгорбай... погиб, а я прямо с места в карьер вздумал утешать старуху.

У Хайдара-ата сердце упало, спина сразу взмокла от холодного пота. С минуту он помолчал, не зная, что сказать, затем спросил:

— А верно это?

Абдумаджид не ответил на его вопрос.

— Дело прошлое, тут уже не можешь. Не говорите Асроркулу ничего. Старуха тоже не хочет, чтобы он знал. Бойтся, что он не выдержит удара.

Подошла старушка и присела на край супа.

Все молчали. Прошло немало времени, пока старушка заговорила:

— Сколько обид натерпелся от меня Асроркул... Оказывается, он так делал потому, что письма перестали приходить.

Гости поднялись, чтобы уйти, каждый сказал хозяйке несколько слов в утешение, хотя и знал, что никакие слова не могут помочь. Хайдар-ата повел гостей в чайхану.

...Проводив гостей, Хайдар-ата остался в чайхане. Он расположился на супа, посреди большого цветника, и сидел молча, поглядывая на дорогу.

Вскоре приехал Асроркул. Как ни старался Хайдар-ата казаться спокойным, Асроркул заметил что-то неладное.

— Ну, тебе как будто скучно, я вижу,— сказал он.

— Нет... Тут приходили гости.

— Встретил их по дороге. Завтра придут, это уж наверняка. А теперь пойдем домой.

Хайдар-ата боялся встречи Асроркула с его старухой. Он прибегнул к уловке.

— Постели одеяло на этой супа и давай посидим немного... Если бы кто-нибудь спросил у меня: «Чего ты хочешь? Хочешь провести остаток жизни в путешествии по белу свету или просидеть здесь?» Я нисколько бы не задумался и сказал бы ему: «Давай мне лучше эту супа».

Слова друга пришлись по душе Асроркулу. Он расстелил на супа одеяло, полил землю для прохлады и пригласил Хайдара-ата.

— Ну вот, располагайся! Раз эта супа так пришлась тебе по вкусу, то посидим тут до обеда... Да, к слову сказать, ты ведь спрашивал меня, почему мне понравилось быть чайханщиком, а я тебе так и не ответил.

— Можешь теперь не объяснять. Знаю сам...

— Понял, почему мне нравится чайхана?

— Понял. Эти цветы выросли из того огня, который горит у тебя в груди. Ругай меня, я лодырь и шалопай! Ругай меня, скажи, что я ленивая курица, а не человек!

Асроркул раскатисто захохотал. Он решил перевести разговор на другую тему, чтобы вывести и себя и Хайдара-ата из неловкого положения.

— Ты у меня хотел спросить две вещи,— какая же вторая?

Хайдар-ата, говоря о двух вещах, имел в виду письма Едгорбая.

Сейчас он растерялся и не знал, что сказать.



— Второе... теперь это уж твое дело. Раз от Едгорбая нет писем, пожалуй, это хорошо, что ты так утешаешь старуху... Может быть, еще и придет письмо.

Асроркул стал молча вглядываться в белые как снег мелкие облака, легкие тени от которых скользили по далеким изумрудно-зеленым холмам. Это продолжалось довольно долго. Потом старик приготовил чилим и закурил.

— Сколько времени нет писем? — спросил Хайдар-ата.

— Давно.

Хайдар-ата, не поднимая головы, быстро взглянул на друга. Лицо Асроркула показалось ему еще более загоревшим, потемневшим.

— Придет еще письмо, ты, друг, того... не томи себя всякими мыслями.

У Асроркула вдруг покраснели веки, и он улыбнулся какой-то деланной улыбкой.

— Какими там еще мыслями? Не на охоту ведь поехал Едгорбай, а на войну!.. Ты только старухе не говори, а я тебе всю правду скажу. Смотри не проболтайся, она не снесет... Я получил черное письмо.

Хайдар-ата на секунду задумался, не зная, говорить ли о том, что старуха уже знает об этом.

Асроркул спросил:

— Ты что, слышал разве?

Хайдар-ата решил ничего не говорить. Он понял, что горе одного из стариков еще больше усилит горе другого.

— Слышал в кишлаке, да не поверил... А верно это?

Асроркул, не отвечая на вопрос, стал приглаживать свои брови пальцами.

— Крепись, друг, горем да плачем тут ничего не сделаешь,— пересилив себя, проговорил Хайдар-ата.

— Я не плачу! Не будет у меня слез до тех пор, пока не обниму собственными руками его могилу и не приложу землю от нее к своим глазам...

Абрар пришел звать к обеду. Асроркул при виде сына постарался изменить выражение лица, и пока они дошли, на нем не осталось и следа печали.

Старуха двигалась проворнее, чем обычно, и больше обычного говорила. Асроркул, вытирая руки полотенцем, испытующе взглянул на нее.

— Так-так, душенька моя, опять плакала?

На лице у старухи мелькнуло что-то вроде улыбки, но она сейчас же отвернулась и стала скрести котел шумовкой.

— Кроме как о слезах, тебе не о чем говорить, видно! — отрезала она с раздражением.

Однако, когда она подала обед, в глазах у нее были слезы. Поставив блюдо перед стариком, она сказала:

— До чего едкий дым от этих дров, ну прямо сил моих нет!

— Садись с нами,— сказал Асроркул, кладя ломтик редьки в рот,— нам едкого дыма видать не пришлось: дым едкий там, где война идет.

За обедом старуха вела себя очень беспокойно. Один раз она, желая, видимо, сдержать слезы, подступившие к горлу, набросилась на Асроркула:

— И чего это ты чавкаешь так, разве нельзя жевать, как все люди!

— Редька, моя милая, ничего не поделаешь...

— Какая тебе редька! Ты мягкую лепешку жуешь, ровно лошадь сухой клевер!

— А ты не унывай, старуха, не распускай сердце.

— При чем тут сердце? Посиди-ка тут с утра до ночи, как я!

Хайдар-ата вмешался в разговор:

— Старуха твоя верно говорит... Послушайте, дорогая моя, ваша подружка ведь как наказывала мне, чтобы я вас к ней доставил. Я здесь проживу дня три-четыре, а вас завтра свезу в наш кишлак; идет, что ли? Что скажешь на это, Асроркул?

Муж и жена быстро взглянули друг на друга. Одна и та же мысль промелькнула при этом у обоих: «А что, если ты услышишь это известие без меня, не слишком ли одиноко будет тебе?»

Хайдар-ата долго упрашивал и наконец убедил их.

Утром, когда к дому подъехала арба, старуха отозвала Хайдара- ата в сторону.

— Оставайтесь лучше с моим стариком. Не могу никак бросить его здесь одного.

— Может, Абрар вас свезет?

— У него работа. Сама-то я работать не могу да еще других буду в такое время от дела отрывать! Арбу пришлю с почтальоном.

И старушка уехала.

## КАРТИНА

В полдень на дороге перед белым зданием с колоннами правления колхоза «Пахтакор» остановился большой жукообразный автомобиль. Был он совсем не похож на машины, которые часто появлялись здесь из города или района, поэтому сторож-инвалид, стуча костылем по каменным ступенькам, торопливо сошел с крыльца и, не решаясь подойти ближе, встал у мостика через арык. Когда пыль, густым облаком окутавшая автомобиль, наконец улеглась, дверца желто-зеленого кузова распахнулась, и из машины вышли двое: высокий, худощавый мужчина средних лет в крикливо-пестрой клетчатой рубашке и уродливых брюках-гольф и небольшого роста молодой человек с падающими на шею и уши длинными черными волосами, одетый в чесучовый костюм и черные лакированные туфли.

Молодой человек сделал два-три шага к арыку и небрежно поманил рукой сторожа:

— Можно вас... Где председатель?

— Здравствуйте,— вежливо поклонился сторож-инвалид,— пожалуйста... Маджит-ака сейчас на полях.

Очевидно, только теперь молодой человек сообразил, что задавать вопросы, не поздоровавшись, неудобно, почувствовав себя неловко перед сторожем, он задумчиво потер пальцем подбородок.

— А где парторг?

— Товарищ Хатамова? Она тоже в поле.

— Телефона нет?

— Можно сказать, что и нет. Трудно дозвониться... Да вы заходите в правление... Вы из института?

— Нет.

— А... кого вам надо: дадим знать. Я сейчас...

Сторож ушел...

Когда он вернулся к машине, высокий человек в брюках-гольф, прищурившись, смотрел на колонны здания. Туда же смотрел и молодой человек в лакированных туфлях, и оба обменивались замечаниями... «Вы думаете, типично?» — «Очень!»

— Когда построено это здание? — увидев сторожа, обратился к нему молодой человек.

— Начали строить еще до войны, а заканчивали уже без нас.

— Вы были на войне? Где вы потеряли ногу?

— В Крыму.

Вскоре пришла парторг Хатамова, еще молодая колхозница, но уже с поседевшими волосами, и пригласила гостей в свой кабинет. Она тоже сначала приняла приезжих за научных работников из института хлопководства, но, заметив странное одеяние высокого человека, поняла свою ошибку и несколько растерялась.

Гости поспешили представить друг друга:

— Один из талантливых представителей молодого поколения наших писателей, поэт Куватбек,— сказал высокий человек в клетчатой рубашке, указывая рукой на своего спутника.

— Один из лучших представителей нашей кинематографии, кинорежиссер Ганиев,— в тон ему сказал низенький молодой человек в чесучовом костюме.

Хатамова, краснея от смущения, слегка поклонилась:

— Добро пожаловать.

А минуту спустя в кабинете она свободно беседовала с гостями.

— Очень хорошо, что вы навестили нас. Колхозники любят и хорошие книги, и кинокартины, особенно молодежь. Недавно в колхозе начал работать музыкальный кружок. Есть у нас и свои поэты. Думаем построить хотя бы небольшую сцену, расширить помещение клуба... Очень кстати вы приехали. Молодежь будет рада встретиться, побеседовать с такими мастерами. Уж вы помогите ребятам своими советами.

Пришел председатель совета урожайности, а затем и председатель правления колхоза. В приоткрытую дверь кабинета то и дело заглядывали любопытные. В коридоре кто-то сказал: «Из академии».

Режиссер Ганиев нашел нужным сразу же объяснить цель своего приезда.

— Мы работаем сейчас,— медленно начал он, выбирая слова и стараясь сделать свою речь наиболее понятной,— над сценарием, то есть над планом постановки художественного фильма из жизни колхозников. По этому сценарию-плану будут производиться кино-съемки. Пришло время разрешить очень важный вопрос: какой колхоз нам снимать. Нас интересует колхоз типичный во всех отношениях, то есть такой, где все организовано и все идет как в большинстве других колхозов нашей республики. Нам кажется, что колхоз «Пахтакор» является именно таким типичным колхозом, но в этом мы должны еще убедиться. Мы просим помочь нам в столь важном деле. Хотелось бы,

чтобы вы были с нами совершенно откровенны — показали нам все самое интересное и ничего не скрывали, ни хорошего, ни плохого.

Председатель колхоза выпрямился и, улыбаясь, подкрутил кверху свои длинные усы.

— Будем очень рады, если наш колхоз окажется достойным такой чести,— ответил он режиссеру.— Скажите, что вам требуется,— все сделаем.

— Мы не будем отнимать у вас дорогого времени,— сказал поэт.— Беседу с вами отложим до вечера. А сейчас мы хотели бы осмотреть колхоз. Для нас достаточно, если вы дадите нам одного проводника.

Проводником был выделен все тот же сторож-инвалид.

Гости вышли из правления. Сторож повел их главной улицей. Среди обвалившихся дувалов, низеньких, покосившихся хижин с земляными крышами, похожими на ласточкины гнезда, встречались новые кирпичные дома, построенные по плану.

— Вот наш новый кишлак,— стал объяснять сторож.— А от всего этого,— указал он на глинобитные хижины с маленькими хомутообразными дверными лазами,— и следа бы не осталось, если бы не помешала война. Но вы вставьте в картину и те и эти дома,— посоветовал он,— а то наша молодежь скоро и знать не будет, как жили отцы.

Пересекли садик перед школьным зданием и вышли на шоссе.

По обеим сторонам дороги, обсаженной тополями, виднелись сложенные штабелями доски и бревна, красные колонки жженого кирпича, циновки из камыша и другие строительные материалы. Среди них нетерпеливо двигались люди. Откуда-то доносились звон пилы и стук топора.

— Строительная бригада,— бросил на ходу сторож-инвалид и, подпрыгивая на своем костыле, свернул под зеленую арку ворот. Отсюда открылся вид на широкую тенистую аллею, которой, казалось, не было конца.

— А это,— сказал сторож, останавливаясь на песчаной дорожке аллеи,— наша краса и гордость — колхозный сад.

Из боковой аллеи вышла молодая краснощекая женщина в белом халате. Сторож познакомил ее с гостями.

— Вы из детского сада? Можно зайти к вам? Разрешите? — в один голос заговорили поэт и режиссер.

Молодая женщина улыбнулась, склонив голову набок, иссиня-черные тонкие брови ее чуть вздрогнули, пунцовые губы пришли в движение, и раздался мягкий грудной голос:

— Простите, дети сейчас спят, их беспокоить нельзя. Приходите попозже — будем очень рады...

Гости продолжали свой путь. Режиссер, ускорив шаги, почему-то заспешил вперед. Поэт торопливо двигался вслед за ним, но споткнулся о корень дерева и чуть не упал.

— Ганиев,— сказал поэт, догоняя режиссера,— вот я смотрю на этот изумительный сад, и мне начинает казаться, что наше детство очень дешево обошлось нашим родителям.

Режиссер не ответил.

Откуда-то появился седой садовник. Он поздоровался с гостями и повел их мимо большого водоема к высокой беседке, построенной, по его словам, одним из мастеров, которые сооружали Узбекский павильон на Сельскохозяйственной выставке в Москве. И в самом деле — беседка была построена с большим вкусом и, как видно, мастером своего дела.

В цветнике, разбитом вокруг беседки, порхали разноцветные бабочки, над водоемом носились стрекозы с длинными, прозрачными крыльями, где-то ворковали горлицы.

Старик садовник дал в руки своему ученику, худенькому и весьма учтивому юноше, большую корзину и послал его за фруктами, а сам, даже не любопытствовав, кто его гости и зачем приехали, познакомил их с историей сада. Он рассказал, какие растут в саду фруктовые деревья, откуда доставлялись саженцы и какого ухода требовали они, чтобы привиться на новой земле. С особым увлечением старик говорил о саженцах граната, доставленных с юга республики на самолете, и, говоря о них, подчеркивал именно это важное обстоятельство.

— Наш председатель очень деловой человек,— сказал садовник, принимая корзину с фруктами из рук быстро вернувшегося ученика,— за всякое дело берется с душой. Вот попробуйте персики. Помню, председатель дал мне машину, и саженцы персиков я доставил из самого Аккургана.

— Много дохода приносит ваш сад колхозу? — спросил режиссер, снимая со спелого персика нежную пушистую кожицу.

— В прошлом году дал сто двенадцать тысяч рублей. Да разве в этом дело? Главный доход мы получаем от хлопка. Миллион триста

тысяч получили за прошлый год. А сад — украшение нашей жизни. Ну и про фрукты не надо забывать. Не последнее дело. Во время войны мы посылали их даже на фронт. Сколько благодарственных писем получили от бойцов и командиров! Можете их сами посмотреть,— председатель хранит все письма в железном сундуке. Мне, как садовнику, тоже немало благодарностей перепало. Одно письмо получил из Ленинграда. Очень интересное письмо. Наши подарки возила туда Тупаниса. Я должен был ехать в Ленинград с подарками, да пришлось уступить эту честь Тупанисе. Ее муж погиб в тех местах. Сильно горевала она тогда. Хорошая женщина, умница. Теперь она у нас парторгом. А все-таки я жалею, что не поехал. Может быть, встретил бы своего племянника...

— Племянник ваш был в Ленинграде?

— Да, был там. Погиб он в конце войны где-то у немецких берегов.

— Моряк?

— На подводной лодке плавал. Уехал в Москву учиться, а потом оказался в Ленинграде и перед самой войной приехал в шапке с ленточками. На обратном пути повез и меня с собой в Москву, весь белый свет показать.

— Вы были в Москве? — удивился поэт и быстро вынул из кармана записную книжку и карандаш.— А ну-ка расскажите о своей поездке. Это очень интересно.

— Могло быть интересно, да не получилось. Утром приехали, а вечером племянник посадил меня в поезд и отправил обратно. В тот день началась война. Успел только посетить Мавзолей Ленина. Не случись войны, многое бы повидал. Жаль, на Сельскохозяйственной выставке не удалось побывать. Ну, ничего, будут еще такие выставки. Теперь я поеду не только смотреть, но и показать кое-что свое. У меня есть очень интересные опыты прививки. Пойдемте-ка покажу.

Старик повел гостей осматривать сад. Правленческий сторож хорошо знал, что осмотр затянется надолго, и потому спокойно оставил приезжих в саду, пообещав вернуться к ним часа через два. Вернулся он часа четыре спустя, но гости даже не заметили его опоздания. Садовник показывал им ветку винограда, привитую к стволу тутового дерева. По его словам, каждая кисть винограда на тутовнике должна вырасти вышиной с торбу, а виноград должен получить нежность и аромат тутовых ягод. Сторож погулял с полчаса по саду и, когда снова вернулся к гостям, увидел их на опытном школьном участке. Старик, весело

посмеиваясь, втолковывал что-то поэту, а тот, присев на траву и положив записную книжку на колено, быстро записывал объяснения садовода.

— Уважаемые товарищи, не пора ли двигаться дальше? — спросил сторож.— Что вы хотели еще посмотреть?

Режиссер, усмехнувшись, ответил:

— Если хватит сил, пойдем прямо на электростанцию.

— Утомил вас отец? Он у нас такой: пока не покажет всех своих чудес — не отпустит. Да еще заставит писать отзывы в большую книгу... А электростанцию осмотреть вам не удастся. Механик запер ее и ушел.

— Но он же вернется, когда мы придем?

— Нет, не вернется. Сказать правду,— если вы заночуете у нас, сегодня мы останемся без света. Тут видите, какое дело: станция-то наша оборудована в маленьком, невзрачном домике, где помещалась старая крупорушка. Ну, механик запер ее и ушел, дескать, что тут снимать. Не картина будет — насмешка! Нет, никакими силами не заставишь его теперь вернуться на станцию. С одной стороны, это даже лучше. Вот по новому пятилетнему плану у нас будет построена новая большая гидростанция. Тогда уже тандыр будем накаливать электричеством. И картину снимать уж лучше тогда... А сейчас, я думаю, нам надо пойти на ферму. Там тетушка Хафиза давно ждет вас. Она задержала дойку девяти коров, очень подходящих для картины.

Садовник освободил гостей только к вечеру и то остался не совсем удовлетворенным. Провожая их, он говорил: «Жаль, мало побыли у меня, показал бы вам еще зимний сад» — так называл он свои парники.

Гости очень устали и особенно остро почувствовали это, когда вышли из сада. Решив больше ничего не осматривать, они направились прямо в правление колхоза.

Председатель, встретив их, тотчас же пригласил в комнату, где был накрыт стол, уставленный всякими яствами. Весело брэнчала крышка красного чайника, поставленного на конфорку маленького медного самовара.

— Э, не было нужды так беспокоиться,— сказал поэт, хотя уже чувствовал сильный голод.

— Какое тут беспокойство? — возразил председатель.— А ну, прошу, мойте руки и присаживайтесь к столу... Оказывается, сегодня вы успели осмотреть только сад?

— Что же успеешь за полдня? А сад у вас действительно заме-



чательный. Пожалуй, и дня было бы мало, чтобы осмотреть там все интересное.

За столом гости расспрашивали о знатных людях колхоза, о мероприятиях по новому пятилетнему плану и на все получали от председателя обстоятельные ответы. В разгар беседы пришла Хатамова вместе с каким-то дородным человеком средних лет и молоденькой девушкой-смуглянкой, у которой лицо и руки были почти черными от солнечного загара.

— Познакомьтесь, товарищи,— сказала Хатамова, представляя обоих,— звеньевая стоцентнеровик Кундузхон Хаитова... а это — Мавлян-ака, бригадир.

Беседа приняла еще более оживленный характер. Гости ставили вопрос за вопросом и записывали ответы. Поэт писал очень быстро и при этом часто задерживал взгляд на говоривших, словно рисовал их портреты.

Наконец, режиссер закрыл свою записную книжку и сказал:

— Нам пока достаточно, позвольте поблагодарить вас. Конечно, не мешает взглянуть собственными глазами на все, о чем вы рассказывали. Это, знаете ли, вдохновляет. Сегодня осмотр одного только колхозного сада обогатил нас весьма ценными впечатлениями. Будем надеяться, что все другое оправдает наши надежды... А теперь перейдем к тому, что должно составить в нашем фильме центральную интригу и коллизию. Как бы вам объяснить? Я имею в виду столкновение личных и общественных интересов, стремлений,— конфликт, одним словом. Мы думаем построить конфликт вокруг вопроса механизации. В отношении механизации колхоз «Пахтакор» является ведь тоже типичным и передовым, не так ли?

Председателю, должно быть, понравились эти слова. Он улыбнулся и покрутил усы, но все же возразил:

— Так-то оно так, но нельзя сказать, что мы полностью осуществили механизацию. Мы сможем это сказать, когда центнер хлопка будет нам обходиться в три-четыре трудодня. А у нас пока вот даже звено Кундузхон берется снизить себестоимость центнера в этом году только до семи трудодней.

— Прекрасно! — подхватил режиссер.— Вот Кундузхон и пойдет в авангарде борьбы за механизацию трудового процесса. Что нам нужно? Событие. Вы понимаете, яркое событие, действие! А что должно стоять в основе действия? Конфликт, то есть столкновения на почве

противоположных интересов. Мы знаем, что всякое новшество встречает обычно противодействие. Нам достаточно, если вы расскажете нам об этом хотя бы в общих чертах. Конкретно мы додумаем сами. Бывают ли у вас выступления против механизации, а если бывают, то что обычно говорят противники ее?

Стараясь скрыть улыбку, парторг Хатамова низко наклонила голову и быстро глотала чай из пиалы, а когда режиссер кончил говорить, обратилась к бригадиру:

— Ну, Мавлян-ака, что вы скажете?

Бригадир посмотрел сначала на Хатамову, потом на председателя и режиссера, а затем опустил глаза и, почесывая в затылке, проговорил:

— Гм... А где вы были, ученый человек, в тридцатых годах?

Наступило неловкое молчание.

— В наших колхозах вряд ли механизация является теперь таким новшеством, которое встречает сопротивление,— сказал, задумчиво улыбаясь, председатель,— Сейчас у нас в республике больше двухсот МТС... Ты хочешь что-то сказать, Кундузхон? — обратился он к смуглой девушке.

Кундузхон давно хотелось вставить свое слово, но она не решалась. Теперь она сразу заговорила:

— Я родилась в том году, когда на наших полях впервые появился трактор. Вот Мавлян-ака упомянул о тридцатых годах. Не знаю, может быть, тогда у нас и были люди, выступавшие против тракторной обработки земли. Но теперь, когда каждый колхозник видит, насколько механизация облегчает его труд, кто же может выступить против нее?

— Старики, например,— подсказал поэт.

— Старики? Я никогда не пахала землю на паре быков, не испытала такой муки, но старики знают, что это такое. В те времена самый высокий урожай был десять центнеров, я только слышала об этом, а старикам это хорошо известно. Уж если снимать картину, то надо снимать правду! — пылко воскликнула Кундузхон.

Снова наступило молчание, и хозяева опять почувствовали себя неловко перед гостями.

— Конечно, товарищи и сами все понимают,— тихо заговорила Хатамова,— но, как они говорят, им нужно какое-нибудь событие. Вот они и хотят дать в картине хотя бы и выдуманное событие, но такое, которое показывало бы силу механизации. Правильно я вас понимаю?

— Вот спасибо! — обрадовался режиссер.— Вы просто выручили

меня. Дело обстоит именно так.

— Но если так, — продолжала Хатамова, — вам нужно получше познакомиться с колхозом, тогда событие, соответствующее действительности и интересное для картины, появится само собой. По моему, самое важное для вас — увидеть и по-настоящему узнать наших людей. А для этого вам надо пожить здесь подольше. Как вы думаете, председатель?

— Да живите хоть месяц, хоть два, сколько вам нужно, — обратился к гостям председатель, — лишь бы картина получилась хорошей. Дело государственной важности. Разве я не понимаю.

Сумерки сгущались, в комнате становилось совсем темно. Председатель взглянул под потолок, где тускло поблескивал стеклянный пузырь электрической лампы, и покачал головой:

— Ну и человек!.. Неужели так и не даст света?

— Вы о механике? Когда я шла сюда, — снова заговорила Хатамова, — слышала, как наш сторож отчитывал мельника Сафар-али. Мельник, видите ли, пришел узнать, попадает ли его мельница в картину. А сторож и давай его стыдить: «Эх ты, есть ли у тебя совесть. Человек скрылся вон, застыдившись показать электростанцию, а ты суешься туда же со своей мельницей!» — «Но моя мельница не его пыхтелке чета! — кричит Сафар-али, — Она теперь первая в районе!» Действительно, — пояснила она гостям, — Сафар-али у нас большой специалист мукомольного дела и мельницу сумел поставить так, что теперь она дает большой доход. А мельница тоже старая. Но я не об этом хотела сказать, а об электростанции. Уже одиннадцать лет прошло, как впервые в нашем колхозе вспыхнула электрическая лампочка. Помню: сколько радости тогда было. А вот теперь, как видите, механик стыдится показывать ее вам. Я говорю об этом, конечно, только к примеру, но если подумать хорошенько, это маленький, но тоже интересный случай...

Режиссер опять раскрыл свою книжечку и стал что-то записывать.

Кундузхон явно не терпелось высказать какую-то мысль. Она наклонилась к уху Хатамовой и что-то зашептала ей, потом выпрямилась и обратилась к гостям:

— Товарищи, может быть это и неприлично, но я все же хочу сказать: вам нужно событие, чтобы показать наш колхоз, но разве ваш приезд не есть уже событие?

Все засмеялись. Кундузхон, подумав, что она сказала что-то очень

глупое, спряталась за спину Хатамовой и, вероятно, густо покраснела, хотя в темноте были видны только белки ее глаз.

— Правильно, сестрица, очень правильно вы сказали! — восторженно проговорил поэт. — Самое хорошее, самое интересное событие, — для нас, по крайней мере, — именно этот наш приезд. Поэт и режиссер решаются создать картину из жизни колхозников, с этой целью приезжают в колхоз «Пахтакор», живут здесь месяц или два...

Режиссер хлопнул себя ладонью по лбу:

— А ведь это идея, черт возьми! Именно здесь месяц или два ищут противоречий, конфликтов, столкновений — и не находят, ломают голову над тем, какое событие сделать в картине центральным и... Кундузхон подсказывает им, что все это и есть главное событие. Да ведь в этом плане можно создать колхозную кинокомедию — сам Иван Пырьев позавидует.

Опять все засмеялись и вдруг зажмурили глаза: под потолком ослепительно вспыхнула большая электролампа. Механик словно давал понять, что и он кое на что годится, если придется производить вечерние съемки.

Веселая, ставшая непринужденной, беседа о будущей кинокомедии затянулась почти до рассвета.

Гости уехали и вернулись через неделю.

Спустя три месяца начались съемки короткометражной кинокомедии.

...В полдень на дороге перед правлением колхоза «Пахтакор» остановился большой жукообразный автомобиль. Из машины вышли двое...

1947

## ТЫСЯЧА И ОДНА ЖИЗНЬ

Последние дни марта. Облака, плывущие по бездонно-голубому небу, затеяли неистовую игру с солнцем. Однако солнце, омытое ключьями облаков, выныривая будто из купели, все ярче, все горячее глядело на всходы, на все живое, еще дремавшее и не ведавшее о наступлении весны.

Миррахимов, человек тщедушный, попал в больницу совсем недавно. Завернувшись в огромный, не по росту, неуклюжий мохнатый халат, сидел он у оконца и смотрел на улицу, словно мышь, которая глазеет на мир, высунув мордочку из огромной рукавицы. Вдруг он заволновался: что за чудесная погода, прямо благодать, а он, со здоровыми руками-ногами, должен сидеть взаперти и любоваться на мир из окна!..

Миррахимов хотя и был тщедушен, но обладал густым и могучим басом, – не умел говорить тихо. Прибывшая сестра стала участливо расспрашивать его о здоровье, о настроении. Она стала увещевать его, мол, только терпение поможет больному излечиться от недуга, намекнув при этом на Мاستуру Алиеву, с которой всем больным стоит брать пример терпения и выдержки.

Оказалось, что Мастура Алиева, доставленная в больницу в тяжелом состоянии, вот уже восемь месяцев не выходит из палаты; все обитатели больницы уже знают о ней, и многие побывали у нее. Чувство гуманности вдруг обуяло и Миррахимова.

– Давайте навестим эту бедную женщину! Кто знает, сколько ей осталось жить на этом свете... Говорят, она совсем плоха...

– Да, ей-то очень тяжело – сказала сестра и вздохнула. – Легко ли переносить страдания целых десять лет!

Дядюшка Ходжи, лежавший на своей кровати у самого входа в палату и читавший какую-то книгу, вдруг с легкостью, не подобающей его больному и грузному телу, приподнялся и сдернул с глаз очки.

– Неужели десять лет? И десять лет болеет?

– Да, вот уже десять лет. Не прошло, говорят, и года после замужества, как она захворала, бедняжка. Не может есть: пища через горло не проходит. Пищу ей вводят прямо в желудок... Сделали ей там такое отверстие, понимаете... Иногда сама себя питает, иногда муж.

– Муж! Да неужели у нее есть муж?

– Есть. Здесь он. Пять месяцев от нее не отходит!

Дядюшка Ходжи умолк. Наконец он произнес:

– Мало того, что целых десять лет ходил за больной женой, а теперь вот и в больницу пришел...

– И не говорите... – сказала сестра. – Он упросил врачей, и ему позволили поставить в палате кровать для него.

Дядюшке Ходжи не терпелось посмотреть – и не столько на больную, которая так упорно и терпеливо борется с тяжким недугом, сколько на беззаветно преданного ей мужа. Он встал, решительно запахнул халат, повязался кушаком и сунул ноги в тапочки.

– А ну, пошли! Видно, святые это люди, надо навестить.

Сестра побежала предупредить Мاستуру и ее мужа о предстоящем визите.

Спустя минуту мы уже шли по длинному коридору, ища десятую палату; впереди шествовал, выпятив огромный свисающий живот, дядюшка Ходжи. У входа в палату нас вежливо и почтительно встретил молодой человек с большими, искрящимися глазами, смуглый, как индус. Выразив каждому из нас свою признательность, он пригласил нас в палату. Мы вошли. В эту минуту солнце нырнуло под облака, и в палате потемнело, как в сумерки. С кровати, что стояла слева от громадного окна, вдруг послышался слабый, нет, скорее мягкий голос:

– Добро пожаловать!.. Спасибо, что пришли! Только человек придает силы человеку... большое вам спасибо!.. Акрамджан, пригласите присесть.

Солнце снова выглянуло, и мы увидели Мастуру... Перед нами лежал не человек, нет, не больной человек, а мертвец, настоящий мертвец с пожелтевшей, как пергамент, кожей, – кожа до кости. И только глаза, большие глаза смотрели на нас... Представьте себе человека, сидевшего перед гробом и вдруг увидевшего, что у покойника задергалась нога или рука, – как бы почувствовал себя этот человек? Точно так же чувствовали себя и мы, глядя на ее глаза, сверкавшие на мертвенно-бледном лице.

Молодой человек, приветливо встретивший нас, видимо, муж Мастуры, принес нам стулья. Присели только Миррахимов и я. Дядюшка Ходжи остался стоять, грузным своим телом загородив от нас Мастуру. Я придвинул ему стул и хотел было дернуть его за полу халата, как вдруг заметил, что у дядюшки Ходжи колыхается живот... Я удивился: чему бы ему так смеяться? И взглянул ему в лицо... Он стоял белый как полотно! Заметив, что дядюшку Ходжи обуял страх, сестра

забеспокоилась и с тревогой сказала ему:

– Ах, дядюшка Ходжи, я и забыла дать вам лекарства! Идемте, идемте! – И она поспешно увела его из палаты.

Я забеспокоился, как бы дядюшка Ходжи, выйдя в коридор, не потерял сознание, не грохнулся на пол. Но, слава богу, обошлось.

Хотя сестра и увела дядюшку Ходжи под благовидным предлогом, но было уже поздно: Мастура все увидела. Некрасиво получилось, нехорошо. Я и Миррахимов сидели, не зная, что сказать, куда девать глаза. Я все же отважился незаметно взглянуть на больную. А Мастура, улыбаясь бескровными губами, повернулась к мужу.

– Запишите-ка, Акрамджан, в свой дневник: пришли меня навестить трое храбрецов, и один со страху удрал, а двое остались, не в силах бежать.

И она засмеялась, засмеялась сухо, отрывисто, словно ребенок.

От ее шутки, особенно от ее смеха, по спине у меня забегали мурашки, но потом мне вдруг показалось, что с лица Мастуры сошла мертвенная бледность, будто живительная свежесть, переполняющая ее глаза, передалась щекам. Миррахимов что-то забормотал было, извиняясь за дядюшку Ходжи, но Мастура оборвала:

– Не беспокойтесь, такие вещи на меня не действуют, – сказала она. – Акрамджан, расскажите-ка им историю с гробом... нет, я сама им расскажу! Так вот было это лет пять с лишним назад. Как сейчас все помню... Выпал густой снег. Лежу я вот так же, как теперь, напротив окна, Акрамджан сидел и, кажется, штопал себе носки... Вдруг вижу – распахнулась наша калитка и показывается что-то красное! Смотрю, удивляюсь: гроб! Двое друзей Акрамджана тащат к нам во двор гроб! Сердце во мне так и екнуло... Ах, беда какая, думаю, неужели я уже умерла?.. Не успела я прийти в себя и сказать что-то Акрамджану, как те двое прислонили гроб к стене и вошли в комнату. Увидели они меня живую, ихватила их кондрашка, совсем как давеча вашего дядюшку Ходжи. Акрамджан тоже сидит себе и ничего не понимает... В то время мне и в самом деле было очень плохо, того гляди, ноги протяну. И вот увидел кто-то в автобусе плачущего мальчишку, подумал, что это мой братишка плачет, и пошли-поплыли слухи о моей смерти... Ну, а гроб потом сожгли в печке... Вот я и говорю, все эти страхи на меня совсем не действуют. Они действуют на людей, которые ожидают смерти, да ведь я-то не ждала и ждать не собираюсь! Если уж на то пошло, я не верю даже, что человек может ожидать своей смерти, то есть готов

совсем отказаться от своих надежд. Даже совсем больной человек, который вот-вот умрет, у которого и язык уже не повинуется, и смотрит он, как будто прощается со своими близкими... А я и это не считаю признаком смерти: нет, он не прощается, а смотрит на своих близких с надеждой, ожидает, что они скажут ему: рано, рано ты собрался сводить счеты с жизнью... ты не умрешь. Эту вот надежду я и считаю самой сильной, самой важной для человека в жизни...

Акрамджан очень радовался тому, что Мастура оживилась, беседуя с нами, но он тревожился и беспокоился за жену, как бы эта беседа не утомила ее, и всячески старался заставить говорить нас, говорил сам, чтобы дать больной передышку.

– А вы чем больны? – спросил он Миррахимова.

Тот назвал сразу три болезни.

– Ах, боже ты мой!.. – воскликнула Мастура. – В таком маленьком теле? Да как же уместились целых три болезни?

Раздался хохот. Особенно весело и заразительно смеялся сам Миррахимов, Акрамджан, с нетерпением ожидавший окончания разговора о болезнях, тот час подхватил шутку, брошенную Мастурой, и оказалось, что он на редкость остроумный человек; мы на время вовсе забыли о всяких недугах, шутили и смеялись напропалую. И когда наша непринужденная беседа неожиданно оборвалась – из-за могучего баса Миррахимова, – мы были огорчены. Врач, проходя по коридору, видимо, услышал неподобающий месту смех Миррахимова и, приоткрыв дверь, заглянул в палату. Он пристально поглядел на Мастуру и, заметив, что она утомлена, выставил нас за дверь. Акрамджан тоже вышел. Он долго и взволнованно выражал нам свою благодарность, уверяя, что любезность, которую проявили мы, навестив больную, придаст ей много сил и бодрости. Благодарность была во всем его существе, особенно в его больших, чуть увлажненных глазах. Мы не сомневались, что он готов расстаться даже с глазом, если б знал, что это доставит жене хотя бы минутную радость.

Мы вернулись к себе в палату. Дядюшка Ходжи лежал на своей кровати и, отдуваясь, прихлебывал сладкий чай. Никто не заговорил о неприятном случае: ни он, ни мы. Да и сами мы, Миррахимов и я, ни слова не вымолвили до самого вечера: мы были погружены в мысли о Мастуре и не находили, что сказать, как выразить свои впечатления, свои чувства.

Наступила ночь. Больные улеглись. Дядюшка Ходжи уже спал и



похрапывал. Миррахимов то и дело ворочался с боку на бок и, заметив, что я тоже не сплю, приподнял голову:

– У этой женщины не одна душа – тысяча и одна, поверьте! – сказал он. – Душа в ней едва теплится, как огонек угасающей свечи. А если и угаснет, то не раньше, чем зажжет другую из оставшейся тысячи! Вот эта надежда и не подпускает к ней смерть!

После долгого молчания он снова заговорил:

– А муж ее, муж-то? Я вам скажу, что и ему дана тысяча и одна молодая жизнь, но он все отдает своей Мастуре...

Мало ли, много ли прошло дней, но вот мы расстались. Миррахимов уехал к себе домой, а дядюшка Ходжи укатил на курорт.

Спустя много времени судьба снова забросила меня в эти края. Я не мог, проезжая мимо больницы, не заглянуть в нее. Расспросив сестру, я узнал, что через час Мастуру кладут на операцию. Пять месяцев отговаривали ее врачи, уверяя, что с операционного стола она уже не встанет, но ничего не помогло: Мастура решилась, дала расписку, в которой соглашалась на рискованную операцию.

Я хотел зайти в палату и проведать ее; я подумал, что мое посещение и дружеское слово придадут ей хоть немного силы и бодрости, но врачи не допустили меня к ней.

Когда наступило назначенное время, Мастура вышла из палаты, поддерживаемая с двух сторон сестрой и Акрамджаном. Однако, выйдя из палаты, она отстранила их и пошла твердым шагом, сама добралась до операционной, сама открыла дверь и скрылась за нею. Все внимание Акрамджана было сосредоточено на жене, и он не замечал меня. А Мастура хотя и увидела меня, но прошла молча: небось не узнала.

Я не стал дожидаться конца операции; мне было известно, что врачи не очень-то охотно шли на нее; мне было понятно и состояние больной; я подумал, что женщина, бесстрашно смотрящая в глаза смерти, похожа на человека, вдруг оказавшегося в тьме кромешной и запевшего, чтобы заглушить свой страх. Вечером я решил позвонить в больницу, и, честное слово, рука моя отчаянно дрожала. Но, слава богу, операция прошла удачно. Так мне по крайней мере сообщили.

Я уехал и долго ничего не знал о судьбе Мастуры. Я часто вспоминал ее и желал выздоровления и многих лет жизни этой женщине, у которой оказалось столько сил и терпения, чья душа была прочнее железа. И когда спустя три года, я встретил Акрамджана с какой-то незнакомой женщиной, я готов был горько, по-ребячьи

расплакаться.

Нигде праздники не проходит так весело, интересно и красочно, как в Голодной степи, ибо люди, съехавшиеся сюда со всех областей республики, завезли с собою свои песни и танцы. На этом празднике мне довелось побывать в Гулистанском районе, среди своих хороших друзей. Акрамджана с незнакомой мне женщиной я повстречал именно здесь, в Гулистане. У обочины дороги сидела верхом на лошади и что-то ела смуглая женщина среднего роста, стройная, – сама молодость. Акрамджан был занят тем, что затягивал подпругу своего коня. Увидев меня, он что-то тихо сказал женщине. Она ловко спешила, и оба торопливо направились к нам. И женщина, и Акрамджан поздоровались со мной, как со старым другом. Но сколько я ни силился, сколько ни пытался отогнать далекое виденье, мне это не удалось: так и стояла у меня перед глазами та больная, что медленно вышла из палаты и потом исчезла в дверях операционной. И не смог я приветствовать их так же горячо, искренно, как они меня. С Акрамжаном я еще кое-как обнялся, а женщине нехотя протянул руку.

– Вы меня не узнаете? – спросила молодая женщина и, легко нагнувшись, сорвала листок подорожника, росшего на бровке арыка.

– Простите, не могу припомнить... – пробормотал я.

Женщина откусила листок подорожника и, пожеывая, спросила:

– Ну, а теперь? И теперь не хотите узнавать?

Узнал! Узнал ее по глазам! Женщина, чьи глаза щедро дарили радостную улыбку миру, была Мاستура!

Я растерялся и спросил, сознавая, что говорю явную глупость:

– Что же вы делаете в этих краях?

Она засмеялась.

– Да вот работаю, теперь у меня силы хоть отбавляй.

Мы беседовали долго. Муж и жена провожали меня довольно далеко, ведя своих лошадей за поводья. Потом мы простились, супруги вскочили на лошадей и ускакали. Я смотрел им вслед, и они казались мне орлами, парящими над раздольной степью. Когда они почти слились с горизонтом, один из всадников вдруг резко повернул обратно и поскакал к нам. То была Мастура. Подъехав на несколько шагов, она крикнула:

– Прошу вас, передайте от меня поклон дядюшке Ходжи! – и ускакала к Акрамджану, дожидавшемуся ее где-то на горизонте.

Вернувшись в город, я стал разыскивать дядюшку Ходжи, чтобы

исполнить желание Мастуры. Но, увы, я узнал печальное известие: дядюшка Ходжи, оказывается, умер.

1956

## БОЛЬШЕВИКИ

Уже четырнадцать месяцев, как в кишлаке беспокойно. А до той поры кишлак сонно, словно дремавшая кошка, лежал в горах; даже о германской войне здесь, узнали только спустя два года, когда белый царь объявил мобилизацию на тыловые работы. Но и мобилизация, вызвавшая переполох всюду, для селения прошла почти незаметно, взяли отсюда только двоих: Мадраима с Нижней улицы, что за рекой, и Турсунбая, жившего по эту сторону реки, у Базарной площади; после их отъезда в кишлаке опять стало тихо.

Но четырнадцать месяцев назад сюда пришли вести: появился исполин по имени Ленин, ростом он до облаков; этот великан на прошлой неделе сбросил белого царя с трона. Народ, воспринявший известие как неминуемый приговор свыше, заволновался, пришел в движение. Весть эта дошла и до старой Адолят, которая не поднималась с постели уже два года — с тех пор как ушел на тыловые работы ее старший сын Турсунбай. Высохшая — кости да кожа — она высунула голову из кучи тряпья, служившего ей постелью, и потухшими глазами посмотрела на младшего сына Тургуна.

— Сынок, помоги мне выйти на улицу!

Тургун, мальчик лет десяти — двенадцати осторожно взял мать под руки, сопя и пыхтя помог ей добраться до супа. По улицам оживленно сновали люди, в чайхане у Базарной площади и на площади у мельницы толпился народ. На крышах домов всюду женщины, они вышли без паранджи, наскоро накинув на голову халатики своих детей. Подобного в кишлаке никогда не бывало!

К старухе Адолят заглянули несколько знакомых и, справившись о ее здоровье и выразив надежду, что теперь-то уж Турсунбай вернется, ушли. Надежда придала силы старой Адолят. С этого дня она с помощью Тургуна выходила из дому, а в иные дни сидела во дворе с утра до вечера. Если в первое время Адолят выходила, чтобы услышать новости, сулящие ей скорое возвращение Турсунбая, то теперь она ждала его самого.

Прошли недели, месяцы. Вестей от Турсунбая не было. Рассказывали, что из одиннадцати человек, мобилизованных из соседнего Кумкишлака, вернулись восемь, но Турсунбай не возвращался. Ничего не было слышно и о Мадраиме с Нижней улицы. Но ожидание сына не утомляло Адолят; что ни день в кишлак приходили новости, и каждый

толковал их по-своему; у Адолят от них голова шла кругом: она то впадала в отчаяние, словно очутилась у гроба Турсунбая, то радовалась всем существом своим, будто с возвращением сына должна наступить удивительная, доселе невиданная счастливая жизнь, и от радости она готова была выскочить из-под груды тряпья, которой была укутана.

Теперь для Адолят было мало того, что она сидит во дворе. Ей захотелось самой услышать разговоры, что вели люди; хотелось увидеть каждого нового человека, прибывшего в кишлак, встречать односельчан, привозивших новости. Она не давала покоя Тургуну. Чтобы помочь матери, мальчик выпросил у соседней тачку. Завернувшись в лохмотья, Адолят садилась в нее.

— Тургун, вези меня к Базарной площади! К чайхане!

— Тургун, вези меня к мельнице!

И Тургун возил мать то к Базарной площади, то к мельнице, ставил тачку в сторонку; трясая головой на тоненькой шее, старушка трепыхалась, словно птенец ласточки, почуявший приближение матери, и тревожно оглядывала людей, стараясь уловить их разговоры.

Так проходили дни, месяцы.

Последние полтора месяца были особенно беспокойными и тревожными. Беспокойство и страх овладели людьми с того самого дня, как появилось слово «большевик». В чайхане у мельницы о большевиках рассказывали одно:

— Большевики говорят, что земля принадлежит тому, кто сеет, вода — тому, кто поливает.

В чайхане у Базарной площади твердили другое:

— Большевик — это неверный, он отнимает у мусульман их веру.

Об этом держал проповедь мулла Саиддазориддин; во время его речи с нижних нар вдруг послышалось:

— Благочестивый, вера живет в душе человека... А как большевики могут отнять то, что находится в сердце?

За муллу ответил сидевший позади него бай Мирвали.

— Большевики не будут считаться, что вера твоя живет в душе, они пошлют тебя на завод! Введут тебя в одну дверь, а после гудка выведут в другую дверь завода кяфиром! — угрожающе прикрикнул бай.

Староста Сотиболди, угрюмо глядя на человека, задавшего вопрос, добавил:

— Большевик — это кяфир, исчадие завода!

Спустя какое-то время в кишлаке пошли слухи, будто в Ташкенте и Коканде появились большевики, а отчаянный головорез Эргаш провозглашен ханом, чтоб уничтожить их; еще через неделю появились вести, что в Коканде началась война. О большевиках за это время ползло много слухов, наводивших ужас на жителей кишлака, особенно на женщин. Адолят беспрестанно плакала и целых три дня не выходила из дому. В эти дни она радовалась, что ее Турсунбай не вернулся.

Но на четвертый день старуха снова была на площади у мельницы и узнала, что головорез Эргаш бежал. Вечером того же дня староста Сотиболди через глашатаев собрал народ у Базарной площади и держал длинную речь против большевиков. В заключение он сказал:

— Каждый правовеерный, который надеется обрести блаженство в раю, с наступлением темноты должен выйти к железной дороге, чтобы разрушить ее.

Мулла Саиддазориддин балгословил поход как священную войну за веру.

Когда стемнело, староста послал к железной дороге жителей, и возглавил их Миржаббар — он же полицейский стражник кишлака. Сам староста намеревался ийти туда, собрав всех, кто еще останется в селении. В полночь, едва набрав человек восемь, он повел их к железной дороге; однако там никого не оказалось, ни одна гайка не была тронута, а неподалеку от моста через реку, на поблескивавших от лунного света рельсах лежал на спине поперек дороги какой-то человек.

Труп! То был труп стражника Миржаббара!

Староста отпустил людей; вернувшись домой, он нагрузил на трех лошадей самое необходимое из своего имущества и на рассвете с семьей покинул кишлак.

Наутро кишлак был взбудоражен новостью: убит стражник Миржаббар, староста Сотиболди бежал...

Не успели люди освоиться с этими происшествиями, как грянуло еще одно событие: в полдень у железнодорожной станции поднялась ружейная пальба, застрекотал пулемет.

— Это большевики! Кто им покорится, они пошлют на завод, а кто не смирится, отравят...

Адолят, никогда не слышавшая пулеметной стрельбы, эту весть о большевиках приняла за чистую правду и в страхе зашептала предсмертную молитву.

Староста Сотиболди вел на кишлак курбаши Эргаша, чтоб отом-

стить за кровь стражника Миржаббара, но у железнодорожной станции они наткнулись на большевиков.

Стрельба, длившаяся более двух часов, стихла. До захода солнца два раза бросали клич, чтобы народ бежал из кишлака, и люди, не зная, кто придет в селение, бежали, облепив плоскогорье, словно муравьи; в первый раз жители успели перевалить за плоскогорье, во второй раз они вернулись с полпути. А когда бросили клич в третий раз, люди заколебались. На этот раз стало известно наверняка: в кишлак направляются какие-то люди; с Базарной площади жители увидели на западном гребне плоскогорья силуэты пяти верховых.

— Большевики! — обронил кто-то.

Весть эта мгновенно облетела кишлак. Адолят, сидевшая в тачке у дверей дома, едва услышав о большевиках, едущих в кишлак, приказала сыну:

— Тургун, вези меня за гору!

Плача и причитая, она погнала мальчика в горы.

Тургун, чуть ли не упираясь в землю носом, тащил тачку; не одолев и половины пути, он выбился из сил.

По склону карабкались люди, которые вышли из кишлака раньше Адолят и после нее. Тургун, напрягая все силы, протащил тачку еще несколько сажений, но потом с решительным видом остановился, сел на землю. Адолят стало жалко сына.

— Ладно, не надо, сынок. Умрем, так умрем невинной жертвой за веру, — И она с видом человека, покорившегося своей участи, взглянула на кишлак: там, на Базарной площади толпился народ и происходило что-то непонятное.

Прошло сколько-то времени, — Адолят не знала сколько, — и вдруг она заметила всадника, скакавшего к ним вверх по склону. Адолят в страхе раскрыла глаза, судорожно глотнула воздух и душераздирающе завопила:

— Тургун, это он! Сейчас большевик будет здесь! Чтобы он ни сказал, читай предсмертную молитву!

Всадник остановился шагах в ста пятидесяти от беженцев и, не сходя с разгоряченной лошади, сложил ладони у рта, крикнул:

— Люди, возвращайтесь! Начальником у большевиков — наш Мадраим!

Верховой несколько раз повторил клич и ускакал обратно. Помолчав несколько минут, люди поползли вниз по склону, к кишлаку. А

тачка Адолят как покати́лась, так и остано́вилась лишь у самой Базарной площади. Людей здесь собралось видимо-невидимо, пришел стар и млад, женщины и мужчины, над толпой стоял говор, крики... Голос муэдзина, призывавшего верующих к молитве в мечети, на холме за чайханой, потонул в этом гуле. Адолят жалела, тысячу раз жалела, что Мадраим, начальник большевиков, уехал до ее прихода, а ведь он был в чайхане, пил там чай. Оказалось, за это время он порассказал людям о Ленине, о советской власти, о земле, о воде; уезжая, он передал привет от Турсунбая его матери, брату, родственникам и всем, кто помнит его; по словам Мадраима, Турсунбай жив-здоров, служит в Коканде в рядах красных воинов; в скором будущем он обещал навестить родных.

Адолят, проклиная себя за то, что не застала Мадраима, вернулась домой; она задремала, не слезая с тачки. Тургун, обрадовавшись, что мать заснула, побежал на Базарную площадь. Здесь было многолюдно, как в ночной базар во время поста.

Поспав с часок, старуха проснулась. Ярко светила луна. С Базарной площади доносились радостные и чистые, как звон колокольчиков, голоса. Адолят стало не по себе, точно ее обошли на большом пиру, ей захотелось побывать там, где все веселятся, но старая не решилась окликнуть Тургуна, подумав, что сын устал и спит; она осторожно выкарабкалась из тачки и, держась за дувал, вышла на улицу. С Базарной площади все доносились звонкие голоса и смех; там виднелись огни множества светильников. Адолят с минуту прислушивалась, потом, радуясь, как ребенок, сделавший первые самостоятельные шаги, осторожно, но торопливо ступая, направилась навстречу радостным и звонким голосам.

1957



## КЛЕВЕТА

Я сидел с отставником-капитаном милиции в чайхане, мирно бесе-  
дуя за пиалой чая. Отодвинув пиалу, капитан нагнулся ко мне и,  
понижив голос, сказал:

— Следите за той узенькой улочкой. Сейчас там появится человек.  
Обратите на него внимание. Потом я расскажу вам о нем.

И действительно, вскоре я увидел человека в черном плаще, черной  
шляпе, черных очках. Он имел картинно зловещий вид. Черная одежда  
и черные очки делали его лицо особенно бледным и каким-то  
неживым. Казалось, пририсуй под подбородком две скрещенные кости,  
и готов череп, какие изображают на высоковольтных столбах.

Человек постоял с минуту и, хотя капитан так и не взглянул на  
него, перешел на нашу сторону улицы. Он сел почти рядом, но капитан  
не поднял головы. Тогда человек встал и демонстративно  
продефилировал перед нами. На нас пахнуло сыростью и запахом  
несвежего мяса. Он раз за разом оборачивался в нашу сторону, затем,  
видно, отчаявшись привлечь наше внимание, вышел на улицу и исчез  
в темном проеме ворот.

Капитан, помолчав, рассказал мне о черном незнакомце.

— Я знаю этого типа уже более четырех лет. Все эти годы он  
норовит затащить меня в укромный уголок, чтобы нашептать очеред-  
ную клевету...

Я видел, что капитану доставляют мало радости воспоминания. Но  
он уже не мог от них избавиться.

Года четыре назад из разных районов города в милицию посы-  
пались письма за разными подписями, но без обратных адресов.

Во всех письмах — тягчайшие обвинения против тогдашнего  
секретаря Союза охотников. Подтвердись хотя бы одно, секретарю не  
миновать ареста и суда. Однако сколько милиция не проверяла, письма  
оказывались чистойшей липой, их автор не обнаруживался. Но все же  
волей-неволей пришлось обратить внимание и на секретаря.

— Вот в те дни,— сказал капитан,— и заявился ко мне этот тип.  
Он начал с рассказа о своей кристальной честности, говорил много-  
словно и нудно, а заканчивая, неожиданно шепнул: «Есть слухи, что  
секретарь Союза охотников покупает пистолеты у неизвестных  
личностей. Я, правда, не слишком-то верю в эти рассказы, однако  
полагаю своей гражданской обязанностью поставить вас в извест-

ность».

Я поблагодарил его. С этого и началось наше личное знакомство.

Слух, разумеется, был чистейшим враньем,— ни у кого никаких пистолетов секретарь Союза охотников не покупал. Поразмыслив и все взвесив, мы пришли к убеждению, что недавний посетитель имеет непосредственное касательство к письмам без обратных адресов.

Догадавшись, что милиция ищет их автора, он забеспокоился и сам прибежал к нам: «Вот, мол, глядите, какой я: если у меня есть что сказать, то являюсь собственной персоной, а не сочиняю письма». Хитрость не ахти какая хитрая. Прием нам достаточно известный.

Капитан перевел дыхание.

— Ну, а какую цель преследовали эти кляузы? Чего он добивался, распространяя клевету? Имейте в виду, клевета никогда не бывает бескорыстной, она никогда не ведется «по велению сердца». Чаще всего ее диктуют честолюбие и карьера. Так обстояло дело и на сей раз.

Не составляло больших усилий докопаться до цели... Вы, конечно, знаете, что существует разновидность людей, которые если и продвинулись с младенческих лет, то отнюдь не в лучшую сторону. Они не приобрели ни знаний, ни специальности, ни навыков труда. В них так и не пробудилась совесть. Но однажды поглядев вокруг, они замечают, что все работают, чего-то добиваются, а если и смотрят на них, бездельников, то не иначе как с презрением. И тогда начинается погоня за наживой, за положением, авторитетом. А как все это заполучить? Лишь одним способом — за счет других. Одни становятся ворами, другие — клеветниками. Одни норовят залезть в карман, другие — украсть чужое положение, чужую славу, на худой конец — чью-то должность.

В поисках удовлетворения наш знакомец открыл в себе «великий талант». Он метнул нож в курицу, которая клевала семена дыни, и угодил прямо в голову. Курица, задрывав ногами, испустила дух. В тот же день он, одолжив денег, купил ружье, а на следующий — подал заявление в Союз охотников... Когда секретарь Союза, у которого не было правой руки, выписывал ему членский билет, у него созрела мысль: «Почему бы мне не занять эту должность? Если секретарь справляется с ней, имея одну руку, неужто я не справлюсь с двумя?»

Обратите внимание, люди такого сорта, не умеющие ничего делать, кроме как сочинять пасквили, считают себя не хуже других, мастерами на все руки. Они презирают труд, талант, искусство: «Подумаешь, я

могу не хуже...»

Вернувшись как-то с охоты и не подстрелив даже воробья, он почувствовал, что одной лишь честолюбивой мечты ему мало. Он должен действовать. Гнусная мыслишка подсказала направление действий: «А не предатель ли секретарь? Может, он сам себе прострелил руку, чтобы сбежать с фронта?»

Очень характерный для подлеца ход мыслей. Своими собственными думами он охотно наделяет другого. Думы эти для него настолько органичны, что он начинает верить, будто они свойственны другому.

Наступил час активных шагов. Атака велась по трем направлениям.

Во-первых, надо прослыть незаурядным охотником. Каждое воскресенье вечером, закинув за спину ружье, нацепив на пояс купленных на базаре куропаток, прихватив с собой борзую с шелковистой черной шерстью, он торжественно шествовал по центральной улице.

Во-вторых, чтобы очернить секретаря Союза охотников, он выдумывал всевозможные нелепости и пакости и распространял их, нашептывая, излагал в письмах, направленных в милицию.

В-третьих, по всякому поводу и без повода льстил председателю Союза охотников. Он называл его «учителем», на свадьбе одного из членов Союза, забыв о женихе и невесте, предложил тост за здоровье «учителя» и речь во славу председателя закончил словами: «Убитая его пулей куропатка может гордиться своей смертью!» Лесть — неперенный спутник клеветы. И такой же неумеренный спутник. Обливая кого-то помоями, клеветник перед другим стелется ковровой дорожкой...

Прошло полтора года. Секретарь Союза охотников скоропостижно скончался. Наш герой рвал на себе волосы, бился головой о стену. Он шагал впереди траурного шествия, неся подушечку с орденами покойного. Произнес речь на могиле: «Дорогой друг мой, спи спокойно, я продолжу твоё дело...» И, разумеется, разрыдался.

На другой день он занял стул умершего. С утра до ночи превозносил своего предшественника с таким же пылом, с каким недавно поносил его. Так продолжалось в течение недели. По мере того как люди привыкали к новому секретарю, его слезы постепенно высыхали. А когда был подписан приказ о назначении, высохли окончательно.

Начался новый этап деятельности — осуществление цели. Шкуры волков, убитых другими, сдавались им на свое имя, затевались свары

между охотниками, а новоявленный секретарь выступал заступником каждого, миротворцем. Наконец, почувствовав себя достаточно уверенно, он осмелел и возмечтал о дне, когда произнесет речь на могиле председателя и пообещает «продолжить его дело».

Но председатель, хоть и был немолод, отличался завидным здоровьем. Его не подорвала и война, когда он партизанил в белорусских лесах. Судя по всему, он не намеревался умереть ранее ста лет.

Ах, он не желает умереть сейчас? Пусть пеняет на себя!.. И посыпались письма в милицию на председателя. Опять разные подписи, опять без обратного адреса. Между тем среди охотников, до тех пор живших вполне мирно, начались раздоры, обиды...

Капитан сплунул. Ему явно надоело копаться в этой истории. Но взялся за гуж, не говори, что не дюж. Надо было досказывать до конца. У капитана уже не было иного выхода. Да и меня разбирало любопытство: чем же это все завершится.

— В те дни,— продолжал капитан,— он заявился ко мне домой. Он, видите ли, прослышал, что у меня родился внук, и пришел принести поздравления. Но ему надо было не только принести свои поздравления. Выбрав удобный момент, он зашептал мне на ухо: «Вы помните, наш секретарь скоропостижно скончался? Есть слухок, что к его смерти причастен председатель. Я не верю этому ни на грош, но считаю долгом совести поставить вас в известность. Тем более что есть слухи, будто председатель оговаривал секретаря, утверждал, будто тот покупал у неизвестных лиц пистолеты».

Это уже, как видите, двухэтажная клевета. Собственные наговоры приписываются другому. А этот другой намечается в очередные жертвы.

Миновало несколько месяцев. Семена, брошенные склочником, дали всходы. Охотники невесть в чем обвиняли друг друга, жаловались друг на друга. Разгорелись страсти, ссоры, ругань... Однако более зоркие, понявшие причину скандалов, вывели мерзавца на чистую воду. Выяснилось, что охотник он — липовый, зато неплохой комбинатор и оборотистый делец. Клеветник отбивался изо всех сил, не жалея ни слюны, ни чернил. Он пустил в ход политические обвинения. Они всегда в запасе у профессионального клеветника. Он бегал по инстанциям, обвинял, жаловался, изображал из себя жертву борьбы за справедливость, строчил бесконечные письма...

В один из дней, когда бурное собрание охотников затянулось за

полночь, участковый милиционер, обходивший свой участок, заглянул в зал и увидел, как несколько человек, взяв кого-то за руки и за ноги, раскачали и выкинули на улицу. Участковый поспешил на помощь пострадавшему, но того и след простыл. Узнав, что это был секретарь-клеветник, участковый успокоился.

Прошло около года; о злополучном секретаре Союза охотников — ни слуху ни духу. За это время я ушел в отставку, а месяц назад скончалась моя теща. Когда опускали гроб в могилу, я почувствовал на плече чью-то руку. Оглянувшись, увидел знакомую физиономию исчезнувшего было кляузника. Он выразил свое сочувствие. Рассказал, что работает могильщиком на этом кладбище. И, отозвав меня в сторону, зашептал: «А знаете, председатель махаллинской комиссии похоронил свою мать рядом с Касымом-ишаном...» И тут же сообщил мне, что давно мечтает служить в милиции, в славных органах охраны порядка и просит содействовать ему — ведь мы же старые знакомые. Я объяснил, что ушел в отставку и ничем не могу ему помочь. Но он не хотел слушать и посулил прийти. И теперь, как видите, пришел...

Я спросил капитана, почему надо делать секрет из попытки поступить на службу в милицию, к чему весь этот маскарад, таинственное появление.

Капитан засмеялся:

— Он всегда норовит сделать дурное, напакостить людям. И того же ждет от них. Жизнь клеветника не всегда сладка. Он сам пребывает в вечном страхе, тaitся, скрытничает. Он и жует и глотает, оглядываясь. Вы не заметили, как он тогда стоял на улице? Точно испуганная курица. Втянув голову, пугливо озираясь вокруг. Словно удивлялся, что его никто еще не стукнул.

В это время из ворот снова показался наш герой.

— Видите,— тяжело вздохнув, произнес капитан,— придется сходить к нему. Иначе до вечера будет там торчать.

Я тоже встал и, прощаясь с капитаном, спросил:

— Зачем вы возитесь с ним?

Уже в дверях капитан мне ответил:

— Это насекомое нельзя упускать из виду. Оно способно принести людям немало зла. Лучше быть начеку, знать объекты-жертвы, которые он намечает.

Когда капитан перешел улицу, человек в черных очках скрылся в воротах.



## СТРАХ

Ничего-то вы, доченьки мои,  
не знаете о былой женской доле,  
а рассказать вам — н не поверите!..

*Матушка Турахон<sup>5</sup>*

Вот уже две недели бушевал колючий ветер поздней осени, завывая в голых ветвях деревьев, свистя под карнизами домов, стучась в плотно закрытые двери и окна... В такие вечера люди становятся молчаливыми и тихими, как овечки, сбиваются в группки и сидят тихо, чего-то ожидая.

Все семь жен Алимбека Додхо собрались вокруг сандала в комнате самой старшей из них, Нодирмохбегим. Додхо после молитвы вернулся почему-то не в духе. Все жены при виде его вскочили. Одна сняла с его головы чалму, другая почтительно протянула руку к его чекменю, третья приготовилась стягивать с ног ичиги... Самая младшая, Унсиной из Ганджиравона, всего пять месяцев назад ставшая жилицей пышных хором Додхо, поднесла ему кальян. Только раз, но зато долго и протяжно, потянул Додхо из кальяна и, даже не пожелав позабавиться проказами своей любимицы — обезьяны, прошел в передний угол, приоткрыл окно и одним глазом взглянул во двор. Ветер бесновался: то завывал шакалом, то протяжно мяукал, как кошка. На дворе была непроницаемая темень.

Плотно прикрыв окно, Додхо уселся на свое обычное место и начал перебирать четки. Пальцы его быстро и ловко пересчитывали отполированные камешки, он прислушивался к вою ветра и думал: «Как, должно быть, страшно теперь на кладбище!»

Кладбища и так неприглядны, а еще столько страшных небылиц, жутких историй рассказывают в народе про них. У любого, кто вспоминает в такие неуютные вечера про кладбища, особенно у таких, как Додхо, давно пережившего возраст пророка и хранившего в сундуке для себя саван,— даже на кончике языка выступает холодный пот при одной мысли... Нет, даже не о смерти, а о том, что ему предстоит

---

<sup>5</sup> М а т у ш к а Т у р а х о н , или, как ее зовут в народе, Турахон-оё,— одна из самых светлых личностей в истории современного Узбекистана. Первой из узбечек она вступила в Коммунистическую партию и сбросила паранджу и чачван. Вела активную борьбу за раскрепощение женщин. Встречалась с В. И. Лениным.

переселиться туда!

Чтобы отогнать эти мрачные мысли, Додхо отложил четки и заговорил о том о сем, но женщины его не поддержали, и слова повисли в воздухе.

Вдруг порыв ветра сильно ударил в окно. Что-то, царапая стекло и цепляясь за раму, медленно поползло вниз. И все, кто сидел в комнате, не смея вздохнуть, испуганно посмотрели друг на друга. Чтобы успокоить жен, а еще больше себя, Додхо поднялся и снова приоткрыл половинку окна. От ветра, ворвавшегося в комнату, закачалась висячая лампа. Додхо высунул голову, посмотрел вниз и обрадованно проговорил:

— Циновка это! Оказывается, циновка!

Сорвавшаяся циновка почему-то напомнила ему носилки с мертвецом, которые он видел вчера, а вспомнив их на плечах людей, снова представил себе кладбище, и в его памяти ожили все страшные рассказы о склепах и мертвецах, запомнившиеся ему еще с детства. Чтобы преодолеть страх, Додхо заговорил именно о них и, скорее перед собой, чем перед женами, стал расхваливать свою неустрашимость и храбрость.

Старшая из жен, Нодирмохбегим, тоже рассказала одну историю:

— Девчонкой я еще была. Собрались как-то у нас друзья отца, полная комната гостей. Был вечер, такой же вот ветреный. Кто-то из гостей спросил: «Кто из вас может отправиться сейчас на кладбище и вонзить нож в могилу Аскара-палвана?» Один из гостей достает нож из ножен и говорит: «Я могу!» Поспорив на одного барана, смельчак отправился. Ждут друзья, ждут, а его все нет. Утро настало. Пришли к нему домой, и там его нет. Приходят на кладбище, а он лежит мертвый, возле самой могилы Аскара-палвана. Оказывается, он, бедняга, вонзил нож в могилу и нечаянно прихватил и подол своего халата.

Женщины поежились. После долгой паузы Унсиной прошептала:

— Глупый он был, этот человек. Из-за одного барана... Было бы за что погибать... я бы пошла...

Слова ее, услышанные Додхо, задели его самолюбие. Как эта девчонка смеет говорить: «Было бы за что... я бы пошла...», когда у него, Додхо, начинают трястись колени при одном упоминании о кладбище, когда он не смог бы пойти даже в том случае, если бы ему посулили ханский престол.

И Додхо, раздраженный, начал насмехаться над ней:



— Вот так дочь мельника, а? Какова? Целого барана ни во что не ставит, видали? А сколько баранов ты бы хотела? Ей-ей, я тебе дам десять баранов. Пойдешь ты вонзать нож в могилу? Сто баранов, половину своего богатства — отдам, пойдешь?

Медленно перебирая пальцами монисто, Унсиной ответила:

— Не надо мне никакого богатства...

Эти слова Унсиной еще сильнее задели Додхо:

— А что же тебе надо?

Унсиной промолчала. Однако нельзя, невозможно было оставлять вопрос Додхо без ответа, поэтому другие жены, боясь быть избитыми за проступок Унсиной, начали дергать, шпынять и толкать ее со всех сторон:

— Отвечай же, чего молчишь?

— Язык, что ли, у тебя отнялся?!

Унсиной подняла голову, поглядела на Додхо, не отрывавшего от нее глаз, и ответила:

— Если позволите... Я вернусь в Ганджиравон... Я бы не только в одну могилу, в десять могил всадила бы десять ножей!

Все жены Додхо хорошо поняли замысел самой младшей из них, один только Додхо понял ее по-своему.

— Опять в Ганджиравон! И месяца еще нет, как ты возвратилась оттуда!

Нодирмохбегим, вытянув под сандалом руку, ущипнула Унсиной за ногу и сделала ей знак глазами: «Слава богу, он не понял! Ну и довольно об этом, помолчи!» Но Унсиной, как человек, отчаявшийся вконец, смело и безбоязненно глядя на Додхо, проговорила:

— Нет, я хочу сказать — насовсем... Если бы вы разрешили, я бы совсем уехала...

Женщины низко опустили головы, согнулись, словно тяжелая ноша легла на них, хотя дерзкие слова были произнесены одной лишь Унсиной. Но, к удивлению и вопреки ожиданию всех, Додхо не схватился за камчу, не крикнул в гневе: «А ну, покажи, где у тебя зачесалось?!» Напротив, он заговорил спокойно и даже мягко, хотя в голосе его звучал едва скрытый сарказм:

— Вот как? Ну что ж, пусть будет по-твоему.— И, немного подумав, не скрывая раздражения, он продолжал: — Но на кладбище пойдешь не с ножом, а с кумга- ном, и у самой гробницы святого Онхазрета вскипятишь чай, заваришь его в чайнике и доставишь сюда. Ладно?

— Ладно, ладно!—ответила Унсиной, глядя на него вдруг загоревшимися глазами.— Но... Лишь бы вы не отреклись от своих слов...

От гнева Додхо чуть не задохнулся: то, что какая-то жалкая нищенка так рвется из его почти царского дома, показалось ему невероятным оскорблением. Теперь ни у кого из его жен, даже у Нодирмохбегим, которая сидела сама не своя от терзавшего ее страха, так как была уверена, что Унсиной не вернется живой с кладбища, и у той не осталось смелости, чтобы вымолвить прощение для молодой женщины.

Длинная, седая борода Додхо затряслась, задрожал и голос:

— Хорошо, я сдержу слово! Чтобы ты успокоилась, сейчас говорю — ты мне чужая! А когда вернешься с кладбища, станешь трижды чужой<sup>6</sup>. Бери же кумган — и отправляйся!

Тут же, закрыв рукавом лицо от Додхо, Унсиной выбежала из комнаты. Нодирмохбегим поняла, ничего она не в силах сделать для спасения женщины, но хотела выбежать вслед за ней, чтобы приободрить, утешить, однако не смогла этого сделать: одним лишь сумрачным взглядом Додхо приковал ее к месту. Остальные жены одна за другой тихо, на цыпочках, покинули комнату.

Унсиной накинула на себя паранджу, надела чиммат, набрала в кумган воды и, насыпав в чайник щепотку чая, пустилась в путь. Тускло и сумрачно светила луна. Край неба походил на грудку грязно-желтых тряпок. В грязновато-тусклом свете мрачно выступали из темноты дома и сгибающиеся на ветру тополя. Порывы бесновавшегося ветра каждый раз сбивали Унсиной с дороги. Она свернула паранджу и чиммат, сунула их под мышку, и ей стало немного легче идти.

Все, что слышал Додхо про кладбища, слышала и Унсиной. Если в такую злую ночь кладбище наводило на Додхо невыразимый страх, то и на Унсиной оно наводило не меньший ужас. И все же кладбище мертвых казалось ей менее страшным, чем кладбище живых, где она жила. К тому же ни о чем другом она не думала, не мечтала, как о том, что вот завтра возвратится в свой родной Ганд- жиравон, свидится с отцом, матерью, подружками.

Она чувствовала себя сейчас совсем маленькой — девчонкой,

---

<sup>6</sup> По шариату, мужу достаточно сказать: «Ты мне чужая!» — как женщина теряет права жены. Но она может стать женой — при повторном бракосочетании. Если же муж трижды сказал: «Ты мне чужая!» — то разрыв окончательный.

получившей от отца праздничные деньги и отправившейся на базар за покупками, и шла быстро, почти бежала навстречу ветру. Только изредка, когда порывы ветра бывали сокрушительны, она шагала, полуобернувшись к нему. Но вот она свернула в переулок, ведущий к самому кладбищу. Сердце у нее екнуло, когда под мерно раскачивающейся старой, почерневшей от времени чинарой она увидела смутно белеющие гробницы. Перейдя мостик, над арыком и сделав несколько шагов, она остановилась. Страх сковал ее, мысли о возвращении в Ганджиравон, о свидании с родными и подружками исчезли, ей вдруг показалось, что вокруг могил и гробниц бродят призрак, закутанные в белые саваны. Ей даже показалось, что волосы у нее на голове поднялись дыбом и приподняли платок. Она невольно отступила назад, но потом, словно пытаясь убедить кого-то в своей смелости, дважды прокричала в темноту: «Мертвые — мертвы! Мертвые — мертвы!» — и ринулась вперед. Остановилась она лишь у громадного корявого ствола чинары, под которым возвышалась гробница Онхазрета.

Кумган и чайник Унсиной опустила на землю, паранджу и чиммат кинула в сторону и потом радостно подумала: «Вот и ушло большее, осталось меньшее». Но радость ее была преждевременной: все она захватила из дома, не было только самого необходимого — дров! Забыла! Мысль

о том, что надо собирать дрова на кладбище, снова заставила ее похолодеть от страха — ей показалось, что из каждой гробницы поднимается рука мертвеца, из каждой могилы раздается зов. Она снова начала выкрикивать: «Мертвые — мертвы!» — и эти возгласы несколько успокоили ее, придали ей силы. Она бродила в темноте меж могилами и гробницами, водя руками по земле, обшаривая камни, куски глины, подбирая все, что попадалось, и опускала в подол платья сухие былинки, шуршащий камыш, верблюжью колючку, которой так богаты кладбища. Не ощущая боли в окровавленных руках, Унсиной наконец развела костер. В один миг вспыхнул яркий огонь, затрещала колючка, пышно пламеня в красноватом отсвете пламени, сквозь ключья колыхающегося на ветру ды ма из темноты выступали бугры могил. Чудилось, что они вдруг ожили, пришли в движение, словно их обитатели пытаются пробить головами крыши своих темниц.

Унсиной снова и снова уходила на поиски дров, и каждый раз, когда сухая трава с треском разгоралась, молодая женщина страшилась, что

этот шум и треск огня разбудит дремлющие призраки.

Вода в кумгане закипела. Унсиной торопливо заварила чай, затоптала огонь, чтобы не занялась сухая трава на кладбище, и пустилась в обратный путь, держа в одной руке чайник с горячим чаем, в другой кумган,— шла ощупью, ослепленные ярким огнем костра глаза ее долго не могли привыкнуть к темноте. Вдруг под ней провалилась земля, и левая нога ушла куда-то вниз. Она почувствовала, как кончики пальцев ноги коснулись чего-то мягкого. Не переставая повторять заклинание: «Мертвые — мертвы!» — она гнала от себя страх, но стоило подумать, что, может быть, наступила на мертвеца, по телу ее пробежала дрожь. Унсиной рванулась, вытянула ногу из ямы, оставив в ней кавуш. Доставать его оттуда у нее уже не было сил, так и пошла она: в кавуше одна нога, в мягком ичиге — другая. Пройдя несколько шагов, она вдруг вспомнила, что паранджу и чиммат оставила возле гробницы, и остановилась. Вернуться за ними Унсиной была не в состоянии, сейчас она боялась не только возвратиться туда, но и обернуться назад: ей чудилось, будто мертвецы смотрят ей вслед, высунув головы из своих могил и гробниц. Так она и стояла, не зная, что делать дальше, как вдруг не то из гробницы, не то откуда-то сверху раздался странный голос, и через секунду на плечи ей взобралось какое-то чудовище. Чудовище протянуло к ее горлу длинные, обросшие шерстью лапы. Унсиной закачалась, как бы от сильного удара в грудь, и потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, как чудовище, оставив ее, медленно заковыляло прочь и исчезло за гробницей. Унсиной поняла — это обезьяна. Обезьяна Додхо! Разумеется, не сам Додхо привел ее сюда, он прислал ее с кем-то из своих людей. Бог мой, есть ли еще кто на свете, кто мог бы сравниться с Додхо в бессердечии и жестокости!

Унсиной теперь несколько успокоилась: каким бы безжалостным и жестоким ни был этот человек, все же он находился где-то поблизости.

Покинув кладбище, она выбралась на большую дорогу. Пройдя полпути, Унсиной почувствовала боль в левой руке, а боль эта напомнила про кумган. Где же кумган? Ведь она несла его в левой руке! Остановившись на миг, она прижала обеими руками к груди горячий чайник и ускорила шаги. Но, как это часто бывает во сне, ей думалось, что она топчется на месте и чайник становится все тяжелее и тяжелее.

Унсиной едва добралась до массивной двери комнаты Нодирмохбегим и с трудом открыла ее, переступив порог и сделав несколько шагов, она в изнеможении опустилась на колени и поставила

чайник на сандал, из носика чайника еще вилась тонкая струйка пара. И потом, словно достигнув исполнения самого заветного желания в жизни, упала и потеряла сознание.

Дремавший у сандала Додхо вздрогнул, открыл глаза и задвигал губами. Подняв голову, увидел Унсиной, и ему показалось, будто она умирает. Не отрывая от нее вытаращенных глаз, он медленно и осторожно поднялся и, словно убегая от смертельной опасности, одним прыжком перемахнул через сандал и выбежал вон.

Придя в сознание, Унсиной увидела, что лежит возле сандала, а Нодирмохбегим плачет. Правый глаз у нее распух, под ним расплылся синяк, а белый кисейный платок закапан кровью, Унсиной хотела было спросить, не отказался ли Додхо от своего обещания, но вместо этого тихо, почти шепотом, спросила:

— Что это с вами?

А произошло вот что. После ухода Унсиной на кладбище Нодирмохбегим обратилась к Додхо с мольбой сжалиться над юной Унсиной, вернуть ее домой. В ответ она получила страшный удар в лицо. Но Нодирмохбегим не стала рассказывать об этом, она только еще горше заплакала, поглаживая Унсиной по голове, прижимаясь щекой к ее щеке. Потом послала человека на кладбище за горстью земли и, когда принесли горсть земли, размешала ее в пиале с водой и протянула Унсиной:

— Испей, сердечко мое, испей. Ты испугалась... Тому, кто пережил страх на кладбище, нет лучшего лекарства, как испить воды с горстью кладбищенской земли.

Унсиной выпила мутную воду и почувствовала себя немного лучше.

— Господь бог отблагодарит вас за меня... Могу ли я теперь уехать в Ганджиравон?

— Можешь, можешь,— ответила Нодирмохбегим.— Вот придешь немного в себя — и отправишься.

В просветлевших глазах Унсиной заблестели слезы.

— Да я ничего, я здорова... До полудня совсем встану на ноги, а там можно и в путь... Только пошлите в Ганджиравон человека, отца и матушку порадовать...

Не страшась побоев Додхо, Нодирмохбегим тут же снарядила человека в Ганджиравон.

Но Унсиной не дотянула до полудня, скончалась...

В вечерних сумерках тело Унсиной завернули в одеяло и положили

на арбу. По-прежнему ревел и бесновался ветер, воя и свистя в голых ветвях деревьев.

Из ворот вышла Нодирмохбегим в парандже, с небольшим белым узелком в руках. Она присела на корточки лицом к воротам, прошептала что-то, молитвенно воздев руки, потом, согнув их в кулаки, трижды ударила о землю, словно пытаясь вогнать в нее тьму, и самого Додхо, и его богатое обиталище. Затем поднялась резким движением: «Ноги моей больше не будет здесь!» — повернулась, вскарабкалась на арбу и села в изголовье покойной.

Арба тронулась, а когда она выбралась за городские стены, навстречу попался слуга, ходивший в Ганджиравон, чтоб обрадовать родителей Унсиной...

1961

## ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

- Азан — *призыв мусульман к молитве.*  
Айван — *навес перед домом, типа террасы.*  
Амин — *староста нескольких мелких кишлаков.*  
Арслан — *лев.*  
Аят — *изречение из Корана.*  
Байбача — *сын бая.*  
Бешик-той — *празднество по случаю того, что младенца впервые укладывают в колыбель.*  
Бобо, бува — *дед, бабушка; почтительное обращение к старикам.*  
Гишткупрук — *каменный мост.*  
Гуджа — *просяная каша (каша из джугары — сорта проса).*  
Гузар — *небольшой базар у чайханы.*  
Джида — *дерево с мучнистыми плодами; серебристый лох.*  
Домла — *учитель; почтительное обращение к ученому человеку.*  
Дутар — *музыкальный инструмент.*  
Имам — *духовный наставник мусульман.*  
Ишан — *глава религиозной общины.*  
Кавуши — *кожаная обувь типа калош.*  
Кадакчи — *мастер, скрепляющий разбитую посуду.*  
Казий — *судья.*  
Казы — *конская колбаса.*  
Кеклик — *горная куропатка.*  
Кумган — *сосуд с носиком, служащий для омовения.*  
Кумир — *уголь.*  
Кухнарчи — *наркоман.*  
Кушик — *песня.*  
Кяфир (гяур) — *неверный, не мусульманин.*  
Лайлак — *аист.*  
Мазар — *кладбище.*  
Мардикер — *чернорабочий.*  
Махалля — *квартал, микрорайон.*  
Махсум — *почтительное название духовных лиц и их родственников мужского рода.*  
Мингбаши — *волостной правитель.*  
Миршаббаши — *начальник полицейского управления.*  
М ушакбоз — *пиротехник.*

Навват — сахар, сваренный в виде застывших кристаллов.

Намаз — обязательная пятикратная молитва мусульман.

Палван — силач, богатырь.

Райхан — базилик; растение с очень душистым запахом; он также употребляется как приправа к пище.

Сай — горная река.

Самса — круглые пирожки с мясом, которые пекут в особых печах.

Саркар — начальник, предводитель.

Супа — глиняное возвышение, выложенное для щдыха.

Сури — большая квадратная деревянная кровать.

Сурнай — музыкальный инструмент типа свирели.

Табиб — лекарь, знахарь.

Таксыр — господин.

Тандыр — печь, в которой пекут лепешки.

Таньга — монета достоинством в двадцать копеек.

Тура — знатный человек.

Улем — правовед, знаток шариата.

У раза — мусульманский пост в месяц рамазан.

У ста — мастер.

Устод (устоз) — учитель, наставник.

Хадж — паломничество в Мекку и Медину — к мусульманским святыням.

Хаджи — человек, совершивший паломничество.

Хаким — ученый, доктор.

Хауз — пруд.

Хирман — полевой стан.

Хола — тетя, сестра матери; почтительное обращение к женщине, старше возрастом.

Хызр — пророк, почитаемый мусульманами, приносит счастье тому, кто с ним встретится.

Шариат — свод мусульманских законов, основанных на Коране.

Шахимардан — почитавшееся святым селение в Ферганской долине, куда ездили на поклонение.

Шейх — духовный наставник мусульман.

Чайрикер — издольщик для работы на хлопковых полях.

Чарыки — кустарная обувь.

Чилёсин — (религиозный ритуал) — изгнание злых духов из больного.



Чилим — курительный прибор.

Эфенди — господин.

Янтак — верблюжья колючка.

Яхтак — мужская рубашка без ворота из белой бязи.

## СОДЕРЖАНИЕ

А. Якубов. Строгая доброта

### ПОВЕСТИ

Птичка-невеличка. *Перевод К. Симонова*

Сказки о былом. *Перевод И. Симонова и К. Хакимова*

### РАССКАЗЫ

Прозрение слепых. *Перевод Г. Хантемировой*

Мастон. *Перевод Г. Хантемировой*

Городской сад. *Перевод Т. Калякиной*

Воры. *Перевод И. Боролиной*

Больная. *Перевод И. Боролиной*

Гранат. *Перевод А. Садовского*

Учитель словесности. *Перевод А. Наумова*

Джанфиган. *Перевод Т. Калякиной*

Девушки. *Перевод Т. Калякиной*

Синий конверт. *Перевод А. Садовского*

Старый Асроркул. *Перевод И. Киссена*

Картина. *Перевод А. Садовского*

Тысяча одна ночь. *Перевод А. Рахим*

Большевики. *Перевод Г. Хантемировой*

Клевета. *Перевод Н. Арзуновой*

Страх. *Перевод А. Рахим*

Пояснительный словарь

Каххар А. Сказки о былом: Повести и рассказы: Пер. с узб./Вступ. статья А. Якубова.— М.: Худож. лит., 1987,— 317 с.

Абдулла Каххар (1907 — 1968) — один из основоположников узбекской советской прозы. В книгу вошли повести: «Птичка-невеличка», «Сказки о былом» и лучшие рассказы, которые повествуют о социалистической нови, о раскрепощении духа народа, строящего новую жизнь.

АБДУЛЛА КАХХАР

**СКАЗКИ О БЫЛОМ**  
**Новости и рассказы**

Редактор *Р. Фаткуллина*

Художественный редактор *В. Серебряков*

Технический редактор *Л. Зайцева*

Корректоры *Т. Калинина, И. Филатова*

*ИБ №-4537*

Сдано в набор 14.04.86. Подписано к печати 03.09.86. Формат 60X X90<sup>1</sup> /16- Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать офсетная. Уел. печ. л. 20. Уел. кр.-отт. 20,5. Уч.-изд. л. 22,88. Тираж 50 000 экз. Изд. № 1У-2433. Заказ 813. Цена 1 р. 80 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература\*», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Диапозитивы изготовлены в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва. И-473, Краснопролетарская, 16. Отпечатано в Тульской типографии Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109.

**В издательстве**  
**«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» вышли в свет произведения**  
**узбекских писателей:**

А. ЯКУБОВ. Сокровище Улугбека. Роман;  
Повести Э. ВАХИДОВ. Моя звезда. Стихотворения и поэмы